Том Риис
Ориенталист
Тайны одной загадочной
и исполненной опасностей
жизни
OZON.RU

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биографический роман американского журналиста Тома Рииса посвящен Льву Нусимбауму (1905–1942), бакинскому еврею, принявшему ислам, авантюристу и писателю, издававшему свои книги под псевдонимами Курбан Саид и Эсад-бей. Его главный роман «Али и Нино», бестселлер 1930-х годов, пережил второе рождение в 1970-е и был переведен на сорок языков мира. Однако до расследования Тома Рииса настоящее имя человека, который скрывался под стоящим на обложке книги псевдонимом Курбан Саид, оставалось неизвестным. На примере одной жизни, «исполненной тайн и опасностей», Риис описывает распад Российской империи, судьбы эмиграции в Стамбуле и Берлине, становление фашизма в Германии,

Великую депрессию в США, то есть, по сути, создает собственную версию истории первой половины XX века. Русскому читателю книга будет интересна вдвойне, поскольку касается больной темы национальной политики Российской империи в Закавказье и дает увлекательный пример жизни русского европейца, установившего свои собственные отношения с мусульманским миром и принятого этим миром за своего.

- Том Риис
  - Введение. В поисках Курбана Саида
  - Часть первая
    - Глава 1. Революция
    - Глава 2. Горские евреи
    - Глава 3. Путь на Восток
    - Глава 4. Бегство
    - Глава 5. Константинополь, 1921 год
    - Глава 6. Минареты и шелковые чулки
  - Часть вторая
    - Глава 7. Революция в Германии
    - Глава 8. Берлинская стена
    - Глава 9. Сто оттенков голода и жажды
    - Глава 10. Любимец веймарской прессы
    - Глава 11. Еврейский ориентализм
    - Глава 12. Назад, в преисподнюю
  - Часть третья
    - Глава 13. Крепкий орешек
    - Глава 14. Муссолини и миссис Курбан Саид
    - Глава 15. Позитано
  - Избранная библиография

- Выражения признательности
- Фотоматериалы
- Об авторе
- Приложение

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39

- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83

- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127

- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163

Том Риис
Ориенталист
Тайны одной загадочной и исполненной опасностей жизни

Посвящаю эту книгу Лолеку, научившему меня путешествовать, и Джулии, не дающей мне забраться слишком далеко. Жаль, что им не суждено познакомиться в этом мире.

Введение. В поисках Курбана Саида

Холодным ноябрьским утром я спешил по лабиринту узких улочек в центре Вены на встречу с человеком, пообещавшим, что раскроет тайну псевдонима Курбана Саида. Со мной был Питер Мейер, глава американского издательства «Оверлук-пресс», осанистый мужчина в черном, хотя и несколько помятом, вельветовом костюме, незадолго перед тем загоревшийся идеей переиздать небольшой роман Саида «Али и Нино». По дороге Мейер то и дело принимался громко восторгаться этой книгой:

— Это, знаете ли, как живопись Вермеера: у того смотришь на картину, и вроде бы ничего особенного, обычный, казалось бы, интерьер, но так выстроена перспектива и свет так падает, что все в ней вдруг начинает казаться волшебным, грандиозным! И в этой книге — то же самое!

История влюбленных Али и Нино, разворачивающаяся на Кавказе накануне Октябрьской революции, впервые была издана по-немецки в 1937 году и обрела вторую жизнь уже в 1970-х годах, когда ее взялись переводить и переиздавать, так что даже стала считаться классикой — пусть и не первого ряда. Однако вопрос об авторстве книги оставался открытым. Мнения сходились в одном: «Курбан Саид» — это псевдоним писателя, который, судя по всему, родился в Баку, центре нефтяной промышленности Кавказа. Но был ли это азербайджанский литератор-националист[1], погибший в лагерях ГУЛАГа, или же непрофессиональный писатель, сын одного из нефтяных магнатов, а быть может, кто-то из былых завсегдатаев венских кофеен, скончавшийся в Италии от заражения крови? На обложке «Двенадцати тайн Кавказа», другой книги Курбана Саида, имелась фотография этого загадочного автора в костюме воинственного горца — в меховой папахе, черкеске с развевающимися полами и нашитыми спереди газырями и, конечно же, с кинжалом на поясе.

В тот день нам с Питером не терпелось поскорее встретиться с юристом, которого звали Хайнц Баразон[2], поскольку тот обратился в «Оверлук-пресс» с протестом против желания издательства указать на обложке имя настоящего автора, а не псевдоним, под которым она прежде выходила. Господин Баразон утверждал, что именно ему известно подлинное имя человека, назвавшегося «Курбаном Саидом», и что он как адвокат, представляющий интересы его наследников, настаивает на том, чтобы именно это имя было указано при новом издании «Али и Нино». В противном случае он угрожал обратиться в суд, чтобы не

допустить публикации произведения. Когда мы, наконец, нашли его контору (рядом с лавкой, где несколько старух горбились над шитьем), кто-то невидимый нажал кнопку, и под зудение зуммера мы попали в вестибюль, до такой степени запущенный и грязный, что, казалось, пыль лежала там нетронутой еще со времен аншлюса. Питер, схватив меня за локоть, восторженно выдохнул:

— Да это же прямо кадры из «Третьего человека»![3]

Появление в прихожей самого господина Баразона ничуть не развеяло впечатления, что мы ненароком попали в этот мрачный триллер времен «холодной войны». Адвокат был невысокого роста, худощавый, со скрипучим голосом, очень сутулый, с шаркающей косолапой походкой.

— В такую даль ехали, и все только для того, чтобы установить личность Курбана Саида, — говорил он, ведя нас по коридору с книжными полками вдоль стен. — Ничего, все вот-вот встанет на свои места…

Наконец он привел нас в помещение, где на диване лежала худенькая, удивительно красивая блондинка с огромными, будто стеклянными глазами.

— Позвольте представить вам Лилу, — сказал Баразон.

— Я надеюсь, что вы меня извините, — вымолвила Лила слабым голосом.

— Просто я болею, и мне предписано лежать. Я не в состоянии долго сидеть.

Баразон без промедления перешел к делу: роман «Али и Нино» написала, по его словам, баронесса Эльфрида Эренфельс фон Бодмерсхоф, вторая жена отца Лилы, барона Умара-Рольфа фон Эренфельса[4]. Поэтому после смерти баронессы в начале 1980-х годов все права на это произведение перешли к ее падчерице.

В доказательство своих утверждений Баразон предъявил нам целую кипу официальных бумаг: издательские договора, юридические документы, а также отпечатанные типографским способом еще в конце 1930-х годов перечни авторов с печатями, на которых красовались нацистские орлы и свастики. Среди авторов «Германского полного каталога изданий за 1935–1939 годы» действительно значилось имя «Курбан Саид», и тут же разъяснялось: «Псевдоним Эренфельс, фон Бодмерсхоф, Эльфриды, баронессы».

Эти документы, казалось бы, со всей определенностью подтверждали, что баронесса Эльфрида — действительно Курбан Саид. Однако было обстоятельство, которое заставляло меня в этом сомневаться.

Личность Курбана Саида заинтересовала меня весной 1998

года, когда я поехал в Баку, чтобы написать статью о нефтяном буме в этом городе, — о тех признаках новой жизни, которая затеплилась здесь через много лет после того, как революция в России, еще в 1917 году, остановила ход времени в этих местах. Баку — столица Азербайджана, небольшой страны, которая гордится тем, что представляет собой восточный форпост Европы; правда, большинство европейцев не имеют об этом вообще никакого понятия. Представления западного человека об этой стране сводятся, по сути дела, к тому, что Азербайджан граничит с Ираном и большинство азербайджанцев — мусульмане-шииты. Однако, оказавшись в Баку, сразу же обращаешь внимание на то, что наиболее внушительное общественное здание в Баку — не мечеть, а копия большого казино Монте-Карло. Люди в этом городе на протяжении тысячи лет существовали вне жестких идеологических или религиозных рамок. Его название, как принято считать, происходит от персидского «баадье-кубиден» — «резкий порыв ветра». Город расположен на сильно выдающемся в море полуострове и действительно слывет одним из самых ветреных мест на свете. Так, например, один франтоватый, подтянутый девяностосемилетний старик рассказывал мне, как во времена его молодости щеголи, прогуливаясь по бакинским бульварам, дополняли выходное платье специальными защитными очками — чтобы при сильном ветре не слепил глаза мелкий песок.

Как раз накануне моего отъезда в Баку один мой знакомый, иранец по происхождению, посоветовал мне прочитать роман «Али и Нино» Курбана Саида — для первого знакомства с городом и вообще с Кавказом и кавказскими обычаями, причем, отметил он, эта книга куда полезнее, нежели любые туристические справочники. Я прежде не встречал имени этого автора и потому, разыскав, наконец, карманное издание романа 1972 года, с удивлением обнаружил на обложке, где красовалась гламурного вида парочка, цитату из журнала «Лайф»: «Если не Курбан Саид опередит Эрика Сигала[5] в списке бестселлеров, то больше некому!» Книга словно переносила вас в XVIII век — представьте себе, например, что «Кандид» был написан по следам реальных событий. Критик из «Нью-Йорк таймс» писал: «Читаешь, испытывая ощущение, будто только что нашел древний клад».

Фабула романа — это история любви юноши-мусульманина и девушки-христианки, история развития их отношений по мере того, как оба взрослеют. В толерантном мире старого Азербайджана их союз оказался счастливым, пусть они порой и ссорились друг с другом:

— Али-хан, ты дурак, — сказала, наморщив носик, самая

красивая в мире девочка. — Слава богу, что мы в Европе. Будь мы в Азии, мне давно следовало бы надеть чадру, и ты бы никогда не увидел моего лица.

Я был разбит наголову. Спорное географическое положение Баку действительно подарило мне благосклонность самых красивых в мире глаз[6].

Территорию, где сегодня расположен Азербайджан, не раз завоевывали — и воины Александра Македонского, и татаро-монгольские орды, и турки-османы, и персы. К 1825 году расположенные здесь ханства захватила Россия. И именно в период экспансии царского правительства на Кавказе, столь ярко описанной Пушкиным, Лермонтовым и Толстым, Европа открыла для себя Баку, а Баку — Европу. А вскоре открыли здешние месторождения нефти. Гигантские. В Баку в те времена даже не требовалось бурить скважины: нефть была прямо на поверхности, она скапливалась в черных лужах, порой образовывала целые озера, и напор ее бывал настолько сильным, что, случалось, обрушивал дома на побережье Каспия. Окруженное высокими, прочными стенами, это древнее поселение на скрещении караванных дорог стало быстро превращаться в мировой центр зарождающейся нефтяной промышленности, поставляя более половины тогдашней добычи нефти-сырца. В результате здесь уже в XIX веке возник великолепный город, с роскошными дворцами, мечетями, казино, театрами — и все они были построены в годы, когда в Баку жили не только Ротшильды и Нобели, но также десятки мусульман из числа местных «нефтяных баронов», как их тогда называли. Среди них был, например, Сеид Мирбабаев, известный певец, который, после того, как на принадлежавшей ему земле была найдена нефть, пожелал остаться в истории лишь как нефтяной магнат и посвятил остаток жизни розыску и уничтожению собственных пластинок. Или Гаджи Зейналабдин Тагиев — он разбогател, когда после землетрясения на его участке забил нефтяной фонтан, да такой, что нефть залила все вокруг; Тагиев впоследствии построил в Баку первую в мусульманском мире школу для девочек. Строительство стало предметом соперничества среди богатых бакинцев. Поэтому здесь мавританские дворцы высятся рядом с домом пастора в готическом стиле, а византийского образца купола соседствуют с павильонами в стиле рококо, усыпанными самоцветами. Местные жители называли себя «культурными европейцами» и «современными мусульманами», пока город не попал в лапы большевиков, считавших, что все они — «разлагающаяся буржуазия», и навсегда покончивших с прежней жизнью.

В дальнейшем нефть Баку питала сталинские пятилетки, а в

годы Второй мировой войны Гитлер нуждался в ней настолько, что изменил все планы по ведению военной кампании на территории Советского Союза ради захвата Баку. В сентябре 1942 года сотрудники германского Генштаба даже подарили фюреру огромный торт, выполненный в форме Кавказа. Кинохроника того времени сохранила кадры, где Гитлер отрезает кусок торта, на котором глазурью выведено слово «БАКУ». «Если мы не захватим Баку, воина проиграна!» — крикнул как-то фюрер одному из своих военачальников. Для этого он пожертвовал под Сталинградом целой Шестой армией, не сняв ей в помощь ни единой дивизии с кавказского направления. Сумей Гитлер овладеть Баку, его войска стали бы контролировать один из самых важных нефтеносных регионов — не говоря уж о стратегической роли этого своеобразного моста между Европой и Азией, — СССР лишился бы главного источника нефти и Германия фактически выиграла бы войну. Однако этот натиск, это стремление во что бы то ни стало захватить Баку принесло немцам не победу, а сокрушительный разгром на фронтах в России, так что всего три года спустя советские бронетанковые дивизии, горючее для которых производили из бакинской нефти, уже были у ворот Берлина.

За свою роль в поражении Германии Азербайджан был вознагражден тем, что многих его жителей сослали в Сибирь, а его нефтяная промышленность стала приходить в упадок. Город, построенный в конце XIX века, оказался в небрежении… Даже сегодня, гуляя по некоторым городским районам, ловишь себя на иллюзии, будто ты забрел в какие-то необычайно грязные кварталы Парижа на правом берегу Сены, откуда непонятно почему исчезли все обитатели.

Моим гидом в Баку был Фуад Ахундов, спортивный молодой человек, уже не первый год работавший в Интерполе, хотя порой казалось, что всю свою жизнь он посвятил истории родного города и его тайнам. Фуад вырос в советское время и всегда испытывал особый интерес к утраченной дореволюционной культуре, которая создала все эти особняки, пусть и пришедшие в упадок; вот он и принялся исследовать город дом за домом, особняк за особняком. Похоже, Фуад знал об этих по-прежнему величественных строениях все. «Я заходил в такие дома и расспрашивал жильцов, не известно ли им что-нибудь о потомках бывших владельцев этих особняков, — рассказывал он мне, пока возил туда-сюда по городу в своем потрепанном автомобиле советского производства. — Как следователь, я знал, что даже те, кто, как им кажется, ничего не знают, способны дать немало ценной информации, поэтому я обычно пользовался методикой,

которую применяют при проведении дознания, побуждая собеседника вспомнить, о чем рассказывали им покойные родители или деды с бабками». Фуад бегло говорил по-английски, хотя порой казалось, что имеешь дело с персонажем романа XIX века. Так, если ему нужно было куда-нибудь отлучиться, он обычно произносил что-то вроде: «А теперь вашему покорному слуге не остается ничего иного, как откланяться, в связи с тем, что ему необходимо уделить свое внимание кое-каким неотложным вопросам полицейского характера».

Пока мы бродили по крепостным валам средневекового Баку, знакомились с особняками XIX века, с храмами огнепоклонников-зороастрийцев и с дворцовыми садами, будто сошедшими со страниц «Тысячи и одной ночи», Фуад не переставая рассказывал мне все, что сам знал о них. «Отсюда я мог видеть мой мир, расстилающийся у моих ног: мощные крепостные стены, развалины дворца с сохранившимися на камнях арабскими надписями, узкие улочки, по которым медленно шли верблюды с настолько тонкими щиколотками, что мне хотелось погладить их, — лилась его певучая речь. — Прямо передо мной возвышается круглая, массивная Девичья башня. У ее подножия суетятся проводники. Чуть поодаль, за Девичьей башней, распростерлось море — свинцовое, непостижимое Каспийское море. Вдалеке вдоль берега тянулась степь — мрачные скалы, пески и колючки — прекраснейший в мире пейзаж, спокойный и непоколебимый».

Я далеко не сразу понял, что это были не его собственные слова: он почти дословно цитировал «Али и Нино».

Порой цитировать роман Фуад начинал, всего лишь вдохнув какой-нибудь специфический аромат. А не то мы останавливались перед очередным зданием в стиле венского ампира — с зияющими дырами в тех местах, где прежде красовались каменные портреты коммунистических вождей, — и Фуад сообщал, словно о реальном историческом факте: «Вот здесь Али впервые увидел Нино. Здесь же была женская гимназия, где Нино на переменах гуляла с его двоюродной сестрой Айше. В этом нет никаких сомнений, потому что вот здесь та самая дверь, от которой до входа в бакинскую русскую императорскую мужскую гимназию было приблизительно четыреста шагов. К сожалению, здание гимназии разрушили еще во время боев в восемнадцатом году».

Это было бы похоже на одну из множества скучнейших литературных экскурсий по местам, что упоминаются в произведениях Чехова или, скажем, Пушкина, если бы восторги

Фуада не носили совершенно иного характера. «Этот роман заставил меня открыть для себя собственную страну, весь этот мир, похороненный советской системой и лежавший у меня под ногами», — сказал он однажды, когда мы часа в три ночи болтали у него на работе, в офисе Интерпола. «Одна эта книга, эта история мусульманского Ромео и христианской Джульетты эпохи бакинского нефтяного бума сорвала с моих глаз пелену. Во времена моего советского детства и отрочества на всем словно лежала черная вуаль, накинутая бесчеловечной большевистской революцией — этой кровавой ипостасью западной цивилизации. Эта вуаль, как погребальный саван, скрывала от меня удивительный, фантастический мир высших устремлений, и культурных и человеческих, тот мир, в котором еще существовала надежда на полное единение, на слияние Востока и Запада и на появление некоего нового, современного мира — а ведь он смог тогда недолгое время просуществовать! Вот вы, например, можете себе такое представить? — восклицал Фуад. — Курбан Саид стал для меня единственной надеждой, единственной связью с той, настоящей жизнью. Без него я, живя у себя дома, в родном городе, так и остался бы обманутым, так и пребывал бы в заблуждении, не научился бы по-настоящему воспринимать и понимать красоту этого города, все те трагические силы, что существуют здесь, можно сказать, у меня под носом».

Одержимость романом «Али и Нино» испытывали тогда и многие земляки Фуада. Культурные, образованные азербайджанцы, с которыми мне довелось познакомиться, воспринимали эту книгу как часть собственной национальной литературы, и они также не раз говорили мне, что могли бы показать ту улицу, площадь или здание, где разворачивалось действие того или иного эпизода. Конец 1990-х годов — период повышенного интереса к этому романтическому повествованию, созданному шестьюдесятью годами ранее, хотя никто, похоже, не понимал причин этого интереса. В тот свой приезд я навестил одного иранского кинопродюсера, проживавшего в Баку в роскошной, только что отремонтированной, многокомнатной квартире, которая находилась в обветшавшем здании, и он даже поведал мне о своих планах экранизировать эту книгу. Правда, не получив необходимого финансирования, переключился на бакинские эпизоды «Джеймса Бонда», занявшись организацией их натурных съемок. Однажды я посетил Национальное литературное общество, и его председатель в красках описал мне страсти, кипевшие в научных и правительственных кругах Азербайджана вокруг проблемы авторства этого романа. Личность Курбана Саида — объснял он мне — уже давно привлекала к себе

пристальное внимание и была предметом различных спекуляций, однако, к счастью, теперь все окончательно и бесповоротно разрешено: Курбан Саид — это псевдоним Юсифа Везира, азербайджанского писателя, чьи сыновья, братья Везировы, очень активно занимались не только увековечением его памяти, но и тем, чтобы он по праву был признан автором этого национального азербайджанского романа.

Позднее, прочитав некоторые из коротких рассказов и повестей Везира, я был немало удивлен тем, что гипотеза о его авторстве вообще рассматривалась всерьез. Везир был откровенным, пламенным националистом, из его вещей со всей очевидностью следует: этническое и культурное смешение — идея неправильная, зловредная, более того — это предательство интересов родины. А Курбан Саид в «Али и Нино» страстно отстаивал как раз принцип этнического, культурного и религиозного смешения, ассимиляции. Самые выразительные и проникновенные эпизоды романа передают космополитичную атмосферу Кавказа накануне революции, когда племена и религиозные группы сражались друг с другом лишь в поэтических поединках на рыночной площади, и внушают читателю мысль о том, что любое разделение людей отвратительно и ведет к геноциду.

Через несколько дней я уговорил Фуада предоставить мне свой офис, чтобы взять интервью у одного из братьев Везировых. Во время своего выступления на заседании азербайджанского парламента, доказывая, что именно его отец написал «Али и Нино», он дошел до утверждений, будто вся линия любви юноши и девушки разных вероисповеданий появилась в тексте в результате злокозненной деятельности переводчика. Я питал слабую надежду, что обстановка офиса Интерпола поможет нам установить правду. Однако во время нашей встречи этот лысый, неулыбчивый человек, одетый в плохо сидящий, советского покроя серый костюм, предъявил мне великое множество документов, которые убеждали лишь в одном: едва ли не каждый житель Баку по своим собственным соображениям стремился доказать, что именно ему принадлежит авторство этого романа.

Предисловие к английскому переводу «Али и Нино» тоже не вносило ясности, поскольку говорилось в нем следующее: «Автор романа скрыл свою личность под псевдонимом Курбан Саид, и никто, по-видимому, не знает наверняка истинного имени человека, который за ним скрывается. По национальности он был татарин, умерший при неизвестных обстоятельствах».

Казалось, что, куда бы я ни направился, Курбан Саид преследует меня. Например, единственной книгой на английском

языке, которую продавали в магазине сувениров бакинской гостиницы «Хайатт Ридженси», был затрепанный томик в мягкой обложке под названием «Нефть и кровь на Востоке». Текст над фотографией бьющего из земли нефтяного фонтана и нефтяников в папахах гласил, что написал эту книгу автор «Али и Нино» Эсад-бей (Лев Нусимбаум[7]). А как же тогда Курбан Саид? Краткая справка, помещенная в книге и принадлежавшая перу азербайджанского ученого, призвана была прояснить ситуацию: «Эсад-бей, автор собранных в этой книге рассказов, перешел в иудаизм и принял имя Лев Нусимбаум. Затем он переехал в Берлин, где вошел в круги немецких интеллектуалов. В начале 1930-х годов переехал в Вену, чуть позже опубликовал свой прелестный роман “Али и Нино” под псевдонимом Курбан Саид. В 1938 году, когда в Австрию вошли германские войска, попытался бежать из страны. Вскоре он был арестован и перевезен в Италию. Там в 1942 году он умер от гангрены, поранив ногу».

Я сильно сомневался, чтобы кто бы то ни было решился перейти в иудаизм накануне своего отъезда в Германию в конце 1920-х годов. Однако отчего этот самый Эсад-бей изменил свое имя на «Лев Нусимбаум», а потом еще на «Курбан Саид»? И могли некто по фамилии Нусимбаум написать национальный азербайджанский роман? Что общего он имел с Курбаном Саидом? У книги «Нефть и кровь на Востоке» был подзаголовок: «Нефтяная промышленность и торговля нефтью в Азербайджане», — и трудно было представить себе, что тот же самый автор мог написать «Али и Нино».

Однако позже я обратил внимание, что и там и там описываются соревнования ашугов на сельских рыночных площадях — поэтические состязания, в которых сходились нищие и аристократы, христиане и мусульмане. В романе победитель с отвращением плюет, когда герой задает ему вопрос, рад ли он победе:

— Это нельзя считать победой, ага. Вот раньше были победы! Лет сто тому назад победитель мог отрубить голову побежденному. Тогда очень уважали искусство. А мы разнежились, ослабели. Сейчас никто не отдаст жизнь за строчку стиха.

И хотя роман явно писала более уверенная рука, в обеих книгах живо проступала эта особая черта дореволюционного Азербайджана, делавшая его похожим на страну Оз. Ирония судьбы заключалась в том, что деревни поэтов-ашугов находились в Нагорном Карабахе, как раз в тех местах, где ожесточенная война между армянами и азербайджанцами, христианами и

мусульманами, в начале 1990-х годов практически уничтожила всякую жизнь и где оружием были отнюдь не поэтические сравнения или метафоры.

Однажды, когда мы любовались огромным запущенным особняком Теймура-бей Ашурбекова с облупившейся краской на лестничных клетках, расписанных танцующими девушками, Фуад спросил меня, не желаю ли я встретиться с дочерьми бывшего владельца этого дома — Сарой и Мириам. Теперь их фамилия звучала как Ашурбейли, поскольку правительство Азербайджана в постсоветское время переиначило все местные имена и фамилии на турецкий лад. Сестры, девяноста двух и девяноста четырех лет от роду, принадлежали к немногочисленным оставшимся в живых бакинцам — потомкам нефтяных магнатов прежней эпохи. Я решил было, что мы найдем их в каком-нибудь темном углу этого грандиозного здания, однако мы вернулись к нашему белому автомобильчику и вскоре были у наводящего уныние дома позднесоветской эпохи. В крошечную квартирку нас впустила Мириам, младшая из двух старух. Старшая сестра, Сара, ожидала нас, сидя за столом, где красовались заварочный чайник и явно не сегодня купленная коробка шоколадных конфет. Помимо обширной библиотеки в квартирке нашлось место еще и для стиральной машины, буфета, обеденного стола и двенадцати кошек. Несмотря на чинимые властями препоны, сестрам удалось отличиться в науках и даже сделать известную карьеру: Мириам была геологом, а Сара — ведущим специалистом по истории средневекового Азербайджана[8].

По-немецки и по-французски — этим языкам их научили еще в детстве — они рассказывали нам о своей жизни до революции. Вспоминали, что их отец приглашал в свой дом людей всех национальностей и любого общественного положения, поскольку образование и ум значили в его глазах гораздо больше, чем социальный статус, хотя сам он происходил из весьма привилегированной семьи и унаследовал огромное богатство — Ашурбековы финансировали, например, строительство двух из четырех тогдашних мечетей в Баку.

Сестры показывали мне стопки пыльных фотографий: мужчины в фесках и в вечерних костюмах, направляющиеся в оперу; верблюды рядом с «роллс-ройсами». Описывали людей, которых их родители принимали у себя дома в те времена, когда христиане, иудеи и мусульмане (правда, все — крупные капиталисты) запросто общались друг с другом на банкетах, светских вечеринках и многочисленных приемах. Сам Ашурбеков выше всего ценил европейскую культуру. Его дочери запомнили Баку своей юности как место, где ислам и Восток в целом

преломлялись через увеличительное стекло европейской огранки, полировавшееся частыми поездками на Запад.

— Моему отцу приходилось много работать, — рассказывала Сара, — но он постоянно говорил нашей матери: «Повези детей в Европу!»

Сара показала мне фотографию, на которой она, еще ребенком, стояла в окружении маленьких светловолосых детей, одетых в немецкие национальные костюмы.

— Это я в Баден-Бадене в 1913 году, я в тот раз выиграла конкурс красоты, — сказала Сара. — А Мириам заплакала и спросила маму: «Ты же всегда мне говоришь, что я самая красивая, почему же победила Сара?» И мама ответила ей: «Ты еще не подросла. Вот приедем на следующий год, настанет твой черед». Но на следующий год началась мировая война, а потом пришли большевики, и никто из нас в Европе больше не бывал.

Наконец, сестры Ашурбековы принесли последнюю фотографию — групповой снимок на Рождество, последнее перед Первой мировой войной. Своим костлявым пальцем Сара указывала на лица, и сестры вспоминали имена, национальности и религии каждого из детей, собравшихся тогда в их доме, причем там были дети и нефтяных магнатов, и бурильщиков, и слуг: азербайджанцы, армяне, мусульмане, иудеи, немцы, французы, русские. Вспоминали они и о том, как после прихода Красной Армии в 1920 году сложилась судьба каждого из этих детей, например вот этой красивой розовощекой девочки в цыганском наряде во втором ряду, или долговязого восточной внешности мальчика, наряженного казаком, в заднем ряду, около елки, или вот этого белокурого малыша в застегнутом на все пуговицы костюмчике. В самом центре в третьем ряду маленький мальчик с большими ушами, с несколько высокомерным, но открытым и смелым выражением лица уставился прямо в фотокамеру, демонстративно сложив руки на груди; на нем был застегнутый на все пуговицы бархатный пиджак с кружевным воротничком а-ля «маленький лорд Фаунтлерой»[9].

— А-а-а, это Левочка… Лева Нусимбаум, — сказала Сара. Ее сестра согласно кивнула и улыбнулась, видимо вспоминая что-то свое. — Он из еврейской семьи. Он был года на два моложе нас.

— Что-что? — удивился я, тут же вспомнив имя на обложке «Нефти и крови». — Вы точно помните, что его звали Лева Нусимбаум? Именно так?

— Ну, конечно же, Левочка Нусимбаум. Из всех детей самый остроумный, самый нарядный, его отец был богатый предприниматель здесь, в Баку. Матери у него не было, и родные всячески старались ее ему заменить. Он был очень славный, с

прекрасными манерами, и с раннего детства очень хорошо, совсем бегло говорил по-немецки. У них в гувернантках была, по-моему, настоящая немка.

— Наверное, из прибалтийских немок, — вставил слово Фуад. — Здесь очень часто брали в гувернантки немок из Прибалтики. Или француженок.

Я обратил внимание на двух-трех дородных «фройляйн», стоявших по обе стороны от группы детей, которые по случаю такой вечеринки были несколько неуместно разодеты в расшитые блестками вечерние платья.

— Он потом уехал из Баку, — сказала одна из сестер, — а гораздо позже нам кто-то сказал, что он вроде бы умер где-то в Италии…

Мне еще предстояло узнать, что впоследствии Лев Нусимбаум, он же Эсад-бей, он же Курбан Саид, стал известен и в Европе, и в США не только как автор нескольких бестселлеров — биографий царя Николая II и Сталина, но и как герой скандальной истории, которую освещала желтая пресса в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Когда в 1935 году он прибыл в США на трансатлантическом лайнере, «Таймс» напечатала статью об этом событии под таким заголовком: «Прибыл биограф царя: Эсад-бей утверждает, что русского царя никто не понимал». Он жил в Берлине в 1920-х годах, вращаясь в кругу лучших представителей русской эмиграции, к которому принадлежали семейства Пастернаков и Набоковых, а в 1930-х годах вошел в лучшее общество в Вене, Нью-Йорке и Голливуде. Однако и в годы его жизни никто по обе стороны Атлантики не знал, кем он был на самом деле. Так, уже находясь в эмиграции, в 1931 году, Троцкий писал сыну: «Кто все-таки этот самый Эсад-бей?»

Лишь благодаря письмам и другим материалам, обнаруженным в архивах фашистской полиции в Риме, в австрийском замке XIV века и даже в одном голливудском особняке, новые владельцы которого пытались выбросить «бумажки на иностранных языках», мне удалось проникнуть в удивительный лабиринт жизни этого человека, — в этот мир, уже забытый сегодня. Вскоре я уже и думать забыл о том, кто такие Курбан Саид или Эсад-бей, поглощенный другим, куда более сложным вопросом, — а кто был этот самый Лев Нусимбаум? Этим именем его нарекли при рождении, но, как я достаточно скоро понял, именно он сам, писатель, которого не раз обвиняли в том, что он превращает историю в сказочное повествование, был творцом бесконечной легенды о себе. Он был звездой журналистики времен Веймарской республики в Германии; он был и профессиональным «ориенталистом», пытавшимся добиться

в этом качестве расположения у Муссолини; он всему Берлину, включая собственную невесту, наследницу большого состояния, рассказывал, что является мусульманским аристократом — и при этом неизменно оставался тем самым еврейским мальчиком, который провел детство с книгами Киплинга, лежа на коврах в богатом особняке своего отца в Баку.

В некотором смысле Лев Нусимбаум относился к типажу, который часто встречался в XIX–XX веках, а ныне практически более не существует: это — еврей-ориенталист, то есть житель и знаток Востока. Этот феномен появился в викторианской Англии, когда молодые люди из влиятельных еврейских семей, которым уже удалось максимально встроиться в английское общество, такие, например, как Уильям Гиффорд Полгрейв и Бенджамин Дизраэли, вдруг принялись искать свои корни в пустынях Востока. Стремление к восточной аутентичности заставило Полгрейва играть множество ролей, подвергаясь смертельной опасности. В 1850-х годах под видом врача-мусульманина, а на самом деле выполняя тайные поручения иезуитов, он отправился на Аравийский полуостров. Его целью было привести в действие интригу, которую финансировал Наполеон III, желавший, чтобы арабы-бедуины подняли восстание против Османской империи, — за полвека до того, как на Ближнем Востоке появился Т. Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский). Настояв на том, чтобы иезуиты называли его «отец Коэн», Полгрейв тем самым вернулся к фамилии, от которой его предки еще в XVIII веке предпочли отказаться. Именно Полгрейв, он же «отец Коэн», попытался тогда обратить в христианство сторонников ваххабизма[10]. Его воспоминания о собственных приключениях на арабском Востоке были долгое время бестселлером в Англии, пока их не затмили мемуары Лоуренса.

Евреи-ориенталисты рассматривали Восток как пространство для поисков собственных древних корней, а не поисков экзотического «Другого» и считали арабов братьями по крови или «евреями-всадниками», как называл их Дизраэли. Между тем сегодня невозможно оценивать самого Дизраэли, руководствуясь стереотипами нынешнего, постколониального мышления: ведь нашептывая королеве Виктории, что она должна стать императрицей Индии, он вовсе не имел в виду, что Запад должен владеть Востоком, господствовать над ним. Наоборот, Дизраэли преклонялся перед Востоком, боготворил его, а посему и мечтал о создании некоей Британско-восточной империи, которая вместила бы в себя лучшее из обоих миров. Ей надлежало быть британской, чтобы в ее организации, в самой структуре восторжествовали британские практичность и здравомыслие, и в

то же время стать восточной, направляемой мудростью и глубиной Востока, истолковать которые для Запада предстояло уже обитавшим в Англии представителям этого самого Востока — евреям.

Существовавшее тогда мнение, будто евреи оказались для Европы чужеродным, восточным племенем, было продиктовано, разумеется, антисемитскими инсинуациями, однако евреи-ориенталисты перевернули его парадоксальным образом и стремились играть свою древнюю роль: быть знатью, аристократами пустыни. При этом они пытались сблизиться со своими утраченными сородичами, с «блудными братьями» на Востоке и сделать более понятной для Запада культуру семитских народов, в том числе исламскую. Евреи-ориенталисты, в узком смысле последнего понятия, были специалистами на поприще восточных религий, языков и антропологии Востока, хотя их роль в ориенталистике зачастую игнорируется[11].

Помимо ученых были в ту эпоху и евреи, которые в буквальном смысле слова растворились в своих мечтаниях и поползновениях обрести свою «восточную идентичность», — именно так случилось с Львом Нусимбаумом. Облачаясь в одежды бедуинов или дервишей для длительных путешествий и работы «в полевых условиях», эти евреи-ориенталисты, по-видимому, ощущали качественно иную, психологическую, душевную трансформацию, нежели интересовавшиеся Востоком неевреи. И хотя большинство из них выступали за создание государства евреев в Палестине, сионизм у них нередко причудливым образом вписывался в «пансемитскую», промусульманскую картину мира.

После завершения Второй мировой войны сама идея еврейского ориентализма потерпела крах, поскольку противоречия между иудеями и мусульманами достигли на Ближнем Востоке трагических, гигантских масштабов, совершенно похоронив воспоминания об их общем прошлом. Причины, по которым арабам и евреям не удается наладить нормальные отношения и в наши дни, представляются очевидными и неизбежными. А вот обстоятельства, позволявшие им некогда прекрасно уживаться друг с другом, ныне забыты.

Пытаясь разгадать тайну Льва Нусимбаума, я оказался в призрачном мире беженцев и людей без гражданства, который возник после революции в России и завершения Первой мировой войны, а также в результате событий в Германии, заложивших фундамент для развития нацизма и приведших ко Второй мировой войне. Ведь Льва, по существу, настигли, одна за другой, две революции: одна в России, а другая, пусть и называвшаяся иначе, — в Германии. На протяжении совсем недолгого времени с

карты мира исчезли целые империи, множество людей не смогли пережить их, а некоторые — как Лев — до конца своих дней спасались бегством, чтобы сохранить собственную жизнь.

Когда я впервые увидел его фотографии, он сразу же напомнил мне моего двоюродного деда Лолека, сумевшего пережить распад Австро-Венгерской империи, вовремя покинуть Третий рейх и объявившегося в Нью-Йорке в 1930-х годах — они со Львом были практически одного возраста. Герой моего детства, Лолек, а также его бесчисленные приятели привнесли в Вашингтон-Хайтс, один из уголков Манхэттена, ставший их гнездом, особенный мир изощренного остроумия и жизненной умудренности. С детства помню, как я обожал слушать рассказы Лолека о его жизни в империи Габсбургов; меня неизменно пленяло то обстоятельство, что у моего деда был «свой император», что император этот был добрым, хорошим государем и что после его кончины на весь мир опустилась тьма.

Лев, принявший мусульманство и одновременно обожавший русского царя, был, как мне казалось, близок моему двоюродному деду — социалисту, боготворившему императора Франца-Иосифа.

Лолек много рассказывал и о 1920-х годах, этом времени ожиданий, когда практически у каждого имелось немало идей на предмет переустройства мира и когда могло, казалось, случиться все, что угодно, — а когда «что угодно» случилось на самом деле, все друзья Лолека и мои родственники неожиданно оказались в западне. Но в своих рассказах Лолек ухитрился представить мне первую половину XX века как цепь веселых историй, как последовательность совершенно удивительных приключений, в которые оказывались замешаны и он сам, и его многочисленные друзья, а также его старший брат Янек, которого все звали «Быком», поскольку он был невероятно силен. А потом он рассказал мне, как пытался убедить этого Янека, моего родного деда, перейти вместе с ним границу, чтобы, пока не поздно, оказаться в Швейцарии. «Понимаешь, у твоего деда была семья, — сказал Лолек. — Вот он и не решался оставить их, не забрав с собой. Но что ему стоило уйти со мной, а потом уже выписать их к себе?»

Чувство юмора у моего двоюродного деда — а это был особенный юмор, каким отличались только жители Вены, — было способно превратить даже душераздирающее повествование о бегстве от нацистов в нечто, весьма похожее на выкрутасы знаменитых американских комиков братьев Маркс. Я был готов без конца выслушивать историю о том, как его подруга спряталась на балконе, когда гестаповцы ворвались в ее квартиру, затем, пока они проводили обыск в одной комнате, зашла с

балкона в другую, а потом — наоборот, и в результате чудом осталась на свободе! «Ты все же должен понимать, — говорил мне Лолек с улыбкой, как бы посмеиваясь над этой ситуацией, — что это все вовсе не смешно: ведь если бы она попала им в лапы, они бы ее убили».

Когда летом 1994 года Лолек умер, эта своеобычная культура его родной австрийской Галиции и Вены конца XIX века ушла для меня навсегда. Ведь то, что он вообще выжил в ту эпоху, было невероятной случайностью — можно сказать, что ему просто повезло. Например, он получил австрийский паспорт в 1919 году, когда империя Габсбургов развалилась; а мой дед Янек, хотя они были родные братья и жили в одном и том же городе, получил уже польский паспорт. Из-за этого Янека в 1942 году отправили в Аушвиц, а Лолек смог спастись и даже добрался до Нью-Йорка.

Я, подобно другим детям евреев (да и неевреев тоже), рос, без конца представляя себе в своих фантазиях, как бы я вернулся назад на машине времени и смог бы все же перехитрить, обмануть нацистов. У Льва Нусимбаума хватило смелости и сил прожить подобную фантазию до самого конца. Когда большевики захватили Баку, они с отцом умудрились бежать оттуда и вместе с караваном верблюдов странствовали по пустыням Туркестана и по просторам Персии. Позже Льву удалось ускользнуть от большевиков, притворившись одним из них; затем он пересек всю Европу и в 1923 году, в последние дни существования Османской империи, принял ислам в посольстве этой империи в Берлине. Все эти события случились в его жизни еще до того, как ему исполнилось восемнадцать лет, — и это лишь начало его приключений.

Однако для меня куда существеннее, несравненно интереснее, чем все его спасительные побеги, чем любые перемены его облика, то, что на протяжении всей своей жизни он отказывался играть роль, которую ему так желали навязать всевозможные идеологи XX века. Ведь после Первой мировой войны большинство евреев в Германии всеми силами старались ассимилироваться, а Лев делал все возможное, лишь бы выделиться на общем фоне как лицо постороннее, чтобы предстать чужаком. Он всегда одевался в свободно ниспадавшие, просторные одежды, носил тюрбан, хотя вращался среди завсегдатаев модных кофеен в Берлине и Вене. Правда, усвоенная им роль храброго воина пустыни в конечном счете сыграла с ним самим злую шутку. Он предпочел остаться в Европе, не стремясь использовать представлявшиеся ему возможности для спасения: ведь он мог переехать в Нью-Йорк, найти там приют у богатых родственников жены. Даже когда из оккупированной нацистами

Вены ему удалось вырваться в Северную Африку, он предпочел вернуться домой, в самый центр фашистской Европы, словно существовала некая удивительная сила притяжения, удерживавшая его в орбите тех самых сил, которые стремились его уничтожить.

К своему тридцатилетию Лев уже опубликовал шестнадцать книг, большая часть которых стали бестселлерами в разных странах мира, а одна была признана подлинным литературным шедевром. Но истинный его дар заключался в умении создавать облик, переменчивый, как Протей: ведь до самой своей смерти в 1942 году Лев водил за нос большинство представителей фашистского истеблишмента, пускаясь на все более смелые хитрости и уловки, словно вор, проникший на бал-маскарад.

Столкнувшись с притеснениями со стороны как коммунистического, так и нацистского режима, Лев сумел выжить, лишь противопоставив грубой силе силу собственного воображения. Он ухитрился одновременно пребывать в обличье еврея, мусульманина и немца, однако, надевая на себя одну из этих личин, он никогда не отбрасывал остальные две — он упорно не желал быть зачисленным в какую бы то ни было категорию, носить какое бы то ни было клеймо. Он был бестия и обольститель, однако ни разу не проявил себя как аферист, как мошенник, пусть его в этом и обвиняли. Он был идеологическим Гудини[12], он стал, если так можно выразиться, религиозным и расовым трансвеститом, преодолевшим границы между религиями и расами в эпоху, когда именно раса и религия были застывшими, фиксированными понятиями, столь же определенными, как смертный приговор.

Непреходящее очарование старинных бумаг, этих свидетелей времени, хранимых в картонных коробках, в гардеробах, в ящиках комодов, всякий раз поражало меня, пока я искал сведения о Льве. За четыре года розысков мне удалось обнаружить более трехсот его частных писем, не известных другим исследователям; удалось найти несколько его неопубликованных рукописей; отыскал я и рукопись воспоминаний, написанных его берлинским однокашником. Однако главной находкой оказались его предсмертные дневники. Эти шесть исписанных мелким почерком тетрадей, это заключительное повествование Льва о себе самом — хаотичное, неорганизованное, эпическое, оно тем не менее позволило мне получить достаточно четкое представление о его жизни.

Письма его обнаружились на вилле в пригороде Милана, где пролежали пять десятилетий. Это продолжавшаяся три года переписка между Львом Нусимбаумом и Пимой Андреэ[13],

светской львицей эпохи Муссолини. Пима, узнав о том, что Эсад-бей, писатель, которого она обожала, живет в Италии в стесненных обстоятельствах, без куска хлеба, без необходимых ему лекарств, сама написала ему. Его книги она любила за своеобычные взгляды на монархию, за нелюбовь к сталинской России, и именно поэтому порекомендовала ему прочесть книги… Курбана Саида, не подозревая, что Курбан Саид и Эсад-бей — одно и то же лицо. В то время у него не было ни гроша за душой, он был серьезно болен, а законы военного времени заставили итальянскую тайную полицию держать его под домашним арестом. Пима выслала ему денег.

Несколько лет подряд, между 1939 и 1942 годами, Пима попросту помогала Льву выжить. Что еще важнее, она завязала с ним переписку, которая превратилась во взаимную «интеллектуальную влюбленность» и стала для него последней дружбой, последней нитью, связующей его с внешним миром. Правда, Пима была еще менее уравновешенной натурой, чем сам Лев, и, несмотря на то, что он ничего от нее не скрывал, он ни разу не проговорился ей о своем происхождении. Влиятельная дама из немецко-итальянской семьи, Пима держала салон, к которому принадлежал целый ряд тогдашних ведущих интеллектуалов — фашистов и нацистов, в том числе и из Америки, таких, как Эзра Паунд, и члены семьи самого Муссолини, причем иногда они даже жили на ее вилле в Рапалло.

Пима написала Муссолини, ходатайствуя за Льва. Писала она и еще одному человеку, которого Лев называл «мистер Эзра», и этот второй адресат обещал сделать все, что в его силах, дабы помочь товарищу по перу. 22 июня 1942 года, в одном из самых странных писем за весь период их переписки, Лев взволнованно писал Пиме: «А государственные инстанции вдруг вспомнили обо мне. Через три недели, всего лишь через три недели, я снова получу от них какие-то деньги, если, конечно, доживу до этого. Ведь я, несмотря ни на что, все же хочу жить. Мы, конечно, в скором времени победим в этой воине, и вот тогда я уже определенно, первым делом приеду к вам с визитом — иного я себе просто не представляю. Ах, победа будет такой восхитительной!»

В этом письме «мы» означает — нацистская Германия.

Но сколь бы захватывающими ни оказались для меня все эти письма и документы, ничуть не менее удивительными были люди, с которыми мне доводилось встречаться, пока я изучал жизнь моего героя. Среди них баронесса Эренфельс, к которой я отправился на свидание в замок Лихтенау. Это не та баронесса, что взяла себе, как мне сообщили в Вене, псевдоним Курбан Саид:

та была второй женой барона Эренфельса. Нынешняя же баронесса, третья жена барона, поведала мне историю собственной жизни, а потом отвела меня в помещение в одной из башен замка, в подвал, заваленный до потолка фамильными документами и фотографиями…

Позже, когда я вернулся в США, мне удалось встретиться с Питером Вирэком, отец которого, Джордж Сильвестр Вирэк, был «нью-йоркским другом» Льва и его соавтором. Кроме того, Вирэк-старший, по-видимому, первым из американских журналистов взял интервью у Гитлера.

Фанатичный германофил, он впоследствии пытался пропагандировать свою идею, что можно быть приверженцем нацизма, оставаясь филосемитом. При этом он ссылался на то, что сам поддерживал отношения как с Гитлером, так и различными «неарийцами» типа Зигмунда Фрейда. В конце концов Вирэка даже посадили в американскую тюрьму как нацистского агента. Яркие, противоречивые натуры, подобные Вирэку, — живое свидетельство царившего в ту эпоху смятения в умах. Вспомним хотя бы то, что один из ведущих американских журналов в 1931 году в качестве своих главных авторов называл таких, мягко говоря, разных писателей, как Лев Нусимбаум, Ленард Вулф, Йозеф Геббельс и Томас Манн…

Необходимо упомянуть и женщину, передавшую мне удивительные записные книжки Курбана Саида и саму по себе совершенно удивительную. Побывав в Позитано, на могиле Льва, над которой установлен белый мраморный пилон с мраморной же чалмой наверху, так что кажется, будто стоишь перед очень худым, изможденным человеком в восточном головном уборе, я в очередной раз отправился в Вену. Там я пытался разыскать, хотя и без особых надежд на удачу, последнего издателя и редактора Льва Нусимбаума — Терезу Киршнер. В 1930-х годах она была «арийским» секретарем издательства, принадлежавшего «неарийцам», а когда ее хозяевам-евреям пришлось бежать из страны, чтобы спасти свою жизнь, она купила у них издательство за одну тридцатую его стоимости.

Один из знатоков германского исламизма, с которым мне удалось побеседовать в Берлине, упомянул, что она живет в Вене, однако, по его впечатлениям, фрау Киршнер (которая теперь носила фамилию покойного мужа — Мёгле) оберегала свое прошлое и не желала обсуждать его с кем бы то ни было.

Фрау Мёгле не значилась в телефонном справочнике, но я просто пришел по тому адресу, где прежде помещалось ее издательство, и в списке жильцов у входа в подъезд нашел фамилию Мёгле, а под ней — логотип издательства, которое она

переименовала в 1940 году в «Терезе Киршнер Ферлаг». Я решил не звонить к ней в квартиру, а отправился к себе в номер, чтобы написать ей на бланке гостиницы, подчеркнув, что меня интересует лишь некий автор по имени Эсад-бей и, соответственно, любые ее воспоминания, связанные с ним самим и его произведениями. Я отправил это письмо с посыльным. Спустя всего двадцать минут, когда я пил кофе в фойе гостиницы, меня подозвал к телефону консьерж: с вами хочет поговорить некая фрау Тереза Мёгле, сказал он. Я пригласил ее пообедать со мной в ресторане, изо всех сил стараясь правильно говорить по-немецки.

В лице фрау Мёгле было что-то орлиное. Ей уже исполнилось девяносто шесть лет, однако она выглядела гораздо моложе своего возраста и говорила о своих авторах как старая учительница, которая вспоминает учеников из давно выпущенного класса. Большинство их были евреями, и уже в первые несколько недель после аншлюса они бежали из Вены, а вот издательство еще в течение двух лет продолжало получать доходы от продажи их книг. Фрау Мёгле говорила об их неожиданном отъезде с каким-то странным негодованием: «Один автор взял да уехал, ничего не сказав, просто снялся с места и пропал, а мне еще пришлось возиться с его делами».

Выяснилось, что память у фрау Мёгле удивительная, она точно помнила лица конкретных людей, названия их рукописей, выплаченные денежные суммы. Ее воспоминания о послевоенном времени перемежались рассказами о пожертвованиях, которые она сделала в счет различных обществ помощи африканским детям. «Я ничего дурного не делала, — беспрестанно повторяла она, — понимаете, я хороший человек, я спасала людей, я стольких спасла, мне пришлось для них так много сделать, я не могла видеть людские страдания». Наконец, разговор о той обременительной задаче по присмотру за делами бежавших из страны авторов-евреев снова вывел нас на Эсад-бея.

К этому времени мы уже шли по улице в сторону квартиры фрау Мёгле, к бывшему офису ее издательства. «Волшебно написано, это действительно одна из его лучших вещей», — сказала она об «Али и Нино», а когда мы вошли к ней в квартиру, спросила, не читал ли я еще один роман, который он написал под псевдонимом Курбан Саид. Он называется «Ничего не понимавший про любовь». Я признался, что даже названия такого не слышал.

Лукаво взглянув на меня, она встала и вышла в соседнюю комнату. Я решил было, что она собралась показаться передо мной в очередном своем меховом манто из морского котика —

она уже успела продемонстрировать мне несколько шуб различного покроя, — однако она вернулась с перевязанной голубой ленточкой стопкой из шести записных книжек в кожаных переплетах. Она положила их передо мной и развязала ленту. «Я хранила их у себя в шкафу более пятидесяти лет. Я могла бы получить за них целое состояние, но я не алчный человек, так же, как я и не дурной человек, верно?»

Я взял первую записную книжку в обложке из коричневой кожи с глубоким тиснением. На первой, пожелтевшей, ломкой страничке сверху было написано детским почерком — «Курбан Саид». А чуть ниже: «Der Mann, der nichts von der Liebe verstand», то есть «Тот, кто ничего не понимал про любовь». Еще ниже — «Роман. Книга первая». Я прочел вслух по-немецки первое предложение, написанное неуклюжими каракулями:

> Боль сильнее жизни, она сильнее смерти, любви, верности, долга.

На одной из следующих страниц, пробегая глазами неровные чернильные строчки, я прочел: «Эта книга не литературное произведение. Сейчас, перед лицом смерти, я лишь хочу обозреть собственную жизнь… Я намерен сколь возможно правдиво записать события своей странной жизни, своей судьбы».

Фрау Мёгле сказала, что Эсад-бей передал ей эти шесть записных книжек, свое последнее произведение, когда она ездила повидаться с ним в Позитано. «Он хотел, чтобы я их опубликовала, и я бы, конечно, на этом заработала целое состояние, но я не смогла. Сил не было читать это, ведь так ужасно было чувствовать его боль, я сохранила их, но так ничего с ними не сделала. Если хотите, можете взять их себе и прочитать».

Вскоре я ушел от нее, из этого старого многоквартирного дома. В тот вечер в Венской опере был бал, и по улице, несмотря на снегопад, шли празднично разодетые люди, мужчины в смокингах, дамы в бальных платьях. Я прижимал к груди эти записные книжки, чтобы они не намокли от снега. Почему Лев отдал эти записи фрау Мёгле? И почему она отдала их мне? Вернувшись к себе в номер, я бросился на кровать и тут же раскрыл первую записную книжку.

И записи синеватыми чернилами, сделанные его убористым почерком, поведали грандиозную, невероятную историю его жизни.

Часть первая

Глава 1. Революция

Лев Нусимбаум родился в октябре 1905 года, когда культурная толерантность богатых бакинцев стала исчезать. 17 октября 1905 года Николай II издал манифест о конституции, однако сделано это было ради того, чтобы притушить нараставшие волнения. На улицах Баку появились казаки, разгонявшие граждан, превративших свой прежде многонациональный город в зону военных действий, где восторжествовали средневековые обычаи. Богатые виллы, обитатели которых принадлежали к той или иной этнической или религиозной группе, вызывавшей ненависть у толпы, порой оказывались в настоящей осаде.

Подобно многим писателям, родившимся на закате империи, Лев идеализировал мир своего детства и отрочества. Этот мир рухнул на пятнадцатом году его жизни и рухнул так стремительно, что, спасая свою жизнь, множеству людей пришлось бежать из домов, буквально от накрытых к обеду столов… Лев вспоминал о Баку как о месте, где доброжелательность, расположение к людям существовали с глубокой древности, и объяснялось это относительной слабостью местных правителей. На протяжении всей своей жизни сам он последовательно выступал как противник революции, заменившей сложное переплетение древних религий и культур примитивной уравниловкой. Для Льва революционные политические перемены навсегда запомнились как «яростное безумие, захлестнувшее город»:

> И вот на лицах вдруг появились гримасы. Они выражали все то адское, животное, тупоумное, на что только способна человеческая природа.
>
> Словно подвижные черты человеческих лиц, некогда благородно застывшие, насильно смягченные, теперь смогли обрести свою истинную свободу, отныне являя миру лишь примитивные, зверские, «свободные» выражения. Власть большевиков началась с того, что человеческое лицо превратилось в гримасу.

В архивах Баку нет записи о рождении Льва Нусимбаума[14]. Как нет такой записи и в архивах Тифлиса, Киева, Одессы или Цюриха. В рассказе, опубликованном в 1931 году в одной берлинской газете, он признает, что места своего рождения назвать не может:

> Родился в…? Уже с этого начинается загадка моего существования. Ведь большинство людей могут назвать дом или хотя бы населенный пункт, в котором они появились на свет. К этому месту или к этому дому человек впоследствии совершает паломничества — с тем, чтобы предаваться сентиментальным воспоминаниям. Мне же для этой цели пришлось бы оказаться в купе скорого поезда. Ведь я родился во время первой забастовки железнодорожников в России, среди просторов русских степей, где-то между Европой и Азией, когда моя мать возвращалась из Цюриха, этого гнезда русских революционеров, в Баку, где проживала наша семья. Как раз в день моего рождения царь обнародовал свой манифест, в котором он даровал жителям России политическую конституцию. А в тот день, когда меня привезли в Баку, город был уже охвачен пламенем революции и в нем началась резня, устроенная чернью. Меня несли до дома отца в корыте, а отец чуть было не выгнал на улицу мою няньку вместе со мной. Так началось мое существование на этом свете. Отец мой был нефтепромышленник, крупный магнат, мать же — радикально настроенная революционерка.

Согласно этому варианту, Лев оказывается в самом центре исторического переворота, который определил его последующую жизнь, и впоследствии, рассказывая о своей семье и о своем происхождении, он ни разу не отклонился от этих основных фактов[15].

Правдивость этой истории[16] подтверждают свидетельства независимых источников, в том числе воспоминания бонны Льва немки Алисы Шульте, написанных в 1940-х годах. Она была единственной свидетельницей того, как мальчик, за которым она всю жизнь преданно ухаживала, превратился в затравленного, преследуемого человека.

Уже первая книга Льва, «Нефть и кровь на Востоке», заложила основы для дальнейших мифов, к которым он не раз будет возвращаться. В ней рассказ о его собственной жизни переплетается с историей Кавказа. Лев знакомит читателей со своим отцом, Абрамом, рассказывая о том, как он прохаживался туда-сюда перед бакинской тюрьмой «в восточной бараньей шапке на голове, с янтарными четками в руках, без которых в Баку невозможно существовать». Лицо Абрама потемнело от местного, жаркого солнца, правда, в другой книге Лев приписывает его смуглоту турецкой и персидской крови.

Согласно свидетельству Льва, отцу удалось выкупить из тюрьмы его будущую мать, «молоденькую, темноглазую девушку, члена российской большевистской партии»: она ожидала высылки за ведение политической агитации, однако Абрам сразу женился на ней и ввел ее в свой гарем. Правда, мать Льва быстро взяла власть в доме в свои руки и этот гарем ликвидировала.

Версия о том, что Абрам Нусимбаум был мусульманским аристократом персидско-турецкого происхождения — или кем угодно еще, но только не евреем с европейским образованием, — составляла часть того мифа, который Лев создавал преднамеренно. На самом деле свидетельство о рождении Нусимбаума-отца сохранилось. Происходил он из евреев-ашкенази[17] и родился 24 августа 1875 года в Тифлисе (Тбилиси), который с тех пор, как Кавказ оказался под властью России, был столицей Тифлисской губернии и всего Кавказского наместничества. Его родители переехали на Кавказ не то из Киева, не то из Одессы, этих двух крупных центров черты оседлости, где процент еврейского населения был достаточно высок. Территории, находившиеся ранее в составе Речи Посполитой, — Белоруссия, Литва и западная часть Украины, были присоединены к России при разделах Польши в 1772,1793 и 1795 годах[18]. В результате этого присоединения помимо миллионов славян, как православных, так и католиков, подданными Российской империи стали и около полумиллиона евреев. До присоединения польских территорий евреев в России практически не было, и страна оказалась не готова к тому, чтобы воспринять новую религиозно-этническую примесь. Официальное решение «еврейского вопроса» в России свелось к одному: ограничить проживание всех евреев территориями тех бывших польских воеводств, которые оказались под властью Екатерины Великой, так называемой «чертой оседлости». По сути дела было создано крупнейшее в истории гетто, огромная географическая тюрьма для новоявленных «российских» евреев.

В истории России бывали периоды, когда накал религиозных страстей в России доходил до того, что даже собственных православных правителей часть подданных считала еретиками. Так, во всяком случае, относились к ним старообрядцы, апокалиптически настроенные фундаменталисты, которые протестовали против изменений в богослужебном чине Русской православной церкви, предпринятых в XVII веке с целью привести его в большее соответствие с ритуалом церкви Греческой. Старообрядцы, убежденные, что следование новым обрядам не позволит им обрести вечное спасение, даже совершали в знак протеста массовые самосожжения (правда, на момент, когда

родился Лев, их в России, по ряду оценок, было все же около тринадцати миллионов[19]).

Распространена была и так называемая ересь «жидовствующих», последователи которой не признавали божественной природы Христа и следовали только Ветхому Завету, почитали не воскресенье, а субботу и соблюдали целый ряд других иудейских обычаев, хотя отнюдь не считали себя иудеями. Жидовствующими заинтересовался царь Иван III, их представителей пригласили в Москву, и в последние десятилетия XV века им удалось обратить в свою веру немалое число знати, так что исповедующие православие ощутили потребность противодействовать опасной тенденции — некоторые ересиархи были сожжены. Православное духовенство заставило царя изгнать иудеев, они были объявлены вне закона в середине XVI века, и именно по этой причине в Российской империи их не было, когда в ее состав в конце XVIII века вошли территории, объявленные чертой оседлости. Иудаизм, подобно масонству, с которым его часто смешивали, особенно после того, как русские масоны обратились к каббале и начали избирать из своей среды священнослужителей, которых называли «коэнами», рассматривался как слишком опасное и вредное для России вероучение.

Желая избежать религиозных смут, власти стремились обратить в христианство новых подданных-евреев. В 1817 году царь Александр I лично основал Общество израильских христиан[20], однако нанести поражение иудаизму оказалось куда труднее, чем победить Наполеона. Более того, среди крепостных крестьян и торговцев в регионах, граничивших с чертой оседлости, даже проявились признаки образования новых сект «иудействующих». Религия оставалась настолько взрывоопасной и неупорядоченной силой в России, что, когда в 1825 году Александр I умер во время своей поездки к Черному морю, многие были уверены том, что на самом деле он сделался старцем Федором Кузьмичом. На протяжении XIX века в России было высказано немало идей относительно того, как надлежит поступить с «чужеродным» элементом, то есть с евреями. В конце XIX столетия Константин Победоносцев предлагал разрешить «еврейский вопрос» в России посредством «третей»: предполагалось, что треть евреев эмигрирует, треть примет христианство, треть вымрет от голода. Охранка, царская полиция, сфальсифицировала документ, ставший известным как «Протоколы сионских мудрецов» — мнимый план еврейского заговора по распространению мировой революции. Во время неудачной революции 1905 года погромы, прокатившиеся по

России, ужаснули весь мир.

В этой огромной антисемитской империи Кавказ представлял собой редкостный оазис. Здесь евреи были лишь одним из прочих национальных меньшинств, древним народом, который пользовался всеобщим уважением. На территорию современного Азербайджана евреи бежали после разрушения в 70 году Второго храма, тут растворились после исламского завоевания Персии и потомки тех иудеев, что оставались в ней со времен Вавилонского пленения. Даже жидовствующие, эти «нееврейские евреи» России, нашли здесь убежище, поселившись в XIX веке в лесных районах на границе Азербайджана и Ирана. В глазах мусульманских владык, правивших на большей части Кавказа, положение евреев как людей Писания ставило их на более высокий уровень по сравнению с зороастрийцами или представителями других языческих сект[21].

Евреи-ашкенази тайно уезжали на Кавказ из черты оседлости на протяжении всего XIX столетия — для этого нужно было только пережить несколько дней плавания по Черному морю. Количество таких переселенцев заметно увеличилось с началом нефтяного бума, после 1870 года.

Возможно, дед Льва Нусимбаума переехал из черты оседлости в Тифлис в 1850-х или 1860-х годах, а его отец, Абрам, уехал из Тифлиса в Баку в начале 1890-х годов. Хотя Лев умалчивал об этом периоде семенной истории, можно предполагать, что для Абрама Нусимбаума Баку стал тем же, чем для его современника Осипа Бененсона, тоже еврея-ашкенази, разбогатевшего на бакинской нефти[22]. Дочь Бененсона, Флора, вспоминала, что вскоре после своей женитьбы в 1880-х годах ее отец порвал со своими родственниками, жившими в черте оседлости, потому что «стремился на далекий Кавказ, край, который в девятнадцатом веке являлся предметом романтических устремлений любого российского юноши». Однако Бененсон — продолжала Флора — не был романтиком; у него в жилах текла кровь игрока, она и оторвала его от родных корней.

Евреев в Баку было не очень много, так что Бененсоны и Нусимбаумы принадлежали к одному кругу. Абрам Нусимбаум составил состояние на перепродаже нефти, а Бененсонов бакинская нефть сделала одной из богатейших семей в России. В 1912 году они приобрели особняк в Санкт-Петербурге неподалеку от Зимнего дворца. Первое празднование еврейской Пасхи в Санкт-Петербурге — согласно воспоминаниям Флоры — резко контрастировало с многонациональной атмосферой Рождества в Баку, во встрече которого в том же самом году участвовал Лев. Перед самым пасхальным седером, вспоминает она, «когда уже

все было приготовлено, наш буфетчик привел в будуар к моей матери целую депутацию слуг. Они выполнили всю работу по дому, сказал он, но теперь они желают удалиться из дома. “Мы не можем сервировать стол, пока вы употребляете кровь христианского младенца. Мы вернемся завтра”, - сообщил буфетчик моей матери». Имея деньги, евреи легко могли обойти ограничения, предусмотренные чертой оседлости и поселиться в любом месте Российской империи. Но лишь на Кавказе можно было забыть о клейме иудея, и самым веротерпимым городом на всем Кавказе был Баку, столица Азербайджана.

Персидское слово «азер» означает «огонь», и, возможно, именно с обилием нефти и газа связано то, что на территории современного Азербайджана находился центр зороастризма. Вообще, в этом регионе можно обнаружить все известные человечеству религии. В Древнем Риме еще продолжали казнить христиан, а соседние с Азербайджаном Армения и Грузия уже приняли новую веру. Когда в VIII веке мусульманские армии двинулись на завоевания окружающих территорий, часть христиан, зороастрийцев и язычников Азербайджана перешла в ислам, но очень многие делать этого не стали. Ислам, таким образом, оказался лишь одной из множества религий региона. Три столетия спустя изгнанные из Палестины крестоносцы нашли прибежище в горах Азербайджана, где основали царства, просуществовавшие много веков. Культура Азербайджана развивалась параллельно с культурой соседней Персии, и сегодня это единственная, помимо Ирана, мусульманская страна, которая официально исповедует шиизм: здесь поклоняются целой плеяде святых мучеников, которые восходят к Али, двоюродному брату и зятю самого пророка Магомета. Азербайджанские ханы нередко захватывали персидский трон, а начиная с XVI века все персидские правители были азербайджанского происхождения.

В зону влияния России регион попал в начале XIX века. После того как царские войска завоевали Кавказ, азербайджанцы оказались отрезанными от консервативных шиитов Ирана и сделались «европейцами». Умм-Эль-Бану Асадуллаева, уехавшая из Баку в эмиграцию и написавшая свои воспоминания в Париже под псевдонимом Банин, рассказывает, что в ее собственной «правоверной мусульманской семье» женщины интересовались главным образом одеждой и украшениями, мебелью из Парижа и Москвы, а также игрой в карты. Отец Банин, в прошлом крестьянин, стал миллионером после того, как на его земле была найдена нефть. Ее тетки, «эти толстые усатые брюнетки», целыми днями курили, сплетничали и «с непревзойденным азартом и страстью играли в покер». Банин так вспоминает Баку своего

детства (начало XX века): «Коран запрещает азартные игры, но в карты в Баку играли все, и в результате огромные суммы переходили из рук в руки. Поскольку Пророк проклял вино, здесь стали употреблять крепкие алкогольные напитки, такие, как водка и коньяк, оправдываясь тем, что эти напитки Пророк не запрещал. Запрещалось также воспроизводить изображение человеческого лица, однако у фотографов не было отбоя от клиентов. Мусульмане фотографировались в профиль, а в анфас только на фоне картины с пейзажем или гардины».

Нефтяной бум в США начался после того, как в 1859 году в Пенсильвании ударил первый нефтяной фонтан, а в регионе нынешнего Баку своеобразный «нефтяной бум» существовал уже около двух тысячелетий. Здешняя нефть горела еще в светильниках храмов огня Заратустры, а Марко Поло называл нефть главным товаром, который торговцы перевозили по Великому шелковому пути. «Черное золото», постоянно сочащееся из-под земли, стало источником поклонения для зороастрийцев. Старцы, поклонявшиеся огню, приходили сюда даже из далекой Индии. Для остальных нефть-сырец была просто густой грязью, позволявшей тысячам жителей этих мест зарабатывать себе на пропитание. Впрочем, нефть отравляла почву, заставляя местных жителей уходить в поисках незагрязненных земель на новые места.

Нередко воспламенялись даже воды Каспия — когда нефтяная пленка на его поверхности становилась слишком плотной. «Я помню эти пылающие волны, — писала одна из старых эмигранток, вспоминая свое детство в Баку, — помню, как они освещали ночь, когда их испарения вдруг взрывались тысячами огней». До XIX века нефть по большей части использовали в различных мазях и лекарственных составах. Считается, что в Средние века именно нефтяные испарения уберегли Баку от «черной смерти» — эпидемии чумы.

Во время своей поездки по Кавказу в 1850-х годах Александр Дюма с восторгом отзывался о жителях Азербайджана, в которых он почувствовал тот дух свободы и отвагу, что были присущи его легендарным мушкетерам. Между прочим, он записал тогда в своем дневнике: «Побывать в Баку — все равно, что проникнуть в одну из самых неприступных цитаделей Средневековья». Впрочем, очень скоро от Средневековья почти ничего не осталось. Ведь уже в середине XIX века, когда из нефти начали вырабатывать керосин, который быстро заменил дорогостоящую ворвань, китовый жир, был дан старт Веку Освещения! Керосин практически в одночасье стал самым ценным товаром на свете, и можно сказать, что силы, которые породят позднее

рокфеллеровскую «Стандарт Ойл», были высвобождены именно в Баку.

Нефтяные фонтаны в Баку по своим масштабам и мощи были для того времени невиданными. Эти дикие, вулканические извержения нефти — некоторые из них даже получали имена, например, «Кормилица» или «Золотой базар» — подолгу не удавалось обуздать. Побережье в окрестностях Баку порой становилось черным, и на нем появилось столько деревянных и алебастровых буровых вышек, что не видны были подходившие к порту суда.

К 1901 году бакинские месторождения давали половину мировой добычи нефти. Баку стремительно превратился в многонациональный город, и число приезжих — русских, грузин, осетин, представителей других национальностей со всех концов света — превысило количество азербайджанцев. Между 1856 и 1910 годами население Баку росло быстрее, чем в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Братья Нобель, которые контролировали нефтяную отрасль в первые десятилетия бума, придумали нефтеналивное судно — танкер. Основную часть своего состояния Нобели нажили как раз на бакинской нефти.

Тем не менее к началу XX века половина бизнеса, связанного с транспортировкой и добычей нефти, уже перешла в руки местных предпринимателей. Среди так называемых «нефтяных баронов» были как вчерашние крестьяне, так и представители аристократии — все, кому посчастливилось пробурить скважину в правильном месте. Кстати, братья Нобель выкупали скважины и у новоиспеченных нефтяных баронов, и у мелких предпринимателей. Так, согласно документам бакинских архивов, незадолго до начала Первой мировой войны Абрам Нусимбаум продал братьям Нобелям большую часть своих скважин, что оказалось весьма своевременным решением.

Нувориши, разбогатевшие на нефти, стремились превратить свой город из провинциальной дыры в самый прекрасный исламский город на свете, органично сочетающий традиции Востока и Запада. Мусульманские нефтяные бароны стремились продемонстрировать всему миру недавно приобретенное богатство. Попутешествовав по Европе, они заказывали архитекторам копии европейских дворцов, музеев и оперных театров, в которых им довелось побывать, в уверенности, что будущее их родного города связано с Западом, а не с Востоком. И хотя часть азербайджанцев-мусульман отвергала саму мысль о том, что женщины могут получать образование, выступать на сцене или же работать в учреждениях, положение на перекрестке между Востоком и Западом пошло городу на пользу.

Баку — последний крупный город, построенный до того, как Первая мировая война развеяла миф о том, что Запад способен бесконечно расширять сферы своего влияния, оказывая цивилизующее воздействие на завоеванные народы. В этом городе нищета и богатство, современность и древность существовали бок о бок: газовое освещение и телефон соседствовали с верблюжьими караванами и аскетичными паломниками-зороастрийцами. Некий британец, побывавший там в те годы, писал: «Здесь кажется, будто находишься где-нибудь на крайнем Западе Америки: та же атмосфера новизны во всем, тот же дух оптимизма. Все преисполнены надеждами на лучшее будущее».

Однако в 1905 году этот регион оказался залит кровью: Российская империя пережила тогда свою первую революцию. Беспорядки от берегов Корен докатились до Невского проспекта в Санкт-Петербурге, не пощадив и Баку. Тяжелое поражение в Русско-японской войне 1904–1905 годов активизировало деятельность леворадикальных террористических организаций: целый год в России не утихали волнения, происходили этнические столкновения.

В год рождения Льва террористам удалось убить или ранить более трех с половиной тысяч правительственных чиновников в России — притом что революционный кризис миновал острую стадию благодаря обещанию царя провести конституционную реформу. К политическому насилию в те годы добавлялось насилие на религиозной и этнической почве.

Различные головорезы, религиозные фанатики, бандиты и террористы стекались в Баку, ведь этот город, обладавший огромной притягательной силой, был передним краем капитализма. Левые — большевистски настроенные группы — грабили банки и казенные учреждения, чтобы получить средства на финансирование своего движения. Правые — царские казаки — стремились подавить беспорядки.

Тридцать пять лет спустя уже на смертном одре Лев вспоминал: «В день моего рождения по бакинским мостовым, сделанным точь-в-точь как в Европе, текла кровь… В домах полыхали пожары, и казаки на своих низкорослых конях с короткими гривами носились по всему городу». Кровь, о которой говорит Лев, была армянской. Армяне мирно и благополучно жили в Баку сотни лет. Однако, когда прежний порядок обрушился, это меньшинство приняло на себя первую волну начинавшегося хаоса. Пожалуй, наиболее яркие воспоминания о событиях того времени, опубликованные в журнале «Азия»[23], оставила молодая армянка по имени Армен Оганян. Вот что она пишет: «Тысячи мертвых лежали на улицах, трупами были

завалены и христианское, и мусульманское кладбища. Запах разложения душил нас. Повсюду женщины с безумными глазами разыскивали своих детей, а мужчины рылись в грудах разлагающихся тел. В передней нас встретил лакей. “Царь даровал им конституцию! — сказал он, и я обратила внимание на его почти неподвижные губы: — Отныне всякий волен творить все, что заблагорассудится. И вот… вот теперь казаки жгут наш квартал…” Весь город горел, и даже волны Каспийского моря, покрытые нефтью от горящих скважин, окатывали берег огненными языками, как будто из пасти огромного дракона истекало пламя. Так казаки отметили конституцию, которую царь дал России после своего поражения в войне»[24].

В конце концов революционные выступления и беспорядки прекратились, и многие думали, что автократическая, неповоротливая царская империя еще способна к реформам. Однако хаос 1905 года и сопровождавшая его бойня были многократно, чудовищно усилены во время катастрофических событий Первой мировой войны. В конечном счете царский режим пал, сменившись еще более жестокой тиранией, и в числе величайших, но почти не упоминаемых утрат того времени окажется динамичный, интернациональный дух капиталистического соперничества на Каспии, когда все были «преисполнены надеждами на лучшее будущее».

Я поначалу думал, что Лев изображал свою мать революционеркой лишь ради большего эффекта, для того чтобы показать распад привычного, старого мира на примере собственной семьи: ведь, вызволив будущую мать Льва из царской тюрьмы, его отец тем самым посеял горькие семена своего грядущего краха. Однако если сообщения Льва о том, что его отец — мусульманский аристократ, действительности не соответствуют, то сведения о матери основаны, как мне удалось выяснить, на реальных фактах. Не исключено, что возникший в пределах одной семьи антагонизм между нефтяным бароном и коммунисткой и стал причиной ее гибели в 1911 или 1912 году, когда ей самой не исполнилось и тридцати лет от роду, а Льву было всего шесть или семь.

Когда Лев описывал жизнь своей семьи, он всегда изображал отца властным хозяином, главой семьи, мусульманином азиатского происхождения, однако практически ничего не рассказывает о матери — ни о внешности, ни о характере, ни о ее родне, словно для революционерки все это не имеет значения. Тем не менее он сообщает одну достаточно необычную подробность: будто мать его происходила из дворянской русской семьи. Это превращало «Берту Слуцкую», а именно под таким

именем она значится в архивах фашистской полиции в 1930-х годах, в женщину, которая, изменив своему классу, попала в водоворот революционных событий и не смогла из него самостоятельно выбраться, пока отец Льва не вызволил ее из тюрьмы. В наиболее подробном из некрологов Льва о его предках по матери говорилось следующее: «Слуцкие были одной из русских дворянских семей, и во главе ее стоял боярин Слуцкий, занимавший важный пост при дворе царя Василия Темного. В царствование Иоанна IV один из членов этой семьи был обезглавлен. Родословная Слуцких приведена в Третьей части родословных дворянских книг».

Сам Лев ни разу не писал о своей матери столь подробно — по крайней мере, до тех пор, пока обстоятельства не заставили его предоставить «абсолютно достоверные сведения об арийском происхождении на протяжении последних трех поколений». В том, что он писал о матери, всегда присутствовала преднамеренная неопределенность. А вот сведения об отце он на протяжении своей карьеры писателя и «специалиста по вопросам Востока» выстраивал непрестанно и весьма тонко, впрочем постоянно видоизменяя и дополняя их. Близкие друзья понимали, что все это полная чепуха, ведь после знакомства с отцом Льва, много лет жившего в одной квартире с сыном, сначала в Берлине, потом в Вене, всякому становилось ясно, что никакой он не азиатский феодал. Мне удалось найти нескольких знакомых отца и сына Нусимбаумов, которые поведали, что, хотя элегантный, щеголеватый Нусимбаум-отец впечатление производил самое приятное, в нем не было заметно ничего специфически мусульманского.

Я уже было отчаялся найти хоть какие-то сведения о матери Льва. Никто не помнил ни ее саму, ни рассказов сына о ней. Самое удивительное, что в его предсмертных записках, где подробнейшим образом описываются все, кто хоть что-то значил для него, матери посвящено одно-единственное предложение: «Моя мать меня родила — и это все, что она для меня сделала».

Я уже смирился с тем, что так и не узнаю правды, как вдруг мне сообщили, что меня разыскивает какой-то человек, израильтянин. Как выяснилось, он уже звонил в журнал «Нью-Йоркер», где была опубликована моя статья о Льве, однако в тот раз мне его телефон не передали. Теперь он решил действовать через израильского издателя книги «Али и Нино», который, наконец, дал ему телефон моего литературного агента. И вот секретарша агента передала мне, что со мной желает связаться… родственник Льва Нусимбаума.

Но разве у Льва Нусимбаума были родственники? Я гадал,

ждет ли меня грандиозный прорыв в моих поисках или же фантазии какого-нибудь чудака. Наконец я получил обстоятельное электронное письмо. Его автора интересовала «трагическая судьба Льва Нусимбаума (Асад-бея, Кутбана [sic!] Саида)». Последние десять лет он занимался розысками, связанными с историей его семьи, и выяснил, что Лев, или «Лева», как его называли родственники, был кузеном его бабушки. Он хотел бы установить контакт со мной — писал он в этом письме, — потому что я, читавший неопубликованные воспоминания Льва, те самые шесть записных книжек в кожаных переплетах, мог бы, по его разумению, помочь «развеять некоторые тайны», связанные с его родственниками. Более конкретно — он хотел бы получить любые сведения «о самоубийстве матери Льва, которое она совершила, когда ему было восемь лет, а также о четырех годах его супружеской жизни с дамой из Германии».

Я сразу ответил ему, и вскоре у нас состоялся долгий телефонный разговор.

Для начала я решил повторить собеседнику лишь то, что уже содержалось в моей статье, напечатанной в «Нью-Йоркере»: мне хотелось убедиться, что мы вообще говорим об одном и том же человеке. Например, в той статье я еще не упоминал имени матери Льва. Но этот человек сам принялся рассказывать мне всю историю семьи Слуцких. Когда он поведал мне о том, что сестры его бабушки, Тамара, Софья и Берта, в конце XIX века покинули Белоруссию, чтобы добраться до Баку, и что Берте, возглавлявшей «экспедицию», удалось в конце концов выйти замуж за бакинского миллионера Нусимбаума, стало ясно, что он — именно тот, кто был мне так нужен. Так я узнал, что мать Льва была еврейкой. Подобно его отцу, она происходила из семьи евреев-ашкенази, проживавших в черте оседлости, и не имела никакого отношения к русской аристократии.

Итак, картина стала проясняться. Лев всю жизнь, даже в разговорах с самыми близкими людьми, яростно отрицал, что его мать — еврейка. И хотя друзья знали, что мусульманское происхождение отца — чистейший вымысел, никто не сомневался, что его мать — христианка и русская дворянка, посвятившая себя делу революции. Однако израильский родственник Льва, ныне пенсионер, а в прошлом научный работник, создал подробнейшее генеалогическое древо своей семьи и выяснил, что мать Льва приехала в Баку из бедной белорусской деревушки, которая называлась Петровичи. Фамилия Слуцкина свидетельствовала о том, что предки ее отца были из городка Слуцка, всего в пятидесяти километрах от этой деревни.

Мать Берты была еврейкой и по материнской, и по отцовской линии. Девичья фамилия матери Берты была Ратнер, Слуцкин был ее первым супругом, после него она побывала замужем еще раз — за неким господином Кацем.

Чаще всего Лев трактовал еврейскую проблему, в том числе и в разговорах с высокопоставленными фашистами, как нечто, не имевшее никакого отношения к Кавказу, где расовые и племенные отношения были сложными, многогранными, весьма изменчивыми. «Все кавказские народы, без исключения, унаследовали какие-то свои черты у евреев, — писал он. — Это могут быть какие-то ветхозаветные слова, которыми они пользуются в своих молитвах, или какой-нибудь обычай — например, жениться на вдове покойного брата. А еврейские черты лица широко распространены среди жителей Кавказских гор». Однако мать из черты оседлости — совсем иное дело, об этом ни в коем случае не следовало упоминать. Особенно упорным желание Льва подчеркнуть свое арийское происхождение стало в последние годы жизни, когда он готов был доказывать его любому, кто готов был слушать. Так, он писал Пиме Андреэ в 1942 году: «Разумеется, кое у кого имеются причины считать, будто моя мать — еврейка. Ведь ее родня из Слуцка, того Слуцка, которого сегодня уже не существует. Правили Слуцком князья, которых по-русски так и называли — Слуцкие. Эти земли принадлежали им еще во времена Василия Темного. Это были московские князья, а все, кто жили на их землях, были их подданными. У простых людей, у бедняков, тогда долгое время вообще не существовало фамилий, а это означает, что подданных князей Слуцких звали только по именам: например, Иван, крепостной Слуцких, а по-русски — Иван Слуцкин. Существовал только один княжеский род Слуцких. Хотя вообще Слуцкиных имеется великое множество, причем среди них немало и литовцев, и евреев.

Я сам знал несколько человек с такой фамилией».

Я узнал от своего израильского собеседника о семье Берты куда больше, чем, судя по всему, когда-либо знал сам Лев: во многих своих письмах он жалуется, что и отец, и другие ближайшие родственники попросту отказывались говорить с ним о Берте. «Поверь, для тебя лучше всего — ничего не знать», — однажды сказала ему младшая сестра Берты, Софья, когда он донимал ее просьбами хоть что-нибудь рассказать ему о матери. А через некоторое время израильский родственник Льва связал меня с еще одним их родственником, который оказался попросту бесценным свидетелем. Это был Ноам Эрмон, элегантный восьмидесятилетний мужчина, он родился в Берлине в 1923 году,

однако всю жизнь прожил в Париже — за исключением недолгого периода в годы нацистской оккупации, когда он вынужден был скрываться, переехав в Италию. Берта приходилась ему теткой, но Ноам ни разу ее не видел. А его мать, Тамара, сестра Берты, была со Львом в доверительных отношениях. В десятилетнем возрасте Ноам однажды виделся со Львом в Париже, но ему запомнилось лишь то, что Лев «никогда не улыбался». Благодаря ему я смог наконец составить более или менее целостную картину жизни Берты.

В нашем первом разговоре господин Эрмон рассказал мне, что Берта и ее сестры уехали из Белоруссии в Баку, потому что отец их умер, а мать, хотя она снова вышла замуж, не могла прокормить их, — в общем, три сестры оказались, по сути, сиротами. Он также подтвердил, что Берта действительно покончила с собой. Никто, правда, не знал в точности, что было причиной этого; его собственная мать, которая в то время жила в ее семье, рассказывала ему, что Берта была «настроена крайне революционно» и что в доме на этой почве произошла какая-то серьезная ссора. Лев писал Пиме, что еще подростком нашел у них дома в Баку два письма своей матери, и это были «очень революционные письма». Позже, когда мы встретились в Париже, Ноам, со слов своей матери, сообщил мне, что Берта покончила с собой, выпив кислоты.

При Льве родственники всегда вспоминали об этом лишь как об «ужасном случае», о «трагедии». Именно так говорили о случившемся все, кто знал Берту (если об этом вообще упоминалось): скупо, с темными намеками, даже с обвинительными интонациями. «Она поступила правильно для своего времени. У нее не было выбора. Хотя впоследствии оказалось, что это ошибка. А больше я тебе ничего не могу сказать» — вот все, что поведала Льву его тетка Софья. В другой раз, когда он был в Париже, другая тетка, Тамара, сказала ему, разрыдавшись: «На самом деле во всем виноваты двое — ты и твой отец». Надо ли удивляться, что Лев от таких слов приходил в бешенство. Да и что могли означать ее слова? Пиме он писал, что не перестает страдать от мысли, что он, ребенок шести или семи лет, каким-то образом мог быть виноватым в случившемся несчастье.

Могла ли Берта принимать активное участие в революционном движении в Баку и могло ли так получиться, что необходимость служить прямо противоположным принципам разбила ее жизнь? Черта оседлости была в XIX веке плодородным полем, породившим немало революционеров, и мужчин, и женщин, а в Баку первая революционная ячейка появилась еще в

1900 году — за несколько лет до приезда Берты в город. Армия рабочих нефтепромыслов — уже подготовленный пролетариат, составлявший почти четверть населения города, — привлекла к себе соперничающие фракции меньшевиков и большевиков, жаждавших увлечь их за собой. В письмах к Пиме Лев упоминает об одном удивительном и неожиданном знакомстве матери. В нескольких письмах, в 1940 и в 1941 годах, он бранит некоего Pockennarbige (Рябого, или Семинариста). Так Лев называл только Иосифа Сталина. Сталин, тогда еще Иосиф Джугашвили (его лицо в самом деле было рябым от перенесенной в детстве оспы)[25], известный также под партийной кличкой «Коба», обосновался в Баку в 1907 году, когда ему исполнилось двадцать семь лет, и прожил там — наездами — до 1912 года. Порой он попадал в тюрьму, чаще находился на нелегальном положении. Исключенный из Тифлисской духовной семинарии в 1899 году, всего за год до посвящения в духовный сан, Сталин присоединился к революционному движению в Грузин, причем стал известен как организатор насильственных «экспроприаций», то есть ограблений банков и отделений государственного казначейства в целях финансирования разрастающегося большевистского движения (эта тактика получила одобрение самого Ленина). Единственным альтернативным источником финансирования партии на этом этапе были пожертвования со стороны состоятельных доброжелателей и покровителей.

Лев подробно рассказывал Пиме, как его мать помогала Семинаристу, более того, в одном из своих писем за 1940 год он писал, что знает об этом от самого Сталина. Их встречи якобы имели место в Баку, примерно в 1920 году, незадолго до того, как Лев вместе с отцом навсегда покинули город, — Сталин тогда ненадолго появился в Баку вместе с победившими большевиками. Быть может, Лев приукрашивал собственную роль как свидетеля революционных процессов? Теперь это невозможно проверить. Позже Лев не раз намекал, что Сталин имеет некое отношение и к знакомству его родителей, и к начавшемуся между ними разладу. Надо помнить и другое: Берта и Сталин, который недавно оказался в Баку, еще не являясь значительной фигурой в революционном движении, были тогда примерно одного возраста. И у него были все причины для того, чтобы искать контактов с симпатизирующей революции молодой женщиной, вышедшей замуж за богача. Как бы то ни было, трудно представить себе кого-то из культурной, утонченной семьи Нусимбаум в качестве сообщника Кобы Джугашвили, который на тот момент еще был чем-то средним между бандитом и радикальным студентом-догматиком. Однако возможную ниточку я обнаружил. В какой-то

статье Лев однажды заметил: «Моя мать, так же, как и Красин, который в то время был управляющим электростанцией в Баку, финансировала подпольные коммунистические издания Сталина — с помощью своих бриллиантов». Я перечитал это предложение раз шесть, прежде чем до меня дошло, что хорошо бы узнать, кто такой этот Красин, ведь он едва ли мог, казалось мне, иметь отношение к Леониду Красину, центральной фигуре революции в России, близкому другу и одновременно сопернику Ленина. Однако, как выяснилось, это был тот самый Красин! Как писал Алан Мурхед в своей книге «Русская революция», Красин представлял собой «превосходный пример человека, ведущего двойную жизнь. Для властей это был преуспевающий инженер; однако на самом деле он — тайный большевистский агитатор, развивший бурную деятельность. Он руководил нелегальной типографией, переправлял большевистских агентов через границу Российской империи, а по совместительству еще и изготавливал бомбы для террористов».

Итак, Красин и Сталин занимались в Баку примерно одним и тем же. Сталин едва ли был вхож к бакинскому нефтяному комиссионеру, а вот Красин — этот «безукоризненно одетый, эрудированный, утонченный, культурный человек, обладавший изящными манерами и невероятным шармом» — запросто мог оказаться за обеденным столом Абрама Нусимбаума, пусть даже на самом деле и мечтал погубить его. Двойная жизнь, ничего не скажешь… Зная все это, вполне можно предположить, что уличенная в пропаже бриллиантов Берта (а ее, скорее всего, действительно уличили, вследствие чего и начались те самые скандалы, которые помнила росшая в этом доме ее младшая сестра Тамара) просто не видела для себя иного выхода из создавшегося положения. Возможно, муж обвинил ее в том что она делает все для его разорения и гибели. Можно только попытаться представить себе, какие страдания она пережила, чтобы решиться выпить кислоту («Она ведь ужасно мучилась», — сказал мне Ноам).

Лев явно был осведомлен о случившемся: в своих письмах он говорит о совершенном его матерью преступлении, «поскольку я так это тогда воспринимал, и я по-прежнему так к этому отношусь». Она, по его словам, «отравила жизнь моего отца, а также, пусть в меньшей степени, мою жизнь» Его ожесточение в отношении собственной матери нередко перекидывается на Сталина: «Он отнял у меня мою родину, мой дом, вообще все». В 1931 году Лев опубликовал одну из первых биографий Сталина, ставшую тогда бестселлером, с подзаголовком «Карьера фанатика».

Если мать семейства принадлежит к подпольной революционной организации, это, конечно, всегда явление из ряда вон выходящее, однако в Российской империи начала XX века — куда менее необычное, нежели в любую другую эпоху и в любом другом месте. В этот период женщины составляли почти треть членов боевой организации социалистов-революционеров, этого террористического крыла наиболее революционной партии в России. Молодые женщины изготавливали бомбы, они планировали и совершали политические убийства, они доказывали свое равноправие с мужчинами фанатизмом, беззаветной смелостью и жестокостью. Образцом для них были такие революционерки, как Вера Засулич, которая еще в 1878 году пришла на прием к главе полицейского управления Санкт-Петербурга, чтобы выразить свой протест по поводу жестокого обращения в полицейском участке с одним из революционно настроенных студентов. Она стояла в очереди среди прочих просителей и, когда полицейский чин подошел к ней, вынула из своей муфты малокалиберный пистолет и выстрелила в него в упор, серьезно его ранив. На суде, невзирая на все доказательства противного, присяжные сочли ее невиновной, поскольку ее покушение на полицейского, как они признали, было вызвано благородным «состраданием»: Засулич стреляла в начальника полиции потому, что он приказал выпороть одного из студентов. Она тут же стала героиней либеральных салонов, которые отныне сочли необходимым нападать на представителей правительства — ради торжества революционных перемен.

Парадокс, однако, состоял в том, что госпожа Засулич сотоварищи встали на путь террора, чтобы бороться с самым либеральным правительством в истории России — более того, ее саму оправдали потому, что судили судом присяжных, который возник в России в результате либеральных реформ судебной системы, инициированной царем Александром II. «Революционная борьба», которая выразилась в появлении большого количества радикальных левых групп, выступавших за свержение автократического режима путем террористических действий, на самом деле привела к поражению либеральных реформ в стране. Единственный царь, которого террористам удалось убить, был именно Александр II, прогрессивный монарх, всем известный как «Царь-освободитель».

3 марта 1861 года, то есть за два года до того, как Авраам Линкольн объявил об освобождении американских рабов, Александр II подписал манифест, давший свободу крепостным крестьянам в России. Хотя аналогию между президентом-республиканцем и самодержцем в России не следует заводить

слишком далеко, все же Царь-освободитель собственной волей покончил с печально знаменитой полурабской системой, желая блага своей стране. В России антикрепостническое движение набирало силу на протяжении всех 1850-х годов. Тургеневские «Записки охотника», в которых крепостные представлены как нормальные, полноценные люди, сыграли ту же роль, что и «Хижина дяди Тома» в Америке. Каково было мнение самих крепостных по этому поводу — вопрос совершенно отдельный, однако дворяне, действовавшие из лучших побуждений, его, как правило, вообще не знали. Граф Лев Толстой понял, что́ думают об этом его крестьяне, когда еще в молодости, в двадцать восемь лет, попытался освободить их, продав им землю, которую они обрабатывали. Его крепостные не только отказались от предложения получить волю, но и были против самой идеи выкупа земли, которую они обрабатывали: они ведь считали ее своей коллективной собственностью, принадлежащей им от рождения. В отличие от рабов, крепостные крестьяне были обязаны платить налоги, их призывали на военную службу, и они имели право владеть землей, хотя к середине XIX века количество крестьянских владений было весьма незначительным. В начале 1790-х годов, когда был казнен король Франции, русская императрица Екатерина II осуществила нововведение с целью не допустить развития революционной ситуации в России: она даровала права исключительно дворянам. До сих пор в России все права принадлежали исключительно монарху, поэтому реформа Екатерины была воспринята как важный шаг на пути прогресса, начало становления просвещенного гражданского общества. Теперь российские дворяне были освобождены от наказания кнутом, от необходимости платить подушный налог и от вероятности быть арестованными по произволу верховного правителя. Отныне никого из них не дозволялось лишать жизни, имущества или дворянского титула без предварительного суда присяжных, в числе которых были одни лишь дворяне. Однако, получив новые права, дворяне по-прежнему обращались с крепостными крестьянами, как с рабами.

В 1830-х годах статус дворянина в России зависел от количества «душ», которые ему принадлежали. При этом русское дворянство все сильнее ощущало себя частью европейской элиты, и его представители все чаще чувствовали личную вину за устаревшую систему, когда крестьяне были прикреплены к принадлежавшей дворянам земле. Противники крепостного права обычно предлагали продавать небольшие участки земли освобожденным от крепостной зависимости крестьянам, но так, чтобы те после своего освобождения отдавали часть урожая

владельцу земли, которую они обрабатывали. Крепостные, однако, вовсе не считали, будто у дворян имелось право что бы то ни было им продавать. Ведь в крестьянской среде в России уже существовал своеобразный, органичный социализм: согласно такому, традиционному, укладу земля находилась в собственности у сельской общины, которую называли «мир», и именно мир предоставлял право обрабатывать отдельные участки — в зависимости от размеров крестьянской семьи и ее потребностей. Некоторые реформаторы, такие, как князь Кропоткин, ставший впоследствии известным анархистом, формулировали свои представления о социализме, идеализируя общественные отношения, существовавшие среди принадлежавших его семье крепостных. Крепостные крестьяне верили, что, поскольку свободу даровал им царь, он же обязан был признать и их право владеть землей, иначе кому нужна эта свобода — сама по себе, без земли?!

Александр II взошел на престол в 1856 году, полный решимости модернизировать страну с самых ее основ, и он не только занялся освобождением крепостных крестьян, но и реформировал целый ряд общественных институтов: были приняты законы о печати, ограничившие цензуру; о народном просвещении (в результате чего практически прекратился какой-либо контроль со стороны правительства при присуждении профессорских званий, а также появилась реальная свобода слова); о воинской повинности (был наконец отменен двадцатипятилетний срок службы по призыву); и о судебной реформе (вместо тайных правительственных, сословных судов отныне функционировали публичные суды присяжных). Царь-освободитель также серьезно улучшил положение евреев в России.

В своих «Воспоминаниях бабушки» Полина Венгерова, которая родилась в черте оседлости в 1833 году, описывает то состояние надежды, возникшее у всех членов ее семьи после того, как Александр II освободил от крепостной зависимости шестьдесят миллионов крестьян[26] и ослабил самые тяжкие оковы, от которых страдали евреи. «Царь, — пишет она, — открыл нам двери своих резиденций, и целые толпы еврейских юношей устремились в столицы, чтобы утолить свою жажду западноевропейского образования. В эту блестящую эпоху снова пробудился и обрел новые силы закабаленный дух евреев. Теперь еврей принимал участие в радостном оживлении великого народа, в подъеме искусств и ремесел, в развитии наук, внося свою лепту в духовное богатство страны»[27].

Важно напомнить об уже подзабытом оптимизме той поры

(когда, кстати, впервые возникло понятие — «гласность», то есть «открытость»), чтобы лучше понять истинный ужас случившегося дальше.

Правда, нелояльные правительству представители высших классов в годы правления Александра II воспользовались новыми свободами в университетах для того, чтобы стать членами организаций, отвергавших культурные традиции и все больше проповедовавших насилие. Тургенев, тонко улавливавший общественные настроения, в своем романе «Отцы и дети» назвал поколение 1860-х годов популярным новым словечком — «нигилисты». В «безумное лето» 1874 года российские студенты начали массами уходить из своих учебных заведений, чтобы принять участие в движении, получившем название «хождения в народ». Эти студенты одевались в крестьянскую одежду, женщины носили свободные белые блузки, черные юбки и коротко стригли волосы. Они, почти как американские хиппи в 1960-х годах, расходились из больших городов по деревням и селам, намереваясь сеять, пахать, подковывать лошадей. Но студентам пришлось пережить немалое потрясение, когда «народ», у которого подозрение вызывал уже их внешний вид, стал сдавать их местным полицейским. Уязвленные тем, что крестьянская среда не приняла их, наиболее радикально настроенные студенты вернулись в города, горя желанием вызвать общественные потрясения иными способами. Они и основали «Народную волю», организацию, которая объявила своей целью ведение борьбы с правительством средствами террора. «Идеалы Французской революции, задрапированные в варварские одеяния русского нигилизма, — вот что вдохновляло верхние слон санкт-петербургской молодежи», — напишет позже Лев Нусимбаум.

Изменив родословную матери, Лев почти в точности описал происхождение Софьи Перовской, самой знаменитой террористки «Народной воли». «Народная воля» была предшественницей организации социалистов-революционеров, членом которой, как утверждал Лев, являлась и его мать. Правда, если мать Льва происходила из бедной еврейской семьи, а таких, как она, было множество в революционном движении после 1900 года, то Софья Перовская представляла собой классический пример русской революционерки середины XIX века: взбунтовавшаяся наследница богатых родителей, враждебно настроенная по отношению к собственному кругу.

Отец Софьи занимал высокое положение, так же как и отец самого Ленина[28]. Подобно действовавшим сто лет спустя террористам из группы Баадера-Майнхоф или «Красных бригад»[29], Софья ненавидела весь правящий класс, к которому

принадлежала по рождению. Она ненавидела отца, ненавидела военных, а еще она терпеть не могла бесконечную болтовню мужчин — своих соратников по террористической организации… Она жаждала стать свидетелем того, как прольется кровь царя и произойдет революция вследствие организованного ею акта насилия. Революционерам не нравились постепенные реформы, проводившиеся царем: ведь их результаты могли удовлетворить жителей империи, примирить их с положением вещей. Революционеров же устраивало лишь насильственное свержение существующего строя.

В 1881 году Софья возглавляла группу из пяти террористов, ведшую наблюдение за маршрутом царского экипажа: царь регулярно выезжал из Зимнего дворца, чтобы посетить другие районы города. Они решили совершить подкоп под одной из улиц, по которым обычно проезжал царь, и в образовавшемся туннеле заложить динамит. При проезде царской кареты они собирались взорвать всю улицу, и хотя от взрыва могли пострадать десятки, а то и сотни случайных прохожих, в глазах народовольцев это был плюс: ведь тогда, по их расчетам, началась бы спонтанная революция. Террористы арендовали подвальное помещение на выбранной улице, чтобы начать рыть туннель, а для прикрытия своей деятельности открыли там сырную лавку. Однако в последний момент царь изменил маршрут, и все усилия по прокладке туннеля оказались тщетными. Но Софья незамедлительно привела в действие вторую часть своего плана. Один из членов «Народной волн» изобрел новый вид ручной гранаты — это была металлическая сфера, заполненная двумя склянками с нитроглицерином. Софья приказала своим сообщникам обогнать царскую карету и забросать ее этими бомбами. Правда, первый из боевиков неожиданно струсил, второй, девятнадцатилетний парень, промахнулся, и взрыв раздался уже после проезда императорской кареты, повредив ее заднюю часть, при этом были ранены два казака из числа государевой охраны, а также убит стоявший в толпе мальчишка — подмастерье пекаря. Этим бы все и обошлось, однако царь, не обращая внимания на просьбы перейти в другую карету и немедленно уехать с места покушения, двинулся назад по окровавленному снегу: он, видимо, намеревался встретиться лицом к лицу с тем, кто осмелился совершить это нападение, а также сказать слова утешения раненым. И тут третий террорист пробился навстречу ему, сквозь толпу, и швырнул бомбу с такого близкого расстояния, что промахнуться было уже невозможно — он и сам был убит взрывом. Царь лишь успел сказать своим охранникам, что не хочет умирать прямо на улице, и его отвезли

в Зимний дворец.

Как раз в тот день, когда народовольцы совершили покушение на Александра II, он успел подписать целый ряд уложений, касающихся юридических и законодательных реформ, которые вели Россию по пути ограниченного конституционного правления, в результате чего история страны могла пойти по совершенно иному пути. Убийство царя ожесточило его наследника, Александра III, превратив его в яростного реакционера: всего за несколько дней, одну за другой, он отменил все реформы своего отца. «Народная воля» тут же выпустила открытое письмо, предлагая властям «перемирие», если только правительство согласится незамедлительно провести необходимые преобразования согласно прилагавшемуся длинному списку неотложных требований. Однако Александр III вместо этого устроил охоту на членов «Народной воли», и Софья Перовская была повешена в присутствии восьмидесятитысячной толпы. Сам же государь до конца своих дней занимался подавлением всякого инакомыслия, будь то у террористов или у либералов. Вместо реформ, подписанных его отцом в день собственной гибели, Александр III подписал целый ряд законов, которые давали практически безграничную власть полиции, а также сыскному ведомству[30]. Российская империя отныне превратилась в настоящее полицейское государство.

Убийство царя Александра II похоронило все надежды на проведение настоящих политических реформ в России. Правда, несмотря на репрессии Александра III, террористические и революционные организации все равно процветали, особенно в годы правления его сына, Николая II, последнего царя России. Бомбы Софьи Перовской успешно выполнили обязательство, содержавшееся в уставе «Народной воли»: «совершить общественный переворот», и все оказалось куда серьезнее, чем она могла бы себе представить. В известной степени именно ее целеустремленность да несколько склянок с нитроглицерином, хитроумно упрятанных в бомбу, косвенно способствовали гибели десятков миллионов людей в следующем столетии в России — от голода или в лагерях. Так, по крайней мере, считал Лев Нусимбаум, всю жизнь одержимый мыслью, что все перевернул этот «бунт, настолько же бесовский, насколько и непостижимый». Его биография Николая II, вышедшая в 1935 году и ставшая бестселлером, начинается с того дня, когда погиб дед последнего царя. Лев описывает там, как после совершенного убийства вся царская семья перешла на новый режим существования, так что этот «тихий мальчик… с удивительно красивым разрезом глаз, тонкими, небольшими руками — Его Императорское Высочество,

Великий Князь Николай Александрович, наследник престола Всея Руси» рос «совершенно изолированным от окружающего мира, и притом не как царь, а как тюремный узник». Лев утверждает, что задолго до того, как боевики Софьи Перовской убили царя, царская семья чудом избежала нескольких покушений, так что в результате «члены императорской семьи постепенно начали подозревать глашатая смерти в любом незнакомце, любом встречном, в любом госте или в любом слуге». Множество страниц в книге Льва, которая в целом представляет собой вполне трезвое биографическое повествование о жизни Николая II, посвящены тому, как подействовали на юного царевича[31] убийство его деда и годы жизни в условиях постоянной угрозы террористической расправы над членами его семьи: «Долгая серия заговоров с целью покушения на жизнь его деда, пусть даже сам Николай не сознавал этого полностью, не могла не сказаться на нем, оставив в душе и уме ребенка свои, весьма заметные, красноречивые следы».

Ребенок, о котором идет речь в этом месте книги, — это не только юный Николай II, но и юный Лев Нусимбаум. Ведь биография последнего русского царя, которая была издана на девяти языках и имела большой международный резонанс, на самом деле представляла собой слегка завуалированную автобиографию. И пусть впоследствии ее автор из беженца-иудея стал блистательным мусульманином, писателем и искателем приключений, внутренне он все же идентифицировал себя с Николаем. Вот что он писал Пиме в 1940 году: «У меня и у царя — совершенно одинаковые характеры. <…> Я всегда поступал бы точно так же, как он».

Хотя он приобрел известность как тонкий интерпретатор и аналитик политических революций, на каком-то уровне революция для него всегда была связана с фатальным конфликтом его собственных родителей и с его ужасающими последствиями. Лев родился как раз тогда, когда многие годы террористической деятельности и реакционной политики царизма поставили общество на порог полного краха, и этот исторический кризис привел к противоречиям и надлому в его личности. Общественные силы, действовавшие на момент его рождения, вынуждали его одновременно ощущать себя и чрезмерно опекаемым, и брошенным на произвол судьбы. Они заставили его тосковать о прошлом — причем с того самого момента, как он осознал, что это прошлое существует.

Глава 2. Горские евреи

Самая ранняя из доступных мне фотографий Льва изображает его в костюме кавказского горца: он позирует в великолепном белом одеянии с газырями и в огромной белой меховой шапке, надетой набекрень; одна рука на бедре, другая небрежно держит стек. Сделана она была, судя по всему, за год или два до рождественской фотографии 1913 года, где мы видим мальчика в кружевном воротничке а-ля лорд Фаунтлерой с немного высокомерным выражением лица. У этого мальчишки в наряде воина-горца лицо веселое, почти ухарское. На фотографии ему не больше семи лет.

Но хотя мальчика и одевали как воинственного горца, выходить из дому без сопровождающих ему не разрешалось. Между революциями 1905 и 1917 годов богатые бакинцы жили под постоянной угрозой похищений и вымогательств. Наряду с большевиками и эсерами (социалистами-революционерами) в те годы орудовали бесчисленные мелкие террористические организации. Они нередко провозглашали себя анархистами или социалистами, однако, по сути дела, их целью была собственно террористическая деятельность. В одном маленьком городке террористы из различных организаций только в апреле 1907 года убили пятьдесят местных предпринимателей. Бесконечные «экспроприации» и прочие формы политического террора сочетались на Кавказе с обычными бандитскими нападениями на большой дороге[32].

В своих предсмертных записках Лев вспоминал атмосферу тех лет в Баку: «Мой отец в ту пору был миллионером, и в нашем городе, точь-в-точь как где-нибудь на американском Диком Западе, было полным-полно бандитов и грабителей, которые жаждали заполучить для своих собственных целей хотя бы некоторую часть его миллионов. В то время очень часто похищали детей, ведь никому кроме родителей до этого не было дела. В результате растить и охранять детей стали так, как в Европе и не слыхивали, — там даже за королевскими детьми следят меньше».

Семья Асадуллаевых, которая была дружна с Нусимбаумами, как раз стала объектом внимания со стороны вымогателей — похитителей детей. Банин Асадуллаева вспоминала, что ее деда дважды похищали в Баку и дважды отпускали — за огромный выкуп. Лев так описывает свой обычный эскорт: «Они стоят у меня перед глазами, эти трое, наши слуги, которые бежали чуть позади меня, когда я учился ездить на лошади. А четвертый сам

ехал верхом с оружием в руках, он следовал за мной с сосредоточенным, воинственным выражением на лице. Прохожие останавливались и начинали улыбаться. Я думал тогда, что они улыбаются потому, что хорошо относятся ко мне, и я также отвечал им улыбкой. На самом деле их улыбки были презрительными. Куда позже я узнал, что у нас в городе ходили сплетни, будто моя гувернантка, внушительная немка по имени Алиса, бежала следом за моей лошадью, держа ее за хвост… И сейчас перед моим взором возникает этот бледный мальчик в великолепном черкесском одеянии, и я тоже испытываю презрение к этому тепличному растению, возросшему на миллионах, полученных на нефти… Разумеется, все это было не столько смешно, сколько трагично: ребенок становился узником, которого охраняли врачи и телохранители. Мне даже не разрешали самому подниматься по лестнице на верхний этаж нашего дома — меня бережно нес на руках наш слуга-евнух».

Окруженный учителями, слугами, игрушками, но лишенный друзей ребенок оказался еще более изолированным от окружающего мира после того, как ему неправильно диагностировали сердечное заболевание — отец стал еще сильнее волноваться за сына. После смерти матери отец нанял фрау Шульте, немку-гувернантку, которая стала для Льва практически приемной матерью и с восторгом играла эту роль до самого конца, несмотря на все перипетии их жизни. Ее имя «Алиса» Лев превратил в «Али». Фрау Шульте вспоминала, что он пошел в школу только восьми лет, хотя большинство детей его круга отправляли учиться с четырех. Его же обучали домашние учителя.

Самообразованию Льва весьма способствовало наличие у них в доме огромной библиотеки, оставшейся после смерти матери. «Никто из домашних даже не прикасался к этим книгам, пока я не научился читать, — вспоминал Лев. — А потом ключи от библиотеки были доверены мне, и я мог читать там все, что мне заблагорассудится. Никому не дозволялось мешать моему чтению. Как говорил мне отец, это — мое наследство, а значит, я мог делать с ним что угодно».

Фрау Шульте вспоминала, что, когда Льву наконец разрешили выходить из дому, «его излюбленным маршрутом стала прогулка в старинный, восточный квартал города с его мечетями, минаретами, узкими улочками и низкими домиками». Он часами бродил по древним мусульманским кварталам, окруженным стеной, где узкие улочки извивались туда-сюда, проходя через внутренние дворы с древними колодцами и огромными воротами со средневековыми надписями на арабском языке. Эти улочки приводили его к огромному, просторному,

хаотичному, полуразрушенному дворцу, остававшемуся оазисом спокойствия в городе, где события приобретали все более грозный характер. «Моя любовь к старинному, обветшалому дворцу постепенно переросла в особую приязнь к тем людям, что родились в нем, — писал Лев. — Вокруг дворца, вокруг всего города простиралась пустыня. В восьмилетнем возрасте я сидел, недвижный и ленивый, на крыше нашего дома и писал стихи о пустыне и о дворце. И то и другое было для меня воплощением мирного, древнего, безмолвного величия». В молодом мусульманском принце Али, герое его романа «Али и Нино», Лев изобразил себя самого, поэта и мечтателя, который проводит бóльшую часть своего времени на крыше родительского дома, разглядывая ханский дворец, протянувшийся вдоль Каспия. Подобно Льву, Али также испытывает страх перед современным городом. Однако Лев сделал своего главного героя членом обширной, разветвленной мусульманской семьи, одна ветвь которой находится в Персии, где в середине романа Али и укрывается вместе со своей Нино. Для самого Льва единственной возможностью уйти от действительности было его собственное воображение:

> Все, о чем я читал, что слышал и о чем размышлял, смешивалось в этих мечтах. Я представлял себе безмерное пространство аравийской пустыни, я видел всадников, их белоснежные бурнусы, которые развевались на ветру, я видел толпы пророков, молящихся, обращавших свои лица в сторону Мекки. Я хотел превратиться в эту стену, в эту пустыню, стать частью этого непостижимого, невероятно сложного рукописного шрифта, частью исламского Востока, всего того, что у нас в Баку было с такой помпой погребено в могиле, под победный барабанный бой европейской культуры.

Стремление идентифицировать себя с исламом и Востоком возникло, когда ему не исполнилось еще и десяти лет. «Я и сегодня не в состоянии понять, откуда это чувство, не могу и объяснить его. Может, я и его унаследовал от безвестного предка? Но я точно знаю, что на протяжении всех моих детских лет мне каждую ночь снились арабские здания. И знаю, что это было самое сильное, самое продуктивное ощущение за всю мою жизнь».

— Лёву все это зачаровывало, но учтите: если еврейский мальчик решал взять себе мусульманское имя и перейти в мусульманскую веру, то здесь, в Баку, это не казалось чем-то невероятным, ужасным, не воспринималось так, как сегодня, —

говорила мне древняя старуха, глядя в экран телевизора, где по местной азербайджанской программе показывали ее саму.

Ее прокуренный голос гремел, подобно голосу спортивного комментатора, она прекрасно, хотя и с сильным акцентом, говорила по-английски. Ее звали Зулейка Асадуллаева, и она была кузиной Банин. После того как Сара Ашурбекова, старшая из древних старух с их котами и кошками, умерла в 1999 году, Зулейка оставалась одним из немногих прямых свидетелей досоветской жизни в Баку. Она сказала, что отлично помнит «Леву» Нусимбаума еще маленьким мальчиком.

— Лева был лучшим другом моего старшего брата, — громогласно возвестила Зулейка, — и я вам точно скажу, почему он выбрал себе псевдоним Эсад! Ведь так звали моего старшего брата, в котором Лева просто-напросто души не чаял. Они некоторое время были неразлучны, потому что у Лёвы было мало друзей. Видите ли, его отец не позволял ему никуда отлучаться из дома.

Мы сидели с нею в огромном, «сталинском», помпезном номере-люксе бакинской гостиницы, неподалеку от дворца президента, и отсюда, с балкона, открывался вид на ряды ржавых танкеров и рыболовецких судов, стоявших на якоре на просторах Каспия. Отец Зулейки когда-то был самым богатым нефтепромышленником-мусульманином во всем мире. «Вот Ашурбековы, они, например, не были по-настоящему богатыми, такими, как мы! — вспоминала Зулейка. — Они были всего лишь зажиточными». Герб ее семьи встречался мне на зданиях по всему Баку и в его предместьях: ее отец, Шамси Асадуллаев, был известным филантропом. Подобно многим другим, Асадуллаевы в 1920 году покинули пределы страны, спасаясь от революции, и Зулейка в полной безвестности прожила за пределами Азербайджана почти восемьдесят лет — поначалу в Турции, а затем где-то в пригороде Вашингтона. И вдруг уже на девятом десятке вернулась домой, чтобы стать местной знаменитостью, — по приглашению той самой страны, которая сделала ее родственников изгнанниками. Теперь она появлялась в городе во время ежегодных мероприятий, когда в Баку съезжались лоббисты и представители ведущих нефтяных компаний со всего мира. Быть может, Зулейка была для них своеобразным талисманом. «Если я расскажу вам о моей жизни, Том, вы мне не поверите! Скажете, что я говорю неправду» — так обычно начинала она свое очередное повествование, время от времени показывая на телевизионный экран, где можно было видеть, как она встречается с президентом Азербайджана или с представителями различных нефтяных компаний.

Зулейку вовсе не удивляло, что Лев принял исламскую веру и, описывая историю своей семьи, внес туда собственные изменения:

— Перейти в мусульманство в том смысле, в каком моя семья была мусульманской, означало стать частью всемирной, всеобъемлющей религии, уважать традиции, однако это отнюдь не означало преклоняться перед догмой, — сказала она.

Она добавила, что отец не разрешал им с сестрой носить чадру — разве только на похоронах:

— Он видел в этом признак отсталости, а в нашем исламе не было ничего отсталого. Ведь тогда он был не такой, как сегодня: все эти жуткие фундаменталисты ничем не лучше нацистов или большевиков… Нет-нет, в то время в отождествлении себя с исламом не было ничего жесткого, косного — совсем наоборот! Вот большевизм, эта анти-религия современности, он был жестким. Мы, напротив, оставались открытыми всем культурным течениям, которые существовали вокруг нас в среде, где мы родились.

Зулейка пообещала мне, что поищет переписку своего брата Эсада со Львом, и на следующий год, когда я приехал к ней в пансион для престарелых в пригороде Вашингтона, я еще раз поднял этот вопрос. Она показалась мне сильно одряхлевшей, хотя пообещала ради меня пустить в ход связи с президентом Азербайджана, когда в следующий раз поедет на родину. Тем же летом она скончалась, успев, правда, еще раз побывать в Баку. Так что сегодня, насколько мне известно, никого из потомков первых бакинских «нефтяных королей» в живых не осталось, — по крайней мере, тех, кто по возрасту мог сохранить воспоминания о том времени.

Лев нередко воспевал мир нефтяных магнатов, но в юные, проведенные в отчем доме годы он при всяком удобном случае спасался от него, находя себе прибежище в старом городе, где ощущался дух Древнего Востока. Прохаживаясь по мощным укреплениям ханского дворца, он воображал себя героем, способным защитить себя самостоятельно, а не с помощью полудюжины телохранителей и няньки. «На стене, — вспоминал он, — над величественной аркой портала был таинственный, сложный орнамент, древняя восточная вязь. Огромные, непонятные буквы и тонкий, изящный орнамент. Я разглядывал их, нередко впадая в состояние медитации, мечтательное, подобное трансу. Это состояние истинного блаженства длилось часами. Вернувшись же домой, я превращался в ленивого, болезненного, никчемного подростка».

Льва весьма интересовали всевозможные малые народы

Азербайджана. Как только отец разрешил, он в сопровождении телохранителей и фрау Шульте стал совершать поездки в места, где мог с ними познакомиться. Для этого достаточно было проехать несколько часов верхом, ведь Азербайджан — страна не слишком большая. Правда, и в первой книге Льва «Нефть и кровь на Востоке», и в последовавших за нею «Двенадцати тайнах Кавказа» зачастую трудно понять, где заканчивается личный опыт Льва и начинается его пылкое воображение. Он писал, например, о племени, напоминавшем амазонок: мужчинам там не разрешалось работать, женщины же ходили с оружием, сами выбирали для себя сожителей и носили не юбки, а штаны. Писал о хевсурах, голубоглазых, рыжеволосых горцах, которые утверждали, что их предками были крестоносцы; они все еще носили кольчуги, прямые мечи и небольшие круглые щиты с изображенными на них крестами[33]. Рассказывая о них, Лев почти наверняка смешивал то, чему был свидетелем, с тем, о чем лишь читал или слышал от других. Районы, находившиеся на расстоянии дневного конного перехода от Баку или от Тбилиси, представлялись горожанам дикими и экзотическими, а обычаи горцев давали пищу для бесконечных пересудов, слухов и сплетен.

Во время путешествий на юг от Баку Лев познакомился с айсорами, потомками жителей Ассирии, чьи лица казались ему похожими на изображения в древних каменных храмах. При поездках на север, на территорию бывшего Кубинского ханства, он впервые встретился с теми, кто особенно повлиял на него, еврейского мальчика, который стремился стать мусульманским воином, — горскими евреями Азербайджана. Они носили кинжалы, сапоги и меховые шапки — точь-в-точь как их соседи-мусульмане, так что их невозможно было отличить друг от друга. «У них всегда было оружие, — одобрительно отмечал Лев, — как и другие горские кланы, они пасли овец, однако были не только пастухами, кочевниками, но и воинами, даже разбойниками, которые грабили купеческие караваны на границе с Персией». Для большинства евреев-ашкенази, перебравшихся в Баку из черты оседлости, эти местные евреи были явлением поразительным. Флора Бененсон с восторгом писала о том, что азербайджанских евреев «в их восточных одеяниях трудно было счесть за евреев; они выглядели едва ли не большими казаками, чем сами казаки, причем у любого мужчины обязательно был острый кинжал, а их женщины, укутанные с головы до ног в одежды из плотной ткани, носили филигранные украшения — их, правда, редко можно было видеть на улице».

Лев с увлечением погрузился в изучение различных теорий,

посвященных происхождению горских евреев. Оно было предметом исследований многих историков и этнографов, а в период нацизма даже представители СС поучаствовали в полемике относительно судьбы горских евреев. Согласно некоторым теориям, это остатки одного из исчезнувших колен Израилевых или потомки иудеев времен Вавилонского пленения, которые много веков провели в Персии, прежде чем переселились на север, в Азербайджан. Язык, на котором говорили многие горские евреи, представляет собой средневековый диалект фарси, что придает этой теории известную обоснованность. Когда я брал интервью у старейшин горских евреев в Кубе и спросил, откуда родом их предки, они все сразу же показали на юг.

— Так вы из Персии? — заволновался я. — Ваши предки пришли сюда с юга?

— Ну да, — кивнул один из старейшин, поправляя на голове ермолку, не менее цветистую, чем персидский ковер.

Правда, после дальнейших расспросов выяснилось, что этот человек имел в виду следующее: много веков назад его предки действительно пришли сюда с юга — ведь прежде они жили на десять миль южнее.

— В общем, тут вот какое дело, — увидев мое замешательство, поспешил на помощь Фуад, — он на самом деле понятия не имеет, где изначально была их родина. Ведь горские евреи живут в этих местах уже около тысячи лет.

Поначалу Лев тоже придерживался теории, что горские евреи являются потомками тех, кто пережил Вавилонское пленение. Это означало бы, что они жили здесь за много веков до того, как предки нынешних азербайджанцев мигрировали сюда из пустынных районов Туркестана и Монголии, то есть горские евреи относились бы к самым древним этническим группам на территории нынешнего Азербайджана. Они были независимыми вассалами персидского шаха, эти «гордые княжеские кланы, несколько веков назад основавшие здесь могущественное царство, в котором, однако, иудейской веры придерживались только воины, вельможи и верховные правители. Ведь в ту пору иудаизм был религией привилегированных классов». Все эти штудии привели его в конце концов к теории, доставившей множество затруднений нацистам, потому что из нее следовало, что горские евреи были их собратьями-арийцами, а никак не недругами-семитами. Суть ее заключалась в том, что горские евреи — потомки хазарских племен, союза воинственных тюркоязычных племен, которые стали объектом единственного в постбиблейские времена массового обращения в иудаизм — в VIII и IX веках. «Иудейский правитель, носивший титул кагана, некогда владел

всеми пространствами заволжских степей, вплоть до берегов Каспийского моря, — поражался Лев. — На протяжении двухсот лет каган был самым могущественным правителем на Востоке; и все подчинялось его власти, так что даже христианские правители были вынуждены платить ему дань». Лев отмечал также, что азербайджанские мусульмане относились к местным евреям как к мусульманам, которые перешли в иудаизм «по какой-то ошибке, ведь даже само их местное название — “кипта” — означает “заблуждающиеся”». Однако куда серьезнее были «заблуждения» кагана. Самые ранние исторические свидетельства о хазарах относятся к VI веку новой эры; в конце же VIII века это тюркское племя, захватив территорию между Черным и Каспийским морями, стало господствовать над всеми народами Кавказского региона.

В результате именно хазары оказались там властителями, притом как раз тогда, когда на этот регион двинулись полчища арабов, которые в течение столетия, минувшего после смерти пророка Магомета, победоносно пронеслись по просторам Анатолийского полуострова и Персии. Хазарский же каган успешно отразил нападения воинов ислама, и Хазария стала буфером между исламским и христианским миром. Если бы не эти арабо-хазарские войны VII–VIII веков, славяне Руси, возможно, были бы обращены в ислам.

Хазары были язычниками, верили шаманам, у них существовали человеческие жертвоприношения, но в какой-то момент верхушка хазарского общества приняла иудаизм. Согласно легенде, это случилось после того, как каган Булан, правивший Хазарией в 730–740 годах, изучив две великие богооткровенные религии, ислам и христианство, обнаружил, что они обе вышли из иудаизма, и нашел его наиболее разумным. Большинство историков в наши дни считает, что главную роль тут сыграли практические соображения: каган не желал принимать одну из двух религий, предпочтя ту, которая представлялась ему истоком их обеих и к которой, по его разумению, они обе должны были испытывать пиетет. Это решение кагана в иудейской литературе признавалось благородным поступком, став одновременно темой еврейских анекдотов: подумать только, ну и логика — считать, что, если выберешь иудаизм, тебя будут больше уважать и христиане, и мусульмане, тогда как на самом деле и те и другие способны лишь презирать подобный выбор.

Как бы то ни было, в середине VIII века большинство хазарской знати и многие простые люди перешли в иудаизм, так что в течение нескольких веков, в правление Булана и его

преемников, по всему Кавказу были построены синагоги и возникли талмудистские школы. В раннем Средневековье, когда евреи подвергались преследованиям и в христианской Европе, и в Византии, и в мусульманской Персии, Хазария была убежищем для всех тех, кому удавалось добраться до Кавказа. В то же время Хазария, где правящая верхушка исповедовала иудаизм, отличалась веротерпимостью и создавала благоприятный климат для всех иноверцев, позволяя и христианам-грекам, и мусульманам из Ирана, и язычникам-славянам жить в этой стране, не принимая иудаизма. Хазары учредили верховный суд, семь членов которого представляли каждый свою религию, и, по свидетельству арабского летописца того времени, самих хазар судили по законам Торы, а прочих — согласно законам их собственной религии.

На Кавказе существовала и еще одна совершенно неожиданная религиозная группа — потомки русских крепостных крестьян, отрицающих божественное происхождение Иисуса Христа и молящиеся согласно иудейскому закону. Эта секта, получившая название «субботники» и не имевшая представления о традиционном иудейском праве, перешла в иудейскую веру, по-видимому, стихийно, без всякого влияния евреев — носителей традиционной веры. Субботники буквально следовали указаниям Ветхого Завета, например, истово выпекали пресный хлеб, причем многие из них питались им круглый год. В 1817 году субботники обратились к царю с просьбой признать их переход в другую веру, но в это время царское правительство было озабочено тем, чтобы обратить в христианство всех евреев из черты оседлости, так что петиция субботников только разгневала монарха. Согласно крупному историку еврейства в России Семену Дубнову: «Целые селения были опустошены, тысячи сектантов были сосланы в Сибирь и на Кавказ. Многие, не в силах вынести преследований, вновь перешли в православие, но зачастую это делалось лишь напоказ, тогда как на самом деле, тайком, они продолжали исповедовать свои сектантские принципы».

В Азербайджане особенно много поселений «новообращенных иудеев» располагалось вдоль южной границы страны. Самыми необычными среди субботников были казаки, влившиеся в их ряды в XIX веке, тайно соблюдавшие субботу как священный день отдохновения, и притом не менее строго, чем самые ортодоксальные иудеи. Современники отмечали, что во время еврейских погромов на Украине в 1905 году «казаки-иудеи» всеми силами пытались предотвратить насилие, тогда как большинство казаков принимало в нем непосредственное участие[34].

Лев все больше подпадал под очарование живших на Кавказе

евреев, независимо от их происхождения. Он выяснил, что «чужеродных евреев» они считали людьми испорченными и более низкими по положению. «Свободный кочевник, — по словам Льва, — не желает признавать своими единоверцами тех иудеев, что жили под пятой царизма». Лев даже утверждал, что горские евреи якобы обменивались оружием со своими соседями-мусульманами и тайно, на крови, клялись во взаимной верности. Такое кровное братство между кавказскими евреями и кавказскими мусульманами и питало возникшее у Льва представление о самом себе как об уникальном выходце из региона, где «дикие, суровые воины, рыцари и разбойники ничем не отличаются от раввинов или ремесленников из Галиции, если только их нарядить в соответствующие одежды». Хотя Лев публично ни разу не признал того, что в его жилах течет еврейская кровь, он тем не менее напоминал своим читателям: «Многие народы Кавказа с гордостью признают свое иудейское происхождение и считают, что выделяются именно этим»[35].

Лев в конечном счете пришел к выводу, что мусульманам и иудеям понадобится объединить свои усилия в борьбе с исходящим с Запада массовым насилием. Неслучайно описание приключений, которые ему пришлось претерпеть, спасаясь от большевиков, он начинает с восстания горских евреев, случившегося во время прихода красных на Кавказ. Лев утверждал, что его отцу якобы предложили пост наместника Кубинского региона, где они в основном обитали. Эта история, разумеется, призвана показать его отца грозным, всесильным мусульманским правителем, которого страшились как власти, так и бандиты Баку, а вовсе не тем, кем он был на самом деле: предпринимателем, человеком с хорошими манерами, который и помыслить не мог о том, чтобы встать во главе восставшего племени.

«Моя любовь к ханскому дворцу так же не поддается разумному объяснению, как и моя ненависть по отношению к революционным событиям», — вспоминал Лев.

Пока что революция бурлила под поверхностью повседневных событий, выплескиваясь наружу то в «экспроприациях» Кобы, то в виде куда более цивилизованных методов Красина, однако то десятилетие, вплоть до 1914 года, несомненно, стало кульминационным периодом в развитии Российской империи. Насилие и анархия, начавшиеся в 1905 году, мало-помалу улеглись, и царский премьер-министр Петр Столыпин, половина семьи которого погибла от рук террористов, сумел с помощью реформ и политики умиротворения вернуть России атмосферу порядка, стабильности, экономического роста[36]. Период

декадентского процветания пришелся на 1912 год, когда российские газеты куда больше внимания уделяли спортивным новостям, нежели революционным волнениям. В кабаре Санкт-Петербурга происходили поэтические вечера футуристов. Экономика России была на подъеме, и Баку оставался основным двигателем, точкой опоры для промышленного развития страны. В 1914 году французское правительство направило в Россию экономиста Эдмона Терри, дабы он произвел общую оценку состояния дел в стране, ведь Франция была крупнейшим кредитором России, и по возвращении тот вынес оптимистический вердикт: «К середине двадцатого века Россия будет доминировать в Европе». Экономические достижения сопровождались и расцветом искусств, именно тогда появились такие грандиозные фигуры русской культуры, как Рахманинов, Дягилев, Стравинский, Малевич и Маяковский. Однако этот подъем оказался весьма недолгим.

В августе 1914 года, после того, как царское правительство объявило мобилизацию своей огромной армии — самой большой в мире. Она блистательно победила австрийскую армию в одном из первых крупных сражений Первой мировой войны. Однако когда завершился первый год обучения Льва в Имперской русской гимназии, немцы уже переломили ход войны, что живо напомнило всем о трагическом исходе войны с Японией девятью годами ранее. И так же, как в 1904–1905 годах, грандиозное поражение царской военной машины сразу же отозвалось антиправительственными выступлениями по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Революционное брожение захватило и Баку. Фрау Шульте вспоминала, как ей часто приходилось забирать Льва из гимназии в разгар учебного дня, поскольку его отца страшила резко ухудшающаяся обстановка.

К весне 1918 года в России уже бушевала Гражданская война, причем не только белые и красные воевали друг с другом, но большевики находились в конфликте со всеми остальными политическими партиями. Большевикам не удалось победить на выборах: более того, у них не было даже простого большинства голосов[37]. Решение проблемы, согласно мысли Ленина, было простым: большевики использовали самосуд, грабежи и преследование дворянства и буржуазии, играя на самых низменных чувствах низших классов. Демократическая коалиция партий, составивших правительство в 1917 году, прилагала усилия для предотвращения грабежей и насилия, тогда как большевики всячески поддерживали «гнев народа», сделав террор против «бывших» первым шагом по превращению террора в краеугольный камень своей государственной машины.

Большевики, заменив царскую тайную полицию собственной организацией под названием Чрезвычайная комиссия (ЧК), сразу же предложили работать в ней многим из прежних полицейских, и те получили от «государства рабочих и крестьян» новые полномочия для действий в отношении врагов государства. Но если царские жандармы и полицейские в своей деятельности были ограничены известными рамками, то сотрудники ЧК не были ограничены вообще ничем, никакими законами, кроме одного — принципа классовой борьбы. Ленин, одержимый желанием принимать жесткие меры по отношению к классовым врагам, постепенно проникся уважениям к методам Кобы Джугашвили, у которого после 1913 года появилась новая партийная кличка — «Сталин». Именно Ленин назначил его комиссаром по национальным вопросам, и в ноябре 1917 года, уже в этом своем новом качестве, тот представил проект всеобъемлющей «Декларации прав народов России», которая должна была сделать частью революционного процесса малые народности страны. В этой декларации, содержавшей набор обещаний, которые впоследствии были цинично преданы забвению, товарищ Сталин заявлял о праве всех народов уничтоженной царской Российской империи на «свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства».

Жители Баку, однако, знали, с кем имеют дело, а потому не поверили человеку, который более десяти лет наводил на них ужас. Той весной на улицах Баку выросли баррикады, а защищали их представители различных фракций — и тех, кто был за большевиков, и их противников.

Три дня, пока на улицах стреляли, Лев, его отец, фрау Шульте и другие домочадцы прятались в подвале собственного дома, питаясь консервами, хлебом из арахисовой муки и икрой. И днем и ночью Лев слышал из подвала пулеметные очереди. Понять, что творилось на их улице, было невозможно, и Абрам Нусимбаум счел благоразумным отсиживаться внизу. Взрослые сидели в углу, рассуждая, как лучше поступить, куда они могли бы уехать по своим российским паспортам и какие вещи надо взять с собой. Лев — в другом углу — вслушивался в происходящее на улице, даже как-то попытался выглянуть наружу: в подвальной стене было небольшое оконце. При этом никто не решился приблизиться к нему, ведь снаружи, за этим окном, где-то совсем рядом, грохотал пулемет.

Для двенадцатилетнего мальчика, еще вчера грезившего о тюркских воинах и персидских царевнах, время, проведенное в подвале, казалось игрой. На третий день их сидения в подвале

стрельба прекратилась, и он тут же прилип к оконцу. Их красивый квартал был полуразрушен: повсюду виднелись разбитые экипажи, повалившиеся столбы уличного освещения, кучи тряпья, мертвые верблюды.

Лев разглядел трупы погибших, лежавшие посреди улицы, и сначала ему показалось, будто это тряпичные куклы или снопы соломы. Но тут вдруг за окном возникла картина, которая осталась в его памяти на всю жизнь: «По пустынной улице заскрипели арбы. Одна, другая, третья — целая процессия, все нагружены трупами. Людьми. С оторванными руками и ногами, истекающими кровью, растерзанными животной ненавистью взаимной вражды. Их руки и ноги порой свисали с телеги до самой земли. Из-за движения они тряслись. Оттого и казалось: эти люди еще живы, пусть у них проткнуты глаза и оторваны носы. Целые горы тел — мужчины, женщины, дети. Мимо меня катила арба за арбой. И даже у возниц глаза будто остекленели, были недвижны и безжизненны, как у трупов… Но вот этот жуткий караван проехал. И тут же громче застучали пулеметы. Я снова скатился в подвал».

Представив себе, как Лев с отцом прятались в подвале собственного дома, я вспомнил о судьбе другого нефтепромышленника, который решил не делать этого. Фуад, водивший меня по великолепным зданиям дореволюционного Баку, как-то указал на одно из них с надписью «Дворец бракосочетаний». Его владельцем был один из немногих миллионеров-нефтепромышленников, который не бежал из города, и история этого дома, как мне представляется, идеально отобразила искаженную насилием кончину капиталистического Баку после того, как революция 1917 года распространилась из центра России далеко на юг.

Этот самый Дворец бракосочетаний построил нефтепромышленник-мусульманин Мухтаров, выходец из скромной крестьянской семьи. Разбогатев в первые годы XX века, он принялся строить мечети по всему Кавказу. Он любил путешествовать, изучать иностранные языки. Во время одной из своих поездок в горы, к реке Терек, где Мухтаров также собрался построить мечеть, он повстречал молодую красавицу-горянку благородных кровей и тут же без памяти влюбился в нее. Но родители не пожелали выдавать ее за него замуж — ведь его происхождение не было достаточно аристократическим. Тогда в честь их дочери он построил великолепную мечеть, и это произвело на них такое впечатление, что они согласились на этот брак.

Молодожены провели медовый месяц в Европе, причем

разговаривали друг с другом на языках, которым научились совсем незадолго до этого, — по-французски и по-английски. Во Франции молодая женщина увидела здание, в котором ей хотелось бы жить, — это, как оказалось, был готический собор. Мухтаров тут же пригласил одного польского архитектора, и всего через несколько недель этот архитектор прибыл в Баку[38], чтобы выстроить копию того собора, который так понравился его молодой жене. Сооружение это возводили в 1911–1912 годах, оно стало самым великолепным из многих роскошных особняков дореволюционного Баку. Но когда строительство подходило к концу, один из строителей упал с крыши и разбился насмерть. Мухтарова сочла это дурным предзнаменованием и, получив от мужа дополнительные средства, перестроила здание в пансион для девочек-сирот.

В 1920 году, когда отряды Красной Армии вошли в Баку, пансион уже не функционировал. Мухтаров отказался покинуть собственный дом и, стоя в прихожей с револьвером в руках ждал, когда «большевистские мужланы» посмеют явиться к нему. После того как в переднюю залу прямо на конях ворвались двое красноармейцев, требуя от имени народа освободить помещение, Мухтаров застрелил их обоих, а затем застрелился сам.

А вот Абрам Нусимбаум, подкупая представителей новоявленных властей, завершая последние дела, готовился бежать из страны на пароходе через Каспийское море на восток с единственным, прежде оберегаемым от всех житейских сложностей сыном. В штанины своего модного европейского костюма отец приказал зашить денежные ассигнации, драгоценности и документы, подтверждающие право владения нефтяным бизнесом.

Глава 3. Путь на Восток

Восток не был для Льва далекой, сказочной страной: он с детства видел вокруг себя горских евреев и потомков крестоносцев, с жадностью читал исторические сочинения и слушал местные легенды. Революция 1917 года поначалу отодвинула на задний план увлечение восточной экзотикой, но она же забросила его на настоящий Восток — в красные пески Туркестана и глинобитные крепости Персии. Воспоминания об этих путешествиях принесли Льву известность, несмотря на то что художественный вымысел преобладает там над реальностью. Это обстоятельство заставило меня поначалу с большим скептицизмом отнестись к его документальным произведениям, опубликованным под псевдонимом Эсад-бей. «Правду можно узнать только из блокнота полицейского» — так выразился сам Лев на первых страницах своих воспоминаний. Однако, изучив его биографию, я обнаружил, что самые неправдоподобные эпизоды его книг оказываются на деле правдой: описываемое он пережил сам, узнал от кого-то из родственников или друзей или почерпнул из какого-нибудь турецкого или немецкого журнала. Гораздо меньше можно доверять как раз обычным анкетным данным, которые Лев приводил о себе: имя, национальность, гражданство.

О следующем этапе его жизни — тяжелом и опасном пути из оккупированного Баку через весь Туркестан на юг, в Персию, а затем назад через Азербайджан в Грузию — какие-либо независимые сведения практически отсутствуют. Наслушавшись фантазий своих азербайджанских собеседников, я решил, что попытки получить от них сведения о Льве еще больше запутают ситуацию, и предпочел следовать его собственным текстам. Значительная часть дореволюционных архивов была утрачена, к тому же ведение архивов и делопроизводства не входит в число разнообразных достоинств выходцев с Кавказа. Рассказы о чудесах, якобы виденных своими глазами, были в традициях культуры, в которой рос Лев, — как-никак он родился в стране, где из-под земли временами вырывалось пламя!

История бегства от большевиков через просторы Средней Азии, Персии и Кавказа, рассказанная в «Нефти и крови на Востоке», вполне достойна Зелига[39]: герой неизменно оказывается в центре самых драматических событий — чего стоит описание осады Гянджи, когда тринадцатилетний Лев, обороняющий мост, попадает в лапы чекистов! Между тем верная фактам Алиса Шульте, записавшая события той недели, сообщает,

что Льва на тот момент вообще не было в Гяндже и что чекисты арестовали его потому, что приняли гимназическую форму за военный мундир.

То, что в «Нефти и крови на Востоке» Лев изобразил себя юным Эсад-беем, бегущим из родного города вместе с отцом, мусульманином благородных кровей, сообщает повествованию элементы фантастики. По сути дела, это окрашенный восточным колоритом миф Льва о себе — изысканном царевиче-мусульманине, который преградил путь разрушителям старого мира, этим революционерам, что посягнули на древние традиции, и выказал при этом чудеса храбрости и ловкости. Тем не менее я пришел к заключению, что Лев действительно был свидетелем большинства событий, которые описал. Единственным источником сведений об этом периоде его жизни служат его автобиографии, письма и предсмертные записки, но я тщательно сравнил упоминаемые им факты с сообщениями тогдашних газет, воспоминаниями других людей и трудами историков. В результате я могу представить моим читателям достаточно достоверное описание скитаний Льва.

Как сообщает Лев, один из его двоюродных братьев, вошедший в только что созданный бакинский Совет рабочих депутатов, однажды вечером явился к ним с важной новостью. Московские власти опасаются, сказал он, что комиссары в Баку вот-вот утратят контроль над городом, и для укрепления их авторитета Ленин предложил устроить публичный расстрел кровопийц-капиталистов. В список из «десяти бывших кровопийц» вошел и Абрам. Поэтому надо срочно бежать из Баку.

Нусимбаумы решили переправиться на корабле через Каспий в Туркестан, мусульманскую Среднюю Азию. На этой огромной территории еще существовали очаги сопротивления натиску коммунистов.

Большинство туркмен, тогда еще кочевники, никогда не расставались со своими конями, хотя Красноводск[40] на берегу Каспийского моря уже был соединен железной дорогой с такими древними городами, как Бухара и Самарканд. Абрам рассказал сыну, что у него есть родственники в Туркестане, которые, возможно, смогут их приютить, — если только этих самых родственников удастся отыскать, — и кое-какая собственность в Красноводске, и хотя управлял ею человек, с которым ему ни разу не доводилось встречаться, им, по крайней мере, будет где остановиться[41].

Глубокой ночью Лев и его отец отправились в порт, где им посчастливилось найти судно, капитан которого прежде работал на одном из танкеров Абрама Нусимбаума. Он и согласился

помочь им бежать из города.

Но куда? Хотя Германия вот-вот должна была объявить о своем поражении в Первой мировой войне, значительные части распадающейся Российской империи были оккупированы почти миллионной армией кайзера: большевики отдали их немцам ради заключения мира с блоком Центральных держав любой ценой. Выйдя из мировой войны, Россия погрузилась в хаос Гражданской, участников которой условно разделяют на «красных» и «белых». Красные выступали за всемирную революцию и радикальные перемены, и их возглавляли большевики. Объяснить, за что, собственно, боролись белые, довольно трудно, и это, по-видимому, в значительной степени объясняет причину их поражения в Гражданской войне. Ведь белыми называли и умеренных социалистов, и либеральных демократов, и консервативных монархистов, и неортодоксальных мусульманских владык.

В Туркестане, на юго-восточной границе бывшей Российской империи, помимо отрядов красных и белых находились военные формирования Германии, Великобритании и Османской империи. Немцы нуждались в хлопке для производства артиллерийских снарядов, турки желали претворить в жизнь идею о создании империи, которая простиралась бы от Босфора до Бухары, а британцы собирались защищать свои владения в Индии и от немцев, и от турок. Эта территория была последним пределом завоеваний Российской империи, это была сердцевина исламского мира России, и Россия меньше насаждала здесь свои порядки, нежели на Кавказе или в Крыму. В этой пустыне мало ощущалось европейское влияние, как и вообще любые современные воздействия. Площадь Туркестана составляла полтора миллиона квадратных миль полупустынных, засушливых земель, а это ведь примерно половина территории США! Пустыни и лишенные растительности склоны гор простираются до Гималаев на восток и до Афганистана на юг. Русские приступили к колонизации этого региона в XIX веке, когда царская армия захватывала территорию со скоростью около пятидесяти квадратных миль в сутки. Однако расстояния на Востоке были слишком большими, а население слишком диким, чтобы осуществлять эффективное колониальное правление. Вместо этого русские удовольствовались целым рядом целесообразных и взаимовыгодных договоров и договоренностей с местными князьками. Последние с немалым удовольствием отказывались во время таких переговоров от полной независимости своих «государств» — в обмен на денежные средства, которые предоставляла им Россия, а также на поставки промышленных

станков и оружия. Помимо материального вознаграждения, они также получали чины генералов и полевых маршалов в Российской армии. Туркменские воины стали обязательным элементом военных парадов в царское время: в высоких меховых шапках они гарцевали на своих лошадях вместе с казаками[42].

Многие коренные жители Туркестана терпеть не могли своих недавних русских «завоевателей», так что после революции ряд племен восстал. А вот симпатии этнических русских, заселивших Среднюю Азию, были скорее на стороне большевиков, и потому еще в 1917 году они создали собственный Совет в Самарканде, официально объявив, что народы Туркестана отныне являются свободными. Тюркские народы, однако, не желали, чтобы их освобождали русские радикалы, и они начали бороться с большевиками не менее ожесточенно, чем с любыми прочими «неверными», пришельцами извне. Главная большевистская газета, «Известия», сокрушалась в то время, что, если над всей бывшей Российской империей «встало солнце свободы, один лишь Туркестан оказался в стороне от всех этих перемен». Когда в конце лета 1918 года Лев и его отец прибыли в порт Красноводск, необходимость утвердить свое господство над Туркестаном еще была для большевистского правительства в Москве невыполнимой задачей.

Красноводск, эти ворота в некогда великую, расположенную в пустыне империю Тамерлана, где минареты, по преданию, возводились из человеческих скелетов, получил свое название от речки Кызыл-Су («красная вода»), вода в которой была до того грязной, что одни лишь погонщики верблюдов отваживались в ней купаться. Окруженный с трех сторон высокими, выжженными солнцем утесами, город этот предстал перед взором Льва как средневековая крепость. Улицы его были абсолютно лишены растительности и, соответственно, тени, так что всякий, кто решился бы пройти по ним босиком, получил бы серьезные ожоги. Некий американский журналист, которого судьба привела сюда в 1918 году, писал о Красноводске: «В худшую дыру меня еще не заносило».

Поначалу чиновники, с которыми пришлось иметь дело Льву и его отцу, были не слишком дружелюбны: беженцы из Баку не стоили их внимания. В итоге всех революционных потрясений этот город и окружавшая его пустыня были объявлены Красноводской социалистической республикой, и хотя к большевикам она отношения не имела, пренебрежение к высокопоставленным представителям прежнего режима было весьма ощутимо. Кроме того, казалось, что едва ли не каждый в этом городе занимает важный пост — министра или кого-то в

этом роде. Однако, когда Абрам сделал запрос относительно принадлежавшей ему собственности, отношение к нему вдруг резко изменилось. Как выяснилось, его управляющий занимал в новообразованной республике пост министра иностранных дел и, разумеется, был не последним человеком в местных политических кругах. Специально собравшийся для этой цели комитет вскоре организовал официальное чествование Льва и его отца. В книге «Нефть и кровь на Востоке» Лев с юмором описывает торжественное шествие по улицам города, устроенное в их честь и возглавляемое министром иностранных дел. Но как только он по-братски обнял Льва, тот почувствовал боль в руке. Когда Лев смог осмотреть болезненное место, он убедился в том, что его укусил какой-то особенно голодный клоп, выбравшийся из рукава сего высокопоставленного чиновника.

В предоставленном им жилище их поджидала та же проблема. «Я так и не смог привыкнуть к жизни среди клопов и немытых женщин», — вспоминал Лев впоследствии. Сказочный Восток его воображения предстал перед ним в своем истинном, неприкрашенном виде, и Лев принялся умолять отца найти другое жилье. В конце концов отец и сын Нусимбаумы переселились в единственное помещение, где имелась уборная европейского типа: они перебрались в городской кинотеатр. Вспоминая об этом, Лев писал, что позднее ему приходилось ночевать на бильярдных столах, под брюхом карабахского осла, между горбами верблюда, даже в синагоге, однако красноводский кинотеатр остался в его памяти как самое прекрасное и самое необычное место для ночлега, какое только случалось в его жизни. В этом кинотеатре, вспоминал Лев, «вероятно, единственном заведении подобного рода между Каспийским морем и могилой Тимура», и прежде не так уж часто крутили кино, а теперь правительство республики вообще отменило показ фильмов — в связи с пребыванием зарубежных гостей. Правда, в конце концов «местное население стало требовать, чтобы им вернули киносеансы». Тогда городские власти «попросили разрешить им время от времени использовать помещение для развлечения публики». Принимая во внимание взрывоопасную общественную ситуацию, пришлось подчиниться воле народа.

Жизнь в кинотеатре была однообразной, хотя время от времени там действительно показывали кинофильмы. Лев много времени проводил за разговорами с единственным европейцем, жившим в городе, — стариком-немцем, бароном фон Остен-Закеном, который вместе со своей женой, тоже немкой, прожил в Красноводске целых тридцать лет. Поскольку барон не желал иметь дела с «цветными», а таковыми были все местные жители,

он весьма редко покидал собственный дом. Понятно, что он охотно беседовал с молодым беженцем из Баку. До сих пор Льву не доводилось так много говорить о Германии. При этом они практически не обсуждали текущую ситуацию в Туркестане или же в мусульманской части России: барону больше всего хотелось говорить о своей родине.

Через отца Лев познакомился с начальником полиции Красноводска, грузинским князем Аланией, который после крушения царизма тут же стал социалистом-революционером и, находясь в меньшинстве, вошел в союз с теми силами, которые правили в Красноводской республике. Князь рассказывал Льву о различных проблемах поддержания правопорядка в этом регионе. Экономическое положение республики было весьма тяжелым — печать на бумажных деньгах, ходивших здесь, была односторонней: типографскую краску экономили. Лев вспоминал, как писал различные сатирические вирши на оборотной, чистой стороне таких банкнот, не имевших почти никакой ценности. Правительству постоянно приходилось бороться с фальшивомонетчиками. Министр финансов даже выпустил инструкцию, разъяснявшую, что любую банкноту, которая покажется подозрительной, следовало смочить водой. Настоящая «линяла», поддельная оставалась прежней.

Постепенно Красноводская республика попадала во все большую изоляцию. Азербайджан был в руках большевиков, поэтому суда не приходили в местный порт. Абрам Нусимбаум, помимо нескольких доходных домов, владел небольшой частью местного карьера по добыче алебастра, однако сбывать его было некуда: торговые порты в России и в Азербайджане были закрыты. Лишь маленькие суденышки местных жителей совершали еще рейсы в Персию, и правительство республики получало доход главным образом от налогов на торговлю: местные кочевые племена обменивали у персидских купцов меха на оружие и хлеб. Города в глубине пустыни находились в руках либо враждебно настроенных к Красноводской республике кланов, либо большевиков.

Кофейни и базары полнились новостями о далекой мировой войне. Лев узнавал там о фантастических новых видах оружия — например, об огромной пушке, которую германцы построили для турок: снаряд из нее, как говорили, был способен долететь от Константинополя до Баку. Все эти достойные пера Мюнхгаузена россказни были немногим фантастичнее, чем творившееся вокруг. Ведь всего два года назад русский царь командовал самой большой в мире и боеспособной армией. А теперь царя убили собственные подданные, а великая русская армия перестала

существовать. Говорили, будто бы новое советское правительство, дабы максимально задобрить турок, пообещало им ввести в России исламский «сухой закон», запретив винопитие, а также узаконить гаремы. В безумные дни 1918 года все это представлялось вполне возможным.

Внутри самой партии большевиков возникли известные разногласия в связи с проблемой нерусских регионов. Должна ли, например, Советская Россия стать новым воплощением Российской империи? Или она, согласно провозглашенным ею же самой принципам, откажется от политики империализма в любых его формах и даст возможность прежним подданным Российского государства самостоятельно встать на путь к социализму? Сталин вообще не видел необходимости освобождать подвластные России народы. Ленин в теории не соглашался с ним, но настаивал, что мусульманские народы смогут достичь независимости только после того, как у них появится собственный промышленный пролетариат. Поскольку регионы, подобные Туркестану, были заселены либо кочевниками и охотниками, либо крестьянами, которые обрабатывали землю допотопными методами, ждать независимости им предстояло еще лет сто. Помимо того, большевики действовали в полной уверенности, что любой договор — лишь клочок бумаги, а убийство — способ аннулировать любые договорные обязательства. Правда, город Красноводск приобрел известность как раз насилием по отношению к большевикам. Лев описал произошедшее в своей книге «Нефть и кровь на Востоке». Речь идет о расстреле двадцати шести бакинских комиссаров — тех, кто руководил первым бакинским Советом, кто нес ответственность за жестокие репрессии, тех, из-за кого Абрам и Лев вынуждены были бежать из города. Теперь и самим этим комиссарам пришлось бежать из Баку ради спасения своей жизни.

Комиссары, в число которых входили русские, армяне, грузины, а также двое азербайджанцев, были верными соратниками Сталина, из числа тех, кто терроризировал Кавказ в 1917–1918 годах; по меньшей мере, двое из них были личными друзьями Ленина. Но когда Баку окружили германские и турецкие части плюс подразделения азербайджанских националистов, комиссары бежали из столицы Азербайджана. Уже выйдя в море, они пожелали плыть на север, в Астрахань, туда, где в Каспийское море впадает Волга. Однако команда корабля плыть в Россию отказалась, опасаясь революционных событий. Оставался либо путь на юг, в Персию, но ее оккупировали британские войска, либо на восток, в Туркестан. «Вся марксистская диалектика была использована для того, чтобы

убедить команду, раз уж она отказалась плыть в Россию, двигаться в сторону Красноводска», — писал Лев.

Лев утверждал, что стоял рядом с князем Аланией на берегу как раз в тот момент, когда пароход прибыл в порт. Вначале все думали, что на борту его только беженцы. Однако, когда с корабля стали выводить людей, переодетых матросами, якобы раненными в сражениях с большевиками, князь, повернувшись ко Льву, восторженно ухмыльнулся: «А вы знаете, кто к нам пожаловал на этом пароходе? Коммунистическое правительство Азербайджана!»

По приказу Алании полиция немедленно заменила бинты у комиссаров на наручники. Правда, согласно другим источникам, приказ об аресте отдал не бывший грузинский князь, а некий офицер из казаков. Лев писал, что он дошел следом за арестованными до небольшой временной тюрьмы, сооруженной на задворках здания суда, поскольку обычная тюрьма и без того была переполнена, и что с того места, где он стоял, были явственно слышны удары прикладами, крики и стоны допрашиваемых. Позже ему рассказали, что правительство решило перевезти комиссаров во внутренние районы страны, туда, где их можно было бы передать в руки англичан или же белогвардейцев, смотря по тому, какая из возможностей представится раньше. В большинстве других источников говорится, что комиссаров на несколько дней поместили в крошечные камеры, где они находились в ужасающих условиях, пока решался вопрос, как с ними поступить. Лев утверждал, что видел собственными глазами, как приговоренных к казни выводили из тюрьмы ночью — все они были в наручниках, в окружении охранников. «Большинство из них были бледны, однако сохраняли спокойствие, — писал он. — Они достаточно времени провели у кормила власти, чтобы сознавать, что именно означает на Востоке вывод из тюрьмы в столь ранний час. Лишь один из заключенных — он был моим родственником — не хотел идти сам, и солдатам пришлось тащить его, будто быка к мяснику. Каждые три шага он останавливался, произнося монотонным голосом, без выражения, отрешенно, тупо одно и то же: “Не пойду… не пойду… не пойду”. Мне и сегодня чудится, как он еле слышно выговаривает эти слова, какая в них звучит мука, звук его голоса, уже не человеческого, а звериного…» Позднее он узнал, что произошло далее: всех их заставили вырыть себе могилы в песке, после чего по очереди расстреляли, а затем, одного за другим, сбросили в могилы[43]. Той ночью Лев долго бродил по улицам, не в силах вернуться «домой», в здание кинематографа. На утро он вновь встретился с начальником

полиции, однако князь ни словом не упомянул о казни, но восторженно рассказывал о своей невесте, жившей в Персии, которую он надеялся в скором времени привезти в Туркестан, чтобы жениться на ней.

Рассказ об этих событиях Лев опубликовал в книге «Нефть и кровь на Востоке» в двадцатитрехлетнем возрасте, а когда они происходили, ему было всего двенадцать лет, поэтому к приводимым им деталям можно относиться скептически. Например, к небрежно брошенному замечанию, будто один из этих двадцати шести большевиков был его родственником. Впрочем, учитывая, что и его мать принимала участие в революционной деятельности, можно допустить и это.

В СССР двадцати шести бакинским комиссарам воздавали почести как мученикам, погибшим за счастье народа, и поэтому рассказ Льва о случившемся в Красноводске вызвал серьезную полемику и привлек внимание Троцкого, который был одержим идеей возмездия за смерть комиссаров, занимался поисками виновных и даже написал об этом целую книгу. Официальная советская версия сваливает всю вину за произошедшее на английского тайного агента по имени Реджинальд Тиг-Джонс, хотя имеются доказательства, что в ночь казни комиссаров он находился примерно в двухстах милях от места событий. Агенты советской разведки все же получили указание устранить его, так что Тиг-Джонсу пришлось провести остаток своей жизни под вымышленным именем и фамилией: он стал Рональдом Синклером. И только после смерти Синклера в 1988 году лондонская «Таймс» назвала его истинное имя и рассказала, что этот человек на протяжении семидесяти лет скрывался от расправы, поскольку его обвиняли в гибели комиссаров из Баку.

Факты, изложенные Львом, бурно обсуждались всеми кому не лень, за исключением непосредственных участников событии: ведь и князь, и матросы, и вообще почти что все, кто, так или иначе, имели отношение к убийству комиссаров, погибли в хаосе революции или же, подобно Тиг-Джонсу, пропали из поля зрения. Дневники этого британского шпиона, опубликованные посмертно в 1991 году, подтверждают многое из рассказанного Львом. Тиг-Джонс, правда, возлагает вину за убийство комиссаров на соперничавших с ними эсеров, которые, по его словам, в то время получали материальную помощь от британской армии. Именно британская помощь, предназначенная противникам большевиков, вызвала гнев большевистских руководителей, и, вероятно, стала одной из причин того, что Троцкий возложил всю ответственность за казнь на Тиг-Джонса. Со своей стороны, Тиг-Джонс в своем дневнике, который он хранил в тайне на протяжении семидесяти

лет, записал со слов одного эсера, что через несколько дней после прибытия комиссаров в Красноводск «большинство заключенных были без особого шума ликвидированы».

По-видимому, в октябре 1918 года Лев и Абрам, в надежде оказаться подальше от большевиков и прочих радикалов, покинули Красноводск — их путь лежал через пустыню дальше на восток. Они направлялись в древнюю Бухару, где эмир все еще удерживал свои позиции. На гостеприимство эмира, одного из последних хранителей прежнего порядка вещей, они могли рассчитывать. В прежние времена они отправились бы туда на поезде, однако после революции железные дороги сделались опасными. Железнодорожные рабочие одними из первых пошли за большевиками, а так называемая «железнодорожная ЧК» отличалась еще большей жестокостью, чем тайная полиция в других местах. Возможность передвигаться по стране была на тот момент величайшим благом, ведь она позволяла искать средства к существованию — работу и пропитание. И эта возможность оказалась в 1918 году практически под контролем железнодорожной ЧК. Кроме того, существовала проблема топлива. Паровозы, использовавшиеся тогда на железных дорогах, работали на угле, но в пустыне был острый дефицит древесины, так что в топках паровозов сжигали другое топливо. В то время когда Лев с отцом находились в Туркестане, древесину чаще всего заменяли сушеной соленой рыбой. Рыбу, твердую, как камень, конфисковывали в огромных количествах, чтобы поддерживать транспортную артерию, что вела от побережья Каспия в глубь страны. Кое-кто из местных жителей даже утверждал, что порой из трубы локомотива, тащившего за собой поезд, вылетали несгоревшие рыбины и к железнодорожному полотну тут же бросались голодающие люди.

Абрам Нусимбаум меньше всего хотел иметь дело с железнодорожной ЧК, поэтому отец с сыном избрали проверенный временем способ передвижения — с караваном верблюдов. «Дикие племена пустыни, песчаные бури, морская болезнь от сидения на раскачивающемся верблюжьем горбу, бесконечная жажда — все было лучше поездки по железной дороге», — вспоминал Лев. Наемный отряд вооруженных кочевников должен был провести их по пустыне, минуя пропускные пункты между Красноводском и Бухарой и, по возможности, селения и города, во многих из которых было сильно влияние большевиков.

Они присоединились к каравану из пятидесяти верблюдов вместе с несколькими русскими семьями, которые, как пренебрежительно отмечал Лев, «прежде представляли себе

Восток по декорациям в императорском оперном театре». А вожатый каравана, «чалвадар», вызвал у него неподдельный интерес и уважение. Лев позже уверял своих европейских читателей, что этот человек в пустыне чувствовал себя в большей безопасности, чем любой европеец у себя дома. «Потеряться в пустыне, сойти с нужного направления, раз уже встав на правильный путь, невозможно… На огромных, кажущихся бесконечными расстояниях он, кажется, поддерживает постоянную связь со всеми оазисами и племенами». Лев отмечал, как по цвету песка вожатый определяет положение каравана, как, подобно животному, чует воду на огромном расстоянии. Он также умел обойти стороной коварные воронки с мельчайшим песком, который не способен выдержать вес нагруженных верблюдов. Лев не мог забыть, как в подобной песчаной воронке утонула собака. Он наблюдал, как чалвадар заворачивает несколько свежеиспеченных лепешек во влажный холст и зарывает их в песок, отмечая это место длинным шестом: дар путникам, у которых закончится пища. Каравану Льва тоже довольно часто встречались подобные шесты, причем иногда вожатый выкапывал спрятанную провизию, заменяя ее свежей. Он надрезал ножом на поверхности лепешек какие-то знаки, которые Лев посчитал своего рода тайнописью, описывавшей новости о происходящем в пустыне. «Это, несомненно, самая удивительная газета на свете», — писал он. А вот все попытки разговорить чалвадара, выведать, в чем секрет его умения водить караваны, были напрасны. «Редко мне доводилось сталкиваться с таким нежеланием общаться, с такой неприступностью», — вспоминал Лев. Поначалу Льву казалось, что сбылись его фантазии, его мечты о подлинном Востоке. Однако вскоре монотонность движения стала угнетать его, хотя впоследствии, из стен квартиры где-нибудь в Берлине, Вене или же Нью-Йорке, бегство через пески Туркестана представлялось романтическим путешествием. Льва поражал примитивный образ жизни кочевников, например, то, как они в отсутствие воды очищали руки и лицо, обтирая их песком. От «скуки, тоски, страданий, вызванных голодом, физическими тяготами и болезнями» он чувствовал невероятную усталость. Зато хакимы, чьи способности казались ему сверхъестественными, вызывали его восторг и изумление. Хакимом называли врача в древнем смысле, то есть человека, получавшего не только традиционные медицинские знания, но и изучавшего теологию, литературу, логику и грамматику. «Хаким нередко принадлежит к святому братству дервишей, иногда же это поэт, изучающий Коран». Лев был свидетелем нескольких случаев излечения от болезней,

например, той, которую местные называли «пиндинка». Это мучительное кожное заболевание начиналось с небольшого красного пятна, а потом распространялось по всему лицу, превращая его в ярко-красную, покрытую струпьями маску. Если хаким лечил недавно появившееся пятнышко, втирая в него какой-то местный целебный бальзам, болезнь удавалось обуздать. Пятно, правда, не пропадало сразу, однако размеры его не увеличивались, и в конце концов оно исчезало, оставляя небольшой шрам. Нелеченное же заболевание могло распространиться на слизистую оболочку глаза, и тогда глаз был потерян. «Я безумно боялся этой самой “пиндинки”, однако, к счастью, она меня не коснулась», — писал Лев, причем этот страх сверхъестественным образом оказался предвестником болезни, что свела его в могилу много лет спустя: ведь она также началась с небольшого темного пятна, правда, на ноге.

Путешествие было опасным, поскольку численность банд в пустыне увеличивалась пропорционально численности отрядов их противников. В конечном счете Туркестан раскололся на две части, при этом большая часть страны оказалась под властью независимого от России националистического мусульманского правительства, тогда как другая пошла за большевиками, через несколько лет покорившими всю страну.

Пережить трудные времена эмиру бухарскому помогла жестокость. В некоторых сообщениях из Бухары, этого древнего города мечетей и минаретов, говорилось, например, что он возродил средневековый обычай — выводить приговоренных к смерти на самый верх минарета Калян, печально известной «Башни смерти», и сталкивать вниз. Эмир был прямым потомком татарских ханов, которые несколько веков правили на Руси, а потому именно себя, а не царя считал законным правителем всех русских. Правда, он носил форму генерала царской армии и не препятствовал притоку русских в Бухару и их культурному влиянию. Да это было и не в его силах, ведь эмир был по уши в долгах перед царским правительством. Бухара в то время зависела от экономической и военной поддержки Санкт-Петербурга, точь-в-точь как в наши дни страны Третьего мира зависят от Вашингтона.

Все изменилось с революцией в России. «Когда революция смела царя с престола, эмир призадумался, — писал Лев. — Он снял с себя царскую генеральскую форму и созвал государственный совет. Когда собрались все сановники, эмир приветствовал их, а затем приказал в ближайшие сутки убить всех русских, что жили в пределах его государства. В пользу этого своего решения он привел следующий довод: Россия теперь

ослаблена, так что другая такая возможность вряд ли представится».

Этот чудовищный постулат — «уничтожить всех иноземцев, всех, кто говорит и молится отлично от нас» — является стержнем небольшого шедевра Льва Нусимбаума — романа «Али и Нино». Именно поэтому Лев ненавидел революцию принципиально: она оказалась удобным предлогом для массовых убийств. Русским жителям Бухары было приказано никуда не выходить из своих домов, их охраняли вооруженные до зубов солдаты. Целых три дня люди провели в безвестности, взаперти у себя дома, пока некоторые члены правительства эмира ратовали за то, чтобы все же сохранить им жизнь. Согласно одной из версий, министр финансов встал на колени перед троном эмира и отказывался подняться на ноги, пока жизни русских не перестанет угрожать опасность. Впоследствии он сам с гордостью рассказывал об этом Льву, когда и тот и другой уже были в Берлине. А вот большевики подобной умеренности не проявили: «С помощью нескольких сот красноармейцев, — иронично пишет Лев, — Бухару заставили стать свободной, независимой, суверенной республикой. Эмир бежал в Афганистан, за ним старые и новые князья, министры, царедворцы, коменданты, они все бежали куда глаза глядят». Льву довелось встретить кое-кого из этих князей и министров в 1920-х годах в Берлине. К тому времени Лев Нусимбаум принял ислам и под псевдонимом Эсад-бей приобрел известность, запечатлев их роскошь, их продажность, их мелкотравчатые прегрешения. Если учесть, как унижены они были, уходя со сцены истории, какое чувство обиды, обычное для эмигрантов, терзало их, неудивительно, что они не доверяли этому молодому человеку, которого впервые увидели в качестве еврейского беженца, прибывшего в их город с караваном верблюдов.

Когда эмир бухарский в сентябре 1920 года бежал в Афганистан, по просторам пустыни рассеялись отряды националистов-мусульман и белогвардейцев, сражавшихся с большевиками и друг с другом. Единственным сдерживающим фактором было присутствие Британской Индийской армии, однако она в скором времени должна была покинуть пределы Средней Азии. Уинстон Черчилль призывал Англию не уходить из этого региона, чтобы защитить древние мусульманские царства Средней Азии, невзирая на то, что они весьма коррумпированы и что в Европе о них ничего не известно. Но то был глас вопиющего в пустыне: британская военная машина была не способна в одночасье перейти от противостояния германскому кайзеру к борьбе с большевизмом. Идею Черчилля отвергли как слишком

рискованную. Один из британских офицеров, заместитель командира полка Британской Индийской армии по возвращении из Туркестана в 1920 году опубликовал душераздирающее описание того, что означало для мусульман Средней Азии оставление их на произвол судьбы. Когда он и его подчиненные уже готовились к выводу своих частей из Бухары, к ним явилась депутация местного населения, умолявшая их остаться: «“Оставьте нам тысячу солдат, всего только тысячу, и мы сможем остановить врага”. Им ответили, что нашим солдатам требуется отдых и перекомплектация; тогда говоривший продолжал: “Оставьте здесь в таком случае пятьсот человек — неужели великая Британская империя не способна обойтись без пятисот солдат, которые защитят нас?” Ответ ему был: “Но оставить пятьсот солдат невозможно”. Тот сделал последнюю попытку убедить военных: “Ну оставьте здесь хотя бы одного англичанина. Наши люди будут знать, что Великобритания не покинет их, тогда мы будем по-прежнему биться с большевиками”. Когда же ему было сказано, что и это не представляется возможным, что уже получен приказ вывести все части, старейшина в отчаянии махнул рукой, сказав напоследок: “Тогда у нас нет больше никакой надежды. Одни мы не сможем обороняться…” Сейчас, когда по всей России полыхает огонь гражданской войны, Великобритания могла бы повлиять не только на всю Персию, но и на Туркестан, причем не задействовав ни одного солдата, если бы только в те критические дни она продолжала поддерживать население Средней Азии. В этом случае мы завоевали бы прочную дружбу двух миллионов отважных мусульман (с которыми мы никогда не вступали в вооруженные конфликты и с которыми нам бы это вообще не потребовалось)… Эта благоприятная возможность была, однако, упущена».

В довершение всего большевики освободили сорок тысяч полуголодных военнопленных, немцев и австрийцев, взятых в плен в годы Первой мировой войны и привезенных сюда, в лагеря под Бухарой. Теперь эти люди, оставленные на произвол судьбы в центре Средней Азии, среди мусульманского населения, не имея возможности вернуться к себе на родину, стали взрывоопасной силой. Некоторые женились на местных женщинах и, заведя собственное хозяйство, занялись теми ремеслами, которым были обучены до призыва в армию, например, строили дома и так далее. Многие, однако, сочли, что куда проще найти применение своим недавно приобретенным навыкам, и становились наемными солдатами или палачами. Большевики платили им хорошо, хотя порой не выполняли собственных обещаний. К примеру, австрийские военнопленные, которые помогли красным

захватить Бухару, были расстреляны, когда потребовали выплаты обещанного жалованья.

В общем, Бухара оказалась явно не тем местом, где стоило оставаться. Пулеметные очереди раздавались здесь без конца. Ко всему прочему началась эпидемия «испанки»[44], тяжесть которой усугублялась царившим вокруг хаосом, так что все, кто уцелел в мясорубке Гражданской войны, кого не расстреляли из пулеметов или не порубили шашками, мог отправиться на тот свет, заразившись этой опасной разновидностью гриппа. В эти годы — 1918-1920-е — мир стоял, пожалуй, на пороге апокалипсиса. Тогда перестали существовать большинство монархий Европы и Азии, которые обеспечивали стабильность миропорядка на протяжении сотен лет. Эмираты Средней Азин были, конечно, захолустьем, но на Льва произвела глубокое впечатление стремительность, с которой рухнули «эти славные древние твердыни», когда «пустыня пала под власть красной звезды».

Абрам принялся раздумывать, куда бы податься. Антибольшевистским оплотом к югу от Бухары был Афганистан, но для безопасного существования там необходимо было иметь связи среди местного населения. К тому же уроженцы Баку, этого «самого восточного города Европы», не желали забираться так далеко. Путь на запад был заблокирован большевиками. А побежденные, рассыпанные по пустыне отряды белогвардейцев были не менее опасны, поскольку, как гласила молва, нападали на любой караван, который им попадался, — точь-в-точь как красные. Бежать можно было лишь в одну сторону — на юго-запад, и потому отец и сын Нусимбаумы присоединились к каравану русских и мусульманских беженцев, который направлялся в Персию[45].

В пустынной пограничной области между Бухарой и Персией тогда царило спокойствие, так что караван без происшествий пересек пустыню и вошел в номинальные пределы владений персидского шаха. Подобно Туркестану, север Персии был населен мало, однако культура его жителей была более древней и условия жизни более цивилизованными. Караван много дней продвигался вперед по пустыне, порой оказываясь в роскошных оазисах, у развалин древних городов и укреплений — покрытые пылью веков, уединенные, они походили на огромную цепь изысканных городов-призраков. Города, где имелось население, были окружены стенами толщиной в шесть и высотой в двадцать футов[46]. Стены были глинобитными, и ворота в них, точь-в-точь как в Средние века, стояли открытыми только днем, а на ночь запирались. Выдержать обстрел из артиллерийских орудий городские стены не могли, они предназначались для защиты

горожан от нападений банд грабителей и кочевников. На севере Персии разбойничали обычно курды, однако они же, наряду с этническими азербайджанцами, составляли большую часть боевой силы персидской армии. Сами персы воевать не желали. Лев впоследствии описал это в «Али и Нино»: когда Али сообщил персидским родственникам о своих планах уехать в Баку, чтобы защищать родной город от большевиков, те брезгливо отпрянули от него со словами: «Проклятье, ведь совершенно вылетело из памяти, что в глазах правоверного иранца быть солдатом — дело недостойное. <…> Иран находится под защитой Аллаха, и, для того, чтобы блистать, ему не нужны мечи. В прошлом сыны Ирана уже доказали свою отвагу. <…> Теперь шахзаде поэзию предпочитает пулемету. Может быть, потому, что он лучше разбирается в поэзии?»

Страна, в которой поэзия и искусство значили больше, чем идеология и оружие, была для Льва в диковинку. Караван продолжал неторопливо двигаться вперед, а ему казалось, что он совершает путешествие в прошлое… «В Персии все кажется не живым, а театральным, — писал Лев в восхищении, — и каджарские принцы[47], и крестьяне, бредущие за плугом, читая нараспев строфы Хафиза или Саади, которым уже пятьсот лет. Это поистине древняя страна, родина поэтов и философов, которая считает настоящее грязными лохмотьями, что недостойны даже беглого взгляда, но которая охотно штудирует стихи несравненного палаточника[48]». На самом деле Персия была полна жизни: в ее лесах водились волки, тигры, лисы и дикие кабаны, в пустынях попадались львы; персидские кони, пусть и не такие быстроногие, как арабские, были известны своей красотой. Страна славилась также сельским хозяйством — здесь выращивали лучшую в мире пшеницу, хлопок, сахарный тростник, виноград и табак. Запах табака и гашиша встречал Льва повсюду, так же как аромат роз, столько раз воспетый в персидской любовной поэзии. Государство каджарских шахов, казалось, было заповедником, куда не врывались суровые ветры современности, где люди жили среди смоковниц, под сенью фруктовых садов, занимались дистилляцией розовых лепестков для получения изысканных духов, ткали ковры, охраняли гаремы от чужих посягательств, а также создавали поэтические произведения. В этом литературном кладбище поэтов-палаточников он увидел страну, которой еще не коснулись веяния современного мира. «В Персии по-настоящему жива лишь вера», — писал Лев, однако то была вера, в которой существовало немало странных ответвлений, сект и тайных обществ. Ему встречались исмаилиты, поклонники дьявола, бабиды и бахаи, эта

секта мусульман-универсалистов, которые уверовали, что мусульманский мессия вновь явился на Землю в середине XIX века — примерно в то же время, когда Джозефу Смиту была дана «Книга Мормона», — и что мы живем в тысячелетии, когда все религии объединятся. Правоверные мусульмане презирали бахаи, считая их еретиками, и часто преследовали их[49]. Триумфальная победа ислама в Персии в VII веке означала поражение местной религии, зороастризма, который был запрещен и всячески искоренялся. Наряду с завоевателями-мусульманами в стране появились и проповедники Корана другого толка — это были беженцы, которые назвали себя «Ши-Али», то есть «приверженцы Али», или попросту шииты. Они учили, что персы не должны доверять завоевателям-арабам, которые заявляли, будто идут по пути, явленному пророком Магометом.

Шииты считали, что право быть халифом, или духовным лидером в исламе, после смерти пророка Магомета должно было перейти по наследству к Али, который был одновременно двоюродным братом и зятем пророка. Али избрали халифом, но через четыре года его убили отравленным мечом. Еще через несколько лет были убиты его сыновья, Хасан и Хусейн, пытавшиеся отстоять права своей семьи на наследование. Хасана отравили, а Хусейн героически погиб в пустыне, обороняясь против превосходящих сил неприятеля. Произошло это близ города Кербела в современном Ираке, и он был убит, так же как и его отец Али, воинами-суннитами, жаждавшими его погибели. Мученичество Хусейна, когда он, внук пророка Магомета, пожертвовал собственной жизнью, дабы не изменить истинной вере, священному Корану и преданиям пророка, для его последователей является актом самопожертвования, таким же, как для христиан распятие Христа (правда, шииты не считают Хусейна сыном Божьим). В глазах шиитов смерть Хусейна — это центральная, основополагающая трагедия ислама. В основе сложной идеологии шиизма лежит убеждение: истинные наследники пророка были погублены, в исламе воцарилась несправедливость, и мир не станет праведным, пока не явится Махди, мессия шиитов, призванный воплотить Царство небесное здесь, на Земле.

Песнопения, в которых говорилось о муках Хусейна за грехи человеческие, постоянно исполнялись в городах и селениях Персии, а основным видом театральных представлений в стране были мистерии в память о его жертвенной, мученической смерти. Как-то караван застрял в одном городке из-за того, что там отмечался ежегодный праздник Ашура. Улицы были заполнены мужчинами, музыканты играли свои заунывные мелодии на

барабанах, флейтах и тарелках-кимвалах, а молодые люди, сверстники Льва, шли по улицам обнаженные до пояса, бичуя себя и возглашая: «Хасан, Хусейн, Хасан, Хусейн!» За этой процессией двигались жители городка, шиитские священнослужители встречались повсюду на городских улицах, они направляли движение толпы, обращались к ней с призывами. Больше всего Льва заинтересовали старики с длинными волосами, которых он в первый момент принял за женщин. Поверх буйной шевелюры некоторые носили оранжевые шапочки с остроконечным верхом. Все они были босы, и в течение всего праздника многие из них хлестали себя по спинам и плечам небольшими плетками с вплетенными в хвосты железными полосками, вознося при этом молитвы. Это были дервиши — те, кто в поисках религиозной истины отрешался от всего материального. Священный орден этих танцующих нищих получил распространение вместе с гностическим, экстатическим движением суфиев по всей Азин. Лев обратил внимание на то, что «в их обществе можно было видеть купцов, воинов, князей, даже иностранцев. И не стоило удивляться, если оборванный, длинноволосый попрошайка вдруг обращался к тебе на улице по-немецки, по-французски или по-английски. На Востоке богатство и образование существуют отдельно одно от другого. Дервиш обязан оставаться нищим попрошайкой, даже если его орден на самом деле является главным кредитором правительства… Дервиши неустанно передвигаются из одного города в другой, проповедуют на базарах о грядущем конце света, а также с большой гордостью заявляют, что в их рядах можно найти лучших людей страны».

Персидские шииты-мусульмане чрезвычайно привлекали Льва. Это был ислам в самом своем пьянящем виде — в жертвенном танце самопожертвования. Ему нравилось непритворное религиозное рвение, бурлившие вокруг него страсти, — такого он никогда не видел у себя в Баку. Шиизм поощрял побежденных, жертв несправедливости, и это укрепило представление Льва об исламе как бастионе героического сопротивления в мире, исполненном грубой силы и неправедности.

Вместе с тем Персия была страной тиранов и самодуров. Когда караван пересекал провинции Мазендаран и Гилян, его остановил некий всадник в красочных персидских одеждах. Он представился как посланник Джафар Хана, правителя этого региона. Хан просил приветствовать путешественников, сказал всадник, и пожелал передать им, что все они будут казнены. Не соблаговолят ли они подождать, пока хан не явится, для того,

чтобы самолично исполнить свой приговор? У Льва возникло дурное предчувствие, что это вовсе не розыгрыш и они в самом деле могут погибнуть от руки какого-то безумца, пусть и весьма колоритного, словно сошедшего со страниц «Тысячи и одной ночи», — и это после того, как им с отцом удалось уцелеть во время событий Гражданской войны в Азербайджане и Бухаре! Однако Абрам Нусимбаум лучше разобрался в происходящем. Лев вслушивался в начавшуюся между отцом и посланником хана мучительно-дружелюбную перепалку. Перс выражался настолько вежливо и осторожно, что невозможно было понять, к чему он клонит. Однако Абрам продолжал разговор, и все стало ясно, когда посланник в конце концов проговорил: «К чему вам деньги, если вы все равно умрете?» Беглецы вздохнули с облегчением: всадник всего лишь желал получить с них некую мзду, а это для всякого, кто вырос на Кавказе, дело обычное. Правда, манера, в которой это было сделано, оказалась чрезвычайно причудливой. Но они ведь оскорбили хана, пересекая его владения и не предложив ему какого-либо подношения, пояснил посланник, известивший их далее, что не следует воспринимать требование заплатить за проезд как примитивное желание получить презренные деньги. «Что скажут в других странах, узнав, что даже такие премногоуважаемые путешественники, как вы, отказываются что-нибудь подарить нашему хану?» — вопрошал посланник. После длительных переговоров и отчаянной торговли Лев и Абрам отослали с всадником письмо для хана, составленное в самых цветистых выражениях и с вложенным в него денежным «подарком», и курьер лихо поскакал прочь, — точь-в-точь средневековый рыцарь. А когда вернулся, нагнав караван, то передал Абраму и Льву настоятельное приглашение Его Высочества Джафар Хана пожить у него, побыть его гостями.

Путешествуя с караваном, Лев познакомился с религиозной жизнью Персии. Теперь, живя при дворе Джафар Хана, он получил возможность составить себе представление о политической жизни страны. Каждое утро Лев являлся на заседания правительства хана, которые были посвящены почти исключительно получению подношений от его многочисленных подданных. При этом ассортимент этих подношений был невероятно широк: от золотых и серебряных монет до живых кур и мешков с мукой. Принималось все без разбору. Порой серьезное правительственное совещание прерывалось каким-нибудь вполне легкомысленным занятием, чтобы несколько развеяться: однажды во дворе выпустили из клетки стаю голубей, и хан успешно перестрелял их одного за другим. Это тоже было использовано для сбора подарков: после каждой подстреленной птицы

властелин получал от придворных поздравление и несколько монет для ханской кошечки.

Лев никак не мог понять, когда они с отцом наконец смогут покинуть двор хана. Они даже не могли определить для себя, являются они гостями хана или его пленниками, но спрашивать об этом представлялось им неблагоразумным. Более того, у Льва была почетная стража — двое вооруженных до зубов, хотя и босоногих, солдат, выполнявших роль телохранителей и потому следовавших за ним повсюду. Там, где было особенно грязно, они несли его на руках — так же, как поступали его слуги у них дома, в Баку.

Персия была обителью не только религиозности, но и чувственности. В «Нефти и крови на Востоке» Лев описывает, как однажды ночью в помещение, где жили они с отцом, хан прислал «бичо», или мальчика для удовольствий. Лев объяснил слуге, который сопровождал мальчика, что они не способны оказать честь столь щедрому дару, «поскольку наши интересы находятся в другой сфере». Момент был затруднительный, неловкий. Рассыпавшись в извинениях, слуга удалился. Едва отец с сыном устроились на ночь, прямо на полу, на подушках и коврах, как слуга вновь появился у их двери. С ним были две молоденькие девушки, с любопытством постреливающие глазками сквозь тонкую чадру в путешественников. На сей раз отказаться от их общества было, как пишет Лев, совершенно невозможно «с точки зрения благовоспитанности».

«Все же хан был уязвлен тем, что мы воздержались от наслаждения, которое доставили бы нам обоим юные прелести его бичо. Он навестил нас с отцом уже на следующее утро, причем вел себя так, что можно было понять: он попросту не понимает, как быть с этими двумя варварами, которые не в состоянии оценить утонченные чувства. Он пустился в бесконечные истории о красавцах в Древней Персии, жаловался на развращенность современной молодежи, которая восторгалась одними лишь низменными удовольствиями повседневного существования, причем выказал весьма солидные познания в обсуждавшемся предмете.

Поскольку, как я уже упоминал выше, я был в состоянии восторгаться всеми классическими образцами красоты (за исключением мальчиков для наслаждений), хан довольно скоро примирился со случившимся и даже пригласил меня отобедать с ним в его гареме. Я же, проявив достаточную осторожность, предпочел не появляться у него в гареме, поскольку там он мог бы, чего доброго, поступить со мной, как со своим бичо. За пределами гарема, где власть хана была ограничена

условностями гостеприимства, я ощущал себя в большей безопасности. Когда мы уже прощались с ним, покидая его дворец, он вручил мне рукопись Хафиза, и с мрачным видом, но, разумеется, в стихах объяснился мне в любви, на что я, естественно, также отвечал ему объяснением в любви. Я, правда, не уверен, что его любовь сохранила бы чисто платоническую форму, если бы наш караван не охраняли вооруженные наездники».

На протяжении этого путешествия юный Лев везде ощущал себя объектом мужского вожделения. Лев воспринимал эту «персидско-греческую традицию» как очередной на удивление хорошо сохранившийся элемент Древнего Востока, который пышная, угасающая Персия смогла сберечь от современной цивилизации в неизменном, первородном виде.

После долгих дней удушающего ханского гостеприимства Лев и Абрам наконец сумели уехать. Караван теперь направился на северо-запад, к порту Энзели на берегу Каспийского моря. Оттуда они намеревались на пароходе вернуться в Азербайджан, который был теперь оккупирован турецкой армией, недавно изгнавшей англичан. С точки зрения Нусимбаумов, турки были идеальной оккупационной силой, ведь Азербайджан все же тюркская страна. Абрам стремился как можно скорее вернуть себе свою собственность, и оба страстно желали вновь оказаться в родном Баку. Однако не успели они отъехать достаточно далеко, как у них возникли некоторые трудности.

По всей Северной Персии, как и предупреждал их Джафар Хан, в то время пылало восстание дженгелийцев. Дженгелийцы, или «Лесные братья», были фанатичной шиитской сектой, которая взяла в руки оружие, чтобы изгнать чужеземцев с земли Персии. Это был очередной пожар, разгоревшийся от искр русской революции. Дженгелийцы имели сильные позиции на севере Персии, вдоль ее границы с Азербайджаном, и на то была существенная причина: через границу шла революционная пропаганда из России. Вдохновляемые призывами к революции, которые раздавались по всей России и по всему Кавказу еще в 1905 году, некоторые персы создали революционное движение, поначалу вполне умеренное и либеральное. В 1906 году шах даровал народу конституцию, которая гарантировала выборные права гражданам страны, создание парламента и установление конституционной монархии. Однако, предвосхищая действия американского ЦРУ в Иране в 1950-х годах, англичане и русские помогли тогдашнему шаху совершить кровавую контрреволюцию, причем было даже сожжено только что построенное здание парламента — и это несмотря на то, что внутри него находились

многие парламентарии. К 1911 году либеральная конституционная революция была насильственно прекращена.

Вмешательство европейцев изменило основную цель революционеров Персии: вместо конституционной демократии они объявили джихад, направленный против западных стран. В 1912 году на пике реакции появилась партия «Единство ислама», которая объявила своей задачей изгнание всех иностранцев из Персии. Члены этой партии поклялись не стричь волосы и ногти до тех пор, пока последний неверный не оставит священную землю Ирана[50]. К дженгелийцам примкнули фанатики всех мастей, все те, кто хотел иметь возможность убивать неверных «на законных основаниях», а также те, кто просто хотел убивать. Каравану, в котором ехали Лев и Абрам, теперь встречались заброшенные деревни; временами они видели трупы людей и валявшееся возле них оружие.

Однажды на караван напала шайка личностей, размахивающих шашками, с точки зрения Льва, это были самые обыкновенные грабители, а никакие не революционеры, хотя они и назвали себя дженгелийцами.

Главарь этих разбойников, молодой перс со сверкающими черными глазами, подошел к ним и сказал: «Неверные, отойдите в сторону и отдайте ваши вещи правоверным». Погонщик верблюдов попытался договориться с ними о размерах мзды, чтобы они пропустили караван, однако грабители так прикрикнули на него, что он тут же умолк. Главарь дженгелийцев обратился к просвещенным чужестранцам, желая знать цель их путешествия. После чего объявил, что все желающие могут стать членами его отряда. Лев и Абрам «в исключительно вежливых выражениях» отказались от такой чести, после чего у них отобрали все мало-мальски ценное. Бандиты также обыскали всех, кто ехал в караване. «Когда очередь дошла до меня, — вспоминал Лев впоследствии, — главарь этой шайки спросил меня, не желаю ли я стать его возлюбленным, причем обещал мне радужные перспективы в будущем». Ничего не зная о том, как здесь принято вести себя в подобных ситуациях, Лев рассказал тут же придуманную им историю, будто он уже является возлюбленным одного почтенного имама из Мешхеда, а потому, да будет благословенно имя Аллаха, и не собирается оставлять этого мудреца в одиночестве, чтобы не причинить ему горя. «Авторитет служителя Бога спас меня», — заключает он. В последний момент, когда бандиты вот-вот должны были отправиться восвояси, забрав с собой всех верблюдов, к ним неожиданно присоединились погонщики. Так Лев и Абрам остались посреди пустыни совершенно одни, без проводников.

Пришлось им двигаться куда глаза глядят, пешком. Шли они до рассвета, когда, на их счастье, вдруг увидели какие-то жилища.

Измученные отец и сын вошли в город. У них не было денег, верблюдов, не было с ними и никого из прежних спутников. Они решили идти в местную мечеть. В отличие от западных церквей или синагог, мечети нередко представляют собой лишь часть общественного места, где имеются дворы, залы, харчевни. Здесь, как хорошо знали они — евреи, выросшие среди мусульман, — всегда можно найти приют. И в самом деле, им не только дали прибежище, но и снабдили пищей и деньгами, чтобы хватило до самого Энзели, который находился на расстоянии дня пути. Наконец, когда они уже собрались покинуть этот гостеприимный городок, к ним подъехал гонец, назвавшийся представителем «Железного комитета»[51]. Это была протофашистская организация, которой руководил Реза Кули — тот, что в 1925 году стал шахом, взяв себе имя Реза Пехлеви (Реза Великий). Этот самопровозглашенный комитет тогда уже набирал силу по всей Персии, действуя как сила, принуждавшая людей к миру и спокойствию. Гонец вынул из сумы запечатанный кожаный мешок. Когда он распечатал и открыл его, оттуда посыпался песок. Пошарив в мешке, курьер вытащил, наконец, наружу некий предмет размером с арбуз, покрытый запекшейся кровью. Это была человеческая голова. «Вот негодяй, который доставил вам столько неприятностей по пути сюда», — заявил гонец. Ему поручено, объяснил он, вручить им эту голову в знак уважения со стороны «Железного комитета», а также пожелать дальнейшего приятного путешествия. Льву и Абраму с большим трудом удалось объяснить гонцу, что голова нм вовсе ни к чему. Вид головы мерзавца, что так издевался над ними, заверяли они, доставил им обоим глубочайшее удовлетворение, однако, приняв ее, они помыслить не могли бы о продолжении своего путешествия. В конце концов им удалось отправиться восвояси, а гонец остался решать, что же ему теперь делать: как-то избавиться от этой головы или же вернуть непринятый дар тем, кто его сюда послал…

И вот отец и сын наконец оказались в порту Энзели. Там подтвердились сведения о том, что политическая обстановка в Баку складывалась в высшей степени благоприятно: правительство возглавлял всеми уважаемый юрист, бывший, по мнению Льва, «человеком нашего круга»[52]. Теперь они знали наверняка, что можно возвращаться домой без всяких сомнений. Революция закончилась. Начался период восстановления.

Вскоре они нашли других беженцев с Кавказа, и в результате присоединились к группе владельцев нефтяных скважин, которые

возвращались домой со своими семьями. Чтобы переплыть просторы Каспия, они сложили имевшиеся у них средства и купили корабль, который выглядел подозрительно дряхлым. Он был небольшой, максимум на пятьдесят пассажиров, однако на его борт взошло двести человек. Они наняли команду, в которой оказалось четыре капитана, причем двое из них работали прежде на танкерах, принадлежавших Абраму. Хотя обычный рейс из Энзели в Баку продолжался двенадцать часов, решено было, что их пароходу потребуется вдвое больше времени. На борт взяли двухдневный запас пищи и воды. Также было решено выйти из порта под покровом ночи, чтобы их не обнаружили британские военные. Труднее всего, как вспоминал Лев, оказалось попасть незамеченными на борт корабля. Ведь добираться до него, стоявшего на якоре посреди акватории порта, пассажирам приходилось на лодках, а потом еще нужно было карабкаться на палубу по веревочным лестницам, так что в результате прошло много часов, прежде чем все попали на борт. «Наконец-то четыре капитана и эти моряки-разбойники подняли паруса, началось наше счастливое возвращение на родину. Никто впоследствии не был в состоянии вспомнить, сколько же бутылок вина выпили за эту ночь возвращающиеся домой пассажиры…»

Им удалось миновать поисковые прожекторы, установленные британцами в Энзели, и покинуть порт без проблем. Когда Лев наконец уснул, ему снились кары, обрушившиеся на головы большевиков. Он слышал их стенания, они стонали и кричали, стоя на коленях перед пришедшими отомстить им. Но тут выяснилось, что стенания раздавались и наяву. Когда он пробудился от тяжкого сна, его каюта оказалась заполнена перепуганными людьми: их утлое судно попало в один из тех случающихся раз в несколько месяцев штормов, которыми известен Каспий и которых стремится избежать любой настоящий моряк.

Наконец шторм стал стихать, и тут из ночной тьмы появилось загадочное судно — судя по его вооружению, боевой крейсер. Как ни странно, над ним развевался прежний стяг — флаг Российского императорского военно-морского флота. Моряки на этом крейсере отказались признавать случившуюся революцию. И хотя царь был убит уже несколько месяцев назад, ни офицеры, ни простые матросы не собирались нарушить данную ему присягу. Эти фанатичные монархисты патрулировали воды Каспия на боевом корабле императорского флота, иными словами, с 1917 года постоянно находились в походных условиях, выживая, по-видимому, за счет того, что грабили торговые или пассажирские суда. Матросы-монархисты, высадившись на судно со

злополучными беженцами, объявили всем, находящимся на борту, что направляются в Баку с целью атаковать вражескую флотилию, стоявшую на якоре в бакинском порту. Пассажиры объяснили, что Баку оккупирован германскими и турецкими войсками, но для моряков его величества этот факт ничего не значил: они же не признавали мирного договора, который большевики от имени России заключили с Германией и Турцией. С их точки зрения, это ничего не меняло, разве что врагов теперь стало больше, чем прежде: и немцы, и турки, и болгары, и австрийцы, и… свои сограждане — большевики. В глазах этих матросов и Лев, и Абрам, и все остальные пассажиры, желавшие вернуться в Баку, были предателями, и поэтому они заявили, что имеют полное право потопить судно. И пока они решали, что делать с несчастными, тем было приказано не рыпаться. На счастье, оказалось, что был день тезоименитства кого-то из великих князей, и потому моряки отправились на свой крейсер праздновать это событие. Капитаны в подзорные трубы и бинокли наблюдали, как ярые монархисты упились до положения риз. После чего они приказали бесшумно поднять якорь и уплыли.

Вскоре пассажиры столкнулись с иной проблемой: образовалась течь, а на борту нашлась всего одна ручная помпа, да и то маломощная. Пока мужчины старались справиться с этой напастью, обнаружилось, что на коже у детей, плывших на этом корабле, появились ужасные черные пятна. Один ребенок умер. Капитаны объявили, что это черная оспа, однако, по мнению Льва, болезнь вполне могла быть и чумой. Помпа не откачивала воду с нужной скоростью. Тогда пассажиры, разобрав ведра, стали вычерпывать воду, создав живую цепь. Но судно все равно продолжало тонуть. Ужас и хаос воцарились во мраке ночи, на еле-еле борющемся с волнами судне. Матросы принялись грабить пассажиров, насиловать прислугу. Льву и Абраму удалось спрятаться на дне одной из спасательных шлюпок. Они слышали, как началась стрельба.

«Это был уже не столько корабль, сколько сумасшедший дом, — писал Лев в своих воспоминаниях. — Мы, голодные, замерзшие, плыли по волнам, находясь уже в полубессознательном состоянии». Он пытался отвлечься за чтением единственной книги, которая оказалась у них с собой, — это был «Дон Кихот» в русском переводе. Время от времени они с отцом принимались говорить о смерти — спокойно, без эмоций. И хотя бакинская гавань была совсем недалеко, добраться до нее представлялось им практически невозможным, ведь судно медленно тонуло, к тому же на его борту разразилась загадочная болезнь.

Спасение пришло нежданно, как в дешевом приключенческом романе.

На пятые сутки их плавания, во второй половине дня, пассажиры увидели где-то на горизонте пароход, шедший под германским флагом. Отношение к ним со стороны немецких моряков, отмечал Лев, было самым почтительным. Всех беженцев пригласили перейти на германское судно, оставив тонущий корабль, причем немецкая команда мгновенно освободила для них свои каюты, в том числе и каюту капитана, чтобы там могли поместиться бывшие среди них князья, нефтяные магнаты и политики. Капитан заверил их, что ситуация в Баку стабильная, что нефтяные вышки не повреждены и что враги — и большевики, и англичане — бежали из города.

Уже на следующий день немецкий корабль вошел в бакинский порт. Лев снова смотрел на старый город, дворцы, средневековые бастионы — все, как прежде. Вот поистине волшебный, сказочный город, думал он, город, где чудес куда больше, чем в любом другом месте. Встретить их явился сам новый премьер-министр, уважаемый бакинский юрист, окруженный своими телохранителями, в сопровождении солдата, который нес флаг независимого Азербайджана. А когда они сошли, наконец, на берег, после нескольких месяцев опасных приключений, Лев впервые увидел отряд германских солдат. Когда они с отцом добрались до собственного дома, то обнаружили, что у их входных дверей стоят навытяжку два турецких солдата. В их доме, оказывается, были размещены на постой немецкий и турецкий офицеры. Абрам представился им, сообщив, что он — владелец этого дома, и постояльцы заверили его, что тут же переедут. Абрам упрашивал их остаться и быть его гостями, ведь места в доме было предостаточно, однако они отказались.

На этот раз им повезло. Лев понятия не имел, как станут развиваться события дальше. Он знал лишь, что они у себя дома. Отец и сын Нусимбаумы вернулись на родную землю.

Глава 4. Бегство

Пребывание Нусимбаумов в Туркестане и Персии длилось, по-видимому, всего несколько месяцев, однако в Баку за это время произошло множество головокружительных политических пертурбаций. Город не раз осаждали, в нем заключались самые невероятные союзы, в которых участвовали и британцы, и представители Советов, и казаки, и эсеры, и немцы, и турецкая «Армия ислама»[53], намеревавшаяся присоединить Азербайджан к Османской империи. Армянское население понесло массовые жертвы в результате кровавых побоищ. К моменту возвращения Льва в Баку город был в руках у турецких и немецких солдат.

Хотя стены средневековой крепости и подверглись обстрелам со стороны, как минимум, трех армий, Лев обнаружил, что космополитическая смесь европейской и азиатской архитектуры, характерная для Баку, не слишком пострадала. Арбы с трупами пропали с улиц города. Пронизывающие октябрьские ветры с моря продували закоулки ханского дворца и средневековых мечетей, срывали листья с деревьев на бульварах, вдоль которых высились особняки нефтяных королей. Правда, многие здания были изрешечены пулями и повсюду высились новые сооружения, знаменовавшие собой результат многомесячной «политической борьбы», — это были виселицы.

Местные жители говорили, что виселицы были сооружены германскими и турецкими властями в целях восстановления порядка после осады города. К болтавшимся на виселицах трупам крепились картонки с надписями, например: «Повешен за кражу фунта орехов». Это возымело свое действие. «До оккупации, — вспоминал Лев, — Баку кишмя кишел всевозможными преступниками, а всего через пять дней после того, как город захватили турки и немцы, он стал эталоном честности, безопасности и порядка». В этом городе, который едва приходил в себя от многих месяцев осадного положения, самым серьезным преступлением стали попытки накопить излишки продовольствия и вздуть цены на товары.

Время бунта прошло. На нефтяных месторождениях вновь началась добыча «черного золота». На балконе отеля «Метрополь», высившегося над морем, снова сидели нефтяные тузы в вечерних костюмах, посасывая сигары и цедя шампанское из бокалов — только теперь им составляли компанию немецкие и турецкие офицеры. «Одним из первых, кто там появился, был турецкий паша, сумевший захватить Баку, — вспоминал Лев. — Его окружали со всех сторон германские офицеры, которые

всячески старались превзойти друг друга в изысканности поздравлений и в изъявлении дружеских чувств. Я выступал в роли переводчика между ними и своим отцом». Льву очень нравилось переводить для немцев, которые произвели на него большое впечатление своим нежеланием принимать от населения привычные здесь «подарки» и тем более взятки. «Согласно общепринятому представлению, завоевателю не пристало платить за все, что принадлежало ему по праву сильного, однако ничто не могло убедить в этом немцев, — писал он. — Никогда прежде на Востоке не появлялись такие странные завоеватели».

Турки в этом отношении были ближе и понятней. И главное — те и другие были куда лучше большевиков. Может, вся эта революция — лишь тяжкий, кошмарный сон? Неужели он снова заживет прежней жизнью и у него опять будут телохранители, он будет часами читать книги в домашней библиотеке, участвовать в костюмированных балах, неторопливо прогуливаться, предаваясь своим мечтаниям, вдоль серых бастионов Старого города?

Но германо-турецкая оккупация Баку продолжалась всего несколько недель. В октябре 1918 года болгарский фронт развалился[54], блок Центральных держав (Германия, Австрия, Болгария и Османская империя) оказался под ударом, так что и турецкое, и германское высшее военное командование, на уровне генеральных штабов, принялись умолять о заключении мира. В начале ноября 1918 года немцам пришлось передать управление Баку англичанам, которые вернули свои войска из Персии. Британские военные, получившие приказ о наступлении на Баку, не слишком радовались подобному развитию событий, ведь совсем недавно городское правительство было на стороне турок и немцев, которые вышвырнули англичан из Баку. И если во время своего первого пребывания в городе англичане держались высокомерно, то теперь они относились к его обитателям с нескрываемым презрением.

Тем не менее на несколько месяцев на Кавказе воцарился мир, и все наслаждались передышкой на общем фоне войн и революций. Более того, Азербайджан стал первым, реально функционировавшим демократическим государством в исламском мире. Здесь, впервые в истории мусульманского общества, женщины получили право голоса. Здесь начинала доминировать эта удивительная смесь качеств Востока и Запада, которая выделяла Баку на общем фоне еще в годы изначального нефтяного бума. Хотя коррупция и тайные закулисные сделки всегда характеризовали стиль жизни в этом центре нефтедобычи, он отличался и практическим плюрализмом. Политическая жизнь била ключом. Даже скептически настроенный начальник

английского гарнизона и тот был под впечатлением от лидерских качеств азербайджанских государственных деятелей, особенно нового спикера парламента — усатого Расулзаде[55], внешне напоминающего профессора. В 1919 году, на Парижской мирной конференции, президент США Вудро Вильсон также обратил внимание на Расулзаде, назвав его «весьма достойным, вызывающим интерес джентльменом из Азербайджана, который говорит на языке, что мне близок и понятен — в смысле идей, понимания, что такое свобода, а также, что́ есть право и справедливость».

Несмотря на улучшение отношений между оккупационными войсками и азербайджанцами, все, что им не нравилось, англичане объявляли нарушающим «принципы цивилизованного общества». Это, быстро понял Лев, маскировало жесткое условие: если что не так, британские войска тотчас снимутся с места и уйдут восвояси, оставив Азербайджан на произвол судьбы. А в августе 1919 года они и в самом деле покинули Баку. Демократически избранное правительство всячески приветствовало грядущую независимость, однако у всех на уме был один и тот же вопрос: способен ли будет демократический Азербайджан защититься от большевистского колосса к северу от своих границ? И все же, когда англичане ушли, все в Баку испытывали воодушевление. Предприниматели, такие, как Абрам Нусимбаум, были теперь в состоянии вести дела в столице собственного, независимого государства, которое не было более ни окраиной Российской империи, ни протекторатом Британской империи.

«Для нефтяных магнатов, которые теперь пришли к власти, настала лучшая пора за всю их жизнь», — писал Лев. Он всегда вспоминал об этом периоде, о целом годе существования независимой азербайджанской республики, как о времени непреходящего оптимизма. Беседуя с Зулейкой Асадуллаевой, младшей сестрой школьного товарища Льва, я получил подтверждение тому, что подобные ощущения испытывали тогда многие. «Мы все очень гордились нашей независимой, современной мусульманской республикой, — сказала она мне. — У нас женщинам разрешили голосовать на выборах — такого тогда не было нигде в мусульманском мире! Наше правительство возглавляли просвещенные, образованные государственные деятели, и оно было относительно некоррумпированным. Казалось, что все складывается слишком хорошо — настолько, что в это было даже трудно поверить. Так оно и оказалось! Наши руководители не понимали тогда, что мы были совершенно беззащитны».

Азербайджанский парламент, проведя соответствующие переговоры, заключил со своими соседями необходимые политические и экономические договора. Была заключена эксклюзивная сделка на разведку новых месторождений с компанией «Датч-Шелл» (хотя и на не слишком выгодных для Азербайджана условиях). В России все еще полыхала Гражданская война, а на Кавказе воцарился мир, суливший развитие и процветание.

Однако то было кратковременное затишье перед бурей.

В «Нефти и крови на Востоке» Лев описывает званый обед в узком кругу, который однажды вечером устроил его отец для членов азербайджанского правительства. Когда закурили сигары, речь зашла о развертывании армейских подразделений. Министр торговли и начальник военной администрации Баку, оставшиеся дольше прочих гостей, принялись обсуждать проблему обуздания беспорядков вдоль армянской границы. Граница с Арменией находится на юго-западе Азербайджана, и чтобы защитить ее должным образом, значительную часть небольшой армии молодой республики, в том числе и пограничные патрули, пришлось отправить туда, сняв их с позиций вдоль северной границы. Но разве разумно, спросил Абрам, оставлять одну из границ совершенно открытой ради того, чтобы защищать другую, тем более что за этой, незащищенной границей находится куда более сильный сосед? Так ведь ресурсы у нашей республики довольно ограниченные, возразил начальник военной администрации, и поэтому было принято тщательно взвешенное решение, что южная граница для нас сейчас важнее. Наша республика, сказал министр торговли, только что подписала важное новое соглашение с Советской Россией. Высокие гости выкурили свои сигары и откланялись, и Лев наблюдал со своего балкона, как начальник военной администрации садился в свой автомобиль. «Я видел, как мимо него проехала машина ночного патруля и оттуда прозвучало “мир вам” — принятое у нас приветствие». Но когда министр приехал к себе домой, к нему приблизились несколько вооруженных людей и заявили, что он арестован. «По чьему приказу?» — только и спросил он. «По приказу ЧК Социалистической Советской Республики Азербайджан».

Слуги той же ночью разбудили Льва и его отца, чтобы сообщить, что большевики заняли город. «Из своего окна я видел входившие в город отряды Красной Армии, видел жесткие лица, оборванные униформы, завистливые, голодные глаза русских, которые жаждали получить доступ к богатствам города нефтедобытчиков».

Той ночью составы с красными солдатами пересекли российско-азербайджанскую границу, за ночь продвинулись на юг, вдоль побережья, и бесшумно окружили Баку. Они привезли с собой самое страшное оружие большевиков: Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем, или, сокращенно, ЧК. Эти самые чекисты в своих знаменитых куртках-кожанках, с пистолетами-маузерами на боку в последующие пять лет уничтожили больше людей, чем царская тайная полиция за все предыдущее столетие. Вот что писал Владимир Короленко, который считался одним из самых выдающихся писателей-социалистов и который провел немалую часть своей жизни в Сибири, в царских тюрьмах: «Если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, это было бы то же самое, что мы видим теперь»[56]. Излюбленным оружием ЧК был небольшой ручной пулемет, с помощью которого они стремились уничтожить любого, кто пытался «ускользнуть».

Азербайджанское правительство быстро приняло решение, что сопротивление бесполезно, и оформило акт о капитуляции. В этом документе завоевавшие город коммунисты обязались «никак не преследовать никого из министров, членов парламента или нефтяных магнатов, и более того — предоставить им возможность свободно покинуть страну». Но не прошло и месяца после захвата Баку, как начались репрессии. Большинство нефтяных магнатов было отправлено в тюрьму (чтобы можно было получить побольше взяток от их родственников). На свободе, под неусыпным надзором, оставили тех, кто требовался для совершения экспортных операций.

В первый раз став свидетелем того, как разрушается окружавший его мир, Лев испытал страх и смятение. Во второй раз им владели скорее отвращение и гнев. Разрушительная сила нового режима уже стала легендарной, и главным ее свойством было презрение ко всему, что существовало прежде. Как было известно Льву, татаро-монголы в процессе завоевания этих регионов уничтожали людей не менее безжалостно, но, требуя от покоренных племен полного и безоговорочного подчинения, они все же впитывали какие-то элементы их культуры. Большевики же не желали считаться с прошлым: оно было этапом формирования настоящего, а дальше его следовало вышвырнуть вон, как использованную тряпку.

ЧК была центральным органом нового коммунистического правительства. Она могла арестовать любого, кто не был в состоянии представить непреложные доказательства своих «благонадежных» убеждений или же своей незаменимости для

нефтяной отрасли. Лев видел своими глазами, как по улицам вели жертв очередной «чистки». Один из уводимых на казнь офицеров, узнав Льва, взмахнул рукой и показал ему на собственную шею, давая понять, что будет дальше. Размах репрессий нарастал с каждым днем. И каждый день сотни людей — банкиров, аристократов, учителей, студентов, журналистов — бросали в застенки. Главой бакинской ЧК был русский матрос, который «использовал свой опыт, приобретенный в морских переходах». Всех, кого арестовывали в Баку, перевозили лодками на небольшой остров Нарген, на котором ЧК организовала свой официальный штаб. Для экономии времени чекисты нередко расстреливали своих узников по пути на остров и выбрасывали их тела за борт. Люди вокруг пропадали бесследно, но даже близкие родственники не отваживались выяснять их судьбу. Кроме массовых арестов и расстрелов, бакинская ЧК поднимала революционный дух в Баку и другими способами. На площади напротив дома Льва регулярно организовывали зрелища в стиле средневековых аутодафе. Фигуры, изображавшие знаменитых «кровопийц», — американского и французского президентов Вудро Вильсона и Жоржа Клемансо, британского премьер-министра Дэвида Ллойд-Джорджа, торжественно сжигали под пение «Интернационала». Лев видел, как большевики снимали эти сцены на кинопленку, чтобы впоследствии показывать по всей стране. Через много лет ему даже довелось увидеть один из таких фильмов в берлинском кинотеатре. Он вспоминал, что фильм получил благожелательные отзывы в немецкой прессе — за мастерство режиссера.

Когда, в конце 1920-х годов, воспоминания Льва о зверствах большевиков были впервые опубликованы, ни он сам, ни его немецкие читатели не верили, что подобное может повториться в современной европейской стране, такой, как Германия. Однако всего через три года после издания книги «Нефть и кровь на Востоке» в Берлине после нацистского переворота начались аресты, убийства и аутодафе не меньшего размаха. Гестапо — новая тайная политическая полиция нацистов — взяла ЧК в качестве образца, и ее сотрудники рьяно изучали методы и приемы работы чекистов.

Очень скоро представители ЧК явились в дом Нусимбаумов. Они сообщили Абраму Нусимбауму: ему вынесен смертный приговор «как закоренелому преступнику и кровопийце». Правда, этот приговор будет отложен на неопределенное время, если он согласится — разумеется, находясь под соответствующим контролем, — работать на благо нефтяной отрасли, «пока из рядов пролетариата не появятся опытные преемники,

продолжатели его дела». Было даже упомянуто, что существует возможность заслужить своим поведением полное прощение при условии содействия в транспортировке нефтепродуктов: большевикам на самом деле было нужно как можно скорее организовать поставки на север, в Россию. Абрам согласился работать на благо нового бакинского Совета. Когда он предстал перед новым Советом директоров нефтяной отрасли, то из преступника и кровопийцы превратился в «подозрительного, однако временно незаменимого эксплуататора», каковое понижение в ранге спасло ему жизнь.

Именно в этот период, по свидетельству Льва, к ним в дом приезжал Сталин. Лев рассказал журналисту из «Нью-Йорк геральд трибьюн» в 1934 году, что именно тогда он и начал собирать материалы для биографии Сталина. «Я часто сидел напротив него. Он обычно читал какую-то глупую книжку, в которой было написано, что вскоре произойдет мировая революция». Один раз Лев, по его словам, спросил: «Неужели им недостаточно всех убийств, которые они совершили?!» На что Сталин возразил: «Ну что еще тебе нужно? Тебе же мы сохранили жизнь!»

Непонятно, можно ли этому верить, но Лев писал Пиме: «Когда Рябой жил с нами, он мне многое рассказал о моей матери. Он к тому времени уже стал важным функционером, и он рассказал мне, как мать моя когда-то помогала ему. Мы проговорили почти всю ночь».

Если Сталин и был какое-то время «покровителем» Нусимбаумов в Баку, это продолжалось совсем недолго. Предваряя методы нацистов, большевики объявили неделю «экспроприации экспроприаторов», иными словами, призывали «пробудившийся пролетариат» вторгаться в дома «буржуев» и забирать там все, что понравится. Последним оставалось лишь молча наблюдать за происходящим. Любое противодействие означало бунт против существующей власти и каралось смертью. «Пролетарии» тащили с собой изящную мебель и ковры, пищу и алкогольные напитки, белье и самовары, а также всевозможные предметы старины. Владельцы этих вещей были обязаны по первому требованию безвозмездно отдавать все, за исключением разве что личной одежды, хотя порой приходилось расставаться и с ней. Впрочем, вспоминал Лев, действительно богатые люди, люди его круга пережили это легче, чем можно было ожидать: «Владельцам нефтяных месторождений неделя грабежа показалась невинной забавой. Те, кто потерял миллионы в результате национализации нефтяной промышленности и конфискации банков, все те, кто изо дня в день жил под угрозой

быть застреленными, — неужели для них были так уж важны кухонные принадлежности или какие-нибудь тарелки? Хуже всего пришлось людям среднего класса, ведь у них отбирали последнее, хотя, если разобраться, они были не богаче хорошего квалифицированного рабочего. Многие мужья тогда покончили с собой, чувствуя себя обесчещенными, поскольку в их гаремы врывались посторонние, совершенно чужие люди. В домах среднего класса гарем — это помещение, где обитает вместе с детьми жена хозяина (обычно единственная)». В гаремах небогатых мусульманских семей хранилась самая большая ценность: шелковые простыни и наволочки, которыми пользовались только члены этой семьи. Символы домашнего уюта и женской чести, эти простыни порой поглощали львиную долю скромных доходов такой семьи. Теперь же их отбирали — «ради торжества мировой революции».

Одна из таких шаек конфисковала все, что было в доме у Нусимбаумов, к чему хозяева отнеслись с полным безразличием, поскольку для них это было наименее значительным из всех постигших их несчастий. «Мы понимали, что либо большевиков прогонят и мы вновь займем подобающее нам место, либо нас расстреляют… Не исключалось также, что нам удастся бежать. Так или иначе, мы вполне могли обойтись без принадлежавшей нам мебели». После экспроприации к Нусимбаумам снова явился какой-то чекист, предъявивший бумагу, согласно которой они были обязаны очистить помещение, как он выразился, «в двадцать четыре… минуты» — это было стандартное большевистское уведомление о выселении, но чекист перепутал часы с минутами. ЧК позволила им перебраться в контору Абрама, однако и там им было разрешено занять лишь одну комнату. Впрочем, для устройства на новом месте у них уже почти не осталось личных вещей.

По словам Льва, примерно тогда был провозглашен лозунг: «Пролетариат не терпит грязи!» Всех «классовых врагов Революции» заставили мести и мыть улицы Баку. Со вкусом одетые немолодые мужчины и женщины, моющие, стоя на коленях, тротуары — подобное зрелище не раз повторялось при нацистском режиме. Жестокий террор, не снившийся никому из самых деспотичных монархов, начал постепенно принимать конкретные формы в умах тех, кто теперь оказался у кормила власти.

В результате Лев, которому было уже почти пятнадцать лет, с отцом приняли новый план действий. На этот раз они отправятся на запад, чтобы бежать по суше в Грузию, которая еще оставалась независимой. Когда они были вместе, за ними постоянно

следили: предполагалось, что отец ни в коем случае не попытается бежать без сына. Поэтому они решили выбираться из города порознь. Слежка за Львом велась не так усердно, и он должен был уехать первым. Он отправится в Гянджу, древний город поблизости от грузинской границы, — там у их семьи было немало друзей и там же базировались силы азербайджанской националистической оппозиции. Через несколько месяцев после бегства сына Абрам предпримет инспекционную поездку на нефтяные месторождения за пределами Баку, в ходе ее скроется и также направится в Гянджу. Встречу они назначили у азербайджано-грузинской границы.

При первой же возможности Лев забрался в один из вагонов товарного поезда, что следовал из Баку через пустыню, — это был вагон для перевозки скота, в котором ехало немало крестьян: так он мог избежать рискованного путешествия на пассажирском поезде. Здесь, усевшись прямо на пол, будто бродяга из рассказа Стейнбека, наблюдая за проплывавшими мимо равнинами, пустынями, горами, Лев чувствовал себя как дома. Крестьяне «все, как один, проклинали коммунистов, так что у меня было ощущение, словно я оказался в компании с владельцами нефтяных месторождений». Нередко поезд, с немилосердным скрежетом тормозов, останавливался, в вагоны влезали солдаты, которые обшаривали все и вся в поисках «белых», проклиная болванов-чурок, угрожая всем, что вызовут ЧК, однако почти всегда они, как и проводники в вагонах, были пьяны.

Главное, полагал Лев, добраться до азербайджано-грузинской границы. Дальше они смогут попасть на грузовое судно и пересечь Черное море, а там уже и до Европы рукой подать! В Европе они будут в безопасности. Нефтяные месторождения остались позади, поезд шел мимо садов и полей. «Стояла весна, и могло показаться, что эта земля, родина Заратустры, еще не пострадала от красных».

Приехав в Гянджу, былую столицу Азербайджана, Лев обнаружил, что здесь процесс большевизации зашел уже довольно далеко, хотя город считался центром «националистической» деятельности. Он увидел объявления, знакомые ему по Баку, однако в целом атмосфера показалась ему иной, особенно в мусульманской части города, где на базарах люди во всеуслышание проклинали своих красных «освободителей». Это привело Льва в восторг, и, предоставленный самому себе, он почувствовал вкус к интригам и заговорам. Один торговец, его новый приятель, познакомил его с группой заговорщиков, которые решили, что важно иметь в своем кругу человека, прекрасно знающего Баку, ведь именно Баку был главной целью

националистов. Поначалу Льву очень польстило, что его приняли в круг посвященных. Однако он быстро сообразил, что в этот круг принимают практически любого, и подивился тому, сколь неэффективно действовали власти: таких неуклюжих заговорщиков ничего не стоило разоблачить и ликвидировать.

Как ни удивительно, разоблачены заговорщики не были, так что начавшееся в назначенный день восстание, охватившее весь город, застало врасплох руководителей большевистских отрядов. Заговорщики получили к тому же поддержку со стороны русских беженцев — белогвардейцев, которые были рады возможности свести счеты с красными. В Гяндже красных было не так уж много, и реализовать заговор оказалось куда проще, чем, скажем, в Баку. Лев утверждал, что он лично оборонял из пулемета ключевой мост, однако его карьера военного не продлилась дольше одного дня.

Описывая эти, как, впрочем, и все остальные, события в книге «Нефть и кровь на Востоке», Лев Нусимбаум освещал их с позиции мусульманина Эсад-бея, сына знатного мусульманина. Именно поэтому интересно отметить немногие места, где видна его озабоченность еврейским вопросом. Вспоминая о восстании в Гяндже, он, например, писал: «Русские белогвардейцы, те, что присоединились к нам, тут же предложили, согласно традициям своей страны, устроить еврейский погром. Мы, однако, вежливо отклонили это предложение, хотя у них уже были даже напечатаны плакаты с надписями: “Бей жидов, спасай Азербайджан!”» И дальше Лев специально подчеркивает, что если «прочие» мусульмане просто отказались от участия в этом предприятии, то он лично обошел город и, содрав с заборов все уже наклеенные призывы убивать евреев, тут же уничтожил их. А потом еще заявил русским, что «им не следует забывать: они находятся в цивилизованном Азербайджане, а не в дикой России, на что русские тут же предложили устроить армянский погром». Лев утверждал, что его соотечественники отказались и от этого, ведь, по его словам, азербайджанцы-мусульмане идут на смертоубийство, только если того требуют законы чести и необходимость отомстить обидчику; а коль скоро они уже за все отомстили армянам во время устроенной в Баку резни, то «теперь не собирались впустую проливать кровь людей».

Заговорщики и все увеличивавшаяся группа их сподвижников «с восточной невозмутимостью», то есть медленно и неэффективно, готовились распространить восстание на остальные регионы страны. А тем временем большевистские руководители, находившиеся в Баку, узнав о перевороте в Гяндже, направили туда двадцатитысячную армию. В результате не

успели восставшие оглянуться, как оказались отрезанными и изолированными и от других городов Азербайджана, и от всего внешнего мира. Большевики начали постепенно сжимать кольцо блокады. Заговорщики не знали, что подобные восстания уже происходили в других районах страны и что метод большевиков был один и тот же: окружить, изолировать и уничтожить сопротивление. В Гяндже большевики сначала заняли армянскую часть города, а затем приблизились к мосту через реку, разделявшую армянские и мусульманские кварталы. Сама река, давшая городу название, уже давно пересохла, однако ее русло по-прежнему существовало, и там по весне иногда вился небольшой ручей. Именно здесь Али-хан, alter ego Льва, герой его романа «Али и Нино», решил стоять со своим пулеметом насмерть, не отступая ни на шаг, так что в конце концов его тело, пронзенное восемью большевистскими пулями, упало в пересохшую реку.

Мы с Фуадом, моим приятелем, сотрудником Интерпола, съездили в Гянджу и потратили немало времени, пытаясь найти нужный мост. Но после семидесяти лет советской власти никто из горожан уже не мог сказать нам, где именно он мог находиться, и нас целый день водили по городу, так что мы увидели полдюжины разных мостов. В итоге мы его все же нашли — полуразрушенный и бесполезный над покрытым грязью пересохшим руслом. На нем все еще были отметины от пуль, оставшихся со времен революции. На углу улицы рядом с этим мостом, на бывшей армянской стороне города, откуда наступали большевики, высилось здание психиатрической лечебницы.

Когда сражение закончилось, ЧК провела «расследование». «Судебная процедура отличалась невероятной простотой, — писал Лев. — Спрашивали имя, профессию и возраст, ответы наскоро записывали, а потом, в девяноста из ста случаев, приговор “Расстрелять!” исполнялся тут же, прямо на месте. Это была организованная резня, массовое убийство, для которого название “террор” было слишком мягким».

Лев так и не объяснил в деталях, как ему удалось бежать после поражения восстания. В 1929 году он опубликовал в Германии свои первые воспоминания, повествование о пережитом, о том, как он не раз был на волосок от гибели. Либеральными читателями они были в целом приняты на веру и вызвали глумливые отклики антисемитски настроенных правых, которые сочли его стремление скрыть свое еврейское происхождение доказательством того, что и все его россказни — фальшивка. В этих воспоминаниях двадцатичетырехлетнего автора действительно полным-полно сомнительных мест и

похвальбы, однако впоследствии он доказал, что способен на неожиданные и отчаянно-смелые поступки.

Во всем развитии большевистской революции было что-то ирреальное, и особенно сильно это ощущалось в пограничных территориях бывшей империи, например в Туркестане или на Кавказе. Большинство тех, кто совершил этот революционный переворот, по-видимому, сами не могли поверить во все происходившее: ведь всего за несколько дней или недель кровопролития им удалось разорвать на части те общественные и политические отношения, что складывались в стране на протяжении веков.

В своих предсмертных записках Лев вспоминал: «Когда чекисты арестовали меня, я лишь засмеялся. Бог знает, почему так вышло. Но я засмеялся. Мне было четырнадцать лет. По всем стандартам Востока я был взрослым человеком. Однако все, вместе взятое, представлялось мне приключением, смешным, восхитительным приключением. Было очевидно, что всего через несколько недель или через несколько месяцев все следы революции бесследно исчезнут. И так думали все, даже сами красные».

И в самом деле, рассказ Льва о том, как ему удалось уйти от облавы в Гяндже, читается как веселое, увлекательное приключение. Спрятавшись на несколько дней в чьем-то погребе, он разработал план действий. Подойдя к проходившему мимо солдату, он спросил его, как добраться до ЧК. Солдат был донельзя удивлен — в самом деле, никто никогда не желал найти ЧК — и подробно объяснил ему, как туда пройти. Лев пришел прямо в ЧК и попросил встречи с ее начальником. «Товарищ, пожалуйста, выдайте мне разрешение на выезд из города», — обратился он к этому офицеру на чистом русском языке. Представитель ЧК потребовал сообщить, кто он такой. «Комсомолец из Астрахани, сын рабочего, — ответил Лев. — Я был в Гяндже по поручению комсомольской организации, на меня напали враги пролетариата, а теперь я хочу вернуться домой, чтобы продолжить борьбу в рядах вооруженных рабочих». Лев утверждал, что его хитрость удалась благодаря безукоризненному русскому, убедительности и юному возрасту, ведь он просто еще не мог быть белым офицером.

— Документы? — потребовал чекист.

— Уничтожил, согласно общим указаниям партийного съезда после белогвардейского мятежа.

Чекист пытливо посмотрел на меня, немного подумал и вдруг спросил:

— А что сказал товарищ Ленин насчет прав народов на

самоопределение?

— Самоопределение вплоть до отделения! — отчеканил я.

— А куда ведет путь к коммунизму с экономической точки зрения?

— От временной экономической анархии капитализма к систематической организации промышленного производства, — отвечал я как по-писаному в полном соответствии с бухаринской «Азбукой коммунизма», которую успел выучить назубок еще во время первого большевистского вторжения в Азербайджан.

Экзамен был сдан. Чекист ухмыльнулся и оформил для него разрешение на отъезд. Однако на вокзале представитель железнодорожной ЧК отнюдь не пришел в восторг от предъявленного документа. «ЧК Гянджи имеет право выдавать разрешения только на выезд из города. А для проезда по железной дороге требуется получить разрешение железнодорожной ЧК», — гаркнул он. Когда Лев попытался уйти, чекист отказался вернуть ему только что предъявленный документ. Более того, он сказал, что Лев выглядит подозрительно и поэтому может либо отказаться от мысли получить назад эту бумагу, либо же «задержаться» в ЧК. Лев предпочел ретироваться без документов.

Ничего не зная про окрестные деревни, не понимая, как добраться до грузинской границы, чтобы встретиться с отцом, Лев ушел из города пешком. Идти ему пришлось целый день, и по дороге он так никого и не встретил. К вечеру ему стали попадаться сады и аккуратные посадки деревьев и кустарников. Вдруг в кустах сверкнуло ружейное дуло, и чей-то голос произнес: «Вон какой-то парень идет». Слова эти прозвучали тем более неожиданно, что произнесены были по-немецки. Лев поднял руки вверх и крикнул тоже по-немецки, что хотел бы знать, кто они и что им от него нужно. «Ополчение района Хеленендорф», — ответили ему на чистом немецком языке и приказали приблизиться к кустам.

Как узнал Лев, в этом селении, угнездившемся здесь, между азербайджанской пустыней и предгорьями Кавказского хребта, но выглядевшем точь-в-точь как деревня где-нибудь в Шварцвальде, жили несколько тысяч немцев[57] чьи хозяйства процветали. Основатели Хеленендорфа эмигрировали сюда из Германии за сто лет до этого — они покинули родную Швабию после Наполеоновских войн, спасаясь от голода 1816 года и от религиозных преследований. Александр I предложил им земельные участки на Кавказе, чтобы заселить этот регион и обеспечить его защиту от мусульман. Согласно одному немецкому исследованию, опубликованному в 1910 году, в 1816 и

1817 годах на Кавказ было отправлено пятнадцать вагонов со швабскими переселенцами, считавшими приграничные районы Российской империи «страной свободы и счастья». Они разбогатели за счет постоянного, тяжкого труда, начав создавать в Азербайджане производство коньяка и виноделие.

Германские колонисты не интересовались политической жизнью Азербайджана, они лишь платили налоги тому правительству, которое в данный момент находилось у власти. Правда, иноплеменные соседи нередко зарились на их винные погреба. А тут еще подавленное большевиками националистическое восстание в Гяндже — неудивительно, что жители Хеленендорфа выставили передовой охранный пост.

У Льва было такое чувство, будто он вдруг оказался в Германии. Желая сохранить родной язык, жители Хеленендорфа каждый год посылали кого-нибудь на родину, в Германию, — на своего рода стажировку и чтобы убедиться, что они ничем не хуже любой немецкой деревни. Они выписывали школьных учителей из Германии, нанимали германских врачей, а также следили за тем, чтобы у их пасторов было германское теологическое образование.

Когда охранники привели Льва в селение, его приветствовали все жители. Быть может, они не ко всякому проявили бы такое гостеприимство, но Лев расположил их к себе хорошим немецким. Лев вспоминал позже, что праздность его продолжалась неделями, он пил вино, которое производили члены этой колонии, ходил с ними в церковь, ухаживал за девушками. Он появлялся на концертах, которые устраивали по воскресеньям во второй половине дня, а также в кофеине, проводя целые часы за пересудами и общими разговорами. Хотя жители Хеленендорфа понимали, что Лев скрывается от большевиков, никто из них ни разу не заговорил с ним об этом. К нему относились как к дачнику, к путнику, который решил остановиться на некоторое время у них в поселке, пусть у него почти не было средств, чтобы оплачивать расходы: Льву удалось припрятать очень небольшую сумму денег, на которую он теперь и жил.

По прошествии многих лет, уже живя в Германии, где нарастала враждебность по отношению к национальным меньшинствам, Лев вспоминал обитателей Хеленендорфа, которые для него представляли не столько немецкую, сколько общекавказскую культуру. Это селение, где проживало крошечное меньшинство, противостоявшее посягательствам многих и одновременно проявлявшее гостеприимство по отношению к беженцам и чужестранцам, стало для Льва воплощением идеального Кавказа — Кавказа его воображения.

Азербайджанские крестьяне из окрестных поселений с большим уважением относились к предприимчивым германским «колонистам», которые самостоятельно обрабатывали свои наделы и в чьих домах имелись такие удобства, о каких местные крестьяне и не слыхивали. Жители Хеленендорфа строили двух-трехэтажные дома в традиционном швабском стиле — с островерхими крышами, с традиционной кирпичной кладкой, сооружали большие погреба, отделанные тесаным камнем. Хотя немцы жили в культурной изоляции от окружающих, Лев вскоре заметил у некоторых жителей Хеленендорфа черты соседей — черные волосы и смуглую кожу. Многих немцев Хеленендорфа вполне можно было спутать с азербайджанцами. И это притом, что уроженцы селения выступали против смешивания с туземцами. Лев осветил это обстоятельство с присущим ему юмором: «Германские колонисты, не желающие иметь ничего общего с “цветными туземцами”, вскоре, по-видимому, сами станут “цветными”. Все, кто знает жизнь немцев-колонистов, способны подтвердить, что расовые предрассудки отнюдь не имеют к этому отношения. Появление смешанных отпрысков местных жителей и колонистов весьма маловероятно, и, скорее всего, на цвет кожи влияет местный климат. Примечательно, однако, что среди новых поколений айсоров, проживающих в непосредственной близости от Хеленендорфа, отчего-то появились дети со светлыми волосами — это тем более невероятно, что ни один истый германец не способен настолько уронить себя, чтобы вступить в связь с женщиной-айсоркой».

Пассаж об отсутствии расовых предрассудков в отношениях немцев-колонистов и коренных жителей Кавказа приобретает особенно острое значение, если учесть, что Лев опубликовал свою автобиографию в Германии накануне нацистского переворота.

В 2000 году мы вместе с Фуадом добрались до селения Хеленендорф.

Мы заблудились, пытаясь найти его, и нас остановила группа вооруженных до зубов азербайджанских солдат. Деревня эта находится почти на границе с Арменией, в той зоне, где азербайджанские и армянские военные время от времени обмениваются выстрелами. Здесь кажется, что Первая мировая война все еще продолжается, или, вернее, что она таилась в латентном состоянии, подобно вирусу, все восемьдесят лет советского режима, чтобы вновь активизироваться после его падения.

В конце концов мы нашли Хеленендорф, и здесь все выглядело в точности так, как это описывал Лев, с одной лишь разницей: в селении не было немцев. Еще в 1941 году Сталин

приказал депортировать их в Казахстан. Большинство там и умерли, а небольшая группа выживших вернулась в Германию в 1991 году. Этот факт уничтожил мои последние, совсем слабые надежды на то, что здесь можно найти кого-то, кто еще припомнил бы того подростка — беженца из Баку. Дома, по-прежнему крепкие, стояли, однако тех, кто их построил, давно не было на свете. Лишь одна женщина откликнулась, когда я приветствовал ее по-немецки. Эта древняя старуха поведала мне, с трудом выговаривая немецкие слова и без конца перемежая их азербайджанскими, что ее отец был немецким колонистом, а мать принадлежала к одному из местных племен, вот ей и удалось избежать депортации. Все прочие мои собеседники были потомками азербайджанских семей, привезенных сюда после насильственного переселения немцев. Эти семьи, как могли, пытались сохранить красивую деревню. И очень гордились подвалами из тесаного камня, ведь таких не было нигде в округе. Многие из них водили меня по шатким старым лестницам вниз, в прохладу этих каменных покоев, где по стенам были полки, уставленные бутылками с вином и коньяком и банками с фруктовыми компотами.

Я обнаружил и церковь, которую описал Лев, — здесь жители селения в свое время встречались постоянно: послушать проповедь пастора, посудачить о том о сем. Сложенная из прочного красного кирпича она на удивление хорошо сохранилась. Правда, когда я вошел внутрь, оказалось, что здание превращено в спортклуб. Именно здесь, в этой церкви, как повествует Лев, он однажды вечером услышал молитву еще одного беженца, армянина, который просил Всевышнего дать ему возможность уехать живым из этой страны. Он, как оказалось, занимался нефтедобычей, подобно Абраму Нусимбауму, и добрался сюда на старом грузовике прямо из Баку с единственным, что у него осталось, — самоваром. Правда, грузовик тоже принадлежал ему.

Вскоре они уже обсуждали, как лучше всего добраться до границы. У армянина был с собой документ, согласно которому ему якобы поручалось закупать рыболовные сети по всей стране и за границей — там, где он сочтет нужным. Этот документ оказался достаточно убедительным, чтобы «дорожная» ЧК разрешила ему выехать на грузовике из Баку, вот только теперь его грузовик уже дышал на ладан. Идти до границы пешком было слишком далеко, а свирепость железнодорожной ЧК его сильно беспокоила. Кроме того, этот предприниматель опасался путешествовать в одиночку: его, армянина, могли убить мусульмане или арестовать ЧК — как паразита и кровопийцу.

Путешествуя вместе, размышляли они, легче было бы защищаться. Документ армянина, его «удостоверение рыболовецкой артели», должен был защитить их обоих от классового геноцида. Они репетировали свою «легенду»: армянин — пролетарий, специалист, командированный для закупки сетей; Лев — его доверенный секретарь и эксперт по плетению рыболовецких сетей. Армянин даже выправил какую-то поддельную бумагу на имя Льва, чтобы подкрепить эту версию. Они были готовы по проселочным дорогам добираться до границы.

Приступить к исполнению намеченного плана действий удалось не сразу: передвижения и в сельской местности стали довольно опасными. Укрепив свою власть в городах, большевики принялись прочесывать сельские районы. Повсюду в деревнях они приказывали «выдать аристократов», если жители не хотят подвергнуться артиллерийскому обстрелу, поджогу или же массовому расстрелу за «укрытие кровопийц-эксплуататоров». Лев вспоминает, что в тех деревнях, где не имелось ни аристократа, ни хана, ни какой-то другой «акулы капитализма», приходилось бросать жребий, и кто-то из несчастных крестьян, кому он выпадал, вынужден был изображать из себя землевладельца, жертвуя собой ради односельчан. В иных селениях, где на самом деле жили аристократы, местные князья, люди порой отказывались выдать их, и в таких случаях дома строптивых обычно сравнивали с землей. Лев писал, что многие князья из провинциальных городков и селений сами являлись в местную ЧК, не желая подвергать опасности своих сограждан и односельчан. Переодетые агенты явились и в Хеленендорф, выдавая себя за беженцев. В результате заводить какие-либо знакомства стало небезопасным, из-за этого Льву с его другом пришлось ускорить отъезд. Их новый знакомец был человеком весьма заметным, уроженцем мест, весьма далеких от Кавказа, — из Латвии. Он организовал вечеринку, которая началась с танцев. По ходу дела, однако, его подручные, рассыпавшиеся в толпе танцующих, принялись петь большевистские песни, а под конец вечера латыш вышел на сцену и обратился к собравшимся с речью. После того как он якобы «зажег толпу», всем пришлось подняться с мест и спеть «Интернационал».

Сразу после этой вечеринки солдаты арестовали Льва и привели его к латышу, который, разумеется, был офицером ЧК. Он обвинил Льва в том, что тот не встал с места, когда запели «Интернационал», и что он «контрреволюционный элемент». Лев бодро выдал ему свою легенду — что он приехал сюда для того, чтобы узнать, нельзя ли здесь закупить рыболовецкие сети для

Азербайджанской ассоциации развития рыболовного промысла. Выражение лица латыша ясно говорило: он и представить не мог, что кто-либо способен придумать такую бредовую небылицу. Однако не мог он и на сто процентов отвергнуть вероятность, что Лев говорит правду, ведь экспорт черной икры был для Азербайджана вторым по значению после нефти. Он потребовал сообщить ему точное название и адрес этой ассоциации, и Лев тут же сделал это. Конечно, если бы в 1920 году в Азербайджане существовали телефоны и телефаксы, Льву бы не поздоровилось. А тут — хочешь не хочешь — латышский чекист лишь пообещал, что известит ассоциацию о ненадлежащем поведении ее сотрудника и, вообще, наведет там справки о Льве. Он также приказал Льву не отлучаться из деревни, пока не придет ответ из Баку. Это стало для Льва сигналом о том, что нужно немедленно уезжать. Он тут же отправился к армянину, разбудил его, и той же ночью они уехали, не забыв прихватить с собой и самовар. Но вот незадача: грузовик смог доехать лишь до ближайшей деревни и там окончательно сломался. Впрочем, беглецам удалось купить там лошадей, так что остаток пути до границы они проделали верхом. Они скакали всю ночь, как два сбившихся с пути ковбоя, молясь лишь о том, чтобы в случае нужды им удалось правдоподобно воспроизвести историю о закупке рыболовецких сетей.

В районах поблизости от границы между Азербайджаном и Грузией изумрудно-зеленые луга покрыты орхидеями, там пасутся дикие кони, а овечьи стада то и дело останавливают движение на дороге, переходя с одной ее стороны на другую. Я старался по возможности воспроизвести путь Льва той ночью, однако меня вез на своем старом «БМВ» дядя Фуада — прежде он заведовал отделением детской хирургии в Баку, а теперь подрабатывал извозом и продажей недвижимости. Этот доктор Рауф был счастлив, что ему довелось съездить в эти места, где можно отведать, пожалуй, самую изысканную пищу и самые лучшие напитки Кавказа.

Лев вспоминал, как они проезжали деревни, в которых старейшины приветствовали их как дорогих гостей, обращались к ним с речами, предлагали им золото, женщин или баранов — все, чем была богата деревня: ведь эти гости явно были аристократами. Когда они отказывались от даров, люди целовали им руки и устраивали празднество в честь «гостей, которые ничего не отобрали силой». План, который разработали Лев с армянином, удалось воплотить в жизнь куда лучше, чем они оба ожидали. В мусульманских деревнях Лев поручался за армянина, а в армянских — тот поручался за Льва. Надо ли говорить, что на

самом деле эти два уроженца Баку имели куда больше общего друг с другом, нежели с жителями горных деревень?

Я бы усомнился в правдивости рассказов Льва о местном гостеприимстве, если бы сам не проехал по этим же местам на стареньком «БМВ», благодаря которому нас принимали, как князей. Люди предлагали нам все, что имелось у них в доме, хотя на тот момент имели они очень немногое. Ресторанов нигде не было, но в каждой деревушке нас ожидало очередное празднество; на любой улочке находились люди, готовые сорвать для тебя фрукты прямо с ветки, поймать форель из пруда или зарезать барашка или козленка. Как писал Лев в «Али и Нино»: «Если даже гость отрежет голову твоему сыну и явится с ней в твой дом, ты должен принять его, накормить, напоить и почитать, как гостя». Люди на Кавказе выказывают радушие, с каким, вероятно, столкнулись еще войска Александра Македонского, когда прошли маршем через эти самые места более двух тысяч лет назад. Легко понять, что Лев еще больше полюбил эту родную для него землю, пусть даже теперь он и пытался поскорее покинуть ее. Сидя у походного костра, Лев и армянин слушали песни про древних владык, про соловья, что умер от любви к прекрасной розе. Песни эти, сложенные на стихи персидских поэтов Хафиза и Саади, звучали в сопровождении саза, инструмента, похожего на скрипку, но с тремя струнами, который при игре держат как виолончель. Они видели и танец с кинжалами, когда мужчина, удерживая на весу десять кинжалов, кружит вокруг женщины, отгоняя прочь ее врагов и пытаясь обнять ее. Но женщина отстраняется от него, давая ему все новые поручения. Сначала мужчина должен положить один из кинжалов на землю и пригласить женщину наступить на него — в знак того, какой властью она над ним обладает. А затем она начинает бросать вверх монеты, которые он должен поймать, не уронив ни одного кинжала.

Хотя в ту пору, когда Лев жил на Кавказе, тамошние крестьяне не знали грамоты, они были полностью погружены в традиции собственной словесности. От деревни к деревне шествовали странствующие поэты-ашуги — точь-в-точь как в Персии, расплачивавшиеся стихами за приносимые им подарки, лакомства, за общую любовь и расположение. Лев узнал, что даже самые бедные крестьяне ценили хорошую поэзию, причем готовы были отдать все, что сами имели, за право слушать стихи. Он присутствовал на одном из последних «поэтических состязаний» ашугов. Такие состязания привлекали участников из окрестных деревень, при этом ни положение в обществе, ни богатство не играли роли — важен был лишь талант. Участники встречались

на площади, прямо под открытым небом и сражались друг с другом в любом из поэтических жанров. Зачастую ашуги просили присутствующих предложить тему, а затем развивали ее. Описывая в «Али и Нино» такое состязание, автор стремился с его помощью показать, насколько древние горские традиции отличались от происходящего в современном мире, где размыто всякое понятие о чести.

Проезжая через горную местность, Лев впервые за все послереволюционные годы чувствовал себя свободным и счастливым. В то время склоны гор еще были усеяны высокими каменными башнями, на протяжении многих веков они служили прибежищами мирным жителям на случай войны. Большевики, когда им удалось окончательно закрепиться в этом регионе, приказали снести эти башни, как «пережитки феодализма».

Но и сегодня, в наши дни, то тут, то там, среди придорожных лугов все еще можно увидеть их основания.

Если переход с караваном через пустыни Туркестана вдохновил Льва на книги и статьи о местных обычаях и об исламе, то поездка верхом вдоль грузино-азербайджанской границы заложила основу для его книг о Кавказе. Пустыня и горы слились в его сознании, создав духовную альтернативу все сокрушающему гнету революции, тоталитаризма и мировой войны. Пока на просторах Кавказа полыхала гражданская война, шла борьба между большевиками и националистами, жители этой приграничной территории по-прежнему сражались в символических средневековых поединках, используя выкованное ими самими оружие, в окружении невероятной, сказочной тишины и спокойствия. И неважно, носили они кресты и кольчуги, как хевсуры, или же бились на конных турнирах, используя палицы и булавы, подобно пехлевийцам, все они казались Льву детьми, которые в своих заколдованных лесах не ведали ничего об окружающем их взрослом мире, увлеченно играя в свои смешные и бурные игры. Ему встречались также «дьяволопоклонники», или езиды, которые, хотя и вызывали страх у жителей окрестных деревень, оказались на поверку людьми вполне безобидными, мирными и даже робкими. Езиды вовсе не выступали против Бога, как европейские поклонники сатаны, они лишь придерживались дуалистской точки зрения на все сущее, согласно которой просить милости следует не только у Бога, но и у дьявола. Согласно их верованиям, Бог всемилостив, а потому умиротворению дьявола нужно уделять куда больше времени. Селение езидов добавило еще один, ключевой аргумент в сложившуюся у Льва концепцию, что Кавказ является своего рода охранной зоной, заповедником, куда не проникают догмы

современного мира. В этническом отношении езиды родственны курдам. В религиозном представляют собой некий гибрид всех основных верований, существовавших на Кавказе, — ислама, иудаизма, христианства и зороастризма, причем влияние последнего было определяющим. Езиды боялись солнечного света, им была ближе темнота, однако они также поклонялись солнцу как глазу Бога и огню как источнику жизни во вселенной. Они практиковали обряд посвящения в свою веру и обрезание. Их ограничения в отношении пищи касались не только мяса, но и некоторых овощей[58]. Их учение передавалось изустно, и в этом смысле представляло собой поэтические предания гор, которые слегка изменялись от одного рассказчика к другому.

В регионе, где древнее недоверие к чужаку было столь сильно, что армянину и азербайджанцу приходилось поручаться друг за друга в каждой деревне, куда они вступали, лишь езиды не задавали никаких вопросов ни Льву, ни его спутнику. Эта секта, подвергавшаяся многовековым преследованиям и презираемая представителями других религий, легко и охотно приняла в свою среду и армянина-христианина, и азербайджанца-мусульманина — ведь для них, поклонявшихся золотому павлину, все это не играло никакой роли.

Описывая в опубликованных уже после прихода Гитлера к власти книгах религиозные и этнические меньшинства Кавказа, Лев, по-видимому, желал высказать некоторые соображения относительно евреев. Езиды, которым никто не доверял, народ, оказавшийся мишенью для разнообразных иррациональных предрассудков, были для этого прекрасным примером. Христиане считали их поклонниками сатаны. Шииты обвиняли в том, что они — потомки калифа Язида, который убил имама Хусейна; этого было достаточно, чтобы считать езидов воплощением дьявола. Их сексуальные практики, о которых ходили ужасающие слухи, делали их объектом презрения со стороны верующих всех других религий, а турки даже обвиняли езидов в том, что они — племя гомосексуалистов, которые и размножаются каким-то неестественным способом, по наущению дьявола…

Когда в конце концов наши беглецы добрались до реки, разделявшей Азербайджан и Грузию, армянин хотел сразу же пересечь ее, чтобы оказаться на свободе — на грузинской стороне! Но вместо этого как верный товарищ последовал за Львом до того места, где была назначена встреча с Абрамом. Они ехали не по дороге, а прямо по берегу, чтобы при появлении большевиков иметь возможность быстро пересечь реку. Беда пришла, однако, вовсе не стороны большевистских отрядов. Совсем наоборот — всадников остановил отряд местных крестьян,

созданный для противодействия большевикам. Эти люди обвинили Льва и его спутника в том, что они революционеры. Друзья попытались объяснить, что они как раз капиталисты, нефтяные магнаты из Баку, что они — враги революции, но увидели лишь недоверчивые взоры ополченцев. Ситуация усугубилась тем, что крестьяне обнаружили в их вещах документы, имевшие отношение к закупкам рыболовецких сетей. Правда, никто из них не умел читать, поэтому они решили обождать, пока не приведут единственного грамотного в их селе человека. Тот подтвердил: документы со всей очевидностью подтверждают, что арестованные — агенты большевиков. Тогда крестьяне стали предлагать различные, вполне средневековые способы установления истины. Их уже собирались куда-то вести, когда к ополченцам подошел один из старейшин этого села. Тут из Баку как раз приехал один благородный господин — сказал он, — этот бей там всех важных лиц знает, вот он и предлагает встретиться с арестованными, чтобы опознать их. Пленники просияли: уж кому-кому, а любому влиятельному бакинцу они сумеют доказать, что говорят правду! Однако они не представить себе не могли, какая картина их ожидает: в хижине, куда их доставили ополченцы, перед ними предстал одетый в национальную кавказскую одежду не кто иной, как сам Абрам Нусимбаум.

После бурных выражений радости отец с сыном, наконец, покинули Азербайджан, перейдя границу.

Куда бы я ни направлялся в Грузин, я постоянно оказывался на краю обрыва, ущелья или долины. Во время моей поездки туда в 2000 году меня поразило неимоверное количество статуй средневековых грузинских святых и рыцарей-крестоносцев с щитами и крестами, которые невозможно было отличить от кинжалов. Они, казалось, были неуместны в этих горах, где стоят шиитские храмы, где почитают суфиев — святых воинов за веру, но странным образом вместе с ними составляли часть некоего целого. На базаре в Тифлисе, столице Грузин, Лев обнаружил «разносчиков-армян, гадателей-курдов, поваров-персов, монахов-осетин, русских, арабов, ингушей, индийцев».

Грузины говорят на древнем языке, входящем в одну из мелких языковых групп[59]. Обитатели этого небольшого царства в горах, возможно, умели так хорошо уживаться со своими могущественными соседями потому, что у них был огромный опыт межнациональных отношений в пределах собственных границ. Их уважают за благородство, независимость, любовь к жизни, а также за то, что они способны на спор перепить любого другого представителя этого региона. Грузия — это Шотландия

Кавказа. «Здесь пьют вино, танцуют и веселятся, — пишет Лев в “Али и Нино”. -Неужели это врата в Европу? Нет, конечно, нет. Это наш край, просто он отличается от остальных азиатских стран. Да, здесь тоже ворота, только куда они ведут?»

Грузия — третья страна в мире, принявшая христианство, но, в отличие от другой христианской страны этого региона, Армении, у нее обычно были хорошие отношения с ее мусульманскими соседями. Когда, покинув Иерусалим, рыцари-крестоносцы пришли в XI веке на Кавказ, они были гостеприимно встречены грузинами, принявшими крещение за пятьсот лет до этого. Лев до конца жизни восторгался тем, что в Хевсурети, области на северо-востоке Грузии, можно было обнаружить остатки культуры крестоносцев. Он видел в этом символ рыцарского духа и гостеприимства, присущего стране, где смогли сохраниться исчезнувшие племена и благородные обычаи.

Османское вторжение в XVI и XVII веках поставило под угрозу само существование этого островка древнего христианства на Кавказе, и многие грузинские князья приняли ислам, чтобы умилостивить своего могущественного южного соседа. Грузины могли бы оказаться в рассеянии, как это случилось с армянами. Однако они частично поддались мусульманскому влиянию и сделали его частью своей культуры, так что получилась странная смесь Европы и Азии, христианства и ислама, однако в результате сумели сохранить независимость.

Абрам помнил Тифлис еще со времен собственного детства, а вот Лев никогда прежде не жил в христианской стране. По прошествии многих лет он вспоминал Грузию как последнее место, где еще теплилась героическая средневековая жизнь. Правда, реальный опыт столкновения с нею был у него куда менее приятным, чем может показаться по прочтении его текстов. Трудности, поджидавшие его здесь, не имели ничего общего с приключениями, пережитыми до сих пор: это было отсутствие денег и документов. Правда, Лев и его отец оказались в хорошей компании. В 1920 году, осажденная большевиками, однако все еще цепляющаяся за свою независимость, Грузинская республика стала транзитной остановкой для тысяч и тысяч бывших граждан царской империи. Как и Нусимбаумы, все они направлялись в Батум, главный глубоководный порт Грузин на Черном море. За прошедшие сорок лет нефтяного бума Батум стал основным портом для экспорта азербайджанской нефти в Европу и, соответственно, благодаря большевикам очагом напряженности, где без конца бастовали рабочие. До революции просторы Черного моря бороздили пароходы; большие суда под германскими, итальянскими, французскими, греческими и

российскими флагами обязательно заходили в Батум на стоянку. Однако в 1921 году главные ворота для вывоза российской нефти превратились в пункт исхода русских эмигрантов.

В воспоминаниях Льва запечатлено ощущение ужаса от толчеи, которую создавали все эти эмигранты, набившиеся в этот город и ожидавшие разрешения на выезд, получения документов, чтобы двигаться куда-то дальше. «Жулики и миллионеры со всей России скопились здесь, на границе старого мира, они ожидали парохода, который отвез бы их в Европу. Мы остановились у родственников, у бывших работников фирмы отца, делили квартиру с какой-то дамой полусвета, и все ждали, ждали, ждали. Чего? Либо падения большевизма, либо парохода в Европу — того же, чего и все прочие».

С набережной Лев любовался белоснежными пиками Кавказских гор. Запах нефтепродуктов, разлитый в воздухе, напоминал ему детство. Но в порту находились лишь севшие на мель танкеры, не загруженные нефтью, железнодорожные пути были забиты товарными поездами с пустыми цистернами. А за морем, за горизонтом — Константинополь! Европа! Весь свет! «Я могу вспомнить сейчас лишь один сон, связанный с образом Европы, потому что тогда он то и дело снился мне, — писал он. — Широкая, чистая улица. Вечер, люди вышли на прогулку, и среди них я. Никто не вооружен, потому что это Европа и здесь не стреляют. Я подхожу к какому-то дому. Вынимаю простой маленький ключ и открываю входную дверь. На двери нет железных засовов, нет задвижек, нет часового — ведь это Европа, здесь никто не вламывается в дома… Все мое существо стремилось на тот берег моря».

Для того, чтобы уехать, необходимы были паспорта: ведь прежние документы, паспорта Российской империи, равно как и паспорта недолго просуществовавшей Азербайджанской республики, теперь оказались бесполезными. Абрам предпринимал все необходимые шаги, но беда заключалась в том, что у них практически не было средств на жизнь: полгорода стремилось продать привезенные с собой золотые слитки и драгоценности, так что предложение многократно превышало спрос.

Именно тогда Лев обнаружил вокруг «невероятное количество красивых женщин — в кофейнях, на улицах, под пальмовыми деревьями, повсюду». Грузинки славились своей красотой, и Лев наполовину поверил в некогда слышанную историю: турецкий султан якобы не разрешал своим подданным посещать некоторые районы Грузии, опасаясь, что, очарованные красотой местных женщин, они не вернутся на родину. Правда,

новые чувства в сердце Льва пробуждали на батумском променаде, как правило, отнюдь не грузинские красавицы. Это были беженки, находившиеся в том же положении, что и он. В Баку, за пределом круга богатых эмансипированных девушек, с которыми он дружил, Лев встречал только женщин в чадре. Постоянно видеть множество женщин, вообще не закрывающих лицо, — это было настоящим испытанием. Даже через двадцать лет он писал, что «все еще видит тонкие лица дам, лица, которые, в зависимости от темперамента, с улыбкой, тоской или негодованием смотрели сверху вниз на меня, мальчишку, который таращился на эти создания, явившиеся мне из другого мира». У Льва нашелся и товарищ по разглядыванию девушек — грузинский мальчик, чей отец, в прошлом царский губернатор Батума, Захарий Мдивани[60], был знакомым Абрама. Звали его Алексей Мдивани. Двое пятнадцатилетних отроков напивались допьяна в кофеине на набережной Батума, а потом волочились за дочерьми русских эмигрантов — до первой пощечины. В это время состоялась и первая дуэль Льва, хотя я склонен рассматривать его рассказ об этом с известной долей скептицизма. Лев якобы сидел в кофеине, как вдруг распахнулась дверь и «внутрь вошло совершенно ангельское создание, чью прелесть невозможно описать словами». Она пришла в сопровождении брата. Лев двинулся за этой русской красавицей и следовал за нею по всему Батуму, так и не решившись заговорить с нею. Однажды, войдя за нею следом в какую-то другую кофейню, он поймал себя на том, что наблюдает за тем, как она поправляет шляпку, стоя перед зеркалом. Он, по-видимому, смотрел слишком пристально и жадно, потому она вдруг прошипела, глядя в зеркало: «Ах, ты, паршивец кавказский!» Лев настолько смутился, что тут же убежал. Через несколько часов он оказался на пляже, под освещенными луной пальмами, где лежал, мечтая об этой русской красавице и о европейских городах за морем и гадая, падет ли большевистская власть через три или через шесть месяцев. Внезапно он ощутил, как его горло охватили чьи-то руки и принялись душить. У Льва был с собой старый пистолет, и, когда ему удалось достать его и наставить на нападавшего, он вдруг понял, что это брат той самой русской красавицы. Лев крикнул, что вызывает его на дуэль. «Услышав мои слова, — вспоминает Лев, — человек этот так рассмеялся, что долго не мог прийти в себя. “Кто? Ты?! Это ты меня вызываешь на дуэль?! Да ты вообще совершеннолетний? Сколько тебе лет? Да ты вообще не понимаешь, что эти слова означают! Я — камергер при дворе императора!”

Но я был вооружен и потому, сохраняя спокойствие, лишь

ответил ему: “Если вы трус и способны лишь нападать на людей сзади, в таком случае я вполне в состоянии потребовать удовлетворения за доставленное мне оскорбление”. <…> В конце концов этот человек признал, что я имел право потребовать дуэли, однако он, к сожалению, не имел с собой оружия. <…> “О каком оружии можно говорить здесь, в этой глуши. (Для него Батум представлялся невероятной глушью.) Отчего бы нам не поступить, как принято здесь, хотя этот обычай вам, видимо, неизвестен — кинжал и накидка на левой руке”…»

Через час они снова встретились на пляже. Алексей Мдивани и его брат Давид были секундантами Льва, а брат красавицы явился с двумя персами, у которых оказались невероятно вычурные титулы. Лев вспоминал, как удивило его, что у этого русского вельможи друзья — персы и что они говорили по-русски так, будто сами прибыли сюда прямиком из Санкт-Петербурга. Они были согласны, что дуэль состоится в соответствии с местным, грузинским обычаем — с кинжалом и накидкой. Вначале оба хорохорились, заявляя, что будут драться, пока кто-то из них двоих не умрет, однако потом сошлись на дуэли «до первой крови», а она пролилась, как хвастал Лев в письме к Пиме, когда он рассек русскому руку. После этого они помирились, и сестра этого русского в результате даже захотела познакомиться с «кавказским паршивцем». Однако Лев так разобиделся на нее, что утратил к ней интерес, а быть может, он просто так говорил[61].

Подобное бездумное времяпрепровождение закончилось уже через несколько дней после этой дуэли, когда Абраму удалось «подмазать» одного врача, который выдал им справки о якобы сделанных прививках, и приобрести билеты на итальянский лайнер «Клеопатра». Поскольку у Захария Мдивани были прекрасные связи, он раздобыл для Нусимбаумов грузинские паспорта. Сам он с сыновьями, «князьями» Мдивани, также погрузился на «Клеопатру», и пароход повез всех их вместе с сотнями прочих эмигрантов в Константинополь (который теперь назывался Стамбулом). Путешествие длилось четыре дня. На борту «Клеопатры» они оказались в мире эмигрантов, который будет отныне их новым обществом — это потертое, хотя элегантное собрание разнородных людей отчасти напоминало их бакинский круг общения. Порой им казалось даже, будто они на самом деле вернулись к себе домой, на берег Каспия, однако на этот раз они были на лайнере, этом плавучем городе, который двигался на запад, а у его обитателей все драгоценности были зашиты под подкладку костюмов. Вместе со Львом и его отцом плыли к новым берегам политики, аристократы, беглецы всех мастей, все, кто ненавидел большевиков. Казалось, целый мир

собрался на этом корабле. Лев вновь встретил здесь армянина, который помог ему бежать из Хеленендорфа, а также одного своего старого знакомого из Баку, которому «удалось каким-то образом стать голландским консулом в далекой стране». Начались непрестанные, характерные для эмигрантской среды разговоры, которые будут продолжаться теперь многие годы, пока эти благородные сановники погибшей империи будут выживать в роли жиголо и привратников, жуликов и уборщиков в туалетных комнатах, ремесленников и лавочников. Начались дебаты о том, как лучше всего устроить контрреволюцию. Споры о стратегии и геополитических процессах, о финансах и о стратегическом значении Кавказа. Разговоры о том, что Запад ни за что не допустит, чтобы большевики надолго захватили этот регион.

Когда «Клеопатра» покинула прибрежные воды Грузин и вышла в открытое море, команда заявила, что теперь пассажиры должны оплачивать еду и питье валютой, которая обеспечена золотом. Лев бродил по лайнеру, «словно во сне», ошалело таращась на бары, оркестры, ярко освещенные пассажирские салоны — на все, что составляло для него расплывчатые символы нового, незнакомого ему континента. Он ощущал невероятную усталость, умственную, эмоциональную, физическую, и вид «аккуратных стюардов, освещенных коридоров, красиво сервированных блюд» вызывал ощущение, сходное с погружением в глубокий сон на накрахмаленных белых простынях после многих месяцев бегства, когда кругом лишь грязь, пот и кровь.

Глава 5. Константинополь, 1921 год

Прекрасное настроение не покидало Льва, пока их пароход, оставив позади Кавказ, двигался на всех парах в направлении столицы обветшалой и прогнившей Османской империи. Переход занял несколько дней, но вот они вошли в бухту Золотой Рог, и Лев увидел знаменитые мечети, церкви и дворцы, о которых он столько читал.

На мостах через Золотой Рог, соединявших центральную часть древнего Стамбула с дворцами и мечетями и район Галата, торговый порт «франков» (европейцев), стояли мужчины в белоснежных одеждах, взимавшие с путников монетку за право перейти на другую сторону. Тысячи евреев, бежавших сюда от преследований инквизиции в Испании, поселились здесь среди арабов, греков и армян. С самой высокой точки Галаты смотрела на залив каменная сторожевая башня, построенная торговцами из Генуи, которые основали этот район в XIII веке.

Большинство великих столиц мира находятся поблизости от воды, однако Константинополь существует буквально на ней. По воде можно проехать весь город в направлении «север — юг». Владеть Мраморным морем и Босфором означало контролировать перевозку любых товаров и транспортировку оружия между Европой и Азией, и турки-османы господствовали здесь уже почти пятьсот лет.

Когда «Клеопатра» входила в гавань, всюду, куда ни оборачивался Лев, он видел серые канонерки, над которыми развевались британские флаги. В 1914 году Османская империя приняла сторону Германии, и теперь, в 1921-м, все еще расплачивалась за это решение. Константинополь был разделен на две части, совсем как Берлин после Второй мировой войны. Французы контролировали часть города к югу от Золотого Рога. Британцы расположились к северу от него, в Галате и Пере, так называемых франкских кварталах: это название крестоносцев, некогда завоевывавших Константинополь, турки по-прежнему относили ко всем христианам-европейцам. Итальянские и греческие войска оккупировали другие районы города. Здесь имелось даже некоторое количество японских солдат, ведь к концу Первой мировой войны и Япония присоединилась к антигерманской коалиции.

Союз с Германией стал неожиданным, резким поворотом в политике Турции, которого добились младотурки, группа националистически настроенных молодых офицеров, которым удалось сместить султана в ходе кровавой младотурецкой

революции 1908 года. Поначалу младотурки много говорили о всеобщих правах человека, о расовом и религиозном равенстве, декларировали намерение привести в ряды современных, цивилизованных государств и Османскую империю, которая включала в себя множество этнических групп — армян, греков, евреев, арабов, курдов. «Неважно, что один идет молиться в синагогу, другой в церковь, а третий в мечеть, — заявлял Энвер-паша, лидер этой офицерской хунты, — важно то, что все мы, обитающие здесь, под этим голубым небом, с гордостью называем себя османами». Однако этот дух универсального османского братства вскоре улетучился, а на поверхность вышла куда более жесткая идеология, выделяющая людей одной национальности и отодвигающая на задний план других. Младотурки исповедовали идею пантюркизма или пантуранизма: согласно ей, все тюрки, от населяющих степи Российской империи до живущих в Анатолии, были выходцами из единой земли своих древних предков — «Турана». С этой точки зрения вся прежняя ориентация Османской империи, ее стремление завоевать территории в Европе и на Ближнем Востоке были неверными. Вместо этого империи следовало сосредоточить силы на объединении туранских народов в России и Средней Азии. В своей книге «Аллах велик!» Лев сравнивал одержимость идеей туранизма с идеями «крови и почвы» в Германии. Это своего рода турецкая аналогия германских идей «жизненного пространства»: будущее, по мнению ее идеологов, связано с Востоком, а потому следует вторгнуться в Россию, чтобы вернуть себе древние земли предков, живших там в XIII веке и ранее[62].

Судьбу создания турецко-германской оси в годы Первой мировой войны определила личность Энвера-паши. Этот крепко сбитый, темноволосый мужчина был военным атташе Османской империи в Берлине. Энвер хорошо относился ко всем, кто носил островерхие офицерские шлемы и до блеска начищенные сапоги, кто вел разговоры о вагнеровской «гибели богов» в сочетании с джихадом (определенную роль сыграл тут и кайзер Вильгельм, распространив слух, будто перешел в ислам). Когда Энвер привел младотурок к власти в 1908 году, сам став военным министром, у него были точно такие же усы, как у кайзера Вильгельма, в чем можно было усмотреть намек на дальнейшее развитие событий. И вот последовала, пожалуй, наиболее драматическая «самоколонизация» за всю историю человечества: желая достичь ускоренной модернизации и вернуть себе ведущую роль на международной арене, пришедшие к власти младотурки практически превратили Османскую империю в военную колонию Германского рейха. «Германия превыше Аллаха!» — пошутил

тогда один остряк из дипломатического корпуса. Однако дело было крайне серьезное, и маневр этот был совершен практически мгновенно. Энвер передал весь офицерский корпус турецкой армии под командование германцев: более двадцати пяти тысяч германских офицеров и старшин заняли посты, позволявшие им отдавать команды турецким солдатам. Один из прусских офицеров основал турецкие военно-воздушные силы. В бухте Золотой Рог бросили якоря два германских броненосца. Вскоре германские матросы, нацепив на головы турецкие фески, начали лихо горланить «Германия превыше всего» вблизи от резиденции русского посла.

Младотурки, однако, пустили Османскую империю под откос. Сегодня едва ли кто помнит, какую роль играла Турция в годы Первой мировой войны, — за исключением, может быть, легендарного сражения на Галлипольском полуострове, где турки нанесли поражение англофранцузским десантным частям, пытавшимся овладеть проливом Дарданеллы. Большинство других сражений были менее успешны для турецкой армии. Только в ходе военных действий на Кавказе из-за попыток Энвера претворить в жизнь свои планы — начать отвоевывать древнюю родину тюрков — погибло более трехсот тысяч турецких солдат. План состоял в том, чтобы захватить Баку, затем переправить турецкие части через Каспийское море в нефтяных танкерах, высадиться в Красноводске, пройти пустыни Туркестана, завоевать Бухару, Самарканд, а впоследствии еще и Монголию! Накануне революции в России царские войска были развернуты для окончательного марша на Константинополь. Если бы Россия не вышла тогда из войны и если бы большевики не взяли власть, кто знает — быть может, сегодняшний Стамбул в самом деле назывался бы Царьградом, а Ближний Восток стал бы частью федеративной российской империи? Разгром турецкой армии на Кавказе был результатом грубых просчетов командования, но фанатичным младотуркам нужно было обвинить кого-то в провале и невозможности реализовать мечту о туранском государстве. В ход были пущены инсинуации и пропагандистская ложь, результатом чего стала печально знаменитая резня армянского населения в 1915 году.

В Османской империи, как и в Азербайджане, армяне жили вполне благополучно, иногда даже занимая важные политические посты и контролируя положение в промышленности и торговле. Но в конце XIX века Россия, объявив себя защитницей армян как собратьев по вере, начала вооружать и поддерживать армян-сепаратистов. Воспользовавшись этим предлогом, султан Абдул-Хамид (Абдул Рыжий) организовал армянские погромы[63],

неизмеримо более масштабные, чем еврейские погромы в России. Во время Первой мировой войны армяне снова оказались между двух огней — подстрекавшей их Россией и враждебными турецкими властями. Теперь, однако, преследования носили уже совершенно иной характер. Правительство объявило тайную войну своим собственным гражданам армянского происхождения, и вот весной 1915 года начались облавы и депортации армянских мужчин, женщин и детей. Практически все убийства совершались в отдаленных районах Восточной Анатолии и Сирии. Большинство погибло во время вынужденного побега через пустыню, где люди умирали от жажды и голода, при этом на армян нападали курды, их старинные враги. Многие турецкие офицеры выражали свой протест по поводу происходившего, и некоторые из них были даже казнены за это. Точное число погибших неизвестно, по существующим оценкам, речь идет о сотнях тысяч, быть может, даже о полутора миллионах жертв. К 1916 году правительство младотурок подготовило тщательно проработанную дипломатическую акцию в защиту произошедшего, назвав эти убийства «защитным» маневром, направленным против внутреннего мятежа.

С некоторыми вариациями это утверждение и по сей день представляет собой официальную позицию турецких властей. Однако, даже если представить себе, что какие-то соображения военных стратегов способны оправдать уничтожение такого огромного количества гражданских лиц, аргументация младотурок, которую порой принимают за чистую монету специалисты, занимающиеся изучением истории Первой мировой войны, явно лжива. Армянское сепаратистское движение действительно существовало в османской Турции и даже играло достаточно важную роль, но все-таки это было движение меньшинства: большинство армян были на стороне имперского правительства, особенно в годы войны (пусть даже из страха быть обвиненными в предательстве интересов страны).

Итак, к 1918 году, всего через десять лет после своего прихода к власти, правительство младотурок привело к гибели Османскую империю, отправило на верную смерть миллионы турецких солдат и устроило массовую резню собственного гражданского населения по национальному признаку. Когда силы Антанты стали приближаться к Константинополю, группы либеральных парламентариев и приверженцев султанской власти объединились с целью арестовать лидеров младотурок, однако тем удалось бежать в Берлин, скрывшись на германских торпедных катерах. Было создано правительство, выступавшее на стороне Антанты, которое незамедлительно обратилось к

союзникам с просьбой о заключении мирного договора. Новый султан Османской империи, Мехмед VI, и его великий визирь считали, что им удастся возобновить режим особых отношений с Англией и Францией, уже не раз приходивших на помощь империи. Однако британское правительство ответило на политические маневры либеральных османских властей присылкой броненосца «Агамемнон», вставшего на якорь в бухте Золотой Рог, а также оккупацией Константинополя, которую осуществили военные подразделения Антанты. Вслед за этим началось политическое расчленение «больного», как назвал Османскую империю царь Николай I еще в 1850-х годах — во времена, когда Российская империя казалась образцом здорового организма. Османское правительство указало на то, что оккупация Константинополя английскими, французскими и итальянскими войсками произведена в нарушение подписанного союзниками мирного договора, однако эти призывы оказались тщетными. Лорд Керзон, министр иностранных дел Британии, в прошлом вице-король Индии, выступал за превращение Константинополя в международную зону. Он также возглавил кампанию, призывавшую удалить со стен Айя-Софии изречения из Корана и снова превратить эту самую известную в мире мечеть в христианскую церковь[64]. Ватикан также пожелал участвовать в происходящем, и вскоре итальянское правительство заявило, что коль скоро Константинополь был основан римским императором, то его следует отдать под управление Италии.

Представители Османской империи, возможно, и изыскали бы за столом переговоров какой-нибудь выход, однако ситуация, возникшая в связи с уничтожением армянского населения, привела к долговременному охлаждению отношений с самым важным потенциальным союзником турок на Версальской конференции — США. Судьба Армении вызывала беспрецедентно высокий интерес у американцев. «Страдающая Армения» — так была названа крупнейшая в истории США кампания по массовому сбору средств для оказания помощи этой стране. В 1917 году президент Вильсон даже ненадолго отложил вступление США в Первую мировую войну — исключительно для того, чтобы это не помешало переводу средств и доставке помощи по линии этой на удивление популярной благотворительной акции. Представители султана на Версальской мирной конференции заклеймили резню армян, а также их депортацию, утверждая, что это стало результатом деятельности младотурок и германских военных. Союзники, однако, приняли такие примирительные нотки в заявлениях нового османского правительства за признак слабости. И вот, вместо того, чтобы достичь соглашения с

правительством Османской империи, что позволило бы сохранить в ней своего рода конституционную монархию, учитывающую интересы Запада, союзные державы то и дело унижали турок, например, позволив Греции захватить некоторые турецкие регионы в рамках ее не слишком удачной попытки начать восстановление империи Александра Македонского.

Возникшая ситуация предоставила уникальную возможность человеку, способному выступить в защиту национальных интересов, — генералу Мустафе Кемалю, вошедшему в историю как Ататюрк («отец турок»). Ведь он, с одной стороны, сумел победить британцев на полуострове Галлиполи, но с другой — всегда был врагом прогермански настроенных младотурок. И он был более умеренным националистом, нежели они. Его усы не были похожи на усы кайзера Вильгельма, и он не принимал участия в массовых убийствах армян. Генерал Кемаль встречался с султаном несколько раз и произвел на него впечатление верного защитника османского трона. 30 апреля 1919 года Кемаль получил приказ отправиться в Анатолию с целью «умиротворения» этого региона и соблюдения перемирия с Антантой. Разумеется, он сделал прямо противоположное. Приехав в Анатолию, он начал гражданскую войну, которая в конце концов привела к рождению независимого постосманского турецкого государства. В результате Кемаль оказался в Константинополе, куда незадолго до того попали Лев и его отец, а также сотни тысяч беженцев из нового Советского государства.

Представители союзнической администрации, вместе с угодливо державшимся турецким чиновником, который присутствовал явно для проформы, прибыли на борт «Клеопатры». За ними следом явилась добрая дюжина врачей и целая ватага полицейских. У врачей был длинный перечень болезней, которые пассажиры могли привезти с собой из грязной Азии, — это не дало бы им права сойти на берег. У полицейских, уроженцев стран Антанты, были не менее длинные перечни политических и прочих преступлений. К своему большому облегчению, отец и сын Нусимбаумы увидели, что представители Великобритании, руководившие всеми этими процедурами, учитывали социальное положение прибывших. Льва поражало то, что здесь и мысли не возникало ни о какой взятке, поскольку принадлежность к высокому общественному слою была достаточным основанием, чтобы избавить от серьезного расследования. Вот пассажиров третьего класса, тех отправляли прямиком в карантин или же арестовывали тут же, на месте: изначально предполагалось, что они способны быть источником той или иной угрозы. Пассажиров второго класса пропускали

через вереницу врачей, и даже если они проходили медицинский осмотр благополучно, им предстояло выдержать бесконечный допрос полицейских чинов.

В салоне первого класса, где ожидали своей очереди Лев и его отец, седовласый профессор лишь здоровался за руку с прибывшими и тут же выдавал им свидетельства, что у них нет ни чумы, ни тифа, ни холеры. Вслед за этим политическая комиссия быстро проштемпелевала документы пассажиров, тем самым гарантируя их благонадежность. Абрам лишь заметил вслух, что, в отличие от отсталой Азии, здесь, на Западе, все происходит по-современному, спокойно и без проволочек.

В конце концов Нусимбаумы оставили пароход и отправились в отель.

По пути им всюду попадались солдаты в форме цвета хаки, причем среди них встречалось немало черных и шоколадных лиц. Поскольку члены Антанты опасались осады города националистическими силами, они ввели сюда дополнительный контингент войск для дополнительной охраны, и тысячи солдат из Египта и Палестины присоединились к частям индийских кадровых военных. Британцам недавно удалось убедить султана, который одновременно являлся и высшим религиозным авторитетом всех мусульман — халифом, что необходимо объявить фетву против Ататюрка, и вот уже «армия халифата», экипированная англичанами, двинулась на восток, чтобы взять приступом Анкару. Льва, к его собственному удивлению, весьма трогала судьба разваливающейся Османской монархии, а ее древняя столица привела его в полный восторг. Константинополь долгое время представлял собой столицу мусульманской веротерпимости, ныне же превратился и в столицу мусульманского обновления, восточной просвещенности, а еще — в настоящую эмигрантскую столицу.

В ноябре 1920 года генерал Петр Николаевич Врангель, которого считали наиболее честным и порядочным из белогвардейских военачальников, привел в Золотой Рог ни много ни мало сто двадцать шесть судов, на которых находились более ста тысяч русских. Среди прибывших на кораблях Врангеля были военные, крестьяне, ремесленники, монархисты, евреи и антисемиты — все, кто сумел попасть на борт флотилии, когда осуществлялась эвакуация из Крыма, последнего оплота Белого движения в России. Эмигранты, к своему удивлению, обнаружили, что власти Османской империи, их традиционного врага, настроены по отношению к ним весьма гостеприимно. Константинополь временно стал главным штабом «Зарубежной России», или просто Эмиграции, как все эти беженцы называли

свою новую, не имеющую определенного места родину. Русских военных в городе было больше, чем английских, французских и итальянских военных, вместе взятых. Высказывались даже опасения, что белогвардейцы захватят город и установят здесь свою власть, однако это не имело под собой никаких оснований. Российские солдаты стали просто эмигрантами, чей мир только что разрушился, исчез, развеялся, как дым, а сами они даже не знали, где могут оказаться в следующем месяце. Большевистское правительство довольно скоро аннулировало их паспорта, так что они, так же, как Лев и Абрам, превратились в лиц без гражданства. Вскоре широкие бульвары и узкие улочки Константинополя заполнили толпы русских офицеров — им пришлось водить такси, торговать на базарах одеждой, книгами и золотыми монетами. Многие голодали, у большинства одежда все сильнее изнашивалась, обувь стаптывалась, а денег на обновки было взять неоткуда.

В своей книге «Белая Россия: люди без отечества», опубликованной в Берлине в 1932 году, Лев писал о поразительной изобретательности некоторых беженцев, о «странных заведениях», которые существовали порой тайком. Один весьма предприимчивый человек, вспоминал Лев, «изобрел новый вид состязаний, который вскоре распространился по всему городу: тараканьи бега. Русские собирали особенно крупных, сильных тараканов, сажали их в пустую папиросную пачку, накрывали ее стаканом и объявляли, что устраиваются бега. Собирались зрители, которые платили за входные билеты». Театры и ночные клубы Константинополя были практически монополизированы русскими. Эмигранты открыли клубы под названиями «Черная роза» или «Петроградская кондитерская», куда посетителей привлекали не только музыка, еда или выпивка, но и русские официантки (в турецких ресторанах обслуживать столики разрешается только мужчинам). Женщины эти были высокие, красивые, многие из них принадлежали к высшему обществу (или же называли себя аристократками) — по крайней мере, в «Le Grand Cercle Moscovite», тогдашнем модном русском ресторане, официанток называли «княгинями». Банин Асадуллаева, как и Лев, уроженка Баку, в своих воспоминаниях, изданных в 1945 году под названием «Jours Caucasiens» («Кавказские дни») пишет следующее: «Одной из весьма привлекательных достопримечательностей Константинополя были русские клубы, которые постепенно проникали на Запад, пока не добрались, наконец, до Парижа. Город был переполнен русскими эмигрантами. Мужчины спорили друг с другом, продавали семейные драгоценности или же брались за любую

случайную, поденную работу. Женщины больше всего стремились стать куртизанками. <…> Самым элегантным ночным клубом была “Черная роза”. Мой муж нередко водил меня туда. <…> Одна русская песня сменялась другой, одна за другой опустошались бутылки шампанского… Кто-то из завсегдатаев признался мне: “Сюда не смеяться приходят, нет. Сюда приходят плакать”».

Теперь, когда эти люди всё потеряли у себя на родине, когда они прекратили борьбу против красных, им осталось одно — долгий, непрестанный праздник, помогающий выжить. Русские аристократки представляли для местных властей, пожалуй, самую тяжелую проблему. Ассоциация турецких жен и вдов обратилась к губернатору Константинополя с жалобой на пагубное влияние, которое оказывают на местных мужчин эти эмигрантки, приучающие их к морфию, кокаину, алкоголю и прочей гадости. Скандальной славой пользовались и джаз-клубы, причем один из них принадлежал чернокожему американскому антрепренеру, волею судеб оказавшемуся белоэмигрантом. Рассказывали, что он открыл свой первый джаз-клуб в Санкт-Петербурге, а когда разразилась революция, отправился следом за своими клиентами на юг — до самого Босфора. И вскоре в Константинополе уже вовсю танцевали фокстрот и чарльстон.

Когда Ататюрк захватил этот город в 1923 году — уже после того, как отец и сын Нусимбаумы покинули его, — белогвардейское «правительство в изгнании» быстро ретировалось оттуда. Оно освободило здание российского посольства, и в нем тут же появились представители советского правительства. Закончилась эпоха кутежей и прожигания жизни, а еще через два года само название «Константинополь» также ушло в прошлое: город был переименован в Стамбул. Русские эмигранты разъехались кто куда, увозя с собой своих женщин-аристократок, свои драгоценности и свои «кафе-шантаны». Многие из них впоследствии умерли в страшной нищете, где-нибудь в Париже, Сан-Паулу или Нью-Йорке.

Оккупация Константинополя военными силами Антанты была бы, скорее всего, забыта, как только британцы оставили город и начали поддерживать Ататюрка. Однако возмущение, которое вызвало в Турции поведение союзников во время оккупации, продолжало напоминать о себе, расходясь волнами, на протяжении всего XX века и в конце концов выкристаллизовалось в неприязнь мусульман по отношению к Западу. Намерения лорда Керзона вновь сделать Айя-Софию христианским храмом и ликвидировать халифат мгновенно привели к яростным протестам мусульман в различных странах. Именно тогда

возникла порочная идея, что Запад суть некая дьявольская машина, главная цель которой состоит в том, чтобы уничтожить ислам. Горькая ирония заключалась в том, что, когда двумя годами позже Ататюрк (а вовсе не британцы!) ликвидировал халифат, одной из причин этого решения он назвал международное движение протеста мусульманских лидеров. С его точки зрения, эти протесты представляли собой грубое вмешательство во внутренние дела Турции.

После первого возвращения из Баку я еще не слишком много знал об Османской империи, однако, когда я очутился в своей нью-йоркской квартире, выяснилось, что сведения о ней я могу получить из первых рук, не покидая своего этажа. С такими невероятными случайностями я не раз сталкивался в ходе своих разысканий, касающихся Курбана Саида (он же Лев Нусимбаум). Однажды нас с женой пригласила на ужин соседка по этажу, черноволосая, голубоглазая турецко-английская жительница Нью-Йорка по имени Эйприл. Она познакомила нас с кузеном своего мужа — весьма немолодым человеком, безукоризненно, хотя и скромно, одетым в костюм от «Брукс Бразерс»[65] бог весть какого года. И тут я узнал, что пожал руку мистеру Эртогрулу Осману, законному наследнику трона Османской империи. Он был старшим из живущих ныне членов семьи, которая на протяжении шести веков правила мусульманским миром, так что если бы история пошла иначе, он был бы сейчас турецким султаном. У мистера Османа были уже знакомые мне по портретам Сулеймана Великолепного[66] и прочих султанов глаза с тяжелыми веками и надломленными посередине бровями. Правда, украшал его не шелковый тюрбан, а черный вязаный галстук. Эртогрулом звали отца Османа I, основателя династии, который на поле битвы нанес поражение туркам-сельджукам в 1290 году. Трудно было поверить, что мистеру Осману уже за восемьдесят: столь энергично он жестикулировал, — меня не покидало ощущение, что я веду беседу с Сулейманом Великолепным в обличье выпускника Гарварда.

Жена мистера Османа была родственницей свергнутого короля Афганистана, однако куда больше она гордилась родословной мужа.

— Подумаешь тоже — афганское королевство! — сказала она мне. — Не такое уж оно и древнее на самом-то деле. А вот мой муж, он законный наследник престола самой долговечной в истории человечества империи.

— Насчет империи ты права, — возразил мистер Осман с обезоруживающей улыбкой, — но законным наследника я не являюсь, ведь империи больше нет. Я лишь претендент на

престол, но меня и это не слишком интересует.

Пока моя двухлетняя дочка дергала за волосы претендента на престол Османской империи, а Эйприл подавала бесконечные, вкуснейшие блюда турецкой кухни, мистер Осман читал мне лекцию по истории Османской империи. О султанах своей династии он знал все: речь шла и о размерах их гаремов, и о том, какой процент государственной казны тратили их жены на свои наряды, и об их отношении к европейским странам, и о том, как они вели дела с Западом. Он вспомнил своего троюродного деда, чьи жены вдруг все поголовно увлеклись европейскими модами, да так, что, отправившись в Париж, скупили все, что было в магазинах на Сен-Жермен-де-Пре, и чуть не опустошили султанскую казну. По его словам, в 1860 году в Стамбуле ни одна из обитательниц гарема не показалась бы на людях, не надев самых последних, самых изысканных парижских нарядов. Он особенно негодовал по поводу того, какой несправедливой оказалась история к его деду Абдул-Хамиду — ведь он был грозой всех этих либералов и армян, этот последний султан, который крепко держал в своих руках бразды правления.

— Понимаете, моего деда вознамерились свергнуть, например, за то, что он отказывался идти на союз с Германией, потому что понимал: это будет полная катастрофа! Мой дед был в прекрасных отношениях с кайзером. В Турции сохранилось письмо кайзера, где он называет моего деда братом и говорит: если начнется война, ты будешь со мной, на моей стороне. Но мой дед в самых вежливых выражениях отвечал, что этого не получится… Он понимал, что, если начнется война, немцы проиграют ее, а тогда и мы потерпим поражение.

По словам мистера Османа, все самые серьезные ошибки сделал преемник деда, «дядя Мехмед», который прислушивался к младотуркам, а потому увел империю из-под влияния Англии и Франции в сторону Германии. В те годы было несколько султанов, пояснил он, но ни один не добился хоть какого-то успеха. Это все его дядья, и последним был его кузен Абдул Меджид, который в 1922 году стал только халифом, но не султаном.

Но, хотя мистер Осман не склонен был признавать это, после губительных заигрываний младотурок с Германией последние османские правители рассеяли угар национализма и возродили многовековую традицию толерантности. Они были настроены космополитично и прогрессивно. Главой полиции в городе стал курд, быстро развивалась курдская пресса. Армян также оставили в покое. Юбки становились все короче, а чадру носили все реже. Тем не менее эти последние правители-султаны были чудовищно

непопулярны. И дело вовсе не в том, что народ Турции не был готов к либерализации: Ататюрк вскоре доказал обратное. Причина, по-видимому, в другом: последние османские султаны выказывали свое предпочтение всему современному, либеральному, западному, им нравились быстроходные автомобили, легкомысленные женщины, «красивая жизнь», как выразился мистер Осман, — и все это в тот самый момент истории, когда европейские державы растаскивали их империю по кускам. Иными словами, их воспринимали как предателей национальных интересов.

К 1922 году Ататюрк прочно контролировал новую страну под названием Турция, правда, неясно было, какой официальный пост он занимает. Он перевел правительство в Анкару, небольшой городок в области Анатолия, чтобы изолировать турецкую политику от константинопольских интриг. Он разделил светскую и религиозную власть, то есть уничтожил совмещение этих функций, отделив титул султана от титула халифа, так что впервые в истории последний титул стал чисто религиозным, хотя Ататюрк все же не решился окончательно его упразднить. Уничтожение халифата одновременно с султанатом могло бы оказаться слишком сильным ударом для консервативных кругов Турции, особенно из числа духовного истеблишмента, а Ататюрк отнюдь не желал гражданской войны. Покончив с султанатом, он стал рассматривать кандидатуры самых умных и уважаемых людей на роль духовного главы мусульман — халифа. Его выбор пал на кузена мистера Османа, Абдул-Меджида, пожалуй, наиболее прогрессивного правителя, какого когда-либо знала Турция, ученого, художника, музыканта и поэта, начисто отвергавшего идею превосходства ислама над остальными религиями.

Однако уже 3 марта 1924 года Ататюрк неожиданно упразднил халифат. 23 марта вали (что-то вроде губернатора) Константинополя получил из Анкары инструкции, где значилось: «С халифом следует обращаться исключительно вежливо и почтительно, однако он должен покинуть территорию Турции до рассвета следующего дня». Всем мужчинам из семьи Османов давалось двадцать четыре часа на то, чтобы уехать из страны. Женщинам, детям и домочадцам предоставили три дня. Халифу вручили семь тысяч пятьсот долларов наличными, а каждому члену семьи Османов по пятьсот долларов. Они никогда прежде не пользовались деньгами, поскольку их слуги получали неограниченный доступ к государственной казне, как только у царственных особ возникали какие-либо пожелания. Многие из них даже не умели сами одеваться. В паспорта всех членов

султанской семьи были поставлены особые штемпели, чтобы они никогда больше не могли вернуться в Турцию. Им было разрешено поселиться в любой из западных стран по их выбору, однако никто из Османов не имел права проживать в мусульманской стране, чтобы не иметь возможности снова претендовать на статус султана или халифа. Когда вали явился к Абдул-Меджиду, чтобы объявить ему это решение, он обнаружил халифа всех мусульман мира лежащим на своей кушетке-оттоманке и читающим Монтеня. Эту удивительную деталь мистер Осман не выдумал, в опубликованной стенограмме отчета вали говорится: «Его Величество были заняты чтением “Опытов” Монтеня, когда я вынужден был известить его, что вали и трое других представителей полиции настаивают на незамедлительном свидании с ним». Он также с большим сожалением сообщил халифу, что ему дано максимум четыре часа на то, чтобы одеться и подготовиться к отъезду в изгнание. В тогдашних репортажах описывалось, какая суета поднялась во дворце халифа. Женщины из гарема, большинству из которых было уже за семьдесят, метались туда-сюда, горестно стеная. Еще громче, заглушая их, стенали евнухи. Сотни слуг доставали из кладовых старинные ковровые саквояжи и роскошные позолоченные дорожные несессеры, наваливая туда все, что попадалось им на глаза: вазы, старинные кофейные чашки, лампы, незапамятных времен воинскую одежду, шелковые халаты, рукописи, оружие… Но упаковать вещи шестисотлетней династии — это не то что свернуть выставочный стенд. Как быть с подарками, которые подносили на протяжении нескольких веков членам царствующей семьи? Слуги не имели ни малейшего представления, что делать, а потому лишь бестолково швыряли вещи в саквояжи. В конце концов комиссар полиции и его сотрудники вмешались в происходящее и помогли им упаковать европейскую одежду и постельное белье в обычные чемоданы.

В четыре часа утра халиф с членами своей семьи покинул дворец своих предков. А по прошествии еще нескольких часов они пополнили число вельможных беженцев, заполонивших Европу. С этого момента его императорское величество, Свет Мира и прочая, и прочая стал всего лишь обычным, ничем не примечательным мистером Османом, подобно моему соседу за обеденным столом. Вскоре Абдул-Меджид, уже никому не известный, сидел в каком-нибудь парижском кафе, перечитывая любимого Монтеня и не думая больше о всевозможных напастях, ожидавших его бывших подданных.

— Какие чувства вы испытываете, — задал я моему собеседнику типичнейший вопрос американского

корреспондента, — из-за того, что никогда не сможете быть ни султаном, ни халифом всех мусульман?

— Меня это, право же, мало касалось, — отвечал он. — Мне даже не пришлось отправляться в изгнание, потому что я уже был на тот момент за границей — учился в пансионе «Терезиана» в Вене. Разумеется, тогда во всем мире воцарилась смута: ведь и Австро-Венгерская монархия только что перестала существовать, и на меня это подействовало никак не меньше известия о крахе Османской империи… Но, по правде говоря, меня тогда куда больше интересовал футбол. Понимаете, я в тот год стал капитаном футбольной команды «Терезианы»…

И мистер Осман перечислил имена своих товарищей по команде — тех, с кем он играл в футбол семьдесят лет назад.

— Почти все они были австрийцы, ну кроме меня, конечно, — сказал он, посмеиваясь.

Я спросил его, каково было учиться в школе, предназначенной только для аристократов, — с кем же, например, им дозволялось играть в футбол?

— Нет-нет, там у нас были не только аристократы. Как раз незадолго до отречения монарха в эту школу стали принимать тех, кто не был королевским отпрыском и даже не принадлежал к аристократии. Что-то вроде тогдашнего варианта «политики равных возможностей».

Но как он все же относится к тому, что в принципе утратил право стать султаном? Быть может, судьба Турции сложилась бы иначе, лучше, если бы султанат как институт власти сохранился?

— Монархия мертва, — сказал мистер Осман. — Как сказал король Фарук после своего смещения с престола: «Еще немного, и в мире останется всего пять королей: король пик, король червей, король треф, король бубен, а еще — английский король».

Его жена была согласна с ним, однако выразила озабоченность тем, что в наши дни наследие Османской империи предано забвению, более того — его совершенно неверно трактуют.

Мистер Осман лишь пожал плечами и спросил у моей жены, не болеет ли наш кот, ведь его, несмотря на солидный возраст, также пригласили сюда в гости. И весь остаток вечера мы обсуждали нашего огромного котищу тигровой расцветки, который сидел неподалеку и довольно жмурился. Несостоявшийся претендент на трон турецкого султана и его милая жена с большим знанием дела расспрашивали нас о том, что наш кот ест, хорошо ли спит, как относится к чужакам, и в конце концов даже предложили нам, что будут за ним ухаживать, если нам понадобится куда-либо надолго уехать. Мы с женой

охотно огласились.

Прежде чем мы распрощались, миссис Осман снова вернулась к предмету, который ее явно очень занимал:

— Ужасно жаль, что, когда моего мужа не станет, династическая кровь окажется весьма разбавленной и что никто не знает родной истории так, как…

— Ну, я бы не стал этого утверждать, — скромно заметил мистер Осман.

— Ну конечно, вот скажи мне, кто из вас, кроме тебя, хоть что-нибудь знает?! — отрезала его жена, явно имея в виду родственников с его стороны.

— Кто из них интересуется историей?! Этой великой империей, самой древней в мире, а? Ну кто?

А вот Лев очень интересовался всем этим. Бродя по улицам оккупированного Константинополя в 1921 году, он верил, что здесь он нашел для себя смысл жизни, жизни в плавильном котле самой древней в мире империи, где перемешивались все расы и все религии. Он бродил по этим улицам совершенно завороженный, оставив своего отца в отеле, где тот вместе с другими эмигрантами строил планы, как бы им выбраться отсюда и двинуться дальше. А Льву уже не нужно было никуда двигаться. Он уже оказался в мире своих детских мечтаний.

«Кажется, я целыми днями так и бродил по городу, — вспоминал он в своих предсмертных записках. — Бродил мимо дворцов, среди визирей и придворных чиновников… У меня кружилась голова от того только, что я в самом деле иду по улицам этого города халифа! Может, это был не я?

А какой-то незнакомец, с чужими чувствами, с чужими мыслями… Моя жизнь, как мне представляется, началась по-настоящему в Стамбуле. Мне тогда было пятнадцать лет. Я собственными глазами видел жизнь Востока и понимал, что как бы меня ни тянуло в Европу, я пленен этой жизнью навсегда».

Глава 6. Минареты и шелковые чулки

Несколько недель среди мечетей и ночных клубов — и вот отец и сын Нусимбаумы снова в пути. Подобно белоэмигрантам, своим товарищам по несчастью, большинство беженцев из Баку воспринимали Константинополь лишь как промежуточную остановку на пути к истинной цели, неофициальной столице русской Эмиграции — Парижу. Представители русского высшего общества умели и читать, и говорить по-французски, и Франция была главным инвестором, дававшим займы правительству царской России. Однажды Николай II, крайне отрицательно относившийся к конституции, вынужден был, стоя подле президента Франции, отдавать честь «Марсельезе»[67]. Еще до русской революции большевики обжили самые непритязательные кварталы Парижа. После революции красные отправились в Россию брать власть в свои руки, и вскоре в этих же кварталах появились белые.

Некоторые эмигранты отправились на Восточном экспрессе по железной дороге, через Болгарию, как поступили и изгнанные из Турции члены семьи османского султана. Банин Асадуллаева вспоминала, что она проделала этот путь в одиночку, запершись в своем купе и дрожа от страха, как бы «кто-то из мужчин, а может, и несколько мужчин» не вломились к ней. Но к тому моменту, когда поезд достиг предместья Парижа, она сняла с себя чадру — в символическом и в буквальном смысле слова — и впоследствии вела жизнь современной, независимой западной женщины. Нусимбаумы предпочли пароход, следующий к Адриатическому побережью Италии. Еще одним важным пунктом притяжения для эмигрантов из России был, конечно же, Берлин, и они решили, что проделают путь вверх по «Итальянскому сапогу», оставив для себя возможность выбора. Раньше пароходы, курсировавшие между Европой и Востоком, возили любителей морских путешествий, теперь же картину определяли толпы беженцев, стремившихся как можно скорее попасть из Константинополя в любой европейский порт. Многие итальянские моряки продавали места в своих каютах тем, кто не имел нужных средств на обычный билет. Правда, это не относилось к Нусимбаумам, которым удалось купить билеты на нормальные места.

Вновь очутившись на борту плавучего города, заселенного эмигрантами, Лев вдруг ощутил невероятную тоску по тому Востоку, который он успел полюбить за время жизни в Константинополе. Он сочувствовал султану и членам его двора. И султанат, и халифат представлялись ему грандиозным

общественным институтом, и самый вид мечетей и базаров великой исламской столицы вселял в него ощущение, что здесь он нашел свое предназначение в жизни. По мере продвижения на запад Лев, одетый, разумеется, в обычный европейский костюм, ощущал все большую уверенность в том, что внутренне он всегда останется Человеком Востока, царства утраченной славы и неразгаданных тайн. Дух панисламизма, воображал он, мог бы защитить мир от революционных потрясений. Все эти революционеры и все эти политические движения — да, собственно говоря, вся современная ему политика — вызывали у него лишь отвращение и тревогу. Он мечтал о возвращении к устойчивым общественным институтам, основы которых коренились в далеком прошлом. Его привлекали монархия, даже абсолютизм. Он вырос в таком месте и в такое время, когда динамичное, стремительное развитие происходило при отсталом, абсолютистском режиме. Несмотря на ярый антисемитизм царистской России, Лев вырос, обуреваемый мечтаниями о некоей идеальной монархии. Лев желал получить от такой монархии примерно то же, чего современный американец ждет от либеральной демократии: право жить так, как ему хочется. Лев в глубине души был консервативен — в старом добром либеральном смысле этого слова. Консерватизм для европейских евреев был трудным выбором, ведь прежний политический строй жестоко преследовал их. Но в начале XX века он приобретал все большую привлекательность для уроженцев великих империй. Когда Вудро Вильсон выиграл вторые президентские выборы благодаря своей доктрине отказа от имперских образований в пользу самоопределения наций, те нации, входившие в состав Османской и Габсбургской империй, что желали этого, постарались не упустить своего шанса. При этом они принялись также враждовать друг с другом. Распад империй в Европе и на Ближнем Востоке привел к случаям массового истребления населения по всему континенту. В этих условиях немалое число евреев скорбело об ушедших с политической сцены императорах, которым все же удавалось делать жизнь достаточно цивилизованной и безопасной. У евреев не было никакого представления относительно того, что станется с ними, как только падет монархия, однако у них было ощущение, что ничего хорошего им это не сулит. Ведь, кроме цыган, евреи были единственной этнической группой, которая не могла заявить о своем праве хотя бы на клочок территории, где жили их предки[68]. В результате многие евреи до последнего поддерживали и дом Габсбургов, и дом Османов и после их свержения продолжали нести факел мультиэтнического

монархизма.

«С того дня, как царь отрекся от престола, я стал убежденным монархистом, — писал Лев впоследствии. — Поначалу это было чисто сентиментальное сочувствие к поверженному величию, но мало-помалу оно превращалось в убеждение». Однако его монархические устремления никогда не фокусировались на фигуре последнего, свергнутого царя. Его монархизм представлял собой смесь наследия османского и царистского с более древним наследием — хазарским и хевсурским. Такая монархия могла бы существовать лишь в некоем нереальном пространстве между Европой и Азией. И Лев решил, что появится в Европе не как еврей без гражданства откуда-то с Востока, а в османской феске или в наряде казака.

— Чтобы понять мироощущение моего кузена, — говорил мне Ноам Эрмон в Париже, — вам надо прочитать Пушкина. Левочка его читал, конечно, как все образованные мальчики в России. А кто герои пушкинских книг? Русские солдаты и кавказские воины, хазары! Левочка не мог стать русским офицером, ведь он был евреем. Вот он и стал хазаром!

Плавание шло своим чередом, и однажды Лев спустился в трюм, в темные, душные проходы, желая посмотреть, как живут матросы. Не обнаружив в кубриках ничего особенного, он по обитому железом, покрытому влагой коридору добрался до двери с решеткой на окне и заглянул в длинное помещение за дверью. Оно походило на столовую или на зал собраний — судя по стоявшему в ней длинному столу и стульям вдоль него. Однако стены не были увешаны мореходными картами или фотографиями танцующих девушек или популярных среди матросов киноактрис. Вместо этого на них красовались огромные портреты Ленина и Троцкого, а также большевистские лозунги, точь-в-точь как те, что Лев видел еще в Баку. Вернувшись на палубу, он спросил одного из матросов, что это за помещение.

— А, это вы попали в нашу коммунистическую Бастилию, — с гордостью отвечал ему тот.

С этого момента Италия стала в глазах Льва погибшей страной. Помещение в трюме означало, что революционное насилие обгоняет бегущих от него эмигрантов. В своих опасениях Лев не был одинок: экспорт революции в Европу все еще был официальной политикой ленинской партии.

После трехдневного морского перехода пассажиры высадились в Бриндизи, на юге Адриатического побережья Италии. Это произошло весной 1921 года. Ни уличных боев, ни криков о помощи — как непривычно! Сойдя на берег, Лев «принялся пристально разглядывать всех, кто проходил мимо нас.

Европейцы… надо же, идут себе по улице. Европейцы сидели в кофейнях, ели и пили точно так же, как евразийцы. И это был другой мир». Вскоре Нусимбаумы переехали в Рим, где Льва вновь стали посещать мрачные предчувствия. Они поселились в гостинице в центре города, и здесь, точь-в-точь как в Константинополе, его со всех сторон окружала история. Однажды, стоя на виа Венето с одним русским эмигрантом, он увидел группу молодых людей, которые маршировали по улице. Они двигались колонной, размахивая перед собой толстыми палицами. При этом они горланили что-то вроде гимна и выкрикивали лозунги.

Все ясно! Коммунисты захватили Рим. Видимо, уже взяты армейские казармы, полицейские участки и муниципальные здания. Лев хорошо представлял себе, что последует за этим: римский Совет начнет конфискацию собственности и примется арестовывать людей. В Колизее будет устроено публичное сожжение книг. Лев схватил товарища за руку и попытался увести его прочь. В своих предсмертных записках он преподносит эту сцену в виде фарса:

— Куда ты? — спросил приятель.

— Укладывать вещи.

— Зачем?

— Может, мы еще попадем на последний поезд в сторону Франции.

— Ты о чем? Почему? Что случилось?

— Господи, ты что, не видишь, что ли?.. Вот так это всегда и начинается. Это же большевики. Я еще по дороге сюда все понял, на корабле. Они уже повсюду, по всей стране. Бедная Италия! Надо бежать!

Русский приятель Льва хохотал до слез: «Так это же фашисты!» — сказал он. Лев нервно огляделся по сторонам. Какая ему разница, как красных называют в Италии? Его приятель — полный идиот…

Да, он ни разу в жизни не слышал слова «фашист». Но ведь и Европа еще не знала, что это такое. Муссолини произвел название своего движения от латинского fasces (фасции), то есть «пучки», «связки» — так в Древнем Риме называли перетянутые ремнями пучки прутьев с секирой посередине, которые несли перед римскими магистратами как знак их достоинства. Впоследствии фасции стали восприниматься как символ сильной государственной власти. Зима 1920–1921 года стала решающей для нового движения, и марш, свидетелем которого стал Лев, был одним из первых появлений фашистов на национальной арене. Товарищ Льва терпеливо объяснил ему, что у него совершенно

неправильный взгляд на фашизм, что все как раз наоборот: молодые люди в черных рубашках намеревались спасти свою страну от коммунизма, а вовсе не насаждать его. Фашисты выступали за сохранение частной инициативы и частной собственности, за сохранение старинных традиций и обычаев.

Лев глядел на марширующую по виа Венето колонну — тесный строй, шаг в ногу. Все противники большевиков, которых ему доводилось видеть, были «из бывших» — либо царские офицеры, либо представители мусульманских народов и племен, либо кроткие либеральные патриоты, вроде друзей его отца. А вот молодые люди, организованные, современные, устремленные в будущее, — они все были сторонниками красных. Здесь же, в Италии, молодежь сама вставала стеной против красной угрозы, и казалось, была той силой, с которой всем приходилось считаться.

Через несколько дней Лев стал свидетелем еще одной фашистской демонстрации. Ходили слухи, что в отеле напротив них остановился какой-то известный большевистский лидер. Неожиданно отель окружила группа молодежи, скандирующей: «Долой, долой, долой!» Лев высунулся из окна и тоже закричал: «Долой, долой, долой!»

Странное чувство вдруг обуяло меня. Мне показалось, что я как будто спаян с этими молодыми людьми, которые называли себя фашистами и выступали против большевиков, о которых я до сей поры ничего не знал. Вдруг возникло горячее, радостное ощущение внутренней солидарности с массой этих людей, чьего языка я не понимал и чьи мысли были для меня чуждыми. Впервые в жизни я испытал чувство, что я не одинок. Оно продолжалось лишь несколько мгновений. Но затем все вернулось на круги своя — к реальности: вот комнатка, где мы живем, вот наполовину распакованные чемоданы, вот мой вечно чем-то озабоченный отец — первый этап эмиграции.

Пройдет время, и мир узнает цену фашизму, но в 1921 году казалось, что разрушительная функция является прерогативой левацких революционеров. К тому же если ЧК уже уничтожила на тот момент тысячи и тысячи людей, то количество погибших в ходе фашистского переворота в Италии 1922 года не составило и нескольких сот человек. Известны благожелательные слова Уинстона Черчилля и Бернарда Шоу о Муссолини и восторженные отзывы многих американских газет — от «Нью-Йорк таймс» до «Кливленд-плейн-дилер» — о его политических талантах и гуманизме. В 1925 году статья в лондонской «Таймс» сравнивала Муссолини с Цезарем и Наполеоном и делала вывод, что, предприняв свой поход на Рим, его чернорубашечники «изгнали политиков, как некогда менялы были изгнаны из

храма». Один из репортеров «Таймс», Уолтер Литлфилд, получил награду от правительства Муссолини, ведь сам дуче был когда-то журналистом, а потому очень высоко ценил писателей и репортеров.

Такие положительные отзывы отражали всеобщее мнение американского истеблишмента. Муссолини сравнивали с Теодором Рузвельтом, в 1920-х годах республиканская администрация Вашингтона открыто поддерживала Муссолини и через посредство Дж. П. Моргана[69] помогла предоставить фашистскому правительству кредиты и займы на сумму в несколько сот миллионов долларов. В 1920-х годах и США, и Европа были охвачены прямо-таки истерическим страхом распространения революции из недавно созданного Советского Союза и дестабилизации демократического устройства в странах Запада. Демократия представлялась соперником большевизму. В феврале 1917 года, когда был свергнут царь Николай II и при этом не пролилось ни капли крови, а в Россию пришло верховенство закона, Соединенные Штаты приветствовали русскую революцию, сравнивая ее с 1776 годом[70]. Они были первой великой державой, которая признала новое демократическое правительство России. Однако принципиальная порядочность тех, кто пришел к власти после Февральской революции, сослужила им плохую службу. Через восемь месяцев после установления конституционного правления в России власть в результате переворота захватили большевики. Запад понял намек. Теоретики конституционных поправок и сенаторы, пожалуй, не смогли бы справиться с красными, а вот новое, сильное движение по итальянскому образцу было вполне способно стать таким союзником демократических государств, какой им был нужен. В конечном же счете нацизм сыграл роль, которую отводили «красной опасности», ведь именно он свел на нет демократию в Европе, хотя коммунисты и к этому приложили руку. Осенью 1932 года германские коммунисты и нацисты, которые лишь умеренных демократов ненавидели больше, чем друг друга, объединили усилия для того, чтобы низложить Веймарскую республику. А книги Льва Нусимбаума о Сталине, Ленине и о первых коммунистических «отрядах ликвидаторов» разошлись большим тиражом, наполнив конкретным содержанием терзавшие Запад страхи.

Однако весной 1921 года Лев и Абрам не стали задерживаться в столице фашизма. Подобно большинству русских эмигрантов, они двинулись в Париж.

Во французской столице Нусимбаумам ничего не оставалось, как жить за счет «мертвых душ». Этим термином пользовались

специалисты товарных бирж, имея в виду название знаменитой книги Гоголя. «Душами» здесь были не умершие крепостные, а нефтяные скважины, экспроприированные большевиками. И пусть души были мертвые, бойкая торговля ими позволяла попавшим в эмиграцию нефтяным промышленникам, таким, как Абрам, очень неплохо существовать в Париже. Торговаться чаще всего доводилось в уютных кафе вдоль Сен-Жермен-де-Пре. Основными покупателями выступали представители «Стандарт Ойл», «Ройял датч» и Англо-персидской нефтяной компании. Поражение армии Врангеля осенью 1920 года практически завершило Гражданскую войну, однако в Советском Союзе начался голод и экономическая разруха, и потому будущее его представлялось весьма туманным.

В те дни русская эмиграция жила на широкую ногу: еще сохранились бриллиантовые ожерелья, которые можно было заложить, еще имелись кое-какие авуары, ценные бумаги, которые удавалось выгодно продать. Еще не настали те дни, когда чуть не каждый привратник в Берлине был русским великим князем, а парижский таксист — белогвардейским офицером, вроде набоковского полковника Таксовича. Бумаги на право собственности, все еще находившиеся на руках у нефтяных магнатов из Баку, многими по-прежнему рассматривались как ключ к одной из крупнейших на свете промышленных сокровищниц. И именно в Париже следовало их продавать. Все российские товары по-прежнему играли некую роль в какой-то безнадежно абстрактной игре, однако кавказская нефть была на первом месте. Игра эта, разумеется, зависела от того, считал ли тот или иной ее участник большевизм временным явлением и какой срок он ему отводил. Большинство эмигрантов искренне верили, что большевизм потерпит поражение — они попросту не были готовы к иному варианту, — и со страстью доказывали это всем, кто соглашался их слушать. Несмотря на известный скепсис представителей зарубежного бизнеса, первоначальное нежелание эмигрантов продавать свои ценные бумаги, будь то в связи с надеждами на лучшее будущее или же из упрямого патриотизма, как раз создавало впечатление, что им известно нечто важное. А это подстегивало желание иностранных заинтересованных лиц приобрести ценные бумаги и тем самым делало продавцов менее сговорчивыми, так что спекулятивный рынок рос как на дрожжах.

В 1921 году Париж еще не стал столицей русской эмиграции. На тот момент эта честь по-прежнему принадлежала Константинополю, но быстро переходила к Берлину, ведь там были дешевые квартиры, безумно низкие цены и процветало издательское дело — интеллигенция, особенно писатели, стекалась поэтому туда. Однако былые капитаны российской

промышленности, подобно Абраму Нусимбауму, собрались в Париже, чтобы быть ближе к крупным рынкам Запада. Берлин был столицей государства, проигравшего войну, Париж — победившего.

Для Льва, привыкшего к жизни в империи и в аристократическом мусульманском обществе, освоиться в буржуазном Париже означало пройти целую школу жизни. Он, по-видимому, лишь отчасти шутил, вспоминая, как только в парижском метро он узнал, что «есть, оказывается, такие люди, которые ездят вторым и даже третьим классом… Ведь до этого я пребывал в уверенности, что обычные, нормальные люди, которые жили в средних, нестесненных обстоятельствах, ездят только первым классом». Первые эмигранты — те несколько тысяч лиц благородного происхождения, опора королевского режима, покинувшие Францию после революции 1789 года, в конечном счете с триумфом вернулись на родину. Но эмигранты 1921 года были другими, среди них были представители самых разных социальных слоев. Невозможно даже точно определить их количество: один эксперт по проблемам народонаселения утверждал в 1921 году, что из России эмигрировало 2 935 600 человек, американский Красный Крест примерно в тот же период называл цифру 1 963 500 человек. Да и какая могла быть точность в подсчетах, если эмигранты переезжали из страны в страну, пользуясь немалым количеством различных документов, зачастую просроченных или утративших силу.

Массовая эмиграция из России породила первый крупный кризис XX века, связанный с необходимостью как-то устроить беженцев. До того масштабы эмиграции в Европе были незначительными и ограничивались четко очерченными общественными группировками, в основном религиозными, например, в результате раскола, вызванного распространением протестантизма. Единственной насильственной эмиграцией, которую можно сравнить с исходом белых из России, было изгнание евреев из Испании в 1492 году. Тогда точно так же целый миропорядок, существовавший веками, неожиданно «потерпел крушение», как любили выражаться белые.

Термин «белые» поначалу относился к группе офицеров царской армии, которая сформировалась весной 1917 года для того, чтобы бороться с демократической революцией, которая свергла Николая II. Со временем это понятие расширилось: в число белых стали включать всех противников большевистского переворота.

О возможном развитии событий, окажись антибольшевистские силы победителями в Гражданской войне,

можно судить по деятельности Врангеля. Когда он создал недолго просуществовавшую белогвардейскую республику на Украине и в Крыму, он преднамеренно удалил из правительственных органов ультрареакционеров, а главное внимание уделил обеспечению безопасности всех российских жителей, независимо от их общественного положения. Сейчас основательно подзабыты политические воззрения Врангеля, на удивление гибкие и провидческие. А он успел провести целый ряд основополагающих реформ, которые предоставили землю в частное владение крестьянам и начал радикальные аграрные реформы. В результате его политики российские подданные из всех слоев населения устремились в Крым, чтобы найти убежище под защитой его временного правительства, — в их числе были и монархисты, и меньшевики, и евреи, и узбеки, и армяне, да все, кто только сумел туда добраться. Поэтому, когда его правительству пришлось бежать в Константинополь на судах кое-как собранной флотилии, вместе с ним в эмиграцию ушли и люди, представлявшие собой самый широкий срез российского общества. Немалое количество людей гуманитарных профессий и квалифицированных специалистов в различных областях так или иначе находили возможность уехать из страны уже начиная с 1918 года, однако врангелевская флотилия стала истинным началом Эмиграции. Она знаменовала собой конец надежд на лучшее будущее, и если бы большевики не перекрыли границы в 1921 году, количество эмигрантов из России могло увеличиться на порядок.

В Париже и во многих других местах Лев отмечал эмигрантский обычай жить «на чемоданах», не распаковывая вещей, в ожидании возвращения на родину. «В следующем году — в Баку… в Петрограде… в Москве и т. д.» — к этому сводилось немалое количество провозглашаемых тостов. Обаяние Парижа и удаленность от событий, происходивших в России, позволяла эмигрантам довольно легко уверовать в то, что совсем скоро там произойдет контрреволюция. Они продолжали обитать в дорогих отелях, благодаря средствам от отданных под залог владений, которые они надеялись скоро вернуть себе как законную собственность. Ощущение того, что случившееся с ними — дело временное, способствовало стремлению русских держаться друг друга и препятствовало их интеграции во французское общество. Они ведь были не иммигрантами, но беженцами, теми, кто желал временного убежища от ужасов революции, войны и политики. Вот выпьют еще немного водки, посидят в кофеине, а потом вернутся на родину, воевать. Некоторые офицеры бывшей армии Врангеля пытались сохранить свои подразделения, организуя

регулярные собрания в барах и кофейнях. Преуспели в этом лишь казацкие части, ведь воинские традиции поддерживались у них издавна, это было частью их самобытного статуса. Однако и казаки утратили кое-что в новых условиях, особенно когда начали разъезжаться в разные стороны. «Вокруг Канн жило немало казаков, которые разводили кур, — вспоминала эмигрантка графиня Наталия Сумарокова-Эльстон. — Они так и не научились говорить по-французски»[71]. К 1921 году, когда миллионы молодых французов либо погибли, либо стали инвалидами — кто на войне, а кто в результате эпидемии гриппа, — в стране возникла острая нехватка рабочих рук. Особенно нужны были шахтеры и заводские рабочие, а вот в «людях умственного труда», каких среди эмигрантов было большинство, никто не нуждался. В этом смысле русские эмигранты были в том же положении, в каком оказались евреи из Германии, попавшие во Францию в 1930-х годах: их квалификация была слишком высокой, чтобы найти для себя работу. Бывшие царские офицеры выбирали работу таксиста или шофера по перевозке грузов еще и потому, что она давала свободу, возможность самому управлять своим средством передвижения, а еще, что немаловажно, красивую форменную одежду. Одна эмигрантка, графиня, вспоминала, как ее собратья-аристократы в буквальном смысле попали «из князей в грязь»: «Русские мусорщики в Каннах были весьма знамениты, — рассказывала она. — Они ведь были такие элегантные и такие эффектные в своих военных мундирах! Все их просто обожали. Я знала одну англичанку, она жила этажом ниже русского полковника, и он каждую неделю приносил ей в подарок экземпляр журнала “Тэтлер”. Она как-то спросила его, отчего это он покушал именно “Тэтлер”? “Надо же мне знать, как дела у моих друзей”[72], - отвечал он». Отец самой графини получил работу в компании по снабжению населения газом и электричеством. «А вот его друг, барон Притвиц, снимал показания счетчиков». Пожалуй, единственный раз живущие в окрестностях Канн эмигранты почувствовали себя во Франции, как дома, когда одна кинокомпания воссоздала в горах над Каннами кавказскую деревню, и все они получили там работу в качестве статистов.

Что же касается Льва, его жизнь в Париже в 1921 году напоминала каникулы. Ему исполнилось шестнадцать лет, его отцу все еще везло в торговле «мертвыми душами», он по-прежнему оставался сыном миллионера. Он пристрастился читать в газетах разделы объявлений: так он делал вид, что занимается чем-то осмысленным, ищет работу. Он водил пальцем по перечню имеющихся вакансий, подчеркивал те, которые находились по

наиболее интересным адресам, особенно если это были улицы с историческими названиями или коннотациями. Потом брал такси и отправлялся якобы на собеседование. Приехав на место, он выходил из машины и принимался бродить туда-сюда по улице. «Иногда я брал такси, говорил шоферу название улицы и номер дома, он меня довозил туда, а потом я стоял перед этим домом, говоря себе: “Так вот она какая, эта рю Бонапарт в Париже” — и был на верху блаженства». Однако на самом деле, испытывая облегчение от того, что опасности позади, и ведя более или менее беззаботное существование, Лев был не слишком счастлив. Несмотря на большое количество беженцев с Кавказа, в том числе и его собственных родственников, он как-то не вписывался в общую картину. Примерно в это время его родные стали отмечать в нем странности. Он почти никогда не принимал их приглашений пойти с ними в кино, в театр или в музей. Когда они все же вытаскивали его на какое-либо мероприятие, он сидел тихо, неподвижно, глядя прямо перед собой, вид у него был напряженный и отсутствующий. По его собственному признанию, его родственники видели в нем чуть ли не идиота. Зато он любил сидеть на скамье в парке и разглядывать изящных парижанок, носивших тогда чулки из чистого шелка. При этом у него был вид опытного ценителя дамской красоты. Но если ему случалось познакомиться с девушкой своих лет (почти всегда они были из эмигрантской среды), он просто-напросто терял способность хоть как-то поддерживать разговор. «Однажды я целый час провел с первой красавицей эмиграции, — вспоминал он позже, — мы были одни в комнате, и весь этот час я сидел и читал газету!» Не позволяя себе никаких «вульгарных» мыслей в отношении женщин, которых он видел на улице, Лев решил, что их ножки в шелковых чулках напоминали ему «стройные минареты» Стамбула.

Нетрудно представить себе, что Льву не удалось снискать расположение парижских родственников, например своих богатых кузенов с материнской стороны по фамилии Лейтес. Они еще в 1890-х годах крестились, приняв православную веру. Не исключено, что именно это навело Льва позже на мысль о создании мифа об аристократическом происхождении его матери. Лейтесы жили в самом фешенебельном отеле на Елисейских Полях. Один из сыновей Лейтесов служил прежде в царской кавалерии и в составе врангелевской армии был в эмиграции в Константинополе — как белогвардеец, а не как гражданское лицо. Одна из кузин Льва жила в Париже еще с довоенных времен, так что сейчас она для остальных родственников стала чем-то вроде гида.

«Среди дюжины родственников, — писал впоследствии Лев Пиме, — есть одна женщина, которую я люблю и которая также относится ко мне с любовью. Ее зовут Тамара, и она замужем за итальянцем. Она единственная из всех них, этих моих родичей, кто небогат. Возможно, это покажется Вам странным, но я не знаю точно, кто она мне — тетя или сестра. Она всего на несколько лет старше меня. Мы выросли вместе. Одни родственники утверждают, что она моя сестра, другие, что — тетка. Мой собственный отец говорит то одно, то другое».

Тамара была на самом деле его теткой — младшей сестрой его матери, Берты. А «итальянец», за которого она вышла замуж, был просто очередным евреем-эмигрантом из России, которому неслыханно повезло: в Константинополе ему удалось заполучить итальянское гражданство. Через двадцать лет этот невероятный подарок судьбы спас жизнь Тамаре, ее мужу и их сыну, Ноаму, — они избежали газовых камер… После стольких лет, когда я медленно, но верно складывал мозаику жизни Льва по письмам и воспоминаниям знавших его людей, по его полицейскому досье, мне уже начало казаться, будто я был его единственным родственником. Поэтому встреча с Ноамом Эрмоном в Париже меня поразила, тем более что Ноам, пусть уже и старый, был вылитый Лев. У него было весьма значительное лицо, с сильно выступающим вперед носом и загадочной улыбкой, которую он унаследовал, по-видимому, по материнской линии. Мы с Ноамом часами говорили о прошлом, перебирая имеющиеся старые фотографии. Увы, не нашлось ни одного снимка Берты, однако великое множество фотографий Тамары. Ноам никогда не был в Баку, но мать много рассказывала ему о жизни там. Ведь на нее, десятилетнюю девочку, которая только-только приехала в Баку из штетла — полудеревни, полугородишки в черте оседлости, невероятное впечатление произвела вся атмосфера дома, под крышей которого она отныне жила вместе с собственной сестрой-революционеркой и ее мужем-миллионером. Позже, после того как Берта покончила с собой, когда все пошло наперекосяк в результате революционных волнений, жить там стало очень трудно. Ноам вспоминал, как его мать говорила ему: во время армяно-азербайджанских столкновений Абрам предлагал свой кров тем, кто подвергался преследованиям. Тамара помнила искаженные ужасом лица армян, которые прибежали к ним искать убежища от толп мусульманской черни. Но она же прекрасно помнила и мусульман, искавших защиты от черни армянской. «Тут дело в том, что раз Нусимбаум — еврей, его дом был нейтральной территорией, — сказал мне Ноам. — Они тогда не трогали дома евреев, неважно, кто из них принимался громить

другую сторону. А господин Нусимбаум имел возможность предложить убежище любому, кто в нем нуждался». Обсуждая со мной книги Льва, Ноам выразил сомнение в том, что в романе «Али и Нино» Лев идентифицировал себя с главным героем книги — мусульманином. Он заметил, что картина межэтнических и межкультурных отношений в романе «была чересчур романтически описана… впрочем, может, это было Левушкино представление о том, как в Баку обстояли дела в старину». Ноам вспомнил, что среди их парижских знакомых — выходцев с Кавказа — были примадонна бакинской оперы и ее муж, также популярный певец. Эта примадонна была еврейкой по национальности, а муж ее армянином. «В их доме вечно собирались всевозможные выходцы с Кавказа, а также разные прочие эмигранты, — вспоминал Ноам. — Каждый год в день рождения примадонны устраивали званый прием, и все там играли на фортепиано, пели оперные арии… Гукосовы были невероятно популярны в среде парижской эмиграции». Тамара была одной из тех немногих, для кого жизнь в эмиграции оказалась гораздо приятнее, чем в Российской империи. Она уже была замужем, и, хотя они с мужем по сравнению с прочими родственниками Льва отнюдь не являлись состоятельными людьми, жили они в отеле, окна которого выходили на Ботанический сад.

Оказавшись среди родственников своей матери, Лев все чаще вспоминал детство. У него было ощущение, как будто ему с отцом удалось бежать из адского горнила революции, а вот ее они бросили там. Нет, конечно, это она их бросила, притом за много лет до этого. Однако ее родственники почему-то считали ее жертвой революции. Тамара уже жила в их доме, когда Берта умерла, и позже она рассказала своему сыну, что сестра ее погибла, выпив кислоту, но не захотела рассказывать об этом собственному племяннику, которому тогда было шестнадцать лет. Возможно, это было правильное решение, однако самая мысль, что никто из родных не желал говорить о его матери, терзала его. Его отец не мог не знать правды, но лишь отмалчивался, если речь заходила о ней. Говорить на эту тему явно было выше его сил. А может быть, он считал себя каким-то образом ответственным за случившееся. Абраму часто снилась покойная жена — это Льву было известно. Самому Льву его мать не снилась никогда.

К 1921 году были приняты серьезные решения относительно будущего Льва. Его отец и родственники рассматривали вопрос о том, где ему лучше получать образование, и по причинам, которых так никто и не разъяснил, все они были против самого

очевидного — чтобы Лев поступил во французский лицей. Абрам Нусимбаум был особенно ярым противником этой идеи, возможно, потому, что понимал, какое влияние оказывал Париж на его сына. Короче, отроку надлежало отправиться за рубеж — получать образование в «серьезной» стране.

Первым делом рассматривалась возможность учиться в Англии. Повсюду на Востоке считалось, что дать английской образование — это максимум того, что способен сделать отец для своего сына. Лев вспоминал, какова была логика размышлений его богатых родственников по этому поводу: «Английское образование не может не быть очень хорошим, иначе почему же тогда Англия правит миром?» Владимир Набоков-старший послал своего сына учиться в Англию. Однако родственники Льва сомневались в том, что «шестнадцатилетний мальчик из Баку, который никогда прежде настоящего снега не видел, сможет справиться со столь суровыми условиями». Кроме того, сам Абрам Нусимбаум относился к англичанам не слишком хорошо: он винил их в расчленении Османской империи, однако, как намекнул мне Ноам Эрмон, возможно, причина его неприязни была в разногласиях при совершении нефтяных сделок. Нежелание послать сына на учебу в Англию, насколько помнил Лев, было продиктовано и соображениями совершенно иного рода. Один из богатых и влиятельных бакинцев в начале войны послал своего двенадцатилетнего сына на учебу в Англию. В результате войны и революции они не виделись семь лет, и в 1921 году сын, уже повзрослевший молодой человек, закончивший курс наук в Англии, воссоединился с собственным отцом в Париже. «Все родные очень хотели знать, каков он теперь, и гордость его отца была поначалу невероятно велика», — писал Лев в своих воспоминаниях. Но и чувство любопытства, и отцовская гордость вскоре сменились страшным разочарованием, потому что всем им стало ясно: по всем меркам дореволюционного Баку этот молодой человек превратился в полного идиота. Он забыл русский и азербайджанский языки — настолько, что его отцу понадобился переводчик, чтобы разговаривать с собственным сыном. Сын, имя которого было Юсеф, настаивал на том, чтобы его называли Джо, и лишь смеялся, когда кто-нибудь все-таки обращался к нему по-старому. Лев вспоминал: «Хотя Юсеф, он же Джо, был весьма скромен и хорошо воспитан, речи его были весьма странными. Он с невероятной серьезностью рассуждал о футболе и скачках, однако мгновенно умолкал, если его спрашивали о чем-либо еще. Когда кто-то все-таки настоял, чтобы он высказал свое мнение о большевиках, войне и так далее, его суждения напоминали слова

пятилетнего ребенка». Но поскольку в детстве Юсеф слыл умным, смышленым ребенком, в кругу выходцев из Баку решили, что все это — результат английского образования.

Абрам Нусимбаум лишь однажды встретился с этим молодым человеком, и этого оказалось достаточно, чтобы он навсегда поставил крест на идее отправить сына учиться в Англию и начал размышлять, как быть дальше. Примерно в это время в Париж приехал один из дядьев Льва, проведший всю свою юность в Германии. Дядя этот без конца нахваливал среднюю школу, в которой учился, — она находилась на одном из множества небольших островков в Северном море, неподалеку от Гамбурга. И Абрам, и остальные родственники слушали как завороженные рассказы о том, что за программа была в этой школе, какие высокие идеи ему прививали и какая там прекрасная дисциплина. В Германию издавна приезжали учиться отпрыски русских аристократов, а у евреев немецкое образование вообще ценилось выше других. Ну что же, подумал Абрам, несколько лет сыну будут прививать германские добродетели и культуру — это ведь то, что надо. Родственники согласились с ним. Благодаря Алисе Шульте Лев свободно говорил по-немецки, да к тому же в Германии было тогда полным-полно русских. Вопрос денег тоже сыграл не последнюю роль, ведь с ними, несмотря на торговлю «мертвыми душами», становилось все труднее. Учиться в Англин было невероятно дорого, да и Франция в этом отношении недалеко ушла, а вот жизнь в Германии была дешевой. На том и порешили. Мнения самого отрока, разумеется, не спросили.

Готовясь к отъезду, Лев купил себе единственную обновку — монокль и сделал это, по его собственному признанию, потому что «был убежден: в Германии монокль вещь столь же необходимая для джентльмена, как зонтик в Англин». Теперь они с отцом ехали в спальном вагоне первого класса на восток, в Германию, и всю дорогу он учился удерживать монокль в глазу. Этот отъезд имел для них обоих весьма далеко идущие последствия.

Часть вторая

Глава 7. Революция в Германии

Когда поздней весной 1921 года отец и сын Нусимбаумы пересекли французскую границу, Лев нервно вертел в руках недавно приобретенный монокль. Глядя на серый пейзаж за окном вагона, на те места, где еще совсем недавно происходили грандиозные окопные сражения Первой мировой войны, он мог думать лишь об одном — о революции в Германии! Им удалось избежать одной революции, в России, а теперь они на всех парах несутся в горнило другой? Может, они с отцом с ума сошли? Ведь в Париже многие русские эмигранты говорили ему: в Германии начались серьезные беспорядки, и насилия там не меньше, чем в России. Страхи, связанные с политическими потрясениями в Германии, мучили Льва с того самого момента, как его родственники приняли решение, где ему дальше учиться. Он утешал себя лишь тем, что всегда сможет «куда-нибудь уехать, если дело зайдет слишком далеко. Это ведь не моя революция, и это не моя страна». Но все-таки газетные репортажи из Германии заставляли его сильно волноваться.

Страх Льва перед революцией был своего рода истерической реакцией на то, чему он стал свидетелем в Баку. Революционное насилие свирепствовало в Германии уже более двух лет, но грандиозные перемены в других странах: победа советской системы и бегство белых из России; распад Османской империи и начало гражданской войны в Турции; Версальский мирный договор, распад монархии Габсбургов и возникновение на ее месте доброй дюжины новых государств, а также международных союзов внутри Европы; пандемия гриппа-«испанки», которая все еще уносила десятки тысяч людей по всему миру, — все эти события отвлекли внимание международного сообщества от революции в Германии.

Абрам привил Льву глубокое уважение к культуре и народу Германии.

Во время осады Баку Нусимбаумы приютили у себя немецких офицеров, попавших в русский плен во время Первой мировой войны и оказавшихся людьми весьма порядочными. Тем не менее, пока поезд приближался к германской границе, Льва мучили мрачные предчувствия.

Первые события в ходе революционных перемен в России и в Германии оказались похожими: катастрофа на полях сражений Первой мировой войны привела к отречению императора и к передаче власти в руки демократически избранного коалиционного правительства. Эта коалиция тут же стала

мишенью для нападок левых и правых радикалов и принялась лавировать между ними. Главное различие между Германией и Россией состояло в следующем: в России умеренные политики всячески потворствовали крайне левым, считая, что опасность исходит от крайне правых; в Германии же умеренные потакали крайне правым, поскольку наиболее опасными, по их мнению, были крайне левые. Результаты в обоих случаях были чудовищными: в России в конце концов произошел кровавый государственный переворот, совершенный левыми; в Германии же кровавый государственный переворот произвели правые. Лидеры нового германского демократического государства, точь-в-точь как Лев, были способны видеть перед собой лишь призрак Красной Революции — большевизма, который уже взошел над Россией и угрожал распространиться на Запад. А революция правых — фашизм, нацизм — на тот момент еще не обрела четких контуров. Как центристские демократы в Москве позволили Ленину действовать в России в надежде, что он защитит конституционное правительство, так и демократы в Берлине дали распоясаться антидемократическим правым силам, рассчитывая, что они будут защищать конституцию, которую в действительности те желали уничтожить. Своего «Ленина» у правого крыла еще не было, хотя достаточно скоро и он возник из тогдашнего кровавого хаоса.

Однако в 1918–1919 годах никого в Германии не волновало, есть ли у правых свой вождь типа Ленина. Все внимательно следили за вождем левых сил Карлом Либкнехтом, которого многие считали «германским Лениным». Прежде состоявший в Социал-демократической партии, Либкнехт откровенно выражал свои антивоенные взгляды и потому порвал с ней. Вторым вождем левых считали его соратницу Розу Люксембург. Правда, по стандартам большевиков даже самые радикальные немецкие социалисты не были «настоящими» революционерами: у них полностью отсутствовала традиция террора или желание осуществить вооруженное восстание. Как выразился Ленин, они не смогли бы штурмовать железнодорожный вокзал, не купив предварительно входных билетов на перрон. Сам Ленин несколько лет подряд пытался заниматься организационной работой в Мюнхене, но потом отказался от мысли революционизировать германских социал-демократов и переехал в Цюрих, чтобы там дождаться начала революции. Тем временем враждебный большевикам Второй интернационал, объединявший социалистические партии всего мира с целью совершить всемирную марксистскую революцию, превратил социалистическое движение из революционного в эволюционное,

сфокусировав его задачи на профсоюзной деятельности и на политической борьбе в парламенте, — это было типично немецкое явление.

Ленин опирался в Берлине на Либкнехта и Люксембург, а также на руководимую ими радикальную группировку, отколовшуюся от Социал-демократической партии и называвшуюся «Спартак»[73]. Прибыв в апреле 1917 года на Финляндский вокзал в Петрограде, Ленин, хотя и был переправлен туда из Швейцарии с ведома германского Генштаба в особом, запломбированном вагоне («подобно чумной бацилле», по выражению Черчилля), сразу же забыл о своих благодетелях и публично выразил надежду, что Либкнехт вскоре устроит в Германии революцию и свергнет кайзера. Однако у членов группы «Спартак» не было характерного для большевиков умения ни перед чем не останавливаться, и потому, хотя по всей Германии вскоре распространились революционные выступления, там революция совершила драматичный поворот в иную сторону.

В 1917–1918 годах власть в Германии фактически была в руках военачальников: генерала Людендорфа (он уже в 1923 году станет вдохновителем безуспешной и противозаконной попытки Гитлера захватить власть) и фельдмаршала Гинденбурга (который впоследствии, в 1933 году, поможет Гитлеру взять власть законным путем). У Людендорфа были, по сути, нацистские взгляды (хотя само слово «нацизм» еще даже не было изобретено): его мечты о создании на Востоке обширной тевтонской территории, которую в Германии называли «Lebensraum», или «жизненное пространство», его представления о всемирном сионистском заговоре вполне соответствовали идеям нацизма, при этом он был блистательным тактиком. Правительство Людендорфа-Гинденбурга пользовалось поддержкой большинства немцев, для которого кайзер был благоприличной вывеской — однако лишь до тех пор, пока это правительство обещало добиться полной победы в войне (ее тогда называли Великой войной) и аннексировать территории к востоку от Германии. К весне 1918 года германское правительство, казалось бы, сдержало свое обещание, заставив Россию, в обмен на мирный договор, пожертвовать огромными территориями. Помимо расширения своих владений Германская империя практически удвоила численность населения, прибавив пятьдесят шесть миллионов человек с этих российских территорий, а также более чем вдвое увеличила запасы природных ископаемых. Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша, значительная часть территории России, Румынии и Украины вошли в новую Германскую империю, которая по своим размерам соперничала

теперь, по крайней мере формально, с завоеваниями Наполеона, а также превосходила размеры всех прежних германских империй[74]. Однако просуществовала эта империя, этот огромный Второй рейх, всего полгода. Германии требовалось содержать армию, в которой был миллион солдат, на просторах от Финляндии до Азербайджана — для того, чтобы удерживать завоеванные области в повиновении и выкачивать оттуда материальные ресурсы. В самой Германии люди практически голодали, поскольку британская морская блокада изолировала страну от окружающего мира, а воспользоваться ресурсами новых территорий, чтобы переломить ситуацию, немцы так и не успели. К концу лета 1918 года плохо снабжаемая, полуголодная германская армия была разбросана по огромной территории. Она несла и потери от гриппа-«испанки», от которого только за следующий, 1919-й, год во всем мире умерло около двадцати миллионов человек — больше, чем погибло солдат во всех сражениях Первой мировой войны. Выход Болгарии из войны в конце сентября 1918 года обнажил южный фланг Германии, перерезал путь по суше к ее главному союзнику — османской Турции. Подобно своему кузену Николаю II в 1917 году, кайзер все больше склонялся к мысли, что против него организован грандиозный еврейско-масонский заговор. Людендорф, несмотря на инициированную им «проеврейскую» оккупацию восточных земель, энергично согласился со своим кайзером. Они оба поддержали план заселения Палестины евреями, поскольку отчаянно хотели получить взамен поддержку со стороны всемирного еврейства, но опоздали…

Людендорф всячески пытался найти выход из сложившегося положения. В начале октября 1918 года он начал переговоры со странами Антанты, желая добиться немедленного заключения мира, чтобы тем самым спасти германскую армию от полного распада. А когда Антанта отказалась вести переговоры с военной диктатурой, Людендорф тут же начертал план преобразований в Германии, долженствующих превратить страну в либеральную конституционную монархию. Он сумел даже убедить одного либерально настроенного родственника самого кайзера занять пост ее первого канцлера[75]. Страны Антанты тем не менее сомневались в истинных намерениях Германии, и потому мирные переговоры тянулись весь октябрь 1918 года. Но когда 30 октября Турция подписала сепаратный мир, а 3 ноября об одностороннем прекращении огня объявила и Австро-Венгрия, Второй Германский рейх, эта существовавшая лишь на бумаге империя, простиравшаяся от Баку до Брюсселя, единственная из блока Центральных держав все еще противостояла силам Антанты. При

этом, хотя военное командование прекрасно понимало, что война проиграна, оно не взяло на себя труда сообщить об этом немецкому народу (а также миллионам солдат на фронте), а потому бюллетени, сообщавшие о продолжающемся наступлении и близкой победе, по-прежнему выходили ежедневно. Правда, к этому времени по всей Германии уже вовсю циркулировали панические слухи.

Как и в России, вооруженное восстание началось в матросской среде: 3 ноября взбунтовалось большинство моряков морского флота Германии. Они не желали выполнять приказ своих командиров: в полном составе всем судам выйти в открытое море для решающего (и, не исключено, самоубийственного) сражения с флотом Великобритании. На военных кораблях его императорского величества затрепетали красные флаги; офицеров моряки попросту вышвырнули за борт, а пулеметы перенесли на грузовики. Всего за три дня Советы рабочих и моряков взяли на себя управление важнейшими морскими портами Северной Германии, а затем стали угрожать наступлением на Берлин. На юге в этот момент как раз полностью развалился австрийский фронт и в Баварии возникла паника. В результате 7 ноября, после произошедшей в Мюнхене бескровной революции, над городом также стали развеваться красные флаги. Страна распадалась на глазах.

К вечеру в субботу, 9 ноября, Людендорф и его соратники-генералы выработали план действий. Они решили, что передадут весь этот хаос каким-нибудь демократам. Лучше всего демократам левого толка. Генералы провели переговоры с председателем Социал-демократической партии, Фридрихом Эбертом, который возглавлял крупнейшую левую фракцию в парламенте, и тот заявил, что готов выполнить свой патриотический долг. Раймунд Претцель, которому тогда было одиннадцать лет, — позже он под псевдонимом Себастьян Хафнер станет ведущим антифашистским журналистом — вспоминал, что́ творилось на улицах города в те выходные: «В воскресенье я впервые услышал звуки выстрелов. За всю войну не было ни одного. А теперь, когда война закончилась, в Берлине начали стрелять… Кто-то разъяснил мне, как отличить по звуку ручной пулемет от станкового. Мы пытались понять, где же идет сражение. Как оказалось, это была довольно бессмысленная стычка между двумя соперничавшими революционными группами, поскольку каждая из них желала занять императорские конюшни. Что ж, революция победила».

Все четыре года войны юный Претцель, настроенный весьма патриотично, внимательно следил за новостями о славных

победах германской армии, которые ежедневно вывешивались на доске объявлений у полицейского участка, а вот теперь: «И 9 и 10 ноября на доске еще появлялись армейские бюллетени с привычным содержанием: “отражены попытки неприятеля прорвать фронт”, “после ожесточенного сопротивления наши части отошли на заранее подготовленные позиции”. Но 11 ноября, когда я в обычное время пришел к отделению местной полиции, военных бюллетеней там не было — вообще никаких. Пустая, безмолвная доска зияла отсутствием каких-либо сведений. Я пришел в ужас при одной лишь мысли, что теперь она навсегда останется пустой и черной — и это после того, как изо дня в день, на протяжении многих лет, она поддерживала мой дух и питала мои грезы… И я побрел куда глаза глядят. Ну хоть где-нибудь должны же быть новости с фронта, какие угодно! Наконец я оказался в мало знакомом мне районе города… Как передать вам мои ощущения? Как поведать о чувствах, которые испытал одиннадцатилетний мальчик, мир которого только что рухнул? Как и эти улицы, весь мир отныне был для меня незнакомым, вызывая лишь тревогу… Грандиозная игра явно велась по каким-то своим, тайным правилам, которые я не был в силах понять. Правда, во всем ощущалась некая фальшь, таился обман. Как теперь обрести стабильность и безопасность, веру, надежду, уверенность в будущем?»

В понедельник, и ноября 1918 года, делегаты нового, социал-демократического правительства Германии официально подписали перемирие с представителями Антанты, прекратив участие Германии в Первой мировой войне. Кайзер в своем личном вагоне, инкрустированном золотом и слоновой костью, отправился во вполне комфортабельную ссылку в Голландию. А в Берлине воцарился хаос. Леворадикальные элементы захватывали редакции газет, правительственные здания, магазины и телеграфные пункты. Заняв апартаменты самого кайзера, совершенно опьянев от первого глотка реальной власти, Эберт и его соратники по парламентской фракции вели со странами Антанты переговоры об условиях выхода из войны, и в то же время втайне обсуждали с генералами германской армии, людьми правых убеждений, как подавить революционные выступления на улицах и восстановить порядок. Генералы согласились не предпринимать никаких действий против нового правительства, если только оно даст им возможность использовать «все необходимые силы и средства» для сокрушения левацкой революции. Таким образом, первое демократическое правительство Германии умудрилось одновременно взять на себя полную ответственность за унизительную капитуляцию и

передать реальную политическую власть военным правого толка, которые в конечном счете лишь опорочили правительство Веймарской республики и погубили его.

На протяжении всего декабря 1918 года германские солдаты, возвращавшиеся домой с фронта, шли, колонна за колонной, прямо в Берлин. Город, куда вернулись фронтовики, мало напоминал прежнюю прусскую столицу, которую они оставили, уходя на войну, — спокойную, аккуратную, дисциплинированную. «Можно было подумать, что все моральные сдерживающие факторы попросту исчезли, растворились», — вспоминал художник Георг Грос, сам один из таких недавних фронтовиков. Его автобиография содержит, пожалуй, самые яркие и самые мрачные воспоминания о революционных событиях в Берлине и об их последствиях: «Город темный, холодный, переполненный слухами. Улицы больше походят на дикие ущелья, где того и гляди наткнешься на убийц или торговцев кокаином… Никто ничего толком не знал, однако все шепотом передавали друг другу разнообразные слухи».

По улицам Берлина бродили группы вооруженных людей с флагами всевозможных расцветок, с самыми разными политическими лозунгами. Вскоре все привыкли не только к ружейным выстрелам, но и к пулеметным очередям и разрывам ручных гранат. Грос вспоминал: «Жители города, обезумевшие от страха, были не в силах выносить жизнь в четырех стенах и потому, поднимаясь на крыши домов, порой принимались стрелять оттуда — и по голубям, и по людям. Когда полиция, изловив одного из таких “охотников”, продемонстрировала ему человека, которого он поразил своим выстрелом, он лишь сказал: “Но господин полицейский! Я думал, это большой голубь!”».

Солдаты, которым надоело воевать, оставляли оружие в казармах, а сами уходили домой. Или же открыто продавали свое оружие на обычном рынке. «Оружие и боеприпасы можно было приобрести всюду, — писал Грос. — Мой кузен, который демобилизовался несколько позже меня, предложил мне купить у него пулемет, в полном сборе. Он заверил меня, что отдать ему деньги можно частями, и потом спросил, не знаю ли я, кому могли бы пригодиться еще два пулемета и малая полевая пушка».

А вот те, кто не навоевался и свое оружие сохранил, стали объединяться в группировки мафиозного типа, эти слабо связанные друг с другом вооруженные формирования получили название «фрайкор», то есть «добровольческий корпус». В них вступали траншейные солдаты, самые закаленные в боях, нередко это были члены элитных подразделений, которым в годы войны поручали выполнять акции смертников. Их молодые офицеры

были людьми, несомненно, храбрыми, физически крепкими и фанатичными, именно таких уже в следующем поколении возьмут себе за образец рядовые войск СС.

Державы Антанты создали юридическую основу для ограничения деятельности немецкой армии, но добровольческим отрядам разрешили пребывать в состоянии боевой готовности, сохранив имеющееся оружие. Возможно, они поступили так, опасаясь угрозы, исходившей, по их представлениям, от Советской России. Тем более что уже осенью 1918-го и зимой 1919 года недавно созданные отряды добровольцев внезапно отправились на восток — сражаться против большевизма. Кроваво-алые плакаты, призывавшие вступать в ряды добровольцев, кричали со стен: «HILF MIR!» («ПОМОГИ МНЕ!»), отражая либо реальный, либо же сознательно сфабрикованный страх перед вторжением Советов. Не получив каких-либо официальных приказов, отряды фрайкора выдвинулись в Польшу, Литву, Латвию — эти же территории нацисты возьмут под свой контроль в 1941 году.

Фрайкоры возникли не только в связи со страхами перед «красной угрозой»: это был результат давнего процесса исторической самоидентификации. Первые добровольческие отряды появились в немецких государствах еще в ходе борьбы с Наполеоном, во времена освободительных войн 1813–1815 годов. Как только начала распадаться империя Наполеона, подобные военизированные соединения возникли по всей Европе. Первые добровольческие отряды были, таким образом, предтечей партизан, различных бунтовщиков и революционных повстанцев следующего столетия. Правда, солдат, принявших участие в «походе на Восток» («Ritt gen Osten»), привлекали куда более ранние герои. Когда члены фрайкора отправились на поиски приключений в прибалтийские страны, они упорно называли их не Эстония, Латвия, но использовали старинные германские наименования — Курляндия, Ливония. Они вдохновлялись духом средневековых тевтонских рыцарей-завоевателей, которые начиная с XIII века ходили походами против «восточных варваров», основав в прибалтийских провинциях свои феодальные королевства (средневековые замки, построенные германскими завоевателями Прибалтики, сохранились по сей день). Что касается новоявленных «крестоносцев», они отправились сражаться за возвращение этих, как они считали, по праву принадлежавших им территорий. Действительно, до русской революции в этом уютном крае всего в нескольких сотнях миль от Санкт-Петербурга жили сотни тысяч так называемых прибалтийских немцев, причем они были верными патриотами

России, хотя и говорили на немецком языке. Впоследствии значительная часть элиты этих прибалтийских, или же «русских», немцев превратилась в одержимых противников большевизма и, оказавшись в эмиграции в Германии, во многом способствовала восхождению нацистов к вершине власти.

Цель фрайкора, как ее выразил один из солдат — участников добровольческого отряда, состояла в том, чтобы доказать самим себе, что они «достойны рыцарей ордена меченосцев, бившихся с поляками и татарами». Добровольцы-фрайкоровцы вели подробнейшие дневники, они оставили мемуары, поэмы и романы, посвященные своим сражениям с Красной Армией. Эти книги стали впоследствии любимыми, настольными у всех, кто желал поступить на службу в СС, как в Германии, так и в других странах. Оказавшись на беспрестанно изменявшейся линии фронта Гражданской войны в России, члены фрайкора с удивительной ловкостью применялись к ситуации. Поскольку присутствие каких бы то ни было германских военных формирований противоречило условиям мирного договора, Франция пригрозила, что пошлет против этих добровольцев целую дивизию, если они незамедлительно не покинут польские и прибалтийские земли. Тогда командиры немцев-добровольцев просто приказали своим солдатам нацепить российские знаки отличия, надеть меховые шапки, а также кавказские газыри и называть себя русскими — что и было исполнено. Будто случилось чудо: численность белогвардейских частей в Прибалтике мгновенно выросла на десятки тысяч солдат и офицеров, которые тут же двинулись в бой с Красной Армией, распевая по очереди то немецкие, то русские народные песни. Но, несмотря на все усилия добровольцев из Германии, изменить ход событий в пользу Белой армии им не удалось: и численность ее была меньше, чем у красных, и маневренность красных оказалась куда лучше. И после поражения белых молодые тевтонские рыцари вернулись домой, разочарованные, вооруженные до зубов и готовые крушить все вокруг.

«Сегодня канун Рождества, и утро началось с артиллерийских залпов, — записал в своем дневнике граф Гарри Кесслер. — Правительственные войска пытались выкурить матросов из дворца, а также из императорских конюшен… Рождественская ярмарка все равно, правда, продолжалась несмотря на кровопролитие». Граф Кесслер — один из лучших провожатых по закоулкам германской революции, а также по лабиринтам ее абсурдных последствий, в результате которых одна из великих культур мира менее чем за дюжину лет скатилась к наихудшим формам варварства. 5 января 1919 года веймарское

правительство приняло решение арестовать полицей-президента Берлина, социал-демократа Эйхгорна, и это вывело германскую революцию на следующий этап. В своей записи за среду, 8 января 1919 года, граф Кесслер дает нам бесценное свидетельство того, как протекал типичный день на протяжении первой недели этой «настоящей марксистской революции» в Берлине: «Пулемет, установленный на самом верху Бранденбургских ворот, начал стрелять по толпе в Тиргартене, и все тут же с криками ужаса разбежались, кто куда. Дальше — тишина. Это случилось без четверти час. Стрельба возобновилась, как раз когда я шел в сторону Рейхстага. Там была линия обороны “Спартака”. Пули с визгом пролетали мимо моих ушей… В половине седьмого я появился на обеде в “Фюрстенгофе”. Сразу за мной служащие как раз закрыли его железные ворота, поскольку ожидалось, что спартакисты пойдут в атаку на Потсдамский вокзал, находившийся прямо напротив. Одиночные выстрелы щелкали беспрестанно. Я на минуту заглянул в бесстрашно освещенное кафе «Фатерланд». Хотя пули вот-вот могли начать влетать внутрь через стекла, там играл оркестр, все столики были заняты, а дама в сигаретном киоске улыбалась своим клиентам так же завлекательно, как в самые безмятежные дни мирного времени».

Фрайкор, атакуя революционные районы Берлина, использовал броневики, танки, огнеметы, крупнокалиберные пулеметы и полевые гаубицы. На фотографиях того периода видны уличные баррикады, которые защищают на удивление юные солдаты правых сил, и на плакате близ одной такой баррикады написано: «СТОЙ! КТО ЗАЙДЕТ ЗА ЭТУ ЛИНИЮ, В ТОГО СТРЕЛЯЕМ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!» Члены добровольческих отрядов нападали на гражданских лиц — в первую очередь на тех, кто, по их мнению, мог быть сторонником большевиков. На самом деле они привнесли фронтовые нравы в гражданское общество. Их врагами стали обычные люди, их сограждане, причем эти гражданские лица оказались не готовы к подобному повороту событий и даже не были вооружены. Члены добровольческих отрядов получили тогда опыт жестокости и бездушия, подготовивший многих из них к работе в качестве штурмовиков или охранников в концентрационных лагерях[76].

После того как основной натиск спартакистов удалось отбить, они рассредоточились по крышам домов, откуда с помощью снайперских винтовок пытались нарушить нормальную жизнь буржуа, а также пресечь жестокости фрайкоровцев. Но отряд фрайкоровцев штурмом взял штаб-квартиру спартакистов в Шпандау, и 15 января 1919 года выстрелом в спину, «при попытке к бегству», был убит Карл Либкнехт, этот берлинский Ленин.

Поначалу не было ясно, что случилось с Красной Розой, которая также попала в руки фрайкоровцев: она исчезла в тот же день, когда погиб Либкнехт. «По-видимому, убита, — записал граф Кесслер у себя в дневнике. — Во всяком случае, ее тело так и не нашли».

Но революционные события в Берлине продолжались, хотя вожди революционеров были убиты или числились без вести пропавшими. Отряды спартакистов использовали снайперские винтовки и пулеметы; у правительственных войск и фрайкоровцев, помимо этого, имелись тяжелая артиллерия, танки и аэропланы. Каждая из сторон захватывала муниципальные здания, церкви и школы, превращая их в крепости, нашпигованные оружием. В марте 1919 года берлинские газеты сообщали, например, что в городе каждый день в уличных боях погибают сотни человек. Приблизительно в это время в Германию приехал в качестве корреспондента американской газеты «Чикаго трибьюн» Бен Хехт, американский репортер и будущий автор пьесы «На первой полосе».

Подобно персонажу «Сенсации»[77] Ивлина Во, он телеграфировал домой, в Америку: «Германия переживает нервный срыв. О чем-либо здравом писать не могу — этого просто нет». Бен Хехт, который через два десятилетия станет одним из немногих одиночек, протестовавших против начавшегося Холокоста, получил первое представление о подобных акциях еще в Берлине, в ту безумную весну 1919 года. Так, во дворе тюрьмы Моабит фрайкоровцы «воздавали по заслугам» тем, кого они арестовали за поднятый над головой кулак — знак «спартакистского привета» — или за появление на улице в спартакистской униформе: «Группами по двадцать пять человек выводили мужчин, женщин, подростков и гнали их через тюремный двор, — писал Хехт. — По ним начинали стрелять три пулемета, причем стреляли до тех пор, пока тела не переставали дергаться». Хехту сообщил об этих расстрелах один лейтенант, наполовину обезумевший — он командовал одним из пулеметных расчетов. После его откровений Хехт, в прошлом чикагский криминальный репортер, взобрался на дерево, росшее рядом с тюрьмой, и так собственными глазами убедился в том, что все рассказанное — правда.

Паника, воцарившаяся в Германии в связи с участью, постигшей Россию, настолько глубоко проникла в души простых немцев, что они не были способны осознать: члены добровольческих отрядов такие же радикалы, как большевики, их консервативность, заверения о необходимости умиротворить страну — не более чем фальшивая вывеска. Истинные

консерваторы верят в ценность и незыблемость традиций, тогда как добровольцы-фрайкоровцы верили в диаметрально противоположное: с их точки зрения, Первая мировая война лишь доказала, что моральные нормы и общественное устройство, характерные для мирного времени, полностью извращены и не имеют никакого смысла. Политические причины, приведшие к войне, зиждились на мошенничестве, тогда как военный опыт был реальностью, и именно эта реальность породила «нового человека» революции правых. В своих бестселлерах 1920 и 1922 годов («В стальных грозах» и «Война как внутреннее переживание»), Эрнст Юнгер приветствовал как раз появление подобного «нового человека — штурмовика». Юнгер также провозгласил «появление целой новой расы — людей сильных, умных, волевых», тех, кто будет способен спасти Европу от либеральных иллюзий. Для «нового человека», так же, как и для красных революционеров, соблюдение норм закона и следование моральным основам общества — это лишь проявление «буржуазной мягкотелости». На фронте главными для солдат были такие понятия, как храбрость, жесткость, дух воинского товарищества. А фундаментальный постулат идеологии членов добровольческих отрядов состоял в одном: общество — это поле битвы.

В результате страна, охваченная истерическим страхом перед терроризмом одного сорта, легализовала другой терроризм. В 1919 году германский Верховный суд принял закон, давший определение новому виду чрезвычайного положения: «надзаконному чрезвычайному положению». По сути дела, речь там шла о ситуации в обществе, которому угрожает революция; этим законом признавалось, что в условиях чрезвычайного положения не применим запрет на совершение убийства. Верховный суд ссылался при этом в своей мотивации на политические убийства, совершенные членами фрайкора во время их добровольной войны в Польше и в прибалтийских странах, когда там потребовалось сражаться с большевиками. Что ж, и «новый человек» из среды фрайкоровцев, и члены нарождавшегося уже нацистского движения впоследствии максимально воспользовались прецедентом, что возник после принятия этого судебного решения.

Но странное дело: чем больше возможностей для подавления революции давали лидеры социал-демократов фрайкору, тем быстрее революция расползалась по стране. И в больших, и в малых городах Германии коммунисты создали советы — свои ячейки или революционные органы местного самоуправления. Одним из немецких экспериментов в области революционного

коммунизма было создание Советской республики в Мюнхене, в котором на первом этапе было много смешного и практически не было насилия. Пока на улицах Берлина радикалы левого и правого толка расстреливали друг друга из пулеметов, гениальный театральный критик Курт Айснер возглавил революцию[78], которая казалась забавной множеству совершенно нейтральных, вполне буржуазных жителей города, — до того момента, когда Айснера среди бела дня застрелил некий антисемит[79]. Убийство это было абсолютно бессмысленным, ведь Айснер как раз направлялся в ландтаг, чтобы после провальных для его партии выборов объявить о сложении своих полномочий. После убийства Айснера Баварская республика быстро радикализировалась, сохранив при этом свой эксцентричный характер. Ее новыми лидерами стали представители богемы — поэты и драматурги Эрих Мюзам и Эрнст Толлер. А вот их коллега, доктор Франц Липп, министр иностранных дел Мюнхенского совета, в прошлом не раз бывший пациентом психиатрической лечебницы, не только слал угрожающие телеграммы на имя Папы Римского, но и объявил войну Швейцарии, которая отказалась поставить для нужд только что созданной республики шестьдесят локомотивов. Толлер, ставший главой республики[80], вспоминал в своей автобиографии, что к делу революции тогда прибилось немалое количество «чудиков»: «Они считали, что теперь наконец-то их многократно отвергнутые идеи помогут превратить Землю в истинный рай… Некоторые видели корень зла в том, что люди едят вареную пищу, другие — в золотом стандарте, третьи — в неправильном изготовлении нижнего белья, в механизация производства, в отсутствии универсального всемирного языка, в универмагах, в мерах по контролю деторождения». В апреле 1919 года правительство Баварской республики попыталось организовать «красный террор». Многие представители буржуазии и аристократии были арестованы и брошены в тюрьму, их собственность конфискована, печатные станки оппозиции сломаны, а школы закрыты. Впрочем, даже такие суровые меры были скорее пародией на «красный Террор»[81]. Неспособностью германских левых проявить революционную твердость сполна воспользовались правые. Добровольцы-фрайкоровцы, осадив Мюнхен, действовали с таким ожесточением, как будто это был вражеский город, где-нибудь во Франции или в Бельгии: они обстреливали его из тяжелой артиллерии, бомбили с аэропланов. Красные защитники Мюнхена продержались всего три дня. Когда же фрайкоровцы заняли Мюнхен, они сразу уничтожили более тысячи человек, причем не только коммунистов и социалистов, но

даже студентов духовной семинарии. Любую группу в три или более человек подозревали в организации Совета.

На следующий год в Германии произошло еще больше революционных выступлений, как правого, так и левого толка. В марте 1920 года доктор Вольфганг Капп, бывший офицер, служивший в имперском Министерстве иностранных дел, с помощью генерала Людендорфа устроил путч. Формирование под названием «Бригада Эрхарда», праворадикальная группировка фрайкора, прошла маршем через Бранденбургские ворота в Берлине; именно солдаты этой бригады первыми начали наносить на свои шлемы знак свастики, еще до того, как эта идея пришла в голову Гитлеру. Социал-демократическое правительство тогда бежало из столицы, а поскольку ему не удалось вызвать регулярные армейские части, чтобы бросить их на фрайкор, оно в качестве ответной меры объявило общегерманскую забастовку. Примечательно, что рабочие поддержали правительство, и в назначенный день все в стране замерло: не выходили газеты, не было электричества, не работал водопровод. Ведь немецкие рабочие вообще отличаются высокой дисциплинированностью, и если объявлена забастовка, то бастуют все! В результате капповцам пришлось бежать в Швецию[82]. После неудачного капповского путча коммунисты еще раз попытались возглавить германскую революцию. Когда общенациональная забастовка вынудила революционеров правого крыла отдать захваченную власть, спартакисты быстро набрали «Красную армию Рура» численностью в восемьдесят тысяч человек, чтобы установить контроль над горнодобывающей и тяжелой промышленностью страны. Ленин тут же послал в Германию множество своих представителей для общего руководства происходящим, и члены спартакистских группировок начали систематически нападать на полицейские участки и военные объекты. Берлинское социал-демократическое правительство ответило на это ожесточенными атаками фрайкора, и вскоре те же самые отряды, которые недавно прошли со свастиками по Берлину, пытаясь учинить там правую революцию, теперь сокрушили революцию левого толка в долине Рура.

Наконец крупные столкновения прекратились, хотя уличные бои и незначительные революционные выступления еще долгое время продолжались в различных городах Германии.

В общем, весной 1921 года, когда Лев вместе с отцом пересек границу Германии, в стране уже воцарилось тревожное затишье. К тому же Нусимбаумы направлялись в регион, расположенный вдалеке от мест, где недавно царило политическое насилие. Там даже в самый разгар всех этих бурных событий было спокойно. А

школа, куда должен был поступить Лев, находилась на одном из уединенных островов неподалеку от германского побережья Северного моря, и в наши дни остающегося раем для отпускников из числа обеспеченных немцев.

Когда Нусимбаумы прибыли на небольшой вокзал в Ахене, Лев приготовился к тому, что вот-вот появятся возбужденные толпы размахивающих флагами рабочих или солдат, что они услышат выкрики, что их с отцом станут, как минимум, жестко допрашивать и подозревать во лжи. «Так обычно представляют себе железнодорожный вокзал в разгар революции, — писал он, — однако вместо всего этого появился носильщик, подхватил мои вещи и спокойно понес их на другую станцию. Я был так удивлен, что даже уронил монокль. И это они называют здесь революцией?! Я еще не добрался до Гамбурга, как уже почувствовал себя несколько лучше. По-видимому, у каждой нации свое собственное представление о том, что такое революция. Сомневаться не приходилось: в этой стране, о которой я слышал столько ужасного, можно было вполне сносно существовать».

Нусимбаумы провели в дороге еще два дня, прежде чем добрались до цели, и с каждой минутой Лев радовался все больше: ведь им не попадались ни разъяренные рабочие, ни солдаты с каменными лицами.

На острове (его название отсутствует в воспоминаниях Льва) располагался, собственно говоря, не пансион, не школа-интернат, но что-то вроде санатория, своего рода эксклюзивная лечебница с целебными водами. Именно в таких местах любили отдыхать богатые нефтепромышленники из Баку, так что отец и сын Нусимбаумы сразу почувствовали себя, как дома. Большую часть острова занимал огромный парк. В центре находилось несколько небольших жилых помещений и два больших здания — собственно санаторий и так называемый педагогий[83]. Благодаря этому дети, которым требовался «дополнительный отдых», могли не отстать от школьной программы. Врачи, медицинские сестры, учителя, прислуга и представители администрации этого заведения добросовестно занимались здоровьем своих воспитанников, а также их образованием и организацией их досуга.

Обоих Нусимбаумов, и отца и сына, поспешили познакомить с директорами этих заведений — жизнерадостным пожилым врачом, который заведовал санаторием, и худощавым молодым преподавателем, возглавлявшим педагогий. Им уже сообщили, что к ним направляется из Парижа один из бакинских нефтепромышленников со своим сыном-подростком, который

собирается продолжить свое образование у них в интернате. Они, однако, оказались не готовы к встрече с юным парижским денди в лакированных кожаных туфлях и с моноклем, который с неловкой претензией на остроумие представился им как «собственно ребенок» и лишь после этого познакомил с отцом. Поскольку Абрам Нусимбаум по-немецки не знал ни слова, ему оставалось хранить многозначительное молчание, пока его сын вел разговор. Прежде всего, Лев от имени их обоих выразил восхищение тем, как блистательно справились с революцией здесь, на самом севере Германии. В самом деле, разве это не замечательно, сказал им Лев, что «несмотря на революционные события, никто здесь не стреляет, что полицейские, согласно долгу службы, не покинули своих постов?»

Оба директора после продолжительных бесед с отцом и сыном Нусимбаумами и консультаций друг с другом пришли к выводу, что «ребенок» с моноклем «слишком взрослый» для того, чтобы жить в одном помещении со своими немецкими ровесниками, а его образование «слишком нестандартное» для их заведения. «Лишь гораздо позже я смог осознать, какое сильное впечатление произвело на них мое появление, — писал Лев, — ведь разница между мной и пятнадцатилетними немцами была чрезмерно велика». В итоге решили, что жить Лев будет в санатории, а обучаться частным порядком у учителей из педагогия, до тех пор, пока не станет, по его собственным словам, «нормальным шестнадцатилетним подростком». Когда именно может настать подобный момент, оставалось неясным, тем более что Нусимбаумы никак не могли усвоить, в чем разница между санаторием и педагогием. Тем не менее такой вариант показался им замечательным, и Абрам вернулся в Париж, где его ожидали «мертвые души», которыми по-прежнему следовало изо дня в день заниматься.

Лев зарегистрировался в санатории и почти сразу же, из-за полного незнания европейской культуры, попал впросак. Дело в том, что его определили в комнату по соседству с одним знаменитым скрипачом. Когда тот репетировал в саду, под его окном собирались восторженные слушатели. Лев понятия не имел о том, сколь знаменит его сосед, да к тому же ему, что называется, медведь на ухо наступил. «Я считал его слушателей полными идиотами, — вспоминал Лев. — Но все было бы ничего, если бы сосед не принимался играть как раз в те часы, когда мне хотелось поспать после обеда». В конце концов Лев, вставив свой монокль, отправился прямо к директору — жаловаться на соседа. Неужели нельзя его приструнить? Директор лишь расхохотался. Правда, когда через несколько часов Лев случайно столкнулся со

своим соседом, великий скрипач сам подошел к нему и, протянув ему руку, сказал: «А ты молодец! Ты проявил характер, смело защищал свои интересы». Впоследствии они частенько играли в шашки, и все это сделало репутацию новичка с азиатской внешностью и необычной манерой одеваться еще более эксцентричной.

Лев полюбил этот остров. Впервые в жизни он с огромным удовольствием занимался спортом — играл в теннис, плавал. Лежа на раскаленных камнях пляжа, он представлял себе, что Северное море — это голубая пустыня с мерно катящимися барханами. Занятиям он уделял не слишком много времени, зато еще больше совершенствовал свои познания в немецком языке, — именно идеальное владение немецким впоследствии станет фундаментом всей его писательской карьеры. На острове ему представилась возможность встретиться и познакомиться с множеством европейцев, приезжавших сюда на отдых. «У этих лиц такое беззаботнолетнее, сияющее, беспечное, утонченное выражение». Жизнь здесь была приятной и легкой. Лев быстро ощутил, как мрачные мысли оставляют его.

«Неожиданно я перестал отмалчиваться. Я помногу разговаривал с людьми и выслушивал их. Как оказалось, мне было что сказать им, но и окружавшие меня пациенты этого санатория также могли многим поделиться со мной. Это была недолгая и очень счастливая пора передышки, которую дала мне жизнь, бывшая до тех пор весьма одинокой и бестолковой».

Как это часто случается с подростками, преодолеть барьер в общении с окружающими помогли женщины. Лев вроде бы нашел себе девушку по сердцу. Или, точнее, он понял, что такая может появиться, а это для молодого человека практически одно и то же. Лев неоднократно описывал различия между ухаживанием за женщинами на Западе и на Востоке, где покрывало или чадра или некие незримые препятствия разделяли общество мужчин и женщин. И хотя в Баку многие женщины из окружения Льва чадру не носили, вели они себя так, словно никогда не снимали ее.

Еще в Батуме Лев узнал, что многие голубоглазые блондинки из России, из приличного общества и прекрасно воспитанные, за сходную цену готовы составлять компанию мужчинам. Таких женщин было множество в Константинополе и в Париже, однако он подавлял свои желания, ограничиваясь разглядыванием проходивших мимо дам, их ножек в шелковых чулках. Эти женщины были для него, писал он, «как прекрасные картины, и мне даже не приходило в голову заговорить с кем-нибудь из них, не то что прикоснуться. Я же все-таки не пьяный матрос и не дикарь. Мне уже было известно, для чего нужны женщины. Когда-

нибудь, когда я вернусь домой, я женюсь на одной из них, и у нас появятся дети — вот и все, проще не бывает. Однако на этом зеленом острове все оказалось по-другому: женщины вдруг перестали быть далекими, недостижимыми созданиями». Они не были его или еще чьими-нибудь родственницами, их не требовалось защищать или держаться от них подальше. В Германии женщины были, пожалуй, самыми эмансипированными в мире. Большинство девушек в этой санаторной школе были из Гамбурга, а это означало, что они еще более эмансипированы, чем большинство остальных немок. Льва поначалу даже шокировало, что женщины, оказывается, могут быть такими говорливыми, так увлеченно заниматься спортом, и вообще, что это — «существа из плоти и крови». Он играл с ними в теннис, много танцевал, наблюдал, как они прыгали в волнах «полуголые» (то есть в купальных костюмах по моде 1920-х годов), обедал с ними за одним столом. Но больше всего его поразило то, с каким нескрываемым любопытством они разглядывали его самого. Он не мог привыкнуть к их светлым волосам. Девушки, жившие на этом острове, казались ему экспонатами из музея восковых фигур. Он никогда прежде не видел такого количества блондинок. Ему даже казалось, что им чего-то не хватает, что они лишены чего-то существенного: «Поначалу мне это представлялось нелепым: они бесцветны, так сказать, как будто у них такой дефект. Помню, всякий раз, встретив где-нибудь девушек с льняными волосами, я не мог не засмеяться!» Первое время все эти молодые женщины были для него на одно лицо. Но даже когда он научился отличать их друг от друга, они все равно представлялись ему абсолютно чужими. После заката молодежь тайком отправлялась на свидания в саду, и Лев наблюдал, как светловолосые парочки с упоением целовались в лучах лунного света.

Впрочем, вскоре девушки сами начали знакомиться с ним. В компаниях молодых немцев он стал навещать пивные в близлежащем городке. Впервые в жизни Лев свободно общался с людьми собственного возраста, это было его посвящением во взрослую жизнь. На пляже он всегда чувствовал, или ему мерещилось, что чувствовал, как его разглядывают. Лев никак не мог представить себе, как это вообще возможно — поцеловать белокурую девушку. Зато он познакомился с кареглазой шатенкой из Берлина, красавицей, старше его на два года. Он играл с нею в теннис, катался на лодке, а вечерами ходил на танцы. Однажды поздним вечером, по пути домой, Лев набрался смелости и обнял ее. Они остановились под деревом на берегу моря; вдали с ревом перекатывались волны. «Сначала, в шутку сопротивляясь, она

улыбалась. Потом больше не сопротивлялась». Девушка поцеловала волосы Льва, его глаза. Сама же, когда он в ответ поцеловал ее, задышала прерывисто, закинув голову назад. Лев увидел нежные, полуоткрытые губы, но тут свет луны блеснул на ее зубах, и вдруг его мысли странно смешались, будто потонули, уходя в сторону, прочь от романтических поползновений. Что-то в этой девушке напугало его. Ненасытные губы и эти зубы… да еще глаза. Лев вдруг почувствовал: ее карие немецкие глаза, смотревшие на него, были совершенно чужими, далекими, безжизненными. «Что-то, не свойственное людям, отражалось в ее лице, в этих глазах; в них было что-то нечеловеческое, какая-то бездонная глубина, недоступная пониманию». Лев мягко высвободился из ее объятий. Она промолчала. Он сам не понял, отчего так поступил, был смущен собственной реакцией, сбит с толку полным отсутствием хоть какого-то животного влечения к ней, ведь девушка была одной из самых красивых на всем острове, или так ему тогда казалось. Во всяком случае, провожая ее домой, он вел себя исключительно учтиво, на прощанье поцеловал ей руку. Однако, вернувшись к себе, разразился нервным смехом, потом разрыдался, а потом целый час тщательно мылся. Он чувствовал себя грязным и страшно одиноким. При этом ему казалось, будто он только что избежал невероятной опасности. Позже эта шатенка всегда смотрела на него с ненавистью, однако Лев решил, что поступил правильно, найдя единственно верный выход из положения, поскольку никак не мог забыть «ужас ее полуночных, жаждущих зрачков».

Впоследствии Лев водил под деревья на берегу моря многих немецких девушек. Восточная внешность делала его неизменно привлекательным, а мистический ореол недоступности, казалось, лишь побуждал все новых и новых девиц к бессмысленной погоне за поставленной целью. Каждой из его очаровательных, наполовину побежденных им спутниц доставалась одна и та же доза благонравного, пуританского отказа: ведь нежность внезапно сменялась у Льва чопорностью, холодной вежливостью. Это не означало, что он не пытался вести себя иначе. Он жаждал быть прекрасным любовником, он обожал первые, предварительные шаги… Но всякий раз, когда он заключал в свои объятия очередную девушку, ее губы и глаза представлялись ему «хищными и ненасытными», и он вновь в ужасе отшатывался от «полуночных влечений». Он никак не мог привыкнуть к страстности немок, которую те и не пытались скрывать. «И я каждый раз приходил в ужас при виде все того же, незнакомого мне прежде проявления желания, похоти, и каждый раз с моей стороны все завершалось лишь целованием руки и поклоном на

прощанье». Но поскольку Лев пытался ухаживать за многими девушками, за ним закрепилась совершенно незаслуженная слава восточного соблазнителя, а ведь он предпочитал проводить время за игрой в шашки. Позднее он не раз возвращался мыслями к этому времени, рассматривая происходившее тогда как первый признак своих серьезных трудностей в отношениях с женщинами Запада.

В начале осени 1921 года директора школы написали отцу Льва, что для его сына будет, вероятно, гораздо лучше продолжить образование в более привычных условиях. К тому времени Абрам уже успел перебазировать свой бизнес по продаже «мертвых душ» из Парижа в Берлин, где жило больше всего русских эмигрантов, и Лев с большой грустью простился со своей уютной комнатой в санатории.

По пути в Берлин Лев провел два дня в Гамбурге. Он обошел весь этот портовый город, видел и причалы, с которых столько евреев из России отправлялось в дальний путь, в Америку. Заметим походя, что владелец пароходной линии «Гамбург-Америка», еврейский магнат по имени Альберт Баллин, в ноябре 1918 года покончил с собой, поскольку не смог перенести известия о поражении Германии. Очарование острова, где он недавно жил, всех этих молодых женщин, ночей, проведенных вблизи от залитых лунным светом морских волн, — все это еще защищало Льва от его прежних мрачных мыслей. Но при этом он в очередной раз оказался не готов к встрече с реальным миром, существовавшим за пределами его воображения. К тому же, как он вспоминал в своих предсмертных записках: «Внезапно все полностью переменилось — как будто некий безвестный маг и волшебник нажал на какую-то кнопку, и вот моя жизнь покатила теперь в совершенно ином направлении. По приезде в Берлин я все еще по-прежнему улыбался, думая, что это — очередной зеленый остров в Северном море. Как же я ошибся… Город встретил меня с таким же безразличием, с каким, наверное, великан бросает порой взгляд на карлика…»

Впоследствии Лев все же полюбил этот город, единственный в своем роде, современный, закопченный город XX века: «его прямые улицы… его прекрасную, рукотворную суровость». Они по-своему заворожили его, пусть были совсем не похожи на любимые им узкие улочки с базарами и минаретами. Правда, той осенью к суровости этого большого города добавились неблагоприятные новости с рынка «мертвых душ».

Наблюдалось все больше признаков того, что советское правительство останется у власти надолго, а посему документы на владение объектами нефтедобычи и нефтепереработки в

России перестанут иметь какую бы то ни было ценность. Абрам, возможно, забрал Льва из школы еще и потому, что теперь приходилось экономить. Купля-продажа «мертвых душ» полностью прекратилась после того, как Германия и Россия подписали в 1922 году Рапалльский договор, согласно которому каждая из сторон признавала принцип наибольшего благоприятствования в отношениях друг с другом — и в торговле, и в военной сфере. Фактически это означало еще одно: большевики позволили немцам начать тайную программу перевооружений.

Господин Нусимбаум был по-прежнему элегантен, выходил из дома, опираясь на трость, в начищенных до зеркального блеска ботинках. Лев не отставал от него: костюм-тройка, набриолиненные волосы, монокль, который он давно уже носил вполне непринужденно. Однако именно теперь Лев понял, что его отец отнюдь не так богат, как ему казалось, и с его глаз спали, наконец, шоры, возникшие давно, в годы его защищенного, безмятежного детства: «Я увидел теперь то, что было куда более важным, нежели вся премудрость, полученная мною на зеленом острове. Я узнал, наконец, что, кроме верблюдов, пустынь, кроме учителей, красивых женщин и изумрудного моря, существует кое-что еще, а именно оборотная сторона жизни — деньги».

Глава 8. Берлинская стена

К 1921 году, когда бедность стала обыденным явлением для большинства берлинцев, инфляция и чувство безнадежности, охватившее жителей Германии, привели к тому, что любой иностранец, даже из среды русских эмигрантов, по сравнению с местными жителями казался человеком зажиточным. Если до войны доллар стоил четыре марки, то в 1921 году их обменивали уже по курсу семьдесят пять марок за один доллар США (а всего через два года за один доллар будут давать ни много ни мало четыреста сорок миллионов марок). При таком обменном курсе те русские, у кого еще оставались бриллианты или же имелся счет в швейцарском банке, чувствовали себя вполне уверенно. А вот бывшие промышленники, собственность которых осталась в России, оказались в тяжелом положении. В числе многих других разорились и Нусимбаумы.

Жить в Париже за счет родственников матери Льва было унизительно, а возвращение в Баку вообще не рассматривалось. Однако, как это ни удивительно, Лев ощущал себя в Берлине дома, — будто они с отцом после всех своих странствий и бегства из развалившейся Российской империи вновь оказались в самом ее центре: ведь к осени 1921 года немцы уже стали называть Берлин второй столицей России.

Подобно многим другим эмигрантам, Лев и Абрам переехали на квартиру в Шарлоттенбурге, в прошлом фешенебельном районе на западе Берлина, который немцы теперь называли Шарлоттенградом (а русские Петербургом). Начиная с 1918 года беженцев из России в столице Германии собралось столько, что трамвайные вагоновожатые на подъезде к Бюловштрассе выкрикивали: «Россия!» Берлин был ближайшей к границам бывшей Российской империи столицей, получить въездные визы в Германию удавалось относительно несложно, а жизнь была дешевой. Эмигранты здесь были в основном из Санкт-Петербурга и из Москвы, и добирались они сюда через Польшу. «На каждом шагу можно было услышать русскую речь, — вспоминал писатель Илья Эренбург, приехавший в Берлин той же осенью из Москвы. — Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом»[84]. Найти работу было трудно, однако собственные сбережения или же вспомоществование международных благотворительных организаций позволяли вполне сносно существовать в городе, где местные уже приносили зарплату домой в ведрах. «Владельцы

магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала, — писал Эренбург в своих воспоминаниях о 1921 годе. — По Курфюрстендамм бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши»[85]. По словам поэта Андрея Белого, русских было такое количество, что порой немецкая речь даже вызывала удивление.

Как крупный центр деловой и культурной жизни, Берлин развивался приблизительно в тот же период, что Чикаго, с которым его часто сравнивали. В XVIII веке он был заурядным сонным гарнизонным городком, хотя и являлся административным центром королевства Пруссия. Однако король Фридрих Великий, завзятый франкофил, решил сделать свою столицу культурной и взялся за это с присущей ему энергией: он пригласил в Берлин преследуемых на родине французских гугенотов, знаменитых мыслителей, в том числе Вольтера; он даже покровительствовал «лучшим» местным евреям, вроде Мозеса Мендельсона, который был частично освобожден от выполнения действовавших тогда антиеврейских законов[86]. Когда «разрешенные» евреи и иностранцы открыли литературные салоны, где полагалось разговаривать исключительно по-французски, Берлин стали называть «Афинами на Шпрее», хотя скептики связывали это с большим количеством неоклассицистических зданий. Все знали, что на самом деле Берлин был «Спартой на Шпрее» — столицей сурового милитаристского государства.

В чем бы ни состоял секрет развития города, к началу XX века Берлин был столицей второго по значению, после США, индустриального государства. Численность населения в городе выросла с одного миллиона человек в 1877 году до двух миллионов в 1905 году и до четырех миллионов в 1920 году — это не считая полумиллиона русских эмигрантов. Правительство страны разрешило проблему острой нехватки жилого фонда в типично прусском военном духе, понастроив огромные «бараки внаем» — наскоро сооруженные жилые дома армейского типа, в которых, однако, к 1910 году проживало девяносто процентов берлинцев! Тем не менее этот суровый город обладал некоей не всегда понятной привлекательностью. Секрет ее таился, быть может, в стремительном, не виданном нигде больше в Старом Свете темпе жизни, в возможности на удивление свободно выражать свои мысли и чувства. Знаменитые берлинские кабаре с сатирическими программами возникли по соседству с регулярно проходившими кавалерийскими парадами, на которых гарцевали военные в остроконечных шлемах, и с помпезными имперскими мероприятиями. Все в городе кипело, оптимизм был разлит

повсюду. Таков был Берлин довоенный. К моменту же, когда в нем оказались Нусимбаумы, он уже снова начинал преображаться, приходя в себя после войны, инфляции, тотального дефицита.

Спекулянты наживали целые состояния, скупая в кредит жилые дома и предприятия, а затем, ожидая следующего месяца или даже недели, чтобы выплачивать занятые суммы — ведь деньги катастрофически быстро дешевели. В этой обстановке любой, у кого были хотя бы какие-то деньги, становился миллионером, а затем и миллиардером. Атмосфера невоздержанности способствовала увлечению азартными играми, наркотиками и спиртным, которые стали в Берлине после революции 1919 года повсеместным явлением[87]. Водоворот событий в распадавшихся вокруг Веймарской республики империях Европы затягивал в вихри берлинской жизни наиболее талантливых художников, писателей, философов, музыкантов и ученых. И в самой сердцевине этих вихрей оказались русские эмигранты.

Вся существовавшая теперь вокруг Льва русская культура лишь показала ему, наконец, в какой изоляции он жил до тех пор. Снять комнаты в Шарлоттенбурге было нетрудно, поскольку все квартиранты-немцы переехали в районы, где квартиры стоили еще дешевле, однако жилье, которое смогли найти для себя Лев с отцом, оказалось ужасным. К тому же хозяин дома, который, по-видимому, выступал в качестве сутенера не только для собственных дочерей, но и для доброй половины девушек, живших в его доме, приходил в невероятную ярость, если не получал в срок плату за квартиру. Однако здесь у них была хотя бы крыша над головой. Найти школу для Льва оказалось куда сложнее. Первые несколько недель они с отцом метались по всему городу в поисках подходящего учебного заведения, причем отказы невероятно удручали Льва: ведь теперь они были не путешествующими нефтяными магнатами, а лицами без гражданства. Директора школ выражали недовольство образованием, которое Лев получил прежде: одних предметов он практически не знал, тогда как другие знал слишком хорошо. А раз он учился не в Германии, значит, его образование было варварским, примитивным. И месяцы, проведенные в санатории на острове, едва ли исправили ситуацию. И вот, когда они совсем было отчаялись, им удалось найти школу, куда его взяли с распростертыми объятиями.

Русская гимназия в Шарлоттенбурге была одной из двух русских школ в тогдашнем Берлине, куда принимали главным образом детей русских эмигрантов. Она находилась в здании

частной школы для немецких девочек, и потому русским разрешалось использовать ее помещения для занятий только начиная с трех часов пополудни. Программа в гимназии была разработана тщательно и притом согласно педагогическим принципам монархической России, дабы внедрять в сознание учащихся традиционную русскую культуру. Эмигранты, как в Берлине, так и в Париже, жертвовали на эту школу все, что было в их силах: больше всего старшее поколение боялось, что их дети будут ассимилированы местной культурой и забудут свою родину. Почти все предметы в гимназии преподавались на русском языке, потому что большинство учащихся не смогли бы обучаться (а большинство преподавателей — обучать) по-немецки, но это также была своего рода принципиальная установка. Итак, Лев начал учиться в русской гимназии на Кавказе, окраине Российской империи, сегодня уже ставшей «ближним зарубежьем», а завершать школьное образование ему пришлось в «зарубежной России» — в эмиграции.

Достаточно скоро Лев ощутил отчужденность — давнее, с детства знакомое чувство, что ты «другой», не такой, как окружающие дети.

Чувство это не было порождено какой-то конкретной причиной, этнической или религиозной принадлежностью, оно коренилось в его душе. На острове в Северном море Лев вошел в молодежное общество потому, что был там явным чужаком, иностранцем, чей отец владел нефтяными вышками. А в Берлине он вдруг ощутил дистанцию, которая отделяла его от других, хотя он учился в одном классе с детьми эмигрантов (и многие из них тоже были евреями) — детьми, чьим родителям удалось выбраться из России, зашив что-то ценное в подкладку одежды, точно так же, как это сделал его отец.

«Наверное, дело было в деньгах, оттого и возникла эта стена, отделявшая меня от них», — вспоминал Лев. Хозяин их квартиры взял обыкновение в пьяном виде врываться к ним в квартиру, требуя немедленно, сей же час, без проволочек заплатить за проживание, и его выходки так угнетали Льва, что он порой отправлялся ночевать во двор, лишь бы не быть свидетелем очередного скандала. И хотя точно такие же сложности испытывали в Германии буквально все, страдать от унизительной бедности было особенно тяжело тому, кто до недавних пор знал иную жизнь. Скорее всего, психологическая «стена», отделявшая Льва от его одноклассников — да и вообще от большинства всех прочих людей, — была просто-напросто неврозом, платой за трудности привыкания к жизни в более стесненных обстоятельствах, чем прежде. Пусть Нусимбаумы действительно

сильно нуждались, они не были существенно беднее большинства прочих эмигрантов, их знакомых, не говоря уже о населении Берлина вообще. Одноклассники Льва оказались людьми, как минимум, небезынтересными, поэтому неудивительно, что в конце жизни он понял: «Те немногие друзья, которые у меня еще есть в этом мире, в основном появились тогда, в берлинской школе». Одному из них, Александру Браиловскому, по-видимому, первому удалось прорвать выставленную Львом оборону. Этот русский еврей, выехавший из России через белогвардейский анклав в Крыму и сохранивший немало приятных воспоминаний о гостеприимстве, которое оказывали его семье и крымские татары, и турки в Константинополе, первым принялся объяснять остальным одноклассникам, что стоит за претенциозным, «туркофильским» поведением Льва. Другой хороший его друг, Анатолий Задерман, получивший в дальнейшем известность как Анатоль Садерман, тоже еврей из России, занимался живописью, любил читать стихи; он впоследствии переехал в Парагвай, потом в Аргентину и в конце концов стал известным фоторепортером и переводчиком русской литературы. И Садерман, и Браиловский дожили почти до конца XX века и успели немало рассказать об эксцентричных поступках Льва и его сумасбродствах своим детям и даже внукам.

Правда, кое у кого из мальчиков в классе жизнь сложилась, пожалуй, еще более странно, чем у Льва. Борис Алекин, например, вырос в Японии, а до приезда в Берлин жил в Париже; погиб он на Второй мировой войне, сражаясь с коммунистами в нацистской униформе. Мирон Изахарович тоже встал на сторону националистически настроенных немцев, чтобы бороться с коммунизмом, однако он прошел собственный путь. Взбунтовавшись против отца-талмудиста, Мирон убежал из дома, чтобы стать членом одного из добровольческих отрядов (фрайкора), сражавшихся в Литве бок о бок с белыми. Чтобы сыну талмудиста пришло в голову стать в ряды новоявленных честолюбивых тевтонских рыцарей — да еще чтобы они приняли его! — прежде такое невозможно было даже представить, однако русская революция пробила брешь в сознании людей Запада. Из девушек в классе Льва учились, например, Жозефина и Лидия Пастернак, сестры поэта Бориса Пастернака. Их отец, известный художник Леонид Пастернак, и мать, в прошлом пианистка, играли для всего класса роль приемных родителей. Лев провел много счастливых часов в семье Пастернаков, развлекая всех своими «восточными рассказами» и, разумеется, флиртуя с молодыми женщинами. Их одноклассницей была девушка с черными, как вороново крыло, волосами по имени Валентина

(Вава) Бродская, ставшая впоследствии мадам Марк Шагал[88]. Лучшей подругой Вавы была, наверное, самая красивая из девочек в классе — Елена Набокова, любимая младшая сестра будущего писателя. По прошествии шестидесяти лет Александр Браиловский так описывал ее мне: «Глаза синие, щеки розовые (в русских сказках такой цвет лица называется “кровь с молоком”), носик прямой, губы пухлые, длинные, тяжелые белокурые косы, потрясающая фигура».

В этом кругу семья Елены была самой известной, благодаря — нет, еще не брату, — а отцу, Владимиру Набокову-старшему. Один из лучших представителей либералов дореволюционной России, в эмигрантской среде он считался образцом для подражания. Криминалист, публицист, один из основателей партии кадетов (конституционных демократов) — до 1917 года самой крупной политической партии в России, Владимир Дмитриевич Набоков был избран в Думу. В 1917 году он стал управляющим делами в недолго просуществовавшем конституционном правительстве Керенского. После того как Ленин объявил кадетов «партией врагов народа» и ЧК получила право арестовывать и расстреливать ее членов, Набоковым удалось через Крым и Константинополь добраться до Англии.

Набоков-отец перевез свою большую семью из Лондона в Берлин осенью 1920 года, чтобы быть в самом центре русского зарубежья. (Его старший сын, Владимир Набоков-младший, жил в Англии, завершая высшее образование в Кембридже.) Владимир Дмитриевич стал главным редактором новой ежедневной эмигрантской газеты «Руль», и ее первый номер вышел, по удивительному совпадению, именно в тот день, когда Берлина достигла весть о поражении армии Врангеля. «Руль» не придерживался ни крайне правого, ни крайне левого направлений, предлагая эмигрантам объективную точку зрения на события. Он превратился в своего рода «Нью-Йорк таймс» русской эмиграции. Значение этой газеты в сплочении и в информировании эмигрантского общества в Берлине проиллюстрировала одна из опубликованных в ней карикатур: на рисунке был изображен печальный скрипач, стоящий на сцене перед совершенно пустым залом; подпись под рисунком гласила: «Этот концерт не был объявлен в нашей газете». Лев и Абрам, по-видимому, регулярно читали «Руль», где ежедневно печатались биржевые таблицы и освещалось положение дел с бывшими имперскими активами, к которым относились и «мертвые души», принадлежавшие Абраму. Газета отстаивала точку зрения, что русские демократы ни в коем случае не должны входить в какие-либо сделки с экстремистами обоих флангов, дабы сохранить

надежду на совершение настоящей русской революции — в лучших традициях западных стран.

28 марта 1922 года Владимир Набоков присутствовал на лекции другого либерального лидера Павла Милюкова в Берлинской филармонии. Милюков, как известно, выступал за то, что лучше всего пойти на мировую с новым советским режимом. И два радикала-монархиста, ворвавшись в зал, выстрелили в него, но промахнулись, и одна из пуль попала Набокову в сердце, убив его наповал.

Убийцы Набокова были пешками, исполнителями (один из них к тому же находился, по-видимому, в полубезумном состоянии: его невесту убили большевики), однако на них повлияли идеи самой опасной группы людей среди русских эмигрантов в Германии. Эти люди были последователями Федора Винберга, прибалтийского немца, который во всем винил евреев и доказывал, что свержение царя в России было исключительно делом их рук. Винберг, главным занятием которого было, по-видимому, издание антисемитских материалов, печатал, например, списки евреев, работавших в советских органах власти, — весьма похоже на антисемитские словари, популярные в Германии и Австрии с конца XIX века. В одном из них, в начале 1930-х годов, окажется и Лев Нусимбаум, названный там «лживым еврейским писакой». Наряду с некоторыми другими немцами из Прибалтики Винберг возлагал на евреев ответственность за эпидемию революционных потрясении, распространившихся по всему миру. При этом они опирались на «Протоколы сионских мудрецов», в которых все революции — с 1789 по 1917 год — представлены как результат всемирного еврейского заговора. «Протоколы», которые в той или иной форме уже существовали около тридцати лет, скорее всего, были сфабрикованы в конце 1890-х годов в парижском отделении царского Охранного отделения. В них сообщалось, будто во время тайных встреч «сионских старцев» на одном из кладбищ присутствовал один из агентов охранки и что ему якобы удалось записать все, о чем там говорилось. Из этих записей явствовало, как именно евреи раздували распри между христианами — посредством разжигания войн, морального разложения людей, внедрения революционных мыслей и рыночного капитализма. Все это делалось для того, чтобы в конце концов добиться своей цели: разрушить христианскую цивилизацию и создать еврейское всемирное государство, исполняющее полицейские функции. Чтобы обеспечить покорность неевреев, «сионские мудрецы» планировали предоставлять им различные социальные льготы, такие, как гарантированная работа, пропитание и медицинское

обслуживание. Другими словами, любые формы социализма суть составная часть этого заговора. И коммунизм, и капитализм, согласно «Протоколам», — лишь маски еврейской власти. Евреи вертят всем и вся, используя любые средства. Купившийся на эту теорию все происходящее вокруг начинал рассматривать как результат всеобъемлющего заговора, притом настолько бесчеловечного и жестокого, что можно подумать, будто евреи — это пришельцы с другой планеты, которые явились на Землю с целью завладеть ею. «Протоколы» были впервые опубликованы в 1903 году в Санкт-Петербурге, в виде серии газетных статей, однако их истинный «дебют» состоялся в 1905 году, уже во время революционных беспорядков в России. Русский православный мистик Сергей Нилус, соперник Распутина, также желавший привлечь к себе внимание царя, добавил «Протоколы сионских мудрецов» в качестве приложения к своей книге «Великое в малом». Нилус принадлежал к числу русских религиозных деятелей, исповедовавших крайние взгляды и искавших для мировых событий апокалиптические объяснения. Насилие и смертоубийства в 1905 году, по-видимому, выглядели как подтверждения многих из предсказаний «Протоколов», а Первая мировая война, ставшая катастрофой всемирного масштаба, и тем более последовавшая за ней революция 1917 года сделали писания Нилуса особенно актуальными. Нилус без конца переиздавал свое произведение с «Протоколами сионских мудрецов» в качестве приложения, «первоисточника». В издании 1917 года Нилус впервые указал, что в центре еврейского заговора находился основатель сионистского движения Теодор Герцль и что поэтому он также несет ответственность за революционные потрясения в России.

После расстрела царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году среди личных вещей царицы были найдены три принадлежавшие ей книги: Библия, «Война и мир» и сочинение Нилуса, приложением к которому были напечатаны «Протоколы сионских мудрецов». Согласно дневнику Александры Федоровны, пока они находились под арестом, ожидая решения своей судьбы, царь Николай Александрович зачитывал вслух всей семье отдельные пассажи из «Протоколов», желая разъяснить им, что же происходит с ними и с Россией в целом. По-видимому, находясь под глубоким впечатлением от услышанного, царица изобразила на подоконнике своего окна свастику — уже бывшую тогда популярным антисемитским символом[89]. Когда в 1920 году «Протоколы сионских мудрецов» были опубликованы в английском переводе, лондонская газета «Таймс» всерьез задавала такие вопросы: «Что это за “Протоколы”? Подлинные ли

они? Если это так, какое же злонамеренное сообщество замыслило подобные планы, а затем злорадствовало, когда они были обнародованы? Или это фальшивка? Если это так, то откуда эта жуткая нота прорицания, притом отчасти уже сбывшегося? Неужели мы смогли избежать установления германского мира, Pax Germanica, лишь для того, чтобы оказаться в Pax Judaica — мире иудейском?»[90]

Именно в Германии «Протоколы сионских мудрецов» получили широчайший общественный резонанс. В сотрудничестве с высокопоставленным офицером германской армии Людвигом Мюллером фон Хаузеном (он же Готфрид цур Беек) Винберг выпустил первое немецкое издание книги в январе 1920 года. Оно разошлось мгновенно, книга стала бестселлером. К 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, на немецком языке было выпущено более тридцати изданий «Протоколов», причем тиражи достигали сотен тысяч экземпляров. «Протоколы» и многие другие издания на близкую тему, публиковавшиеся Винбергом и его коллегами, вызвали большой отклик у читающей публики. Некоторые пользовались ими, чтобы доказывать, что большевизм — не что иное, как грандиозный азиатский заговор под эгидой евреев, масонов, мусульман и целого ряда других «восточных» чудовищ. Винберг клялся, что у него есть «документальные доказательства» того, как русскую революцию финансировали нью-йоркские банкиры. Подобные безумные утверждения подхватили многие уважаемые газеты по всему миру. Один из названных Винбергом банкиров, Джейкоб Шифф, даже подал на них в суд, однако это лишь привлекло еще больше внимания к самой идее. Большая ложь выросла из полуправды: в 1905 году вместе с другими богатыми евреями-филантропами Шифф действительно лоббировал в американском правительстве идею вмешательства в происходившее в России, однако вовсе не для того, чтобы распространить там революцию, а чтобы остановить насилие и погромы — следствие революционных выступлений. В 1917 году он еще раз вмешался в российские события, на этот раз пытаясь помочь Набокову и Милюкову, когда их кадетская партия всеми силами пыталась сохранить парламентское правительство. И американское правительство, и Шифф, и прочие деятели «еврейской Уолл-стрит» ввязались в происходившие в России события не ради того, чтобы помочь большевикам, а чтобы остановить их[91].

Наконец, не без помощи еще одного прибалтийского немца, Макса Эрвина фон Шойбнер-Рихтера, который обеспечивал финансовую поддержку и налаживал различные связи, Альфред Розенберг, последователь Винберга, студент, изучавший

архитектуру в Мюнхене, познакомил с «Протоколами сионских мудрецов» самого важного «читателя». Им был не кто иной, как Адольф Гитлер, и он, вероятно, ни разу в своей жизни не прислушивался к кому-нибудь с таким вниманием, как к небольшой группе немцев и русских, эмигрантов из России, которые появились в Мюнхене в 1919 и 1920 годах. Неудачная попытка застрелить Милюкова, жертвой которой стал Набоков, была задумана Винбергом, и помогали ему в этом, скорее всего, Шойбнер-Рихтер и Розенберг, оба выходцы из Прибалтики. Эти прибалтийские немцы страшились влияния Востока даже больше, чем большинство германских немцев. Это они внедрили в германский антисемитизм представление о возможном «окончательном решении еврейского вопроса», о повторной колонизации территорий, которые некогда были завоеваны тевтонскими рыцарями, о возможности перенести границы Германии до самых ворот Москвы. Группировка прибалтийских немцев в партии Гитлера надеялась, что нацисты помогут им вновь завоевать Россию, чтобы вернуть ее под власть изгнанного оттуда правящего класса. Однако в результате они лишь помогли сформулировать нацистское представление о России как о фантасмагорической стране, в которой требовалось вести особо жестокую войну, чтобы дать решающее сражение «азиатскому жидобольшевизму» в рамках апокалиптической расовой войны. Тут, правда, случился неожиданный для этих прибалтийских немцев поворот: Гитлер принялся настаивать на том, что пример надо брать с Ленина и Сталина, поскольку только методы большевизма помогут нацизму одолеть его, — точно так же, как всемирный еврейский заговор он собирался победить с помощью всемирного арийского заговора. Тем не менее на том этапе русская эмиграция была для Гитлера самым серьезным источником финансирования, и в ее среде было немало его доброжелателей.

Той весной личную трагедию Елены Набоковой переживали все ее одноклассники по русской гимназии. Помимо всего прочего она стала сигналом о том, насколько хрупко их существование в «стабильной» Германии. Почти все одноклассники Льва считали себя русскими, и почти все они были также либо евреями по национальности, либо либералами по политическим убеждениям, либо и теми и другими. Убийство Владимира Набокова подчеркнуло, сколь уязвимым было конституционное правление в Германии и насколько либерально-монархическое движение — а большинство русских эмигрантов представляли именно его — беззащитно перед лицом правых радикалов.

Убийство Набокова стало лишь прелюдией другого террористического акта, который имел весьма далеко идущие последствия и нанес смертельный удар иллюзиям Нусимбаумов насчет того, что им удалось ускользнуть от революционного насилия. Э. Ю. Гумбель[92] подсчитал, что между 1918 и 1922 годами в Германии было совершено триста семьдесят шесть политических убийств, причем подавляющее большинство их осуществили представители крайне правых сил. Эти убийства произвели на публику примерно такое же впечатление, что и покушения, совершавшиеся в России левыми в последней трети XIX века: возникло ощущение, что общество не защищено ни от каких катаклизмов. Политические убийства весной 1922 года продемонстрировали силу и нового, радикального антисемитизма, привнесенного в Германию из России, и зарождающегося в Мюнхене нацизма. Правда, в политическом смысле нацизм не добился бы ничего особенного, если бы не рост численности фрайкора, не своеобразный культ молодости, не убийства в защиту чести, повсеместно практиковавшиеся его членами. Во многих смыслах нигилистское насилие членов фрайкоровских отрядов оказалось столь же необходимым условием для последующего торжества нацизма, как террористические акты социалистов-революционеров 1870-х годов в России для будущего возвышения Ленина. Добровольческие отряды оказались последним, решающим ингредиентом, которого не хватало для создания нацистского движения; без фрайкора гитлеровская партия так и осталась бы сборищем заговорщиков. Как и в случае с большевиками, нацистам, для того, чтобы самим прийти к власти, в конечном счете пришлось подавить это радикальное течение — ориентированное на молодежь, непредсказуемое, парадоксальное. Однако, прежде чем оттеснить лидеров фрайкора, нацисты извлекли из них немалую пользу для себя.

Политика не интересовала фрайкоровцев, Германия существовала для них лишь как продолжение их опыта военных лет, ведь на фронте, как выразился Эрнст Юнгер, на них в любой момент могла обрушиться с неба стальная гроза. Четкий мотив совершенных ими убийств прослеживается, если внимательно посмотреть, кто был их жертвами: в большинстве своем убитые в Германии между 1918 и 1922 годами были евреями, и притом совсем не обязательно представителями левых сил. От выстрелов или бомб погибали как члены правящих либеральных коалиций, так и политики из консервативных и националистических партий. Мишенью для убийцы мог оказаться кто угодно, независимо от партийной принадлежности, если только у него была еврейская

фамилия или еврейские корни. Такой мишенью в солнечный июньский день 1922 года стал человек, которого очень многие в Германии считали тогда, пожалуй, самым выдающимся представителем своего поколения, и он действительно был крупнейшей фигурой среди немецких евреев, когда-либо служивших Германии на высоких постах. Выстрелы из револьверов и взрыв, которые в то утро прервали жизнь Вальтера Ратенау, ехавшего на работу, возвестили о начале новой, ужасающей революции.

Вальтер Ратенау был наследником империи АЭГ («Всеобщей электрической компании»), европейского аналога американской «Дженерал электрик». Отец Вальтера, Эмиль Ратенау, приобрел европейский патент на электрическую лампу Эдисона во время одной из промышленных ярмарок после того, как тот представил ее на Парижской выставке 1881 года. Юный Вальтер Ратенау изучал химию, физику и электротехнику, он даже успел стать известным эссеистом, прежде чем занял пост главы отдела в фирме своей семьи, которая вела строительство электростанций по всему миру (в том числе и в Баку). Семья Ратенау стремилась сделать свою компанию самым крупным поставщиком электричества в мире. Вальтер входил в советы директоров примерно ста различных компаний и при этом продолжал публиковать свои знаменитые эссе о еврейской ассимиляции, сторонником которой он был, и статьи о превращении Берлина в «Чикаго на Шпрее». К началу Первой мировой войны Ратенау был одним из самых крупных промышленников Германии и одновременно интеллектуалом, мыслителем. Как это ни парадоксально, он критиковал стихийный капитализм, выступая в поддержку более рационального, гуманного и эгалитарного экономического порядка. Он часто выступал в роли советника кайзеровского правительства и был знаком с самим кайзером, он позволял себе даже критиковать политику кайзера, когда, по его мнению, она представляла опасность для процветания страны и для торжества благоразумия. И пусть практически всю Германию охватила радость, когда началась Первая мировая война, Ратенау, по свидетельствам его друзей, разрыдался. Ратенау не перешел в христианство, но от веры предков отступил, что было для того времени типично, он стал германским патриотом вагнерианского розлива. Среди людей его поколения имя Зигфрид носили, как правило, люди с еврейскими корнями. «Моя религия состоит в том, что я верю в Германию, а это превыше всякой религии», — писал Ратенау. Собственно говоря, интересы Германии в те годы защищали в основном ее именитые граждане еврейского происхождения[93]. Ратенау выступал против войны, но когда

военные действия уже начались, встретился с генералами и самим кайзером, чтобы донести до них очень важное соображение: Германии хватит собственных ресурсов — продовольствия, топлива, вооружений — всего на год, максимум на два. Генералы подняли его на смех. По их расчетам война должна закончиться через месяц-другой, так зачем заниматься каким-то еще планированием?

Эти евреи вечно пытаются что-то скопить на черный день. Тем не менее Ратенау удалось добиться создания при военном министерстве отдела под названием «Имперский военный департамент сырьевых ресурсов», и специалисты по истории Первой мировой войны сегодня единодушны в том, что именно благодаря этому Германия смогла вести военные действия на два года дольше. По завершении войны Ратенау стал одновременно самым уважаемым и самым ненавидимым гражданином новой Германской республики. Консервативные германские правительства посткайзеровского периода стремились сделать Ратенау одним из лидеров германского государства, в надежде, что столь уважаемый промышленник сумеет вывести страну из тяжелого положения, в котором она оказалась по результатам Версальского мирного договора. Ратенау долго колебался, стоит ли это делать. Это не было связано с врожденной скромностью, недостатком патриотизма или нежеланием служить стране на высоком посту. Для него было ясно: в Германии еврею опасно становиться публичным политиком. Наконец в марте 1922 года, за несколько недель до убийства Владимира Набокова, Ратенау согласился стать министром иностранных дел — никто из евреев никогда не занимал подобного поста в германском правительстве. Узнав об этом, его мать сказала лишь: «Как ты мог так поступить?» На что Ратенау ответил: «Мама, ничего не поделаешь: больше никого не нашли».

На всемирной экономической конференции в Италии[94] Ратенау очаровывал всех, ведя круглосуточные переговоры и пытаясь любыми средствами нажимать на союзников, чтобы добиться от них хотя бы каких-то уступок в вопросе о репарациях. Он хотел, чтобы Германия самостоятельно вела переговоры с Западом, однако Франция резко выступила против этого. Раз демократические государства Запада не пожелали помочь Германии в ее послевоенном восстановлении, решил тогда Ратенау, следует разыграть русскую карту. Позвонив ночью членам русской делегации, Ратенау договорился о секретной встрече в расположенном неподалеку курортном городке Рапалло. Там он провел переговоры не с кем-нибудь, а с Леонидом Красиным, тем самым элегантно одетым

изготовителем бомб из Баку, которого некогда приглашали на обед к Нусимбаумам. Красин более не принимал участия в террористических акциях, он теперь помогал большевикам своим непревзойденным умением вести переговоры, а также прекрасным знанием нефтяного бизнеса.

Новые особые отношения между Германией и Советской Россией были основаны на общей ненависти к Западу и к «версальскому диктату» стран-победительниц, и это имело непредвиденные и страшные последствия. Тайные дополнения к договору между двумя странами позволили германской армии на протяжении 1920-х и 1930-х годов, вопреки условиям Версальского договора, проводить перевооружение и обучать своих военных на территории России. Десятки тысяч германских «рабочих подразделений» уже в 1923 году прибыли в Россию, где они начали экспериментально отрабатывать новую, тогда еще теоретическую методику ведения «молниеносной войны»: она заключалась в том, что небольшие, прекрасно обученные, мобильные отряды при поддержке с воздуха завоевывают страну, прежде чем она успевает отреагировать на нападение. Согласно договору, немцы построили аэродром в Подмосковье, смогли начать производство ядовитых газов на одном предприятии в провинции. Красная Армия и германские военные вели совместное обучение своих офицеров танковых и авиационных частей в новых учебных заведениях, открытых в различных городах страны. Армии, которые в 1940-х годах будут сражаться в самых крупных битвах, известных мировой истории, в 1920-х годах еще проходили совместное обучение.

Когда граф Гарри Кесслер отправился навестить Ратенау на новом месте работы, в Министерстве иностранных дел в Берлине, он нашел, что его старый друг страдает от «мстительной враждебности его соотечественников». Ратенау рассказал Кесслеру: он ежедневно получает угрожающие письма, и полиция настаивает на том, чтобы приставить к нему охрану, но он отказывается. «Говоря об этом, — вспоминал Кесслер, — Ратенау вынул из кармана браунинг». В апреле 1922 года нунций Папы Римского кардинал Пачелли (который впоследствии стал папой Пием XII) сообщил немецкому правительству, что существует заговор с целью убить Ратенау: правда, никакими дополнительными сведениями он не располагал. Британские коллеги Ратенау вспоминали, как он порой вслух рассуждал о грозящей ему опасности.

За тремя молодыми людьми, которые осуществили убийство, стояла целая призрачная сеть заговорщиков и ультранационалистов, однако, точь-в-точь как русские

террористы в 1870-х годах, они, по сути, действовали в одиночку. «Какую причину назвать мне, если нас поймают?» — спросил один из террористов, Эрнст фон Заломон, будущий идеолог фрайкора. «Да какая разница? Ну, скажи, что он — один из сионских мудрецов или… да что хочешь, то и говори, — отвечал другой террорист. — Они все равно никогда не поймут наших мотивов»[95].

Утром 24 июня трое исполнителей покушения следовали в своем автомобиле за министром, ехавшим в машине с открытым верхом. В десять сорок пять, поравнявшись с нею, они разрядили обойму пистолета в Ратенау, а потом для верности бросили в салон его автомобиля ручную гранату. Хотя двое из них погибли при попытке к бегству (одного застрелила полиция, а второй покончил с собой), властям все же удалось провести суд над всей террористической ячейкой. Водитель террористов, пытавшийся уйти от погони в день покушения, на суде с сознанием выполненного долга заявил, что, насколько ему известно, Ратенау, ведущий промышленник Германии, на самом деле был руководителем подпольного большевистского движения, которое являлось лишь частью всемирного заговора сионских мудрецов. Его показания были настолько убедительны для присяжных Веймарской республики, что он получил всего четыре года тюремного заключения и, выйдя из тюрьмы, поступил на юридический факультет университета, а со временем даже стал успешным адвокатом[96].

Выйдя на свободу после пятилетнего тюремного заключения, фон Заломон написал невероятно успешный роман о жизни террориста «Вне закона» («Die Geächteten», 1929). Фон Заломон стал образцом для подражания, героем «консервативных революционеров» Германии, с ним дружили Эрнст Юнгер и Мартин Хайдеггер, но также и некоторые левые деятели искусства. Марта Додд, дочь американского посла в Германии Уильяма Додда (она исповедовала весьма либеральные взгляды, а впоследствии стала членом Компартии США), в своих мемуарах восторженно писала: «На моей прощальной вечеринке я представила, к изумлению всех собравшихся (а пришли в основном люди правых убеждений, из среды дипломатов), Эрнста фон Заломона, организатора убийства Ратенау и автора романа “Вне закона”. Разумеется, в этом в высшей степени приличном обществе кое-кто лишь сдавленно ахнул, другие начали перешептываться. В общем, желанный результат был достигнут». Надо, правда, отметить, что фон Заломон дистанцировался от нацистов — они не дотягивали до его ницшеанских идеалов, однако его романы о приключениях бойцов добровольческих

отрядов и террористах были распространенным средством рекрутирования в ваффен-СС и излюбленным чтением эсэсовцев[97].

Гибель Ратенау привела к тому, что многим (в том числе Томасу Манну) пришлось переоценить идею о превосходстве германской культуры, возникшую в конце XVIII века, когда эта культура мыслилась духовной, глубинной — в отличие от поверхностного материализма французского или англо-американского общества. Однако истинные масштабы происходящего лучше всего понимали посторонние. Такие, например, как Д. Г. Лоуренс, который увидел восхождение устрашающей новой силы. Объездивший Германию через два года после убийства Набокова и Ратенау, он так описал свои опасения в письме на родину: «Можно подумать, будто вся жизнь отступила на Восток. Будто жизнь германцев медленно уплывает от Европы. В Германии возникает ощущение опустошенности и какой-то угрозы. Так, наверное, римские легионеры глядели на громады чернеющих перед ними гор: с известным страхом, понимая, что они дошли до предела собственных возможностей. Германия сильно отличается сейчас от той, какой была всего два с половиной года назад, когда я приезжал сюда. В то время она еще была открыта Европе. Тогда она еще стремилась в сторону Западной Европы — чтобы вновь стать ее частью, найти примирение с ней. Теперь от этого не осталось и следа. Теперь уже опустился шлагбаум. Сегодня устремления германского духа направлены в очередной раз в сторону Востока — Московии, Тартарии. Чуждая иным пучина Тартарии для германского духа вновь стала позитивным центром, тогда как позитивность Западной Европы разрушена… Здесь опять начался возврат к колдовским чарам разрушительного Востока, который породил Аттилу. Эти убогие шайки юных социалистов [так писатель называл национал-социалистов. — Т. Р.], эти молодчики и их девицы, которые не занимаются ничем конкретным, материальным, но лишь отстаивают свои полумистические суждения — они кажутся существами непонятными, чуждыми. В чем-то примитивными, подобно неорганизованным, бесцельно бродящим туда-сюда ватагам потерявших себя, разбитых в сражении племен… Словно все и вся с отвращением чураются былого согласия, так же, как варварское племя, скрывающееся в лесу, стремится не быть замеченным… Что-то произошло, однако еще не оформилось окончательно. Древние чары мира нарушены, и господствует древний, свирепый дух варварства… И происходящее имеет куда более глубокий, глубинный смысл, чем любое реальное событие. Это — источник следующего этапа

событий».

Глава 9. Сто оттенков голода и жажды

Поскольку Советский Союз наводнили теперь германские инженеры, обучавшие советских генералов использованию ядовитых газов и тонкостям танковых сражений, стало ясно: в обозримом будущем прежняя власть там не будет восстановлена. Лев предавался мечтаниям, как бы отомстить лично Леониду Красину, который, как он считал, в свое время вошел в сговор с его матерью, а теперь делал все, чтобы ликвидировать законные права отца на принадлежавшие тому активы.

Благодаря российско-германскому альянсу, которого добился Ратенау, Берлин стал единственным из приютивших русских эмигрантов городов, где белые и красные встречались и общались более или менее дружелюбно. Здесь постоянно жили Леонид Пастернак, Алексей Толстой и Илья Эренбург. Появлялись в Берлине и Владимир Маяковский и Максим Горький — да и кто в 1922 году отказался бы побывать в Берлине, этой столице новой России? Берлинские любители кино устроили восторженную встречу Сергею Эйзенштейну, а Константин Станиславский привез в Берлин свой Московский художественный театр на длительные гастроли.

Возникший альянс между Германией и Россией на некоторое время улучшил в умах средних немцев представление о русских вообще. Пожалуй, хотя бы в этом смысле эмигранты косвенно выиграли от подписания Рапалльского договора. Один из одноклассников Льва вспоминал: «Мы с друзьями как-то ехали в метро. Мы, наверное, говорили громче обычного, чтобы перекричать шум. Другие пассажиры в вагоне принялись ворчать на нас, а один сказал: “Вы тут себя ведете, будто у себя дома, забывая, как страдает сейчас Германия”. Я отвечал: “Россия сейчас страдает не меньше”, и некоторые из пассажиров отреагировали на это совершенно неожиданно:

“Если они по-русски говорят, то ладно”, - сказали они». Правда, договор усложнил отношения эмигрантов с немецкими властями. Поскольку связи между Москвой и Берлином оживились, они ведь теперь были соратниками, противостоявшими «версальскому диктату», правительство Германии больше не афишировало свою поддержку эмигрантов из России. По иронии судьбы германо-советская дружба меньше всего сказалась на ультрамонархистах из Мюнхена, из числа которых вышли убийцы Набокова; однако эти люди и знать не хотели, что там думает демократическое правительство в Берлине: у них уже установился контакт с растущим нацистским

движением. В Советской же России были изданы декреты, согласно которым все, кто выехал за пределы страны после 7 ноября 1917 года без советской визы, и все, кто проживал за рубежом более пяти лет, утратили свое право на получение российского гражданства. И теперь германское правительство начало следить за соблюдением этих законов. Любые документы, которые эмигранты получили в годы Гражданской войны от какого-либо из временных органов власти, значили отныне не больше клочка бумаги.

У отца и сына Нусимбаумов были именно такие, просроченные, документы — те, что им выдали в Батуме меньшевистские власти Грузин. Германия всегда стремилась поддерживать хорошие отношения с любым грузинским правительством, поскольку она считала это небольшое христианское государство ключевым для всего Кавказа, а германские промышленники желали иметь доступ к полезным ископаемым Грузин. В 1916 году грузинские монархисты смогли, например, получить разрешение создать в Берлине своего рода правительство в изгнании, Германско-грузинское общество под руководством престарелого князя Мачабели. Далее Германия, на том этапе выступая против большевиков, некоторое время поддерживала независимую меньшевистскую Грузинскую республику[98]. Однако в 1921 году Красная Армия вошла в Грузию, руководство страны было смещено, и, соответственно, документы Нусимбаумов, выданные грузинскими властями, стали недействительными.

Полиция известила Льва и его отца, что им надлежит выправить надлежаще оформленные документы или же незамедлительно покинуть страну. Если бы у них были деньги, они бы, разумеется, разрешили проблему: в тот период с помощью денег удавалось добиваться практически всего, что угодно. Как рассказал один из одноклассников Льва, эмигранты в таких случаях просто отправлялись в пригороды, где, по его словам, «мелкие чиновники нередко брали взятки». Однако судьба приготовила для Нусимбаумов более приемлемое решение.

Как это нередко случалось со Львом, случайная встреча с кем-нибудь из его прошлого хотя бы временно разрешала ситуацию или же просто поднимала настроение — так, что он даже думал, будто проблемы отступили. Так вышло и на этот раз. Во время Первой мировой войны на одном из островов в Каспийском море власти устроили лагерь для военнопленных. Его начальник, сам из прибалтийских немцев, по слухам, был особенно жесток в обращении с германскими пленными —

возможно, для того, чтобы никто не мог обвинить его, будто он потакает людям одной с ним крови. Все в Баку слышали про ужасающие условия на том острове. Льву и Алисе, ощущавшей свою солидарность с пленными, сострадание к ним, удалось убедить Абрама вмешаться в ситуацию и выступить в их защиту. Губернатор, пошутив, что дом Нусимбаумов скоро станет «шпионским гнездом», разрешил устроить у них на первом этаже нечто вроде временной казармы для пленных. Лев помнил, что у них там жили примерно двадцать пять человек — австрийцы, немцы и турки, в том числе одна женщина, «жена немецкого офицера, которая путешествовала по Кавказу, желая навестить каких-то своих родственников, однако была захвачена врасплох начавшейся войной». За доброту постояльцы Нусимбаумов старались отплатить им еще тогда: они давали Льву уроки игры на фортепиано, на скрипке, занимались с ним фехтованием, верховой ездой, однако, как оказалось, долг этот был оплачен по-настоящему только через пять лет. «Я в тот день шел по Тиргартену, — писал Лев Пиме, — и вдруг наткнулся на ту самую женщину, жену немецкого офицера. Я рассказал ей, в каком положении оказался, и она тут же вызвалась пойти со мной в главное полицейское управление. Ей удалось разыскать еще кого-то из тех, кто жил у нас в Баку, и они всё подтвердили, так что в результате я получил и паспорт, и вид на жительство и даже смог поступить в университет».

На самом деле непонятно, что именно удалось тогда получить Льву, потому что всю жизнь он говорил о собственных документах неправду. Чего стоит одна история о том, как он ухитрился выдать за американский паспорт свой билет на пароход в Америку, а потом еще объявил покровительствовавшим ему фашистам, что будто бы «добровольно отказался от имевшегося у него американского гражданства». Но факт остается фактом: той весной он в самом деле получил какой-то документ, заменивший ему выданные в Грузии бумаги. Кроме того, им с отцом выдали в полиции так называемый паспорт Нансена[99], на который имели право все эмигранты. Лев получил его, вероятно, в марте 1922 года и, по меньшей мере, до 1930 года делал ежегодные отметки в нем, приходя в представительство Лиги Наций в Германии, в приемную Верховного комиссара по делам беженцев, — это выяснил один из берлинских журналистов еще в 1930 году. Сам нансеновский паспорт Льва мне так и не удалось разыскать, однако он был, вероятно, точно таким же, как у его одноклассника Александра Браиловского (ставшего впоследствии Алексом Браиловым), а его паспорт мне показала Норма, вдова Александра, вытащив из старой папки. Паспорт этот лежал там

рядом с фотографиями 1920-х годов, на которых можно было увидеть и молодого Льва и других русских гимназистов в Берлине: Лев выглядел не менее жизнерадостным, чем остальные старшеклассники, разве что был чрезмерно худым.

«У голода сто различных оттенков, и существует сто разных способов скрывать его, — писал Лев, вспоминая первые годы жизни в Берлине. — А мне приходилось утаивать свой голод, свою жажду, свои нестерпимые желания. Причем сегодня я даже не смог бы объяснить, зачем я это делал. Это чаще всего не был чисто физический голод, хотя он меня тоже порядком донимал». Он давал определения различным видам или оттенкам своих желаний, которые старался скрыть от своих одноклассников. Например, его мучила «жажда одежды»: ведь невозможность хорошо одеваться страшно ударяла по его самолюбию заправского денди. Лев ни разу не видел, чтобы его отец, носивший подчеркнуто неброские, однако весьма элегантные вещи, хотя бы однажды «вышел на люди» в невыглаженном костюме и в не начищенных до зеркального блеска черных ботинках. Теперь же и костюм, и ботинки Абрама выглядели поношенными, но заменить их было нечем. До сих пор одежда в известном смысле спасала их: в самые, казалось бы, рискованные моменты их странствий у старшего Нусимбаума обязательно находился очередной зашитый в поясе золотой рубль или же нефтяная облигация. И вот теперь было потрачено все, а жили Нусимбаумы в таких местах, где к бедным пришельцам с Востока относились не слишком доброжелательно. Когда обстоятельства делались совершенно невыносимыми, Лев, по его воспоминаниям, ложился на кровать и засыпал.

Еще одной разновидностью голода или жажды он называл желание жить в своей собственной квартире, ведь любой домовладелец за задержку арендной платы мог изгнать подозрительного иностранца, а этим самым подозрительным иностранцам, вроде Нусимбаумов, даже нечего было возразить[100]. Кроме всего прочего, Лев был еще очень молод и у него возникали желания, типичные для человека его возраста. Так, серьезным испытанием стала для него «жажда кино». Большую роль тут играло уязвленное самолюбие, когда он, скажем, не имел возможности пойти в кино с одноклассниками. Или перед самым сеансом билет в очередной раз дорожал, и оказывалось, что у него недостаточно денег. А его соученики ходили в кино очень часто. Берлин был тогда охвачен прямо-таки страстью к кинематографу.

В годы германской революции Берлин превратился одновременно в Голливуд и в Бродвей Европы. Берлинцы толпами

ломились в «храмы грез», принадлежавшие киностудии УФА, — эти кинотеатры располагались на фешенебельной Курфюрстендамм, улице дорогих и элегантных магазинов. УФА — ведущая кинокомпания страны — была основана в 1917 году, для выпуска пропагандистских фильмов. В начале 1930-х годов УФА стала ведущей кинокомпанией Европы, выпускавшей уже не столько пропагандистскую, сколько развлекательную продукцию и имевшей тесные связи с американскими «Метро-Голдвин-Майер» и «Парамаунт», чьи фильмы она прокатывала в собственных кинотеатрах. Это давало зрителям возможность на время уйти от действительности, от всего того хаоса, который принесла война. Огромные натурные съемочные площадки в Бабельсберге, пригороде Берлина, могли достойно конкурировать с голливудскими, на них создавались грандиозные кинематографические зрелища. Эрнст Любич, сын польского портного-еврея, стал первым из целой когорты немецких и австрийских кинорежиссеров, которые совершенствовали свои таланты в Берлине веймарского периода, прежде чем отправились работать в Голливуд. Именно здесь они создали многоплановые, сложные кинополотна, отразившие тревожную эпоху, например, «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине и «Метрополис» Фрица Ланга. Впрочем, современники Льва с большей охотой смотрели исторические полотна Эрнста Любича: «Мадам Дюбарри», «Анна Болейн» и «Жена фараона»[101].

«Я уже давно оставил привычку видеть в каждой берлинской мечети мусульманский молитвенный дом, — писал австрийский писатель Йозеф Рот в своих заметках о кинодворцах студии УФА и о последних новостях из берлинского мира кино. — Мне известно, что мечети здесь — это на самом деле кинотеатры[102], а Восток — это кино».

Однако отнюдь не все берлинские мечети были кинотеатрами. В какой-то момент Лев прекратил страдать по поводу того, что его образ жизни не соответствует образу жизни друзей, и пустился на поиски чего-то настоящего. Он не забыл тот Восток, что явился ему в Константинополе. Он пересек пустыни и познакомился там с необыкновенными племенами. И это отличало его от любого другого мечтательного юноши, который шел в кинотеатр, чтобы увидеть приключения Синдбада или Рудольфо Валентино. Недаром бывает, что путь к исполнению желаний начинается прямо за углом. Лев вдруг обнаружил, что в Семинарии восточных языков Университета имени Фридриха Вильгельма преподают именно то, что его интересует больше всего. «Меня теперь было невозможно остановить, — вспоминал Лев: — Я отправился к ректору, я побывал у декана, я сходил к

директору учебного заведения, я умолял их всех позволить мне учиться у них и добился успеха. Я набросился на учебу, словно изголодавшийся пес, которому вдруг посчастливилось наткнуться на кусок мяса».

17 октября 1922 года Лев записался в группы по изучению турецкого и арабского языков в Семинарии восточных языков. На своем заявлении о приеме он подписался «Эсад-бей Нусимбаум из Грузин», первый раз употребив в официальном документе свое новое имя, которое представляет собой просто переведенное на турецкий «господин Лев Нусимбаум». Лев умолчал о том, что еще не окончил среднюю школу, и это стало его большой тайной на последующие полтора года. Поначалу его несколько смущали университетские лекции, поскольку, по его мнению, «преподаватели говорили о своем предмете так, словно это было что-то совершенно обыденное». Однако постепенно он понял: для них Восток был профессиональным занятием, работой, тогда как он испытывал «таинственный, необъяснимый энтузиазм». Его пристрастие к Востоку, к древним осыпающимся стенам и извивающимся улочкам базаров было на самом деле его путеводной звездой, освещавшей для него любой ландшафт, даже унылый или пугающий.

График его жизни стал совершенно безумным. Лев решил посещать университет так, чтобы и в гимназии об этом не узнали, и в университете ни один человек не догадался бы, что он еще гимназист. Теперь каждый день в шесть утра он выходил из своей квартиры в Шарлоттенбурге и шел пешком на другой конец города, в университет. Там он проводил на занятиях всю первую половину дня. В три часа, когда начинались уроки в русской гимназии, он как ни в чем не бывало появлялся там, словно все утро слонялся без дела, точь-в-точь как его одноклассники. «А пока учитель объяснял нам геометрические теоремы, у меня на коленях лежала грамматика арабского языка», — писал он впоследствии. После школы, в восемь вечера, когда его одноклассники отправлялись в кафе или в кино, Лев снова шествовал через весь Берлин, чтобы попасть на вечерние лекции в университете. «Я почти всегда ходил пешком, потому что страдал еще от одной разновидности голода — нежелания платить за проезд», — вспоминал он. Вернувшись домой, он допоздна выполнял домашние задания для школы и читал книги по программе университетского курса, пока не засыпал над ними, а уже через несколько часов поднимался, и все начиналось сначала. В таком режиме он жил целых два года.

Способность Льва напряженно работать и максимально фокусировать свое внимание будет отличать его от сверстников

на протяжении всей его недолгой жизни. Вообще-то писатели-эмигранты славились тем, что очень много пили и работали, однако вскоре Лев станет поражать даже их. Его тайные занятия в университете порой вызывали у него ощущение, будто он состоит в некоем «эксклюзивном клубе» или живет в каком-то ином мире. И занятия в университете, и весь этот сумасшедший график оказались способом выстоять, не сломаться эмоционально. «Я, скорее всего, не выжил бы, страдая от внезапного перехода в состояние полной бедности, но моя любовь к Древнему Востоку заставляла меня существовать дальше», — вспоминал Лев. Он вдруг обнаружил, что такая двойная, тайная жизнь ему нравится. Он уже понимал, насколько отличается от окружающих — и тем, как жил прежде, и тем, что делал теперь. К тому времени он действительно стал ориенталистом.

В коробке с бумагами Алекса Браилова среди гимназических фотографий нашлись фотографии Льва — по меньшей мере, дюжина. На них он на удивление красив, выделяется среди одноклассников высоким ростом и элегантной одеждой. Он выглядит как киноактер, еще не вышедший из роли, тогда как его сверстники производят впечатление обычных людей, которые решили сфотографироваться. К тому времени его робость и неумение держаться в обществе уже исчезли, и почти на всех этих снимках он кажется вполне уверенным в себе. На одной фотографии Лев снят летним днем на лугу со своими друзьями и подругами — с Адей Вороновой, ее сестрой Женей, Тосей Пешковским и белокурым, на вид примерно годовалым младенцем. Младенец этот, по свидетельству Алекса Браилова, Михаил Игоревич Пешковский — будущий режиссер Майк Николс[103]. Последний действительно родился в 1931 году в Берлине, и его родителям удалось уехать из Германии в 1938-м; позже его ждала карьера комика-импровизатора и голливудского кинорежиссера![104]. Меня, правда, больше заинтересовали другие снимки: вот Лев сфотографирован один, на вид он уже постарше, несколько пополнел (быть может, это уже после окончания университета) и одет, как полагается мусульманину. Есть фотография, где у него на голове белая чалма с драгоценными камнями и пером в центре, в ушах большие серьги из нескольких колец, а на коротких и толстых пальцах — перстни. Он, по-видимому, также подвел глаза, накрасил губы помадой и даже навел родинку над губой. Еще одну фотографию я видел ранее — ее использовали как портрет автора для книги «Двенадцать тайн Кавказа»: Лев снят на ней в профиль, он в одежде кавказского воина-горца, в черной каракулевой шапке и с кинжалом за поясом.

Большинство учащихся русской гимназии и даже ее преподаватели привыкли называть Льва «Эсад», коль скоро он на этом настаивал. Браилов отмечал в своих воспоминаниях, что с годами его кавказский акцент делался все сильнее и заметнее: «Он слишком растягивал звук “а” и произносил согласные “к” и “х” очень резко». Некоторые одноклассники поддразнивали Льва — из-за выговора, из-за всего принятого им на себя «мусульманского» образа, из-за того, что он порой называл себя «теократом исламской традиции» или приверженцем либерально-конституционного царизма. По словам Браилова, погружение Льва в ислам дошло до такой степени, что он почти перестал замечать происходившее вокруг, и это вызывало у его соучеников не только недоверие, но даже враждебность. Алекс вспоминал и о том, что «Лев зачастую старался подыгрывать дразнившим его, при этом ему удавалось рассмешить их и тем самым разрядить обстановку. Порой ироничность его была такова, что невозможно было понять, шутит он или же говорит всерьез. А бывали случаи, когда он, придя в бешенство, лез на нас с кулаками, и тогда его приходилось усмирять, успокаивать».

Одному из однокашников Льва особенно нравилось провоцировать его, чтобы он «не забывал о своем происхождении». Норма Браилов показала мне фотографию этого юноши — его имя было Жорж Литауэр, и все русские звали его Жоржиком. Это был на редкость красивый молодой человек, который брал уроки танца у бывшей балерины Императорского театра и после занятий в школе зарабатывал на жизнь в танцевальных салонах — в качестве платного партнера. Его особенно смешила серьезность, с которой Лев воспринимал собственное превращение в Эсад-бея (следуя правилам азербайджанского языка, он тогда еще писал свое новое имя «Асад-бей»). Жоржик не упускал ни единой возможности напомнить своему однокласснику, что тот всего лишь один из российских евреев, как и сам Жоржик. Не зная о тайных занятиях Льва в университете, он и не догадывался, насколько болезненны для Льва были его шутки. Бесконечные насмешки над его новым именем довели Льва до того, что в один прекрасный день он замахнулся ножом на своего мучителя и пригрозил, что перережет ему глотку. «Вспышки неистового бешенства у Эсада объяснялись отчасти его несомненной нервностью, но в большой степени еще и тем, что он считал это частью образа “восточного человека”, для которого месть являлась священным долгом», — вспоминал Браилов. В тот раз Браилову пришлось вмешаться, чтобы из-за «кавказского темперамента» его приятеля дело не дошло до настоящего смертоубийства. (К сожалению, Жоржик не

задержался на этом свете: он умер всего пять лет спустя, отравившись угарным газом в Париже — по-видимому, покончил с собой.)

Соперничество между Жоржиком и Львом усугублялось тем, что оба влюбились в зеленоглазую, медно-рыжую красавицу по имени Женя Флатт. Как вспоминал Браилов, Женя «едва ли вообще что-нибудь читала, была весьма ленива, ее интересовала лишь собственная внешность», а на жизнь она зарабатывала манекенщицей, демонстрируя модное и дорогое белье. Позже мне довелось увидеть репродукцию пастельного наброска работы Леонида Пастернака. На нем Женя в самом деле выглядит необычайно привлекательной. Жоржик и Лев всеми силами стремились добиться ее расположения, однако успех не сопутствовал ни тому, ни другому. Вскоре она обратила внимание на человека, не входившего в их гимназический круг. Она называла его Яшенькой, он был старше их всех, «полный, учтивый, очень образованный и остроумный»; впоследствии они переехали в Нью-Йорк, где вопреки идеалам русской эмиграции оба стали ярыми сталинистами. Браилов был уверен, что именно Яша — прототип Нахараряна, того самого «мерзкого армянина» из романа «Али и Нино», который домогался Нино. В романе, правда, толстый соперник героя не увозит девушку в Америку и не делает ее сталинисткой. Силой затащив ее в свой автомобиль, он пытается увезти ее «на Запад», дабы отнять у Али и у любимого Кавказа. Однако Али (то есть сам Лев) умудряется догнать автомобиль на своем белом скакуне и пронзить соперника кинжалом. В пересказе эта сцена кажется и неправдоподобной, и смешной, но написана она захватывающе и довольно убедительно.

В своих письмах Пиме Лев называл девушку, в которую безответно влюбился в Берлине, Су Су Хаман и говорил о ней как о мусульманке родом из Баку. Разумеется, в тот период он не мог признаться Пиме, что был влюблен в еврейку из России. Тем не менее в Берлине Лев не был знаком ни с кем из азербайджанцев своего возраста, и почти все его друзья были евреями — либо из Санкт-Петербурга, либо из черты оседлости.

Когда в гимназии начались заключительные экзамены, Льва охватило отчаяние и безнадежность. Весь год он слишком много времени проводил на вечерних лекциях, изучая арабский и турецкий или узбекскую географию. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы сдать экзамен по основным предметам — латыни и математике. Он чувствовал себя полным идиотом, он уже представил себе свое (и отцовское) беспросветное будущее после того, как он провалится на выпускном экзамене. Он просто

не сможет после этого предстать перед отцом, которому и без того так много довелось пережить. Короче, ситуация была ужасной.

Председатель экзаменационной комиссии, морщинистый старик, принадлежавший к великокняжеской семье Романовых, с глубоко вставленным в глазницу моноклем, вроде бы не обращал на Льва никакого внимания. Лев углядел, как он «своим неторопливым аристократическим почерком» написал в блокноте рядом с фамилией «Нусимбаум»: «весьма слабый соискатель». Когда дошло дело до истории, старик, казалось, совершенно уснувший, вдруг поднял голову и, наставив на Льва свой монокль, проговорил: «А расскажите-ка нам, голубчик, о владычестве татар и монголов на Руси». Этот вопрос был бы для Льва подарком свыше, даже если бы он не учился уже третий семестр в Университете имени Фридриха Вильгельма. «Тут я мысленно увидел перед собой бескрайние монгольские степи, скачущих по ним всадников… и дальше меня невозможно было остановить, — вспоминал он. — По-моему, я даже забыл, что сдаю экзамен. Я все говорил и говорил, цитируя арабских, турецких и персидских авторов в оригинале. Более того, я мог кое-что сказать на монгольском языке. Члены комиссии были попросту ошарашены, а у князя даже выпал монокль. Но вот он принялся задавать мне всевозможные вопросы, и — подумать только! — он задавал их на персидском, на монгольском, он цитировал классиков восточной литературы… Лишь много позже я узнал, что князь этот был одним из ведущих востоковедов России. Остальные члены комиссии пыхтели, потели — все, что происходило в их присутствии, было за пределами их воображения. Все преподаватели неожиданно стали похожи на школяров. То, что началось как экзамен, вдруг превратилось в обсуждение всевозможных проблем Востока, притом на различных восточных языках… По-моему, на все это ушло не менее двух часов и вполне могло бы продолжаться до самого вечера, если бы сидевший рядом с князем член комиссии, в прошлом тайный советник государя, не тронул его, наконец, за локоть».

Лев был спасен. Каких бы ошибок он ни понаделал, отвечая на вопросы других экзаменаторов, старик князь очень высоко оценил его способности и не позволил поставить ему плохую оценку. Как председатель комиссии, он специально проследил за тем, чтобы все экзаменовавшие «весьма слабого соискателя» выставили ему средний балл. А это означало, что ему удалось получить аттестат зрелости.

После окончания гимназии бывшие одноклассники

продолжали собираться друг у друга на квартирах, зачастую устраивая литературные вечера. По воспоминаниям Браилова, Лев стал на некоторое время центром этого кружка благодаря своему таланту рассказчика. Алекс, по-видимому, тогда же записал по-русски некоторые его рассказы, а по прошествии многих десятилетий отпечатал свои записи на машинке, переведя их на английский. И в этих текстах еще совсем незрелого автора ощущаются особая, несколько ироничная интонация, присущая «Али и Нино» и всем книгам о Кавказе, которые написал Лев.

Чего не понимали одноклассники, так это того, что он больше не ощущал себя Львом Нусимбаумом: в августе 1922 года он стал мусульманином, и произошло это в присутствии имама в османском посольстве в Берлине. Теперь он действительно был Эсад-беем. Когда его бывшие соученики, особенно евреи, узнали об этом, они были поражены до глубины души, о чем упоминал не только Алекс Браилов, но и Анатолий Задерман[105]. Почему он так поступил? Браилов считал, что выросший в космополитичной среде Лев желал найти нечто подлинное, глубинное и что нашел он это «в мире местных жителей, тех, кто у них в бакинском доме были слугами, чьи корни находились в мусульманских селениях или аулах». Возможно, это действительно так. Во всяком случае, я не верю, что решение принять ислам было продиктовано желанием избежать преследований, связанных с его еврейским происхождением. Причины были, по-видимому, куда более сложными. Когда Лев явился в посольство Турции, оно все еще было посольством Османской империи, поскольку подчинялось номинально законному правителю, а именно халифу, тому самому любителю Монтеня и современному человеку, последнему представителю древней османской династии. Быть может, правильнее всего предположить, что он стал мусульманином, желая реализовать мечту молодого еврея из многонационального Баку о полиэтничности.

Его новая личность впоследствии превратится в своего рода расовое и религиозное алиби, и он будет пользоваться им, чтобы попросту не погибнуть. Однако в тот момент, когда он пришел в посольство, им двигало лишь желание обрести приют, найти духовное пристанище в пространстве мировой культуры. На одном из первых фотопортретов уже в облике Эсад-бея Лев сидит в картинной позе в потертом кожаном кресле с подлокотниками, которое вынесено, судя по всему, куда-то в палисадник или же во двор. Загадочным взором он смотрит прямо в объектив, на нем хорошо сшитый костюм, короткие гетры и турецкая феска, — не пройдет и года, как халиф уже будет читать свои любимые книги

в Париже, а сама феска, как и слово «бей», в Турции будут официально запрещены.

Контакты с миром ислама Лев налаживал и за пределами академических кругов. В 1923 году имя Эсад-бей встречается в списке основателей берлинского Исламского общества, а в 1924 году он помогает созданию его молодежного филиала — студенческой организации под названием «Исламия». Его рассказы об этом времени отражают главным образом царившие там мелочные дрязги и политические склоки.

В автобиографической заметке 1931 года он так описывал происходящее: «В полутемной, прокуренной пивной на севере Берлина собираются несколько панисламистов. Ряды наши постепенно растут, и вот в продымленном, чадном помещении уже звучат все языки Востока, но время от времени говорят и по-немецки. Половина присутствующих, наверное, английские или русские шпионы. Руководитель — индийский евнух, который позже, по-видимому, станет работать на англичан. Все мы занимаемся политикой, поскольку война, так или иначе, сбила всех нас с пути истинного. Здесь готовятся заговоры, планируются, но затем так и не исполняются покушения, здесь сочиняются прокламации. Я читаю лекции о халифате и пишу стихи… Практическая политика начинает вызывать у меня отвращение. Панисламизм на практике свелся к сплетням, злословию друг у друга за спиной, и еще — к взаимному недоверию». Прокуренное помещение находилось, по-видимому, на Ганноверштрассе, где и базировалось сообщество, руководимое Абделем Джаббаром Хейри — очевидно, тем самым «индийским евнухом». Вскоре Лев стал принимать активное участие в работе общества, его избрали в представительский совет, и он начал во всеуслышание говорить о тяжелой доле мусульман в колониальном мире.

Здесь впервые после отъезда из Азербайджана он встретился с настоящими мусульманами — обычными людьми Востока, а не сотрудниками учебных заведений, русскими или немцами, изучавшими ислам. Благодаря им он получил реальное, уже не «детское» представление о суровом мире ислама — современного, а не древнего. Многие из них приехали в Германию еще до Первой мировой войны, это были преподаватели, врачи, торговцы; и среди них было немало политических эмигрантов. В 1920-х годах антиколониальное движение было очень серьезным фактором в Берлине, и немцы в целом поддерживали идею независимости мусульман — в тот период сирийцы бунтовали против французского колониального ига, а марокканцы — против испанского.

К разочарованию Льва, исламское сообщество в Берлине было куда более националистическим, чем во многих других городах. В этих прокуренных комнатах, среди «настоящих» уроженцев стран Востока, ему трудно было играть привычную роль «человека с Востока». По приезде в Берлин Лев пережил известный шок, попав в общество русских эмигрантов, а теперь он снова ощущал себя чужим, общаясь с такими же, как он сам, эмигрантами из мусульманских стран: ведь многие из них попали сюда с территорий, которые прежде принадлежали России, а ныне оказались в составе Советского Союза. Национализм с мусульманским оттенком быстро превращался в способ противостояния советской идеологии. Например, «национальная гордость азербайджанцев» гораздо сильнее проявлялась в Берлине у эмигрантов из Азербайджана, чем у жителей космополитичного Баку в юные годы жизни Льва. А «космополитический османизм», если позволительно так охарактеризовать предпочтения Льва, отнюдь не вызывал сочувствия у эмигрантов-мусульман. Лев вскоре убедится, что подобное мировоззрение ближе либералам-европейцам и евреям-ориенталистам, однако на тот момент среди его знакомых таких не было. Люди подобных взглядов оказались на вторых ролях в пространстве, где тон задавали арабы, турки, иранцы, афганцы и индийцы, не говоря уже об эмигрантах из Советской России. Отношения Льва с этими «соотечественниками» были отнюдь не гладкими. А начавшаяся литературная карьера отнюдь не способствовала их улучшению.

Глава 10. Любимец веймарской прессы

Льву Нусимбауму, писавшему под псевдонимом Эсад-бей, было всего двадцать четыре года, когда вышла в свет его первая книга — «Нефть и кровь на Востоке». Через двадцать два года после ее издания он умер, успев написать как минимум четырнадцать книг, не считая двух романов, подписанных псевдонимом Курбан Саид, то есть в среднем по одной книге в пятнадцать месяцев. Я обнаружил, что полную библиографию его трудов составить нелегко, даже если использовать библиотечные каталоги и Интернет: то и дело обнаруживать какие-то новые названия, будь то биографии Ленина и Сталина, биография Николая II, история мировой нефтяной промышленности или исследование о российской тайной полиции. Лев одновременно писал биографии Магомета и Сталина, причем они вышли в свет, когда автору не исполнилось еще двадцати семи лет. Обе стали международными бестселлерами, и их тепло приняли читатели — за цветистость стиля, за способность автора проникнуть в существо этих двух столь разных исторических фигур. Биография Магомета — единственная из книг Льва, которую постоянно переиздавали на разных языках, и самая первая рецензия, в «Нью-Йорк таймс», сразу после ее выхода в свет, уже подытоживала характерные особенности этого произведения: «Структура этой прекрасной книги — словно персидский ковер. Под ногами вы чувствуете материал. А глазами воспринимаете ее волшебство. Мы прочно ступаем по тому, во что мы не можем не верить, мы взираем на то, что находится вне пределов веры, и остается лишь один вопрос: как возможно, не разрушив замысла книги, всего ее композиционного узора, отделить достойное доверия от того, чему верить все же не следует».

Книги эти прекрасно читаются и спустя восемьдесят лет, в немалой степени потому, что даже самые скучные сведения (например, анализ механизмов ценообразования на нефть) Лев умел подать как кавказскую народную сказку. Его Сталин не похож на Сталина других авторов, а когда менее чем через год, в 1933 году, вышла следующая книга Льва — о Советском Союзе, та же «Нью-Йорк таймс» напечатала заметку об этом в разделе новостей, предварив основной текст такой врезкой: «В этой книге изображена Россия, попавшая в тиски жестокости; Эсад-бей описывает принудительный рай для всех… Автор утверждает: большевики, в своем рвении создать новую религию, сами превратились в рабов, которых гонят на погибель»[106].

Пьянствовать, писать и издавать книги — вот, кажется, и все,

чем занимались русские эмигранты в Берлине времен Веймарской республики.

До 1924 года этот город был столицей эмигрантских издательств, поскольку бумага, типографская краска и водка были дешевы и имелось большое количество типографских кириллических шрифтов: они остались от типографий, существовавших здесь до революции, когда изгнанниками были те, кто теперь пришел к власти в России. Позднее инфляция вынудила значительную часть эмигрантов уехать в Париж или Прагу, а оставшиеся в Берлине составили более тесный круг — как правило, это были люди либеральных взглядов, в основном евреи, все те, кто желал обрести собственный голос уже на немецком языке. Лев стал, пожалуй, наиболее успешным представителем этой группы.

Однако, прежде чем он смог обрести собственный голос на немецком, Лев отшлифовывал стиль по-русски — свои тексты он зачитывал сначала одноклассникам, а впоследствии и тем русским, с которыми познакомился в университете. На литературных вечерах у Вороновых или у Пастернаков Лев представлял на суд слушателей свои стихотворения и «восточные сказки» — остроумно задуманные и написанные рассказы, что раздвигали границы жанра народных сказок.

Довольно скоро он стал появляться и в излюбленных эмигрантами кофейнях. Читал свои вещи в том же эмигрантском литературном клубе «На чердаке», что и молодой Владимир Набоков[107]. Пресса того периода времени свидетельствовала, что во время выступлений Льва слушатели бурно аплодировали. На следующий год он вступил в Клуб поэтов и писателей, членом которого стал и Набоков.

Однако Льва интересовала более широкая аудитория, и оттого эти чтения в кофейнях и «На чердаке» были последними в его жизни выступлениями на русском языке. Ведь он желал стать немецким писателем. В декабре 1931 года Клуб поэтов и писателей устроил свой второй крупный литературный вечер, и Эсад-бей был одним из тех, чье имя поместили на афише, чтобы привлечь публику, однако Лев на это выступление не явился. К этому моменту поэзия и художественная проза уже стали для него менее важны и интересны, нежели другие литературные жанры. Он оставил художественную литературу на много лет, а когда, наконец, вернулся к ней, то сумел создать подлинный шедевр, сочетавший динамичность журналистики с иронией и тонкостью восточных сказок.

Еще до появления в Германии послереволюционных русских эмигрантов эта страна была ведущей в мире по количеству

изданий и качеству полиграфии. У немцев были лучшие в мире наборщики, печатники, наилучшая система распространения книг, хотя истинное тайное оружие германской книготорговли состояло в том, что тогда жители Германии читали запоем. Немецкий язык не был языком колоний, а потому не стал всемирным языком, так что основную часть всех изданных книг должен был поглощать внутренний рынок. В 1913 году, накануне Первой мировой войны, в Германии было издано тридцать пять тысяч названий! А в 1920 году германская книготорговля почти вернулась на довоенный уровень, сумев вывести на рынок за год тридцать тысяч наименований книг, хотя сейчас в это трудно поверить, учитывая послевоенную разруху, эпидемию «испанки» и революционные события. Сильно увеличилось и количество издателей: в первые годы Веймарской республики возникло восемьсот девяносто пять новых издательств, включая русскоязычные. Это было отчасти связано с дешевизной типографской краски, бумаги и полиграфических услуг, большим количеством наборщиков, талантливых редакторов, писателей, а главное — какие бы невзгоды ни обрушивались на головы немцев, они никогда не переставали читать.

Правда, к осени 1923 года гиперинфляция опустошила все рынки, и коммерческая деятельность любого сорта еле теплилась, так что пострадали и русские издательства, кафе и театры. Инфляция уничтожила не только немецкий средний класс, она также полностью ликвидировала сбережения многих русских эмигрантов, особенно тех, кто занимался какими-либо приобретениями в Берлине. С той осени новым центром эмигрантской русской литературы стал Париж, тогда как Прага превратилась в новый центр эмигрантского научного и академического книгоиздания. Когда после 1923 года основная часть русской эмиграции перебралась в Париж, среди оставшихся в Берлине эмигрантов оказалось немало евреев, так что Берлин на некоторое время превратился в центр еврейской культуры. Так, Институт еврейских исследований (YIVO) перевел сюда свою штаб-квартиру из Женевы; на политическом фронте активизировали свою деятельность социалисты-сионисты, за ними последовал и русско-еврейский «Бунд»[108].

Лев вступил в возраст зрелости именно в этой, новой, эмигрантской среде, где ассимиляция с немецкой культурой происходила более интенсивно. На этот раз ему повезло: он вовремя оказался в нужном месте. В 1923–1924 годах, когда Берлин переживал самые тяжелые фазы экономического кризиса, Лев учился. А к 1925–1926 годам, когда он уже мог предъявить свои добытые с таким трудом знания (Лев предлагал услуги

эксперта по вопросам, тем или иным образом связанным с Востоком), немецкое издательское дело постепенно начало восстанавливать свое прежнее положение. С 1926 по 1930 год Берлин был центром европейской литературной жизни: здесь издавались десятки серьезных газет и один из лучших литературных еженедельников мира — «Ди литерарише вельт». В нем каждую неделю можно было ознакомиться с размышлениями Альфреда Дёблина об эстетике урбанизма, нападками Бертольта Брехта на буржуазный театр, рецензиями Вальтера Беньямина на последние зарубежные кинофильмы. Льву был всего двадцать один год, когда ему удалось познакомиться (возможно, через Пастернаков) с Вилли Хаасом[109], главным редактором «Ди литерарише вельт». И он сразу же стал одним из любимцев Хааса, вошел в ближний круг друзей этого обаятельного, наделенного сильным характером человека, который вскоре вывел Льва на первые роли в своем издании, тогда как остальные колумнисты журнала были, по крайней мере, вдвое старше его. Хаас называл его «экспертом по Востоку» своего еженедельника, и это было весьма своевременно. В чем бы ни была причина, заставившая Хааса взять шефство надо Львом (его способность увидеть невероятное сочетание таланта и энергии молодого писателя наверняка оказалась решающей), но Лев под псевдонимом Эсад-бей стал одним из трех наиболее плодовитых его авторов.

Первая статья Льва, вышедшая в 1926 году, называлась «Вести с Востока» и представляла собой критический разбор статей журналистов в газетах Малайзии и Азербайджана. Из-под его пера выходили самые разные сочинения. От стихотворений Чингис-хана он мог перейти к проблемам современного кино. Так, в рецензии «Кино и престиж белой расы» он высказал глубокие, и поныне не потерявшие актуальности мысли о том, что отображение аморальности европейцев и американцев способно снизить уважение к Западу среди жителей Азии, особенно среди мусульман. Лев настаивал в своей статье на срочном создании позитивных образов западной культуры, если только «белая раса» не желает навсегда утратить уважение народов Азии, все более стремившихся к независимости. Он сделал репортаж о таком необычном событии, как «конгресс евнухов», — съезд бывших евнухов из дворцов и гарема османского султана, который они провели в Константинополе. Написал положительную рецензию на первую немецкую биографию Ататюрка, сделав вывод, что Мустафа Кемаль «из всех турок по своей натуре человек наименее турецкий, способствовал победе западных ценностей в стране восточными средствами — хитростью, тиранией и обманом».

В своих ранних текстах Лев обращал особое внимание на тех

лидеров Востока, которые знали, как использовать Запад для достижения собственных целей, — Ататюрка и, позднее, шаха Резу Пехлеви, которым Лев восторгался. В 1930-х годах Лев также был одержим личностью Петра I, монарха, который успешнее, чем кто-либо еще, соединил Восток и Запад в ходе реформирования России. Лев испытывал по отношению к Петру и восхищение, и ненависть, однако в конце концов не справился с обилием материала и не сумел закончить биографию царя. Кто-то счел бы это напрасно упущенным временем, но Лев использовал приобретенные в такой работе навыки для написания биографий Николая II и иранского шаха.

Серия статей о визите энергичного афганского монарха Аманулла-хана в 1928 году в германскую столицу, которые Лев написал для «Ди литерарише вельт», а также для ряда других изданий, позволила ему совместить собственное восприятие Востока и Запада с анализом политических событий. Хотя в статьях дан унылый географический и политический ландшафт Афганистана («страна населена дикими, враждующими племенами… которые ненавидят все иностранное и охраняют свои границы на небольших, некрасивых лошадках, пристально разглядывая вооруженные караваны, идущие издалека, и указывая им на пирамиды из черепов, которыми до недавнего прошлого здесь отмечали существующие границы»), в них ощущается горячая надежда на то, что у этой страны «в отличие от прочих мусульманских стран, у которых довольно неприглядное настоящее покоится на фундаменте славного прошлого, нет прошлого, однако существует великое будущее». Лев закончил портрет Аманулла-хана афганскими стихами в честь этого правителя, задумавшего модернизировать свою страну.

Такое сочетание репортажа, политического комментария и среднеазиатской поэзии с ее размеренно льющимися поэтическими строками было самым желанным для целей «Ди литерарише вельт». Эсад-бей стал «восточным корреспондентом» еженедельника, и ему предоставили полную свободу творчества.

Среди тех, кто также регулярно писал для этого еженедельника, были такие замечательные личности, как Эгон Эрвин Киш, Валериу Марчу и Вальтер Меринг. Последний, саркастичный автор скетчей для кабаре, дадаист, литератор и критик, стал близким другом Льва.

Не только после работы, но и до, и во время ее авторы «Ди литерарише вельт» отправлялись в кафе «Мегаломания», как они прозвали «Запад» на Курфюрстендамм. Там «рыжеволосый горбун» — официант по имени Рихард — «служил посредником

между тщеславными, ершистыми клиентами заведения, поскольку эти люди рассматривали собственный талант с той же серьезностью, с какой армейские офицеры относятся к собственным наградам». Это описание Меринга запечатлело колоритную, экзотическую атмосферу, что царила в кафе «Мегаломания», где с одобрением встречали самые эксцентричные выходки.

Одной из самых близких Льву по духу и самых ярких фигур того периода была Эльза Ласкер-Шюлер. Эта немецкая поэтесса, еврейка по национальности, была известна в Берлине тем, что называла себя «царевич фиванский Юсуф» (и даже в своей биографии утверждала, что родилась в египетских Фивах). Реакция на Ласкер-Шюлер была неизменно резкой, полярной: сатирик, автор политического кабаре Эрих Мюзам считал, что в ее поэмах «пылал огонь восточной фантазии». А вот граф Гарри Кесслер записал у себя в дневнике: «Я годами старался избегать встреч с этой женщиной». Кафка, в свою очередь, высказал мнение, что ее поэмы суть «результат беспорядочных мозговых спазмов, характерных для горожанки с повышенной возбудимостью». Карл Краус назвал ее «помесью архангела с торговкой из рыбных рядов». Так или иначе, не заметить ее было невозможно. Ласкер-Шюлер утверждала, что способна говорить на «азиатском» языке, который на слух был несколько похож на древние речения библейских иудеев, которых сама она называла «иудеи-дикари». Однажды в Праге полиция арестовала ее за то, что она проповедовала в церкви на этом самом «азиатском» языке перед собравшейся вокруг нее, но вконец озадаченной толпой. Ее представления об «иудеях-дикарях», не испытавших изнуряющего воздействия двухтысячелетней жизни в рассеянии, постепенно получали все большую популярность. В ее произведениях рассказчики, от лица которых ведется повествование, — почти всегда арабы, тогда как ее голос от третьего лица обычно рассказывает истории об иудеях[110]. Художник Оскар Кокошка, друг Лас-кер-Шюлер, вспоминал, как они ходили по улицам Бонна, причем она шествовала в своем костюме «евреев-дикарей»: «Шаровары, как у обитательницы гарема, тюрбан, длинные, черные волосы, сигарета на отлете, в длинном-предлинном мундштуке. Над нами, разумеется, все потешались, нас высмеивали целые толпы прохожих, собравшихся зевак, дети приветствовали нас громкими криками восторга, а разгневанные студенты только что не поколотили». Ласкер-Шюлер давала своим друзьям загадочные, дурашливые прозвища — одного называла Великим халифом, другого Далай-ламой. Философ Мартин Бубер был у нее Властителем горы Сионской, а поэт

Готфрид Бенн — Нибелунгом, а порой просто Варваром. Всю компанию своих друзей она называла «индейцами». В кафе «Мегаломания» она обычно появлялась в обществе богатого поэта-футуриста Филиппо Томмазо Маринетти, которого все звали просто «Том» и который ей нравился уже потому, что родился в Александрии.

В этих прокуренных помещениях, где витали безумные идеи и царило невероятное позерство, новоявленный литератор и эрудит по имени Эсад-бей оказался совершенно своим — пусть он и родился в Азербайджане, носил чалму, кинжал за поясом, но всем он был почему-то известен как Лео Нусимбаум. Завсегдатаи этих кафе оказались идеальной аудиторией для устных миниатюр Льва на восточные темы. Впрочем, он старался для себя самого. Ведь для завсегдатаев кофеен самым важным было собственное восприятие — и еще, что немаловажно, в их среде никому не было дела до размеров состояния присутствующих или же наличия у них университетского диплома.

Меринг, на десять лет старше Льва, был уже знаменит, и это он, по-видимому, ввел Льва в круг постоянных посетителей литературных кафе. Правда, и Лев порой мог оказать нужную поддержку приятелю, который нередко впадал в хандру. Меринг чаще всего выступал на подмостках кабаре с примерно такими же песнями и репризами, каким Джоэл Грей[111] подражал в бродвейском мюзикле, а потом и в кинофильме «Кабаре». Вообще же политический театр в Берлине был наиболее интересным, пожалуй, еще при кайзере, хотя сегодня это может показаться невероятным; причем тогдашние шутки представлялись зрителям куда более смешными из-за деятельности имперской цензуры. Меринг царствовал на сцене кабаре в годы их расцвета — с начала революционных событий 1919 года до конца «года инфляции», то есть 1923-го. Впоследствии номера в берлинских кабаре из своеобычного варианта водевильных представлений скатились к чистому бурлеску, превратившись в постановки музыкальных ревю с шеренгой танцовщиц, исполнявших канкан, и заменив зрелище, пусть и развлекательное, эстрадное, но заставлявшее думать. Главным конкурентом таких танцевальных ревю стали заведения с развлечениями куда более низкого пошиба: стриптиз с голыми девицами. К 1927 году в Берлине было множество ярких, зазывных неоновых реклам, приглашавших посмотреть представления под такими названиями: «Мир без покровов, все обнажено» или «Вот так номер: целая тысяча голых женщин!» К середине 1920-х годов истинное кабаре превратилось в крайне политизированное зрелище, поскольку представления ставили и агитационно-

пропагандистские группы коммунистов («бригады агитпропа»), и близкие к нацистам эстрадные артисты, чьи номера были выдержаны в «народно-патриотическом», националистическом духе. Для актеров и авторов прежнего кабаре, таких, как Меринг, последнее было попросту невыносимо[112]. Может быть, именно Лев подал ему мысль уехать из Берлина и отправиться в путешествие по Алжиру. Но как бы ни возникла сама идея, поездка безусловно придала ему новые силы, и ее результатом стало первое прозаическое произведение Меринга «Алжир, или Тринадцать чудес оазиса».

Лев с большим энтузиазмом отрецензировал книгу своего друга для «Ди литерарише вельт», высказав суждение, что обычные путеводители, представляя Восток лишенным души, вводят в заблуждение европейцев, тогда как в этом повествовании исполненного премудрости автора, который прежде не отваживался съездить куда-нибудь дальше Будапешта, можно ощутить «истинный дух Востока». Главное в том, что, как писал Лев, Меринг везде и всюду видел и слышал поэзию, а «ведь сегодня Востока больше не существует, или же мало что сохранилось от него, или же он скрывается от непосвященных, так что узреть его способен лишь взор поэта… Все вы, кто прежде не бывал на Востоке, кто способен лишь мечтать о землях под знаком полумесяца, вам не нужно обращаться к описаниям путешествий или же к отчетам многочисленных королевских и некоролевских академий наук — вам следует взять в руки “Тринадцать чудес оазиса” Вальтера Меринга».

Однако широкая публика не стала читать Вальтера Меринга. Она отдала предпочтение Эсад-бею.

До ухода из «Ди литерарише вельт», в год, когда ему исполнилось двадцать восемь лет, Лев успел опубликовать в этом еженедельнике сто сорок четыре статьи — это даже больше, чем написал для него Вальтер Беньямин, еще один любимый автор Вилли Хааса. Не стоит забывать, что у Льва за это время еще вышло полдюжины книг, которые пользовались большим читательским спросом. Как вспоминал впоследствии приятель Льва и его будущий соавтор Джордж Сильвестр Вирэк, Эсад-бей был способен, зайдя в какую-нибудь комнату, появиться оттуда через несколько часов с уже практически завершенной рукописью. Пусть это и преувеличение, однако Лев в самом деле писал тогда так много и так гладко, что это представлялось прямо-таки невероятным. К 1934 году Вернер Шендель[113], занимавшийся его делами на правах литературного агента, обратился ко Льву с просьбой, наверняка показавшейся весьма необычной автору бестселлеров, на счету которого уже было семнадцать изданий на

разных языках мира. Шендель просил своего клиента… «не публиковать слишком много книг: не следует слыть слишком плодовитым, пусть между книгами будет хотя бы годичный перерыв».

Подписывая свои статьи псевдонимом Эсад-бей, Лев выступал в роли эксперта по вопросам Востока в обоих смыслах этого слова: как таинственного, «азиатского» Востока, мира ислама и прочих неевропейских религий, так и России (то есть Советского Союза), находившейся к востоку от Европы. И там и там хватало фанатиков и могущественных правителей, пусть их называли царями и комиссарами или султанами и шахами — это лишь добавляло «Востоку» ореол таинственности и опасности, усиливая его очарование, приковывая к нему внимание. Помимо того, освещая события на Ближнем Востоке, можно было воспользоваться возможностью написать что-нибудь в антифранцузском духе, а это всегда было популярно в Германии.

И Хаас, и Меринг, равно как и прочие коллеги Льва, по-видимому, знали о его истинном происхождении, однако никто из них не высказывался на этот счет публично. Когда вышла первая «автобиографическая» книга Льва, «Нефть и кровь на Востоке», в «Ди литерарише вельт» на нее появилась рецензия без подписи, и там был такой отзыв о постоянном авторе еженедельника: «Нам, конечно, известен Эсад-бей — автор нашего издания, однако, как оказалось, на самом деле мы до сего дня ничего о нем не знали. До сих пор мы считали это имя его псевдонимом, а теперь в изумлении взираем на его причудливые биографические зарисовки, написанные азиатом, родившимся в Баку, столице Азербайджана, сыном мусульманского аристократа и революционерки из среды русской интеллигенции». Трудно сказать, что это означало: может быть, сам Хаас притворился столь неосведомленным, а может, сотрудники редакции действительно не понимали, кто был родом их коллега, этот эмигрант из России, рядившийся в кавказские костюмы. Большую часть своей жизни, пока судьба не забросила его туда, где он уже не был в состоянии шутить над подобными вещами, Нусимбаум поддерживал своеобразный комический диалог со своими друзьями-писателями относительно собственного «чудесного превращения» из Льва в Эсада. Нет, он не подтрунивал над своим обращением в мусульманскую веру, как не позволял делать этого и другим. Но в обществе тех, кто, как ему казалось, был способен понять его (а это были по большей части его друзья еврейского происхождения), он считал, по-видимому, возможным не утаивать произошедшей с ним метаморфозы. С другими людьми он был настороже, уходил в себя, становясь все больше и больше

«человеком с Востока», то есть все сильнее ощущая себя Эсад-беем.

По-настоящему же Льва интересовала лишь Правда — интеллектуальная и эмоциональная и, по его убеждению, отнюдь не равная простой констатации фактов[114]. В знаменательной статье, написанной для «Ди литерарише вельт», где она была напечатана под заголовком «Ориентальный миф Ленина», Лев поставил Ленина в контекст трехтысячелетней истории Востока с его идолопоклонством и мифотворчеством. Для него покойный лидер русской революции — это, как он писал, «джинн, бессмертный дух, ведь в самой России, невзирая на Третий интернационал, Ленин также стал популярным в народе святым. Во многих деревнях его портрет висит рядом с ликами привычных святых». Именно Лев в своей книге «Сталин: карьера фанатика» (1931) разоблачил кавказца Сталина, этого жестокого мафиозо из дикой Грузин. Другой ранний биограф ошибочно изобразил Сталина как истинно русского человека, хотя на самом деле тот с трудом изучил русский язык, будучи почти взрослым[115]. Если портрет Сталина, представленный Львом, и напоминал, как отметил один из американских рецензентов, чикагского гангстера, ему все же удалось тогда понять то, чего еще не успело осознать большинство журналистов. А когда рецензенты жаловались, что Эсад-бей пишет неправдоподобно, именно они порой оказывались не правы. Критик из «Таймс литерари саплмент», написавший рецензию на книгу Льва о Сталине в 1932 году, заметил, что она блистательна с точки зрения журналистики, однако «Эсад не смог убедить нас в том, что Сталин способен на неопределенно долгое время удержать власть, которая сегодня в его руках. Восточные правители, случалось, в прежние эпохи сильно выходили за рамки, однако, по мере того как Россия будет становиться все более индустриальной страной, ее все труднее удастся контролировать обычным применением силы». Недоверие критика характерно для восприятия как Сталина, так и Гитлера в ранние годы их правления, хотя иллюзии в отношении Сталина просуществовали куда дольше, они продолжались и после его смерти. Лев одним из первых показал его жестокость, а также разоблачил принципиальную, основополагающую преступность безжалостной системы, одним из создателей которой он был.

Ошибки, которые действительно допустил Лев в своей книге, вероятно, были результатом той скорости, с которой она была написана. Ведь всего за четыре года — с 1929 по 1933 — он издал большинство своих главных произведений: после «Нефти и крови на Востоке» это были «Двенадцать тайн Кавказа», «Магомет»,

«Сталин» и «ОГПУ: заговор против всего мира» — история русской тайной полиции при большевиках. И это параллельно с публикацией статей в немецких, пражских, американских газетах и журналах. Некоторые книги, такие, как «ОГПУ», были написаны с привлечением огромного числа источников; в других источники не использовались или, как, например, в «Сталине», сочетались с анекдотами и слухами. В целом все его произведения документального жанра масштабны, полны размышлений о ходе истории и представляют незабываемые портреты главных героев.

Благодаря «Ди литерарише вельт» Лев сформировался как звезда веймарской публицистики в амплуа «человека с Кавказа». Хотя он получил большую известность и на западном берегу Атлантического океана, главными для него оставались немецкие читатели. Курт Арам[116], хорошо известный тогда автор исторических романов, назвал «Нефть и кровь на Востоке» «одной из самых интересных, занимательных и информативных книг нашего времени», а Карл Хофман, другой известный писатель той поры, приветствовал «политическую романтику» этих воспоминаний. Книга эта очень хорошо продавалась в Германии, вскоре став и международным бестселлером. Она получила благоприятные отзывы в большинстве газет Англии и Европы, ее тиражи быстро разошлись во Франции, Голландии, Испании и особенно в фашистской Италии. Широкое признание и положительная оценка трудов Льва в конечном счете оказали решающее влияние на его жизнь. В рецензии на итальянское издание «Нефти и крови на Востоке» в римском журнале говорится, что автор книги — «человек весьма способный и располагает к себе как рассказчик», притом «обладает хорошим чувством юмора». Тем не менее сразу после появления «Нефти и крови на Востоке» несколько политически ангажированных немецких рецензентов попытались убедить читателей, что лучше не брать эту книгу в руки и, так сказать, держаться подальше от ее автора. Льва воспринимали как своего рода этнического трансвестита, если не хуже. Эльза Ласкер-Шюлер могла сколько угодно изображать Тино из Багдада или царевича Юсуфа, но при этом она оставалась еврейской поэтессой, пишущей по-немецки. В ту пору многие журналисты и ученые еврейского происхождения увлекались Ближним Востоком и писали о нем, однако никто из них не шатался по Берлину с тюрбаном на голове, никто не рассказывал о своем родстве с предводителями воинственных племен и уж точно никто не выступал под причудливым турецким именем.

Статья из «Дер нае остен», влиятельного журнала правого толка, была типичной: Эта книга — одно из самых жалких

изданий последних лет. <…> Автор, который назвался Мохаммедом Эсад-беем и разыгрывает из себя татарина, сына нефтяного магната из Баку, оказался евреем, отошедшим от веры своих предков, по имени Лео (Лейб) Нусимбаум, причем родился он в 1905 году в Киеве, а отец его — еврей из Тифлиса по имени Абрам Нусимбаум. Если вдуматься во все эти байки, например, будто автор еще в десятилетнем возрасте высказывал угрозы российским министрам или будто он родственник бухарского эмира и эксперт в области мусульманских обычаев, можно весьма четко осознать всю гротескность и нелепость написанного в ней. Истинные мусульмане, по-видимому, со всей твердостью отвергнут этого, с позволения сказать, единоверца, этого «Мохаммеда Эсад-бея». (Эсад, по-арабски «асад», = лев = Лейб = Лео.)

Рецензия завершалась соображениями, что ни один еврей не способен отобразить истинную картину Востока и что ни одна из стран, оклеветанных в этой книге, ни Азербайджан, ни Армения, ни Турция, скорее всего, не оставят без ответа «клеветнические заявления и оскорбительные выпады» со стороны этого «еврея, отошедшего от веры своих предков».

В то время как большинство нападок на Льва носило, по сути, антисемитский характер, многие другие критики сочли взгляд автора на мир вполне «восточным». Один из рецензентов даже высказывал соображение, что недостатки книги проистекают из ее «излишней азиатскости», и утверждал, будто это заставляет сомневаться в ее правдивости. Всем известно, что люди Востока в целом отличаются хитростью и неискренностью, объяснял своим читателям этот рецензент, а это означает, что хотя в авторе живут одновременно и азиат и европеец, «первый из них сильнее, что, к сожалению, не сказывается на книге положительным образом».

В дополнение к представителям правого крыла, кампанию по «выведению за скобки» автора, писавшего под именем Эсад-бей, разворачивали и «истинные» мусульмане, которые также эмигрировали из Советского Союза. Свою лепту внесли и различные арабские и персидские эмигрантские организации, существовавшие тогда в Берлине. Заодно досталось и Вернеру Шенделю, ведшему дела Льва и написавшему предисловие к его книге. Критики журили его за то, что он не воспрепятствовал изданию этого «отвратительного творения» и тем самым поддержал, как они писали, «нападки в адрес Востока». Газета эмигрантов из Персии даже поместила на первой полосе статью, разоблачавшую эту «беспрецедентную клевету, направленную против Германии и распространяемую мошенником из России». А исламские организации объединились в своем протесте

настолько, что даже выпустили одностраничную листовку, так и озаглавленную «Протест», разослав ее во все ведущие газеты:

> Все содержание этих «воспоминаний» направлено против Востока, выставляя его в самом унизительном свете, а содержащиеся в них нападки исполнены ненавистью и презрением и призваны бросить тень на восточные страны и их народы, а также на их культуру, национальные традиции, образ жизни, моральные представления и даже на религиозные обряды.
>
> Мы заявляем, для всеобщего сведения, что некто, придумавший себе имя «Эсад-бей», этими своими писаниями преследует лишь одну цель — дискредитировать Восток в глазах европейцев. Его безобразная книга отмечена печатью самой непристойной агитации, и высказанные в ней суждения представляют собой, с первой и до последней страницы, ложь и клевету самого низменного сорта.
>
> При этом автор вовсе не имеет отношения к Востоку, и его на самом деле не зовут Эсад-бей. В действительности его имя — Лео Нусимбаум, и родился он 20 октября 1905 года в Киеве, на Украине. Это нам смогли подтвердить надежные источники в официальных органах. О чем еще можно говорить?!

В длинном списке подписавших присутствуют представители от дюжины мусульманских стран, а также эмигрантских кругов и националистических групп, что базировались тогда в Берлине.

Исламский институт, членом которого прежде был Лев, также присоединился к его травле. Весной 1930 года совет этой организации обвинил Льва в том, что он оскорбил «чувства исламского мира своими литературными аферами», а также официально объявил, что не желает иметь ничего общего с этим лицемерным мошенником, который выдавал себя за «урожденного мусульманина, вопреки всем фактам». Управляющий делами этого общества Мохаммед Хофман, который так же, как и Лев, обратился в мусульманскую веру, набросился на Льва за то, что тот пытался «сойти за рожденного в исламе», усомнившись даже в истинности обращения Льва в ислам и высказав мнение, что это всего лишь ловкий трюк.

Все это были звенья в цепи доказательств, что Эсад-бей, он же Лев, он же Лейб, он же Лео, был всего-навсего «киевским евреем», то есть даже не выходцем с «благородного Востока», с Кавказа, а попросту евреем из местечка.

Ярость мусульман-эмигрантов не знала границ. За пределами

Германии парижский журнал «Прометей», орган Комитета независимости Кавказа, напечатал обозрение под названием «Разоблаченная мистификация», в котором критик Ибрагим Чулик[117] поносил «Нефть и кровь на Востоке», называя эту книгу «порнографическим отображением восточной культуры». В биографии Магомета, принадлежавшей перу Льва, мусульманская газета, которая издавалась в Праге, усмотрела «резкие и коварные нападки на наших братьев по вере в Азин и Африке», тогда как еще одна рецензия назвала книги Эсад-бея «невежественными актами саботажа против ислама». Везде в мусульманской прессе обязательно упоминалось его еврейское происхождение, тогда как прочие зарубежные рецензенты либо игнорировали этот факт, либо же не имели об этом никакого представления. Главным подстрекателем исламской фракции в нападках на Льва был азербайджанский националист Хилал Мунши, живший тогда в Константинополе. Он свел воедино все выпады против Эсад-бея, порочившие его репутацию, издав на немецком и на турецком языках целую серию памфлетов. Мунши с большим пренебрежением отмечал: «Наш великий и скандальный автор всего лишь молодой человек двадцати пяти лет, проживающий вместе с отцом — “аристократом” по имени Абрам Нусимбаум (на самом деле евреем-выкрестом 1875 года рождения)». Мунши изобличил Льва в том, что он поступил учиться в Берлинский университет по фальшивым документам, не представив аттестата об окончании школы и воспользовавшись подозрительным псевдонимом Асед Бей-Нусенбаум[118].

Исламские националисты попытались наладить контакты с влиятельной Немецкой национальной народной партией, которая, будучи в рейхстаге главной националистической партией правого толка[119], имела тогда бóльшее влияние, чем партия Гитлера, — они потребовали, чтобы ННННП предприняла какие-то «действия» в отношении этого самого Эсад-бея Нусимбаума. Однако в 1930 году у ННННП нашлись более неотложные дела: эта партия пыталась тогда отразить лобовую атаку нацистов, пытаясь перетянуть на свою сторону голоса избирателей правого крыла. Правда, если в парламенте усилия разъяренных мусульман зашли в тупик, у них неожиданно возник новый союзник — германская армия.

Бывший начальник штаба Восточной армии на Кавказе подполковник Эрнст фон Паракин, прочитав «Нефть и кровь на Востоке», счел себя глубоко оскорбленным. Для него, правда, источником обиды стали всего лишь восемь страниц в этой книге, на которых Лев описывал кровавое побоище, случившееся в Баку, когда город пал в результате осады турецко-германскими

войсками в сентябре 1918 года. Причем Лев особо указывал, что не был очевидцем происходившего (ведь они с отцом вернулись в Баку из своих приключений в Персии уже после того, как произошла эта бойня) и что, описывая эти события, основывался на вторичных источниках. Хотя текст Льва исполнен сочувствия к жертвам этой резни — армянам, он ни в чем не обвинял германское командование; более того, он правильно показал роль немецких частей в военном отношении как второстепенную — по сравнению с турецкой армией. А турецкой «Армией ислама»[120] командовал не кто иной, как Нури Паша, двадцатисемилетний брат Энвера Паши, диктатора младотурок, вдохновителя и участника геноцида армян в 1915 году. Генерал Нури Паша направил свою армию на Баку в сентябре 1918 года в рамках задуманного его старшим братом «туранского» завоевания Средней Азии. Подчеркивая, что немцам удалось несколько сдержать масштабы кровопролития, Лев все же отмечал, что, пока шла резня, немцы в основном закрывали на происходившее глаза. Более того, он писал, что по прошествии трех дней немцы попросту приказали туркам прекратить бойню, то есть намекнул, что они могли бы поступить так и раньше. Этот небольшой эпизод серьезно задел германских ветеранов войны, воевавших на Кавказском фронте и болезненно воспринимавших любые намеки на то, что судьба армян зависела от них.

Фон Паракин тут же разослал свои обвинения в адрес Льва в крупные газеты Берлина, Гамбурга и Мюнхена. В отличие от эмигрантов-мусульман, фон Паракин опровергал Льва сдержанно и рассудительно, отстаивая честь германского офицера[121]. В 1920-х годах германские политики и военные потратили на это немало времени и сил, ведь тогда появилось множество сообщений о жестокостях, совершенных ими за годы Первой мировой войны. Вслед за прямолинейными возражениями кадрового офицера последовали более сильные удары. Различные правые журналисты подхватили высказанные в статье из «Ближнего Востока» идеи, связали их с обвинениями фон Паракина и использовали все это в качестве основы для собственных сочинений, желая поскорей разоблачить «этого еврейского фальсификатора истории», марающего честь германской армии. Всем хорошо известно, что германские солдаты и офицеры никогда не наносили какого-либо ущерба гражданским лицам! Да они в принципе не могли принимать какого-либо участия в этнических преследованиях столь низменного и примитивного характера! То, что нападавшие на Льва обзывали его «еврейским фальсификатором», а его книгу квалифицировали не иначе как «еврейская фальсификация»,

говорило само за себя, особенно если учитывать, что картина, изображенная Львом, была достаточно лояльной.

Берлинская полиция тем временем начала расследование в отношении «литературного аферист а», однако ничего подозрительного или противозаконного в его прошлом не обнаружилось. Союз германских писателей выступил с публичным опровержением клеветнических заявлений. Его автор Вернер Шендель, на счастье Льва, был в этой организации важной фигурой. В опровержении говорилось, что союз выступает в защиту «своего члена, господина Эсад-бея Лео Нусимбаума» от всяческих обвинений в совершении каких-либо правонарушений. К большому разочарованию Льва, псевдоним Эсад-бей так и не был официально признан его настоящим именем. В Германии вплоть до наших дней очень трудно официально изменить свое имя. В статье под заголовком «Нефтяные сенсации», помещенной в октябре 1930 года в центристском издании «Дойче рундшау», публицист Карл Хофман попытался осветить разрастающийся скандал вокруг Эсад-бея в некоей перспективе, упомянув целый ряд фактов в противовес бесконечным обвинениям и контробвинениям:

> После появления книги [«Нефть и кровь на Востоке»] утверждалось, будто в ней полным-полно заведомой лжи и что Эсад-бея вообще не существует… Он, однако же, существует. Имеется и документ от 18 марта 1930 года, устанавливающий его личность, это — удостоверение, выданное «Представителем верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев в Германии». Эсад-бей не получил этого имени от рождения, на самом деле его зовут Лео Нусимбаум. Его семья вовсе не принадлежит к тем, кого принято называть «восточными евреями», однако она не является и мусульманской — нет, это выходцы из иудеев-азиатов, чей образ жизни близок к восточному. Его отец, Абрам Нусимбаум, родом из Тифлиса, имеет собственность, которая оценивается в несколько миллионов. Лео Нусимбаум стал мусульманином уже в Берлине. Документ от 13 августа 1922 года, подписанный духовным представителем еще существовавшего на тот момент посольства Османской империи, свидетельствует, что он получил имя Эсад. Он, возможно, несколько лукавит, говоря о собственном происхождении и уровне жизни, или же слегка подправляет истину и преувеличивает, но все это никак нельзя назвать фальсификацией.

Однако сообщество противников Льва, состоящее из мусульманских националистов, русских эмигрантов, офицеров германской армии и расистски настроенных литературных критиков, отнюдь не успокоилось. Потерпев неудачу в парламенте, они перенесли кампанию против «киевского еврея» и «литературного авериста» в германское Министерство иностранных дел. Они писали туда, что книга Эсад-бея способна «повредить репутации Германии в странах Востока, нарушить дружественные отношения с ними и развязать за рубежом новую охоту за ведьмами, целиком построенную на ложных утверждениях». Они потребовали, чтобы «этой литературной мистификации был положен конец посредством принятия надлежащих мер против дальнейшего распространения книги, а также против самого автора».

И Льва в конце марта 1930 года действительно вызвали в Министерство иностранных дел Германии, где он предстал перед неким советником посольского отдела по имени Курт Цимке. Лев принес с собой лестную рекомендацию от главы литературного отделения Академии искусств и президента Союза писателей, некоего Вальтера фон Моло, и рекомендательное письмо все того же Шенделя. К счастью для Льва, советник посольства, который, вообще говоря, был настроен к нему не слишком дружелюбно, сам «пописывал» на досуге. И ему не хотелось вызывать к себе неприязнь со стороны немецких издателей, многие из которых были друзьями этого молодого автора и людьми влиятельными. Но все-таки не так уж, наверное, и трудно, заметил господин Цимке, изъять тот самый пассаж, который вызвал критические замечания со стороны подполковника фон Паракина и всех остальных? Что ж, Лев согласился рассмотреть это предложение.

Дело происходило в начале 1930 года, и на тот момент Цимке попросту не имел права запретить эту книгу, поскольку в Германии еще существовала свобода печати. Впрочем, всего через три года никакой свободы печати уже не останется — как и издателей-евреев. Но на тот момент Министерство иностранных дел Германии предпочло тихо положить под сукно «дело господина Эсад-бея Лео Нусимбаума».

В то время как мусульманские националисты и правая пресса нападали на Льва за недостоверность его «восточных текстов», некоторые рецензенты прокоммунистического толка взъелись на него за нелицеприятное изображение Советской России и революции 1917 года. Ведущая левая газета «Форвертс», орган Социал-демократической партии Германии, весьма пренебрежительно отозвалась о его книгах «Сталин» и «ОГПУ», заявив, что Эсад-бей попросту не способен правильно понимать

события в России, поскольку у него «отсутствует надлежащая диалектически-материалистическая подготовка».

Нападки и справа, и слева сделали Льва неоднозначной, даже одиозной фигурой в Германии, а то, как он реагировал на любые выпады — загадочно улыбался и продолжал работать, — заставляло гадать: какие же у него, на самом деле, политические взгляды? Каково его истинное происхождение? В чем настоящие причины, заставляющие этого «литературного афериста» писать? Разнородные темы его писаний, его странная одежда, его сарказм, его своеобразное немецкое произношение со специально отработанным кавказским акцентом — все это не позволяло Льву попасть ни в одну из понятных, принятых его современниками категорий. Стрелы, которые в него выпускали, жалили больно, но летели в разных направлениях, и в результате одна пражская газета обвинила его в проведении «чисто большевистских, а не исламских интересов», а в Варшаве его разоблачали как «марксистского оборотня». Это разоблачение было написано в 1938 году, причем у него было три автора — прусский аристократ и два мусульманских националиста-эмигранта. Для них, очевидно, понятия «еврей» и «марксист» были синонимами.

Внешне Лев никогда не реагировал на кипевшие вокруг него споры. На многочисленные обвинения он ответил одиночным залпом: короткой, иносказательной статьей под названием «Лгать воспрещается!» Казалось, что этот человек, переживший революцию, бегство из родной страны и эмиграцию, не позволяет германской внутриполитической сумятице нарушить его душевное равновесие.

Скандалы вокруг автора, конечно же, положительно сказались на количестве проданных экземпляров, и Лев (а точнее — Эсад) стал знаменитым. Молодой человек, который еще недавно испытывал «сто оттенков голода и жажды», имевший реальную перспективу прожить жизнь всеми позабытым беженцем, не видел ничего страшного в том, чтобы оказаться козлом отпущения для какого-то сборища антисемитов и мусульманских националистов. Правда, нацисты получали все больше голосов на выборах, однако даже это, похоже, не беспокоило Льва. Он продолжал писать, он работал, как заведенный, создавая десятки статей, работая над множеством вещей одновременно. Он написал еще одну книгу о Кавказе, биографию Ленина, книгу по истории поисков нефти. Начал собирать материал для биографий Ататюрка, Резы Пехлеви и даже бывшего президента США Уоррена Гардинга (он заинтересовал Льва в связи со скандалом вокруг нефтяного месторождения «Типот-Доум»). Он по-прежнему был ведущим

корреспондентом «Ди литерарише вельт», а также начал брать интервью с влиятельными лицами для американских журналов.

За исключением фон Паракина, недоброжелатели молодого автора были из националистов и продажных журналистов. Многие мусульмане попросту неверно интерпретировали юмористические зарисовки Льва, посчитав их нападками на мусульманские движения за обретение независимости, хотя Лев вовсе не имел этого в виду. Правда, когда дело доходило до обвинений в фальсификации биографических сведений, доводы его недругов оказывались вполне резонными. Впрочем, хотя в обществе Лев неизменно утверждал, что его отец — мусульманин благородного происхождения, жил он в одной квартире с собственным отцом, которому и в голову не приходило скрывать, что он — еврей-предприниматель по имени Абрам Нусимбаум. В документах Льва, в заявлениях о выдаче виз мы постоянно видим всю эту странную смесь: тут и Лев Нусимбаум, и Эсад-бей, и Асадж-бей.

Однако самое последнее обвинение (в том, что автор резких разоблачений большевистского террора был якобы «марксистским оборотнем») свидетельствует, насколько загадочной представлялась современникам фигура Льва. «Кто этот самый Эсад-бей?» — писал Троцкий своему сыну в 1932 году, уже находясь в ссылке. Ответ на этот вопрос желали получить многие, но в то время и сам Лев едва ли знал его.

Упреждая своих «недружелюбных» и лишенных чувства юмора критиков, Лев еще во введении к своей второй книге «Двенадцать тайн Кавказа», написанном в беззаботном, легком тоне, заявил: ему, разумеется, известно «на основании собственных наблюдений, что на Кавказе существуют и гимназии для девочек, и больницы». Читатели его статей не могли не отметить его двойственного отношения к торжеству западного «прогресса» на Востоке. Оно проистекало не из желания оскорбить Восток, а из ностальгии, ощущения утраты исчезающих традиций, свидетелем которых ему довелось быть в годы его юности.

«Двенадцать тайн Кавказа» — произведение, посвященное «своеобразной лавке древностей мировой истории, поскольку тут, на Кавказе, бережно сохранялось все, что повсюду уже перестало существовать, изжило себя, было забыто». Лев, бывший главным разоблачителем коммунистического наступления на Кавказ, прекрасно понимал, что современные научно-технические достижения способны оказывать и разрушительное воздействие, однако в своих произведениях о мусульманском Востоке он избрал юмористически-романтический тон. Этот тон мусульмане-

эмигранты воспринимали, как правило, совершенно неверно, усматривая в нем насмешку. Однако, если сегодня прочитать частную переписку Льва и особенно сами книги, окажется, что это вовсе не так. Самого себя Лев воспринимал как «восточного человека» в гораздо большей степени, чем как европейца или еврея. На самом же деле он был и тем, и другим, и третьим.

«Многие, кого я знал, множество событий, что я видел, сделали меня полным космополитом», — писал он в 1931 году в статье из серии «История моей жизни». Такая формулировка в Германии 1931 года была равносильна признанию того, что он — еврей, однако Льву, по-видимому, это было безразлично. Его идеалом был Кавказ: ведь там еврейское происхождение оказывалось лишь одним из элементов грандиозной мозаики.

В самом деле, Кавказ Льва отличался от Кавказа его хулителей. Одна из самых удивительных глав в «Двенадцати тайнах Кавказа» описывала «политическую Швейцарию Кавказа» — Долину хевсуров, или Хевсуретию: «Там любой может, наконец, ощутить себя в безопасности». Лев писал:

> Хевсуретия находится не так далеко от Тифлиса, однако страна это независимая, свободная, и ни один полицейский не отважится преследовать свою жертву, если она окажется там. Громадная скалистая стена окружает Хевсуретию, отделяя ее от всего остального мира. С этой скалы свисает длинный канат — далеко-далеко вниз, в пустоту… Кто смел, может ухватиться за канат и спуститься по нему туда, к хевсурам. Полиция ни за что не последует за ним. Первые поселенцы так, по-видимому, и оказались на этой земле. Ведь только беглец, только беженец осмелится ухватиться за канат, чтобы быть принятым, если он того хочет, в общество хевсуров и навсегда получить защиту от любых опасностей.

Рецензент из «Нью-Йорк геральд трибьюн» замечал, что автору нужно в следующий раз давать сведения более точные. Но Лев опубликовал большую статью о Хевсуретии в географическом журнале. Хевсуры не признают Иисуса, они готовят пищу согласно правилам кашрута, у них распространено многоженство, и они обожают пиво. Из уважения ко всем религиям они отдыхают и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, а также еще и в понедельник — «чтобы доказать, что они отличаются от всех прочих, что они — свободный народ и могут поступать, как им заблагорассудится».

Вот откуда родом был Лев — с того Востока, где в горном

краю, изолированном от политических и этнических конфликтов, находится прибежище, куда не доберется тайная полиция и где любого, кто достаточно смел, чтобы спуститься в глубокое ущелье по отвесному канату, принимают, как родного. Короче, с Востока его воображения.

Глава 11. Еврейский ориентализм

В свои последние записи Лев включил фантастические сцены, в которых он изображает себя в комическом облике ученого профессора, вконец затерявшегося среди томов «иероглифов» и «священных надписей», профессора, чья слава возникла после странствий по пустыне и приключений, примерно таких, как в фильмах про Индиану Джонса. Я так и не смог найти следов каких-либо его путешествий в Саудовскую Аравию и Ливию, хотя Лев описал их и в предсмертных записках, и в других текстах. Как человек, желающий заново изобрести собственную жизнь, он оказался в хорошей компании. Берлин времен Веймарской республики был крупным центром деятельности евреев-востоковедов, причем некоторые из них принимали активное участие в расцветшем тогда сионистском движении, входя в его различные, порой противоборствующие фракции. Однако наиболее значительные фигуры ориенталистики (и среди них Лев Нусимбаум) занимались возрождением древней традиции: их ориентализм призван был объединить иудаизм и ислам, Восток и Запад, он зиждился на совместном и гармоничном прошлом; они же стремились способствовать и зарождению будущего, также совместного и гармоничного. Евреи-востоковеды были впоследствии забыты, и притом настолько, что сам термин «ориентализм», «ориенталистика» стал ассоциироваться с чем-то сугубо отрицательным, прежде чем Эдвард Саид возродил его популярность в своей известной, ставшей бестселлером книге 1978 года.

Лев Нусимбаум построил свою жизнь и всю карьеру на настоятельном стремлении разъяснить Западу, в чем суть Востока, говорил даже о превосходстве второго над первым (со своей «фирменной» иронией, из-за которой на него порой так гневались некоторые эмигранты). «Двенадцать тайн Кавказа» были изданы в Германии в тот год, когда у нацистов на выборах произошел «прорыв»[122]. Его книга предлагала возможность вырваться из атмосферы сгущающейся тьмы, которая со всех сторон наступала на завсегдатаев «Мегаломании». Ведь в горах Кавказа потомки рыцарей-крестоносцев и воинов ислама не только жили в гармонии с евреями, но и — в изображении Льва — практически объединяли свою судьбу с их судьбой.

Хотя Лев следовал традиции еврейской ориенталистики, восходящей к таким фигурам XIX века, как Бенджамин Дизраэли, Арминиус Вамбери и Уильям Гиффорд Полгрейв («отец Коэн»), он внес в нее новые элементы. Прежде всего, в отличие от всех этих

еврейских ориенталистов Викторианской эпохи, он на Востоке родился, пусть его отец на самом деле не был ни мусульманином, ни даже «горским евреем». Вамбери, Коэн и Дизраэли, обрядившись в мусульманские одежды, приняли обычаи и образ мышления Востока для того, чтобы изменить свое положение в том мире, в котором их отцы успешно ассимилировались.

Лев принадлежал уже к той эпохе, когда подобная ассимиляция начала превращаться в анахронизм и когда революция (неважно, по русскому типу или по немецкому, то есть слева или справа) вынуждала делать выбор. Европейские евреи больше всех выиграли от политики либерализма; новый же трайбализм вновь загонял их в гетто. Как только пали прежние, имперские, монархические режимы, евреи неожиданно оказались в опасности, а ведь многие из них как раз содействовали их развалу и всячески желали этого! Но прежние империи, даже самые деспотичные, предоставляли своим подданным возможность иметь личное пространство, в пределах которого люди могли жить по-своему. Напротив, тоталитарные идеологические системы, возникшие при жизни Льва, такого пространства не оставляли. Новая Европа несла опасность для любых вольнодумцев, либералов, неудачников и вообще «не таких, как надо», но более всего — для евреев. Поиски выхода происходили на фоне нараставшего отчаяния.

В Берлине времен Веймарской республики Льву довелось встретить немало других писателей-евреев, искавших убежища от новых политических реальностей в эзотерических ориенталистских провидениях. Таким был, например, Ойген Хёфлих[123], автор книг, призывавших объединиться всех азиатов из всех стран — иудеев, мусульман, буддистов, конфуцианцев; объединиться же, по его мысли, нужно было, чтобы создать всеобщий фронт для защиты от сил европейской бездушной модернизации и массовых военных конфликтов. Хёфлих горячо приветствовал книгу Льва о Ближнем Востоке «Аллах велик! Упадок и возрождение ислама». Лев написал ее в соавторстве с Вольфгангом фон Вайзлем, одним из ведущих сионистов[124]. Фон Вайзль, правая рука Владимира Жаботинского, обожал странствовать по пустыне в мусульманских одеждах, причем его там нередко принимали за Лоуренса Аравийского.

Подобно Льву, эти фигуры Веймарской республики, многие из которых принадлежали к паназиатскому крылу сионистского движения, ратовавшему за воссоединение с мусульманами, обнаружили в странах и в культурах Востока возможность укрыться от все более усугублявшегося положения, от угроз жестокой современной реальности. На протяжении XIX века, по

мере того как идеи расовой и классовой борьбы затмевали веру во всеобщее царство разума и прогресса, жившие в Европе евреи столкнулись с отторжением со стороны окружающего их общества. Одновременно они пережили собственный сущностный кризис: возможно, современные им европейские идеалы на деле не означали гражданского равенства или даже терпимости.

Однако отчего же все более значительная группа евреев считала свое присоединение к исламскому миру выходом? Они дошли до осознания себя частью Востока — и более конкретно: мусульманского Востока — довольно причудливым и любопытным путем. Фигуры столь несходные, разноплановые, как Дизраэли и философ Мартин Бубер, сыграли свою роль в смещении еврейского духа, общих чаяний еврейства в сторону паназиатской идеи. Они заново изобрели исторический мусульманский Восток как пространство, где не существует четких этнических и межрелигиозных границ и где отсутствует антисемитизм — неважно, что действительность была куда сложнее подобных представлений.

В эпоху Просвещения европейцы привыкли изображать еврейских мудрецов и благородных восточных царевичей в одних и тех же одеяниях, и в известном смысле в европейском сознании евреи и мусульмане начали превращаться в единое целое. Многие евреи усмотрели в определении их как азиатов возможность расстаться с образом униженных, обособленных, преследуемых обитателей гетто.

В XIX веке евреи Западной Европы полюбили «мавританский стиль» в архитектуре, который напоминал им о так называемом еврейско-мусульманском симбиозе в Андалузии и в Гранаде, когда в Испании правили мусульманские халифы, и испанские евреи могли занимать в обществе беспрецедентно высокое положение. И вот по всей Европе начали строить деловые здания в мавританском стиле, а также театры, казино и, конечно же, синагоги. Именно поэтому Йозеф Рот сравнивал кинотеатр УФА на Курфюрстендамм с мечетью. В 1881 году, в связи со строительством в Берлине грандиозной, спроектированной в мавританском стиле «Новой синагоги», гордости германского еврейства, один из влиятельных журналистов-антисемитов писал: «В чем смысл их желания называться почетными гражданами Германии, если они одновременно сооружают самую большую свою святыню в мавританском стиле, по-видимому, чтобы никто не забывал, что они — семиты, азиаты, чужеродные иностранцы?» Однако евреи продолжали усердно культивировать этот архитектурный стиль, напоминавший об эпохе, когда Самуил ибн Нагрела[125] или Маймонид[126] смогли прожить такую жизнь,

какой евреи впоследствии не ведали в христианской Европе. Самое удивительное, пожалуй, в том, что подобное увлечение арабским и андалузским, или «мавританским», стилем сильнее всего проявилось в немецкоязычных странах, где жили исключительно евреи-ашкенази, которые вообще не имели никаких связей с Испанией. Ашкенази гордились мавританской традицией оттого, что она восходила к эпохе, когда евреи более, чем когда-либо еще, ощущали себя в Европе «как дома». Мода на еврейский ориентализм стремительно распространилась по всему Западу и не ограничивалась зданиями синагог или кинотеатров. Она заставила европейских евреев обратить свои взоры на мусульманскую Испанию, а также увидеть в истинном свете таких ученых, как Маймонид. Увидеть их в той роли, которую они на самом деле играли: как воплощение смешанной арабо-иудейской культуры, которую невозможно было легко и просто разделить на две отчетливо различающиеся части. Маймонид и его соратники, писатели и ученые испанской Андалузии, были экспертами в том, что касалось культуры Востока, научных представлений древних греков, математических достижений арабов и персидской поэзии. А европейские евреи с начала XIX века стали брать на себя новую роль — интерпретаторов, истолкователей культуры, нравов и образа жизни обитателей Востока. Помимо возможности найти себя, свою сущность на Востоке, их вдохновлял поворот Европы к Востоку и его культуре, поскольку мусульманский мир пребывал в состоянии упадка и застоя, мусульмане больше не были для империализма грозной силой, а стали скорее заманчивой, привлекательной целью.

Самым известным ориенталистом в годы юности Льва был Арминиус Вамбери, его книги и статьи познакомили широкую читательскую аудиторию с нравами и обычаями Востока, он оказывал услуги консультанта военным кругам и правительствам разных стран по вопросам ведения дел в исламском мире. Не подлежит сомнению, что Лев еще в отроческие годы познакомился с его описаниями путешествий по Кавказу и Средней Азии, а также с его знаменитыми автобиографическими записками. Книги и статьи самого Льва не только пестреют ссылками на «великого Вамбери», но и порой имитируют его стиль.

Вамбери, чье настоящее имя Герман Вамбергер, родился в 1831 или в 1832 году (точной даты не знал он сам) в семье венгерского талмудиста и еще молодым человеком отправился в Константинополь, где зарабатывал себе на жизнь, давая уроки и делая переводы. Достаточно скоро он стал желанным гостем у высокопоставленных турок, а за свои исключительные

лингвистические способности получил почетное прозвище Решид-эфенди («решид» — «доблестный», честный, а «эфенди» — «господин», вежливое обращение к знатным особам).

Решид-эфенди держался как турки из высших слоев общества и идеально подражал соответствующей манере речи. Погрузившись в атмосферу стамбульской жизни, он поступил на службу к великому визирю, и его высоко оценил сам султан Абдул-Хамид II (Абдул Рыжий). В 1863–1864 годах Вамбери предпринял путешествие по Персии, Кавказу и Туркестану. Он странствовал в обличье дервиша и следовал примерно теми же караванными тропами, по которым примерно через шестьдесят лет пролегал путь Льва и его отца — через Хивинское и Бухарские ханства, в Самарканд, Тегеран и Трабзон, а затем снова в Константинополь[127].

Отмечая «примитивность» Персии по сравнению с Турцией, Вамбери писал, что жители Персии, по-видимому, не имели никакого желания следовать в фарватере у Запада. Он пересек высокогорные пустыни с несколькими караванами, его спутниками были и нищие, и разбойники. Порой ему приходилось попрошайничать в близлежащих деревнях или же просто питаться любыми остатками пищи, какие удавалось найти, у него завелись вши, и он больше всего на свете мечтал о возвращении к удобствам, которые предлагал Запад. Но возвращение на родину было омрачено своего рода «культурным шоком наоборот». Он обнаружил, что надетая им маска срослась с лицом. Он чувствовал, что больше не принадлежит какому-то одному месту. «В Азии меня принимали за турка, перса или за жителя Средней Азии, но очень редко за европейца, — писал он. — Здесь, в Европе, обычно думали, что я — переодетый в европейские одежды перс или турок; вот вам результат игр с этнической принадлежностью!» Он ощутил на себе проявления антисемитизма, характерные для той эпохи и столь сильные в Будапеште: где бы он ни появлялся, писал он, все говорили: «Этот еврей лжет, он обманщик и хвастун, как и все они, его собратья по вере».

Тем не менее в 1864 году, когда он опубликовал свои заметки под названием «Путешествия по Средней Азии», они стали бестселлером повсюду в Европе, особенно в Англии, где их читали еще и в качестве ценного военного и политического руководства. Вамбери в том же году совершил триумфальную поездку в Лондон и Париж, так что подросток, чистильщик обуви из Будапешта, теперь стал личным другом принца Уэльского (впоследствии короля Эдуарда VII) и частым гостем в Виндзорском замке.

Во время своего визита в Англию Вамбери встретился с тремя поколениями британской королевской семьи: с королевой Викторией, королем Эдуардом VII и королем Георгом V.

Жизнь Вамбери была поразительной и необычной, и неудивительно, что он несколько раз писал собственную биографию. Он подружился с другим евреем-ориенталистом, известным искателем приключений Уильямом Гиффордом Полгрейвом, а также со знаменитым путешественником Дэвидом Ливингстоном, который якобы сказал ему: «Как жаль, что ваша деятельность не охватывает Африку!» Возможно, самая интересная встреча, о которой Вамбери часто рассказывал друзьям, случилась у него с тогдашним британским премьер-министром Бенджамином Дизраэли, который спросил у Вамбери, кто же он на самом деле по происхождению.

Хотя Дизраэли стоял во главе самой могущественной христианской державы, известность он приобрел еще раньше как автор популярных романов, в которых говорилось о фундаментальном сродстве между евреями и мусульманами и вообще о превосходстве всех семитов. Его воззрения представляли собой мешанину псевдонаучных представлений о расе с романтическими идеями в духе Вальтера Скотта. Бернард Льюис метко охарактеризовал мировоззрения Дизраэли как «сентиментальный семитизм». Дизраэли идеализировал атмосферу пустыни и османского двора. Еще в молодости, путешествуя по Ближнему Востоку, Дизраэли, точь-в-точь как Лев, гордился тем, что его порой принимали за турка: «Я практически турок, — писал он. — Ведь на мне тюрбан, и я курю трубку длиной в шесть футов, сидя на низком диване». Когда Дизраэли стал премьер-министром, его политика в отношении Османской империи, возможно, продлила само ее существование на целых полвека. Его паназиатская идеология предвосхитила сложнейшие сопряжения и столкновения между евреями и мусульманами, антисемитами и сионистами, интересы которых в последующие сто лет постоянно пересекались.

К моменту смерти Дизраэли (1881 год) над Европой уже начала сгущаться тень антисемитизма, представлявшего собой в некоторых отношениях и вывернутые наизнанку идеи Дизраэли о чистоте рас. Отвечая в парламенте на нападки одного антисемитски настроенного ирландского политика, Дизраэли сказал: «Да, я в самом деле еврей, и когда предки достопочтенного джентльмена еще были дикарями на безвестном острове, мои уже состояли жрецами в храме Соломона». Дизраэли бывал не меньшим расистом, чем худший из антисемитов, так, у него можно встретить, например, утверждения, что евреи —

высшие и лучшие среди людей.

Бенджамина крестили 31 июля 1817 года, когда ему исполнилось двенадцать лет, в связи с чем его невозможно было бы обвинить в отказе от иудаизма по расчету или даже по собственной воле, ведь решение принимали его родители. Это обстоятельство дало ему, христианину, возможность заняться политической деятельностью и одновременно гордиться своим еврейством. Его романтические представления о евреях как об «арабах Моисеева закона» (он воспользовался этим определением в своем романе «Конингсби») имели примерно такое же отношение к евреям-современникам Дизраэли, как рыцари Вальтера Скотта в романе «Айвенго» — к членам британского парламента в XIX веке. Недаром Дизраэли рос в эпоху, когда Вальтер Скотт был любимым писателем Англии, да и во всей Европе соперничал в популярности с такими авторами, как, например, Александр Дюма. А создавший позитивные образы евреев-аристократов Скотт как раз исповедовал идеи «расового благородства» и оказал большое влияние на интеллектуалов XIX века.

Обычно романов Дизраэли не принимают всерьез, однако порождены они вовсе не желанием оригинальничать, не чудачеством плодовитого ума — наоборот, они ознаменовали начало целого столетия воображаемых слияний, сращений Востока и Запада, которые должны были освободить порабощенные народы Востока и, одновременно, спасти евреев. В 1840-х годах Дизраэли опубликовал трилогию «Молодая Англия»: «Конингсби», «Сибил», «Танкред». И хотя в заглавиях имена молодых англичан, самый важный герой всех трех романов — таинственный старик-сефард, миллионер по имени Сидония. Этот стареющий еврейский гений родился в Арагоне, королевстве крестоносцев в Пиренеях, в семье марранов, то есть евреев, которых испанская инквизиция заставила обратиться в христианство. Он выступает в роли ментора молодых героев трилогии — умных и красивых, но наивных молодых англичан. Сидония нередко разъясняет юным героям книги истинный «расовый смысл» происходящих событий: «Раса — это все, — утверждает он, — и другой истины не существует». Впоследствии именно это место из романа будут цитировать нацисты, иронически ссылаясь на то, что автор сего мудрого высказывания — еврей. Однако, с точки зрения Сидонии, «арабы Моисеева закона» и «арабы-магометанцы» — то есть евреи и мусульмане — на самом деле лишь две ветви одной и той же благородной семитской расы. Эти давно потерявшие друг друга братья и их потомки должны объединиться, чтобы определять будущее

современного мира.

Заключительный и самый известный роман серии «Молодая Англия» — «Танкред» — более остальных наполнен идеями еврейского ориентализма. Танкред — идеальный молодой англичанин, аристократ, его обожают родственники, он честен, храбр, умен и религиозен. Танкреду предстояло найти себе «хорошую партию», стать членом парламента и в конце концов получить пост премьер-министра. Однако наивный герой книги желает пойти по стопам своего предка, сэра Танкреда, того, кто отправился завоевывать Святую землю еще в Первый крестовый поход. Родители в конце концов согласились с пожеланиями своего упрямого сына, но обратились к Сидонии с просьбой помочь ему в его духовных поисках. Танкред поражен загадочной восточной мудростью Сидонии и, отправляясь в свой мессианский поход на Ближний Восток, избирает Сидонию своим наставником. Хотя на тот момент сионизм еще не оформился как политическое движение, Дизраэли уже мечтал о божественной справедливости, которая сможет помочь евреям вернуть себе Иерусалим[128]. Основной посыл «Танкреда» сводится к тому, что Англия станет «верховной властью» на Востоке, однако она никогда не захватит «престол Давида». В этом смысле слова «Танкред» был, по-видимому, первым сионистским романом. На посту премьер-министра Дизраэли продумывал различные варианты создания еврейского государства в Палестине под эгидой Великобритании — концепция популярная в Англии и в связи с проеврейскими настроениями высших слоев английского общества, и потому (сейчас в это трудно поверить) что еврейское государство рассматривалось как гарант стабильности в ближневосточном регионе. Таким образом, сионистская идея, то есть идея современного воплощения древнего государства Израиль в современной Палестине, получила сильное подкрепление в Англии XIX века.

Однако на Европейском континенте дело обстояло несколько иначе. Развитие такой, казалось бы, узкоспециальной научной отрасли, как сравнительная лингвистика, разделило весь мир на две семьи — говорящих на семитских, и на индоарийских (сейчас их называют индоевропейскими) языках[129]. К первым относились евреи и арабы, ко вторым — древние индусы, персы и большинство европейцев. Большинство расистов XIX века, ошибочно прилагавших биологические выводы Дарвина к истории человеческого общества, столь же неверно — в расовом духе — интерпретировали лингвистическую классификацию языков. Даже весьма уважаемые ученые той эпохи порой придерживались мнения, будто у рас существует общая душа и

что у них имеется конкретный характер. В соответствии с подобными воззрениями, у семитов нет способности к творчеству или же она проявляется весьма слабо, тогда как арийцы щедро наделены ею. Евреям открытия сравнительной лингвистики представили еще один аргумент для идентификации себя с Востоком.

Еврейский ориентализм более, чем где-либо еще, проявился в Германии. Образованные, культурные евреи, как говорилось в одном антисемитском памфлете, «могут сколько угодно распространяться о Гете, Шиллере и Шлегеле, однако в любом случае они остаются чужеродным, восточным народом». И это обвинение — снаружи они кажутся европейцами, а по сути люди Востока — предъявлялось ассимилированным евреям Германии на протяжении всего XIX века. Даже сам термин «антисемитизм» ввел в 1879 году один гамбургский журналист по имени Вильгельм Марр[130], желавший смешать евреев с прочими семитами.

То обстоятельство, что полностью ассимилированные евреи вызывали у антисемитов не меньшее, если не большее отторжение, чем приверженные традиционному образу жизни, по-видимому, и привело к появлению термина völkisch. Термин этот, который трудно перевести точно (это «народный», «национальный» в шовинистическом понимании), возник в рамках концепции расистского национализма, противопоставляющей «народность» с ее творческим началом «бездушию» и «отсутствию корней» современного мира, когда люди живут в городах, объединенные с окружающими лишь меркантильными связями.

Эта völkisch-идея была не только несовременной, но по сути своей антисемитской. Она заключалась в том, что культурная и расовая духовность каждого человека коренится в его собственном национальном пространстве. Евреи и цыгане оказывались исключениями, ведь у них нет собственной земли, иными словами, национального пространства. Они были космополитами, чья душа питалась подражанием творческому началу остальных народов. При этом евреи стремились лишить мировые культуры собственной сути, «выхолостить» их, превратив в единую наднациональную, меркантильную культуру.

Для антисемитов подобного направления главным злом были ассимилированные евреи. «Евреи Рембрандта — настоящие евреи, поскольку они не желали ничего иного, как быть евреями, и благодаря этому они были личностями. Это прямо противоположно тому, что мы видим у евреев сегодня: они жаждут стать немцами, англичанами, французами и так далее, и

в результате они теряют свою личность» — так писал Юлиус Лангбейн в 1890-х годах в завоевавшей популярность книге «Рембрандт как учитель».

Как ни парадоксально, на раннем этапе сионизм черпал вдохновение из этого же самого круга идей. Отчасти это объясняется одержимостью сионистов, их желанием поскорее решить «еврейский вопрос». Некоторые евреи принялись доказывать, что националистические идеи можно адаптировать для своих целей, для создания собственной родословной — для этого требовалось найти «настоящих», «первозданных» евреев, чтобы противопоставить их стереотипному представлению о евреях как людях космополитичных и не имеющих собственных корней. Евреев, воплощавших подобный, «национальный» идеал искали на Кавказе, в Азербайджане, среди эфиопов-фалашей, даже в отдаленных сельских районах Восточной Европы. В 1898 году Макс Грунвальд, молодой раввин из Гамбурга, создал «Ассоциацию еврейской фольклористики» и начал печатать статьи о польских хасидах, кавказских горских евреях, странствующих певцах, раввинах-чудотворцах, злых духах и так далее. «Идеальным евреем» Грунвальд считал мистика-каббалиста или танцующего хасида[131] — еврейский эквивалент романтических образов германского крестьянина или дровосека.

Как в 1890-х годах евреи из Австро-Венгрии стали лучшими в Европе фехтовальщиками, желая защитить собственную честь и достоинство, так и теперь они попытались создать собственную версию «национализма». Евреи-ориенталисты приняли в свой круг чужеродных им евреев, лишь бы доказать, что те имели независимое существование за пределами Европы, ведь именно это, по их мнению, устанавливало связь между всеми евреями — древними евреями и теми, что жили в Европе XIX и XX веков. Между тем германские евреи в массе следовали тактике Ратенау, ставя своей целью полную ассимиляцию. В 1898 году, когда Грунвальд создал «Ассоциацию еврейской фольклористики», Ратенау опубликовал эссе «Слушай, Израиль!», призывая евреев — в особенности «восточных» — избавиться от таких физических и этнических черт, которые считались характерными для них.

Мартин Бубер назвал еврейство «сообществом, объединенным узами крови», и эта идея, кстати, вполне völkisch, получила широкое распространение среди участников сионистского движения. Трагедия евреев Запада, по мысли Бубера, заключалась в том, что при кровной общности у них отсутствовала общность территориальная, — ни один германский антисемит не смог бы выразить это лучше, чем Мартин Бубер.

Однако так же, как сионисты, усвоив антисемитскую идею о

том, что евреи никогда не смогут стать частью какой-либо нации, превратили ее в позитивную задачу создания современного еврейского государства, германские евреи-ориенталисты вывернули наизнанку оскорбительное отношение к себе антисемитов. «В любом еврее, — писал Бубер, — живет вся сила азиатского духа: единение душ, Азия без конца и края, Азия священного единства». Сионизм Бубера строился на представлении, что в каждом еврее есть восточное, ориентальное начало, которое и представляет собой истинную суть его личности, его архетип, и именно это обстоятельство должно быть для евреев источником гордости, а никак не стыда. Бубер связывал иудаизм как часть «азиатского духа» с китайской, индийской, египетской и персидской культурами, еврейских пророков — с упанишадами, Заратустрой, Лао-цзы, он преднамеренно вывел еврейскую традицию за пределы западной культуры и в особенности культуры немецкой. Еврейская традиция, по мнению Бубера, не способна усвоить, впитать в себя западные стандарты и ее нельзя судить по ним, поскольку подобная вестернизация лишь отнимала у нее ее истинную силу.

В XIX веке среди немецких евреев постепенно стала прокладывать себе дорогу идея о том, что из жизненной основы еврейского сообщества иудаизм должен стать частной религией отдельных граждан, «одной из конфессий». Евреи-традиционалисты отвергали этот путь, указывая, что «реформированный» иудаизм ближе к протестантизму, не имеющему отношения к еврейству. Бубер и его последователи, хотя возврат к ортодоксальной вере их не привлекал, также отвергали превращение иудаизма в «просто религию», считая, что оно ослабляло евреев и отчуждало их от собственной культуры. Примером подобной опасности служил сам основатель сионизма, Теодор Герцль, очень плохо знавший и еврейскую культуру, и религию. Его Талмудом были оперы Вагнера: ведь мысль о создании современного еврейского государства впервые посетила его, когда он слушал «Тангейзера».

Иудаизм, с точки зрения еврейских ориенталистов, был ближе всего к исламу: он давал всеобъемлющий взгляд на мир и основы человеческой жизни. В 1901 году, на Пятом сионистском конгрессе в Базеле, Бубер наметил в общих чертах культурную программу сионизма, призвав к продвижению еврейского искусства и развитию издательской деятельности, распространению еврейской культуры в газетах и журналах, модернизации еврейского гуманитарного образования. В том же году был основан сионистский культурный журнал «Ост унд вест», ставший вскоре рупором движения, которое Бубер назвал

«еврейским возрождением», или «обновлением». Он полагал, что творческое начало еврейского народа фактически иссякло после разрушения Второго храма, а две тысячи лет, проведенных в диаспоре, стали огромной и непродуктивной паузой, культурной комой. Вместе с тем Бубер считал, что «собственная душа еврея» пережила все испытания и сохранилась целостной: «Несмотря на все это, он остался человеком Востока».

К 1920 году представление о тесной связи между евреями и мусульманами, а через них и с другими народами Азин разделяли в Германии и Австрии практически все — от антисемитов из правого лагеря до культурных сионистов на левом фланге. Сто лет строительства синагог в мавританском стиле и сочинения в ориенталистском духе подкрепляли эту точку зрения — споры шли разве что о том, была ли основа подобной связи культурной, религиозной, расовой или же сочетала все эти факторы. В статье, опубликованной в 1915 году в ежемесячнике «Юдише монатсхефте», который издавал для евреев Германии раввин доктор П. Кон, отмечалось, что точка зрения «евреев-ориенталистов» превратилась в общепризнанную. Автор статьи, подписавшийся инициалами «Р. Б.», находился под впечатлением от новой книги «Мир ислама», которая рассматривает Ближний Восток через призму нового, тевтонско-турецкого джихада, направленного против Запада. Автор статьи подчеркивает всемирную миссию Германского рейха в мусульманском мире и ее важность для германских евреев:

> Особенно мы, евреи Германии, с неизменным и непреходящим вниманием следим за той замечательной перспективой, которая открывается по мере того, как между нашей Родиной и миром ислама устанавливаются все более тесные политические связи… Кто для нас Исмаил? Каково для нас значение исламского мира? Мусульманская религиозная доктрина, мусульманские обычаи и законы, мусульманская наука и прекрасная литература содержат так много золотых зародышей, которые, очевидно, заимствованы из древнего иудейского наследия, а потому представляются нам весьма знакомыми и близкими.

Идеи ориентализма, пропагандировавшиеся Бубером, восприняли и евреи, остававшиеся в стороне от сионистского движения: понятие «Востока» служило ассимилированным евреям средством самоидентификации и обретения аутентичности. Еврею ведь не требовалось уезжать из Европы для того, чтобы найти Восток у себя в душе. Представителем подобного, не

окрашенного сионизмом, еврейского ориентализма был писатель Якоб Вассерман, в то время считавшийся одним из крупнейших литераторов Германии: «Еврей, кого я называю человеком Востока, не может потерять себя, поскольку его благородные духовные качества, его родство по крови связывают его с прошлым и налагают на него чрезвычайную ответственность за будущее, так что он не может предать себя самого… Он свободен, а все остальные суть рабы. Он правдив, а прочие лгут». Вассерман утверждал, что по сравнению с западными евреями, которые олицетворяют «позор, страдания, невзгоды, смирение», евреи Азин суть «воплощение могущества, чести, славы и великих деяний».

В отличие от Вассермана, один из самых интересных еврейских ориенталистов, Ойген Хёфлих (в Вене они со Львом вращались в одних и тех же кругах), был сионистом, не вписывающимся, однако, в стереотипные представления о сионизме. Установление контактов с арабами (а также китайцами и индусами) волновало его ничуть не меньше, чем создание еврейского государства. Для него сионизм был лишь частью паназиатского движения. Хёфлих стремился подняться над расовыми связями среди «азиатов», чтобы понять истинный смысл возвращения евреев в Палестину: «Мы хотим вернуться — однако не как европейцы… Защищать народы Востока помыслами и деяниями — вот наша обязанность за пределами границ собственного народа». В 1937 году он написал благожелательную рецензию на книгу Льва «Аллах велик!», воздав должное и пониманию, и широте охвата, и образу мусульманского мира и пожалев лишь, что автор книги не уделил больше места и внимания «проблемам, с какими приходится сталкиваться евреям, которые стремятся стать частью мира Востока».

Сионисты-ориенталисты рассматривали возвращение евреев в Израиль как сигнал для возрождения Азин и крушения колониальной системы. «Душу Азии убивают», — писал Бубер, открыто осуждая «порабощение Индии, самоевропеизацию Японии, истощение сил у Персии и, наконец, разорение Китая, где древний дух Востока, казалось, пребывал в состоянии незыблемой безопасности». Разница между Львом и другими еврейскими ориенталистами состояла, однако, в том, что если Бубер, Хёфлих, Вассерман и другие предлагали в качестве посредников между Востоком и Западом евреев вообще, то Лео Мохаммед Эсад-бей Нусимбаум в основном предлагал свои собственные услуги.

Глава 12. Назад, в преисподнюю

После разрыва с коллегами-мусульманами Лев не мог более принимать участия в заседаниях общества «Исламия», но, по-видимому, появлялся в более либеральном «Союзе Востока», где, скорее всего, и познакомился с бароном Умаром-Рольфом фон Эренфельсом, который стал его близким другом. Теперь он в основном уделял внимание Советскому Союзу и судьбе всех бывших подданных Российской империи, а не только ее мусульманскому меньшинству. Это вскоре привело его в общество куда более скандальное, нежели могли бы себе представить его собратья-ориенталисты.

Летом 1931 года Лев начал посещать собрания кое-каких антикоммунистических групп правого толка, в том числе и «Германороссийской лиги борьбы с большевизмом». Главой этого объединения антибольшевистски настроенных эмигрантов из России был германский аристократ Александр фон Мельгуноф, а состояли в нем в основном нацисты или будущие нацисты. Правда, когда расистски настроенная пресса вывела Льва «на чистую воду», контакты с «Лигой» стали для невозможными. Каким бы одиозным ни казалось сейчас его намерение присоединиться к группе подобного рода, в контексте того времени оно было объяснимым, особенно если принять во внимание его антиреволюционные убеждения.

Ключ к развивающимся политическим воззрениям Льва я обнаружил в конце его книги «ОГПУ: заговор против всего мира» — он писал ее на протяжении 1931 года и опубликовал в 1932 году. Детально описав зверства ЧК (преобразованной затем в ОГПУ предшественницы КГБ), Лев делает следующее заявление: «Россия — это Америка прошлого, однако, в известном смысле, этой Америка будущего!» Доводы его основаны на сравнении двух стран с точки зрения их размеров и революционного наследия, а также в смысле их отношения к собственным «коренным жителям»: в одном случае это американские индейцы, в другом — мусульмане и татары. Свой главный политический вывод Лев иллюстрирует историческим анекдотом, который едва ли приходил на ум кому-то еще при анализе ситуации в сталинской России. Эдмунд Бёрк выступал в британском парламенте против Уоррена Гастингса, первого генерал-губернатора Индии[132], которому было предъявлено обвинение в притеснениях местного населения Индии. Гастингс возражал, что его действия нельзя считать противозаконными, поскольку в Индии ему были даны дискреционные полномочия[133]. На что Бёрк, британский

консерватор, ненавидевший любую несправедливость и беззаконие, возразил следующее: «Милорды, Ост-Индская компания не обладает дискреционными полномочиями, которые она могла бы ему передать; равно и наш король не имеет дискреционных полномочий, чтобы передать их ему; и у вас, милорды, нет таких полномочий, как нет их и у членов палаты общин и у всей законодательной власти в целом. Мы не располагаем дискреционными полномочиями, которые мы могли бы передать кому бы то ни было, поскольку это — нечто такое, что никому не дано и никто не имеет права их передавать. А вот те, кто дает подобные полномочия, — точно такие же преступники, как и принимающие их».

К сожалению, в 1932 году в Берлине не было политических клубов или ассоциаций для последователей Эдмунда Бёрка.

Куда более распространенными среди консерваторов в последние годы существования Веймарской республики были идеи, которые поддерживала редколлегия журнала «Дер наэ остен», сыгравшая столь активную роль в разоблачении этого «еврея-выкреста по имени Лео (Лейб) Нусимбаум».

Издатели этого журнала, выходившего раз в два месяца, принадлежали к своеобразному, хотя и весьма влиятельному кругу интеллектуалов, которые называли себя «мёллерианцами». Как они сами возвестили об этом в 1928 году, в первом номере журнала «Дер наэ остен», их конкретной целью было «продолжить деятельность, не довершенную Артуром Мёллером ван ден Бруком. Особенно в том, что касается Востока».

Мёллер ван ден Брук, прусский философ и переводчик Достоевского, покончивший с собой в 1925 году, смертельно боялся грядущей победы «Востока» (любого — от большевистского до исламского), его триумфа над вырождающимися культурами Запада. В Германии Запад называют Abendland, то есть «вечерняя страна», и Мёллер, так же, как его приятель Освальд Шпенглер, автор «Заката Европы» (пли «Заката западного мира»), считал, что над Европой и в самом деле заходит солнце. Восходит же оно на Востоке, как бы ни определять его. Мёллер считал, что противоядием от анемии и эгоизма западного общества является правильная разновидность коллективизма, который «естественно» выражен среди русских.

Мёллерианцы верили, что «германо-российской части мира» предопределено вести битву космических масштабов против сил западного буржуазного либерализма и что в этой битве их союзниками будут различные силы Востока. Для мёллерианцев государства делились на «молодые» и «старые». Германия была примером «молодого» государства, поскольку находилась в фазе

экспансии и обуреваемая «идеей лидера» (Führergedanke) опиралась больше на чувства, чем на разум. Россия проходила аналогичную фазу, и большевистская революция лишь подтверждала это. И Россия, и Германия, по мысли мёллерианцев — это страны, которые проводили эксперимент, находились в поиске, их одержимость имела глубинные корни; и поэтому, на их взгляд, было неверно считать Советский Союз врагом. Истинные враги Германии — на Западе: это страны, победившие в Первой мировой войне и продиктовавшие условия Версальского мирного договора. Правда, США, считали мёллерианцы, с их жизнеспособной «варварской сущностью», духом — юности, развитой крестьянской, фермерской культурой могли бы стать членом будущего «восточного» союза. Идеи Мёллера, трудные для восприятия, туманные по смыслу, после его смерти были бы, скорее всего, заслонены трудами его друга Освальда Шпенглера[134]. Однако, к счастью для мёллерианцев, их герой, прежде чем свести счеты с жизнью, успел дать своему последнему произведению название, резонансное, как никакое другое. Мёллер вначале собирался назвать свою небольшую работу «Третья сила», однако в конце концов озаглавил ее «Третий рейх».

С точки зрения мёллерианцев, Льву недоставало «внутреннего варвара-гунна». Он притворялся воином-мусульманином, то есть восточным варваром, человеком «почвы», а на деле оказался очередным выкрестом-интеллектуалом из среды завсегдатаев литературных кафе. Мёллерианцы не придерживались идей расовой чистоты, однако у евреев, согласно их понятиям, было два больших «но»: они относились к «старым» народам и были «торгашами». А мёллерианцы разделяли любые государства в мире на два основных типа — это страны торговцев и страны героев. Соответственно, представитель страны торговцев (к примеру, еврей или англичанин) вообще не был способен стать героем. Лев же притворялся героем и выглядел гротескно.

Если учесть, что мёллерианцы были для своего времени достаточно умеренными по сравнению с другими германскими консерваторами, станет ясно: обстановка в Берлине последних лет Веймарской республики стала не слишком благоприятной для по-бёрковски консервативного индивидуума, которого, вдобавок ко всему, публично разоблачили как человека еврейского происхождения. А Лев не только исповедовал консервативные взгляды, он оказался еще и монархистом, о чем возвестил в своей статье «Современные итоги», опубликованной в «Ди литерарише вельт» в 1931 году: «Так почему же я и по сей день остаюсь монархистом, несмотря на то, что прожил уже несколько лет в условиях республики, и отчего я с каждым днем делаюсь все

большим монархистом?» Отвечал он на поставленный им самим вопрос просто и даже довольно здраво: «Мир сегодня столкнулся с двумя великими опасностями: большевизмом и национализмом, и они распространяются повсюду. Мне известно лишь одно-единственное средство для предотвращения обеих этих опасностей: монархия». Далее он пишет, что это должна быть «настоящая монархия, а не ее ограниченный конституцией и пределами конкретной страны вильгельмовский вариант». Последнее высказывание могло прозвучать прямо из уст Мёллера, который как раз придерживался мнения, что одна из концепций, которые Восток способен предложить Западу, — идея абсолютизма, простого, ничем не замутненного и подвижнического.

Эклектичные политические взгляды Льва приводили его во все более странные объединения, находившиеся на периферии веймарского общества. Одним таким объединением была «Социальная монархическая партия», которая ухитрилась просуществовать какое-то время к всеобщему удивлению: ведь она была не только дружественно настроена по отношению к евреям, но также собиралась создавать некое «государство рабочих», выступая при этом за реставрацию монархии. Идея заключалась в том, чтобы пролетариат призвал кайзера вернуться на трон и покончить с фарсом, который разыгрывали в Германии — в связи с воцарением парламентской демократии — соперничающие экстремистские партии, беспрестанно обвинявшие друг друга во всех смертных грехах. Социал-монархисты развенчивали все идеалы, которые исповедовали нацисты, так что у них, разумеется, не нашлось союзников, и они с самого начала были обречены на провал. Не помогло делу и то, что среди их лидеров имелись и аристократы-либералы, у кого за душой не было ни гроша, и «творчески мыслящие пролетарии».

Участие Льва в подобных группировках свидетельствует лишь о том, насколько искажены были в то время политические и нравственные ориентиры. В 1920-х годах многие вновь обращались мыслью к монархии, так и не осознав, что ее время уже прошло. Но ведь монархия, казалось им, это не только древность — Карл Великий, Саладин или царь Давид. Этот мир существовал буквально только что. А что, собственно, пришло на смену? Повсюду злодеи, кровожадные чудовища, не сдерживаемые более традициями отцов и дедов ни в политике, ни в общественной жизни, ни в нравственных принципах. Все группы, к которым Лев пытался прибиться в эти годы, объединяла идея, что избежать большевизма или фашизма позволит лишь возрождение монархического режима благодаря «народной

поддержке», как бы они это ни определяли. Их политическая программа напоминала истории о Робин Гуде и короле Артуре: мир якобы будет спасен, если на трон вернуть «хорошего» короля. Правда, Лев отчасти разделял и современное ему учение о свободе воли и к тому же подозрительно относился к центральной власти. Как он сам сказал: «Чем меньше правительство стремится сделать меня счастливым, тем лучше я себя чувствую».

Монархические убеждения Льва корреспондировали с их повышенной популярностью в среде русской эмиграции в 1920-1930-х годах. На момент Февральской революции многие русские аристократы придерживались демократических убеждений и приняли сторону Александра Керенского, а не премьер-министра Временного правительства князя Львова, поскольку верили в возможность республиканского типа правления в России. Однако после переворота, совершенного большевиками в октябре, и последовавшими за этим ужасами большевистского правления среди эмигрантов всех мастей стала расти тоска по царской власти. Притом в русской эмиграции образовалось такое великое множество всевозможных партий, пытавшихся справиться с «новыми обстоятельствами», что трудно даже просто перечислить их. Оставив без внимания как ультралиберальные, так и ультрареакционные группы, Лев на некоторое время присоединился к одному из наиболее любопытных политических образований — движению младороссов. Оно возникло в среде эмигрантов под руководством жившего в Париже обаятельного и волевого Александра Казем-Бека, чья политическая программа позволяла якобы, помимо прочего, примирить большевизм с царизмом. Движение выступало в союзе с евразийцами, утверждавшими, что лишь они одни понимают уникальные законы русской исторической природы — ее монгольское наследие. Оно отвергало разделение на «левых» и «правых» как европейскую концепцию, которая неприменима к русским, и считало материализм во всех его формах — будь то капиталистических или марксистских — чужеродным, западным вмешательством. На их взгляд, победа коммунистов в России была вовсе не победой «азиатского большевизма», как это представлялось пронацистски настроенным русским эмигрантам из Прибалтики, а наоборот — окончательной «европеизацией» России. Вышедшая в 1928 году книга П. Малевского-Малевича «Новая партия в России», едва ли не единственная книга о евразийском движении, написанная по-английски, указывала, что монгольское иго, связавшее Русь с Востоком и исламом, «научило нас искусству правления, создав

нацию из большого количества мелких и враждующих княжеств; оно научило нас терпимости и уважению к другим культурам и религиям». Притягательность этого движения больше всего ощутило молодое поколение русской эмиграции, те, кто был разочарован политическими воззрениями своих родителей, все еще смотревших назад, в прошлое.

Правда, не все молодые интеллигенты обратились в новую веру. В своей статье в парижской газете «Лё там» («Le temps»)Владимир Набоков-младший — он все еще подписывался псевдонимом Сирин — утверждал, что евразийство представляет собой славянофильство XX века в зеркальном отражении, как бы «славянофильство наоборот». Евразийцы и их последователи желали оторвать Россию от Европы, как в свое время славянофилы. Евразийство как движение выдохлось уже в начале 1930-х годов, оставив после себя множество манифестов и монографий, однако его новая, «ориентированная на Восток» перспектива по-прежнему находила отклик у эмигрантской молодежи, например у Льва Нусимбаума.

Другие основы младорусского движения оказались более долговременными. Младороссы возвещали: «Необходимость появления нового человека, порожденного механизацией жизни, человека нового стиля, новой морали и нового сознания, нового романтика. Такой новый человек во всем максималист». Александр Казем-Бек называл себя «Главой», и в конце 1930-х годов младороссы устраивали слеты в Париже и Праге, во время которых они, одетые в одинаковые рубашки синего цвета, выслушивали, как завороженные, трехчасовые речи своего Главы, время от времени вскидывая над собой правую руку с криком приветствия: «Глава! Глава!» Казем-Бек любил говорить, что либерализм представляет собой «юридический понос», который лишь ослабляет силы политического образования и оставляет его открытым для проникновения экстремистов: так, введение конституционной демократии в России способствовало появлению левацких фанатиков, и то же самое происходило теперь с правыми фанатиками в Германии. Казем-Бек стремился найти совершенно новую, среднюю позицию, примирив, казалось бы, заклятых врагов: он собирался возвести на трон наследника Романовых, великого князя Кирилла, однако при этом оставить без изменений очень многие советские нововведения. Великий князь Кирилл в течение некоторого времени поддерживал младороссов. Парадоксально: главный наследник российского престола поддерживал идею создания более мягкого варианта царизма, предоставления всех прав крестьянам, а также использования советского государственного аппарата. Подобные

идеи легко было выдвигать откуда-нибудь из-под Канн или из Биаррица.

В 1929 году Лев получил от великого князя Кирилла орден, которым весьма дорожил; об этом событии он вспоминал до последнего дня своей жизни. В Вене этот орден, вместе с кавказским одеянием, стал частью его обычного наряда для выхода «на люди», то есть в кафе. Для Льва монарх был «кем-то вне классов, почти сверхчеловеческой вершиной пирамиды человечества», однако он не разделял фашистских идей многих младороссов. Его также не интересовали Глава, фюрер или дуче, и он высказывался на этот счет так: «У диктатуры имеются все недостатки монархии и ни одного из ее преимуществ».

Лев на самом деле так и не примкнул к младороссом, хотя посещал их собрания. Наибольшую проблему для него представляла собой первая часть в их названии — «младо». В детстве у него было мало друзей, и он, развившийся не по летам рано, с большой подозрительностью относился к другим детям. И в самом деле, его пассаж, восхвалявший абсолютизм, начинался так: «Я обожаю стариков и терпеть не могу молодых». Старики, по его мнению, спокойнее, умнее и скромнее молодежи, а когда молодежь отворачивается от стариков, как это неизбежно происходит, она в конечном счете приходит к варварству. Но самый серьезный водораздел пролег между Львом и младороссами в связи с наиболее радикальной политической новацией Казем-Бека, который высказал мысль, что у большевизма есть кое-какие (пусть немногие) положительные стороны и что это, пожалуй, относится и к Сталину. Самая мысль о том, что в Советской России могло быть хоть что-то хорошее, претила Льву.

Задолго до того, как печально известный пакт между Гитлером и Сталиным окончательно решил судьбу Польши и позволил начать Вторую мировую войну, брак по расчету между нацистами и коммунистами решил судьбу Германии. Дьявольский союз ультралевых с ультраправыми на самом деле начался раньше, еще в период создания нацистской партии и ее национал-большевистского крыла, и это многих приводило в замешательство в последние годы веймарского Берлина. Друг Льва Алекс Браилов, вспоминая, насколько сбивала их с толку эта связь между нацистами и коммунистами, писал об одном из приятелей-интеллектуалов: «Несмотря на весь свой ум, [он] не смог четко распознать обман, а потому рассчитывал, что коммунисты будут способны оказать сопротивление Гитлеру, причем если понадобится, то силой. Когда я обратил его внимание на то, что коммунисты фактически способствовали

приходу Гитлера к власти, это не возымело никакого действия. Он все равно верил, что это была уловка коммунистов: заманить нацистов в западню, подтолкнуть их к насильственному захвату власти, которому коммунисты могли бы противостоять, чтобы затем разом сокрушить всех своих противников».

С упадком берлинских кабаре на театральных подмостках в 1930-х годах осталась практически лишь политическая сатира: выступления агитационно-пропагандистских групп коммунистов. Такие труппы, как «Ревю красного восхода», «Красные ракеты» и «Красный мегафон», показывали искусные танцевальные номера, составлявшие часть сугубо коммунистической кампании. Один журналист, присутствовавший на представлении танцевальной труппы под названием «Красные пионеры» в марте 1931 года, так описывал показанное «шоу»: «“Красные пионеры” набросились на вооруженных полицейских, сбили их с ног, принялись пинать их, издевательски хохоча, — и зрители восторженно аплодировали им». А КПГ (Коммунистическая партия Германии), которая устраивала подобные представления, по-прежнему утверждала: «Борьба между нацистами и социал-демократами носит притворный характер», поскольку на самом деле и те и те были членами одной и той же партии — партии буржуазного капитализма. Коммунисты утверждали, что социал-демократы были куда менее искренними, чем нацисты: ведь те, по крайней мере, выступали открыто, полностью раскрывая свои карты. Некоторые коммунистические труппы агитпропа даже изображали, как Гитлер вводит капиталистов-евреев в круг своих приближенных, укоризненно выговаривая своим штурмовикам: «Боже ты мой, ну отчего вы воспринимаете все так буквально!»

В последние годы Веймарской республики коммунисты были не единственными, кто не относился к нацистам всерьез. Многие тогда воспринимали нацизм как дурную шутку. В самом деле, ведь Гитлер, из-за его австрийского гражданства, даже не имел права баллотироваться в рейхстаг; он и появлялся там исключительно редко, пока не пришел к власти в январе 1933 года (а затем, в марте того же года, здание рейхстага сгорело). Большая часть американских газет смотрела на Гитлера как на безумное порождение «века джаза». Он был в их представлении мессией абсурда, германским Распутиным, «рехнувшимся апостолом». Его обвиняли в том, что он одновременно был и большевиком, и монархистом — тогда как он не был ни тем ни тем. Мало кто взял на себя труд прочитать его «Манн кампф». Мало кто считал, что у него есть хотя бы малая толика потенциала Муссолини. Однако были и такие, кто не сомневался в этом, в частности Джордж Сильвестр Вирэк, ведущий

американский обозреватель того времени. Он взял интервью у Гитлера еще в 1923 году, опередив практически всех прочих зарубежных корреспондентов, и представил на удивление провидческую картину развития нарождавшегося нацистского движения. Вирэк процитировал слова Гитлера: «Я отберу социализм у социалистов»; он поспорил тогда с будущим фюрером о вкладе евреев в германскую культуру; он отметил, с какой горячностью Гитлер отказывался фотографироваться, причем предположил, что это вызвано либо предосторожностью, либо каким-то суеверным страхом, либо же чем-то еще — «например, стратегией, которую следует знать лишь его друзьям, чтобы в кризисный час он смог неузнанным появляться и тут, и там, и вообще повсюду». Гитлер был настолько неинтересен американской публике, что Вирэку не удалось опубликовать свое интервью с ним ни в одном из общенациональных журналов или газет. Его интервью 1923 года завершалось словами: «Если Гитлер сумеет выжить, он, несомненно, перевернет историю — к лучшему или к худшему».

Куда большее количество людей было в ту пору согласно с Дороти Томпсон, которая приехала в Берлин в 1932 году корреспонденткой журнала «Космополитен» — тогда этот журнал еще публиковал статьи таких писателей, как Эрнест Хемингуэй или Синклер Льюис, который был мужем Томпсон. Она добилась частной аудиенции у Гитлера, которую устроил для нее Эрнст Ханфштенгль, пресс-секретарь Гитлера, получивший образование в Гарварде[135]. Умозаключения Томпсон, которые, в отличие от статьи Вирэка, смогло прочитать более миллиона подписчиков, оказались совершенно неверными, поскольку она недооценила фюрера. «Он непоследователен, многоречив, с трудом сохраняет самообладание, неуверен в себе, — писала она. — Он — яркое олицетворение “человека с улицы”. Когда я, наконец, оказалась в гостиной Гитлера в его апартаментах в отеле “Кайзерхоф”, я была убеждена, что вот-вот встречу будущего диктатора Германии. Но менее чем через пятьдесят секунд я была уверена, что это вовсе не так».

Нацизм был молодежным движением, а к середине 1920-х годов молодежь в своей массе не читала романов вроде «Волшебной горы» или «Берлин, Александерплац», которые ассоциируются у нас сегодня с периодом Веймарской республики. Гораздо популярнее были бестселлеры вроде расистской книги Ганса Грима «Народ без пространства», которая приводила классические доводы в защиту нацистского наступления на Польшу — это была одна из любимых книг Гитлера. «Народ без пространства» стал частью списка книг для чтения, вошедших в

школьную программу для старших классов в Берлине, начиная с 1927 года, еще задолго до того, как страна оказалась под властью нацистов. Национал-социализм одержал победу в системе образования задолго до своей победы на выборах: более того, политический переворот был бы, вероятно, невозможен, если бы нацизму не дали возможности завербовать такое количество приверженцев и последователей на уровне средней школы и университета. Многие студенты сначала нередко становились коммунистами, однако, как любил повторять Геббельс, эти две идеологии не так уж далеки друг от друга, как может показаться; его девизом было: дайте мне молодого германского коммуниста, и я покажу вам будущего нациста. В Берлине вскоре начались преследования студентов и преподавателей еврейского происхождения, и учащиеся буквально штурмовали лекции по «расовой гигиене» и генетике.

Нацисты впервые добились значительного успеха на выборах в рейхстаг в сентябре 1930 года. Принято считать, что это была реакция электората на начавшуюся всемирную экономическую депрессию. Однако разрушительные последствия биржевого краха в «черный четверг»[136] на самом деле сказались на положении в Германии лишь уже после сентябрьских выборов. Некоторые ученые одну из причин произошедшего видят в появлении в рядах избирателей тех, кто окончил школу в 1929 году. Сознание вчерашних школьников уже было готово к восприятию нацизма, даже если им не довелось увидеть ни одной черной или коричневой рубашки на улицах и они сами не участвовали в политическом митинге.

Одним из первых, кто выдвинул эту теорию, был сын Джорджа Сильвестра Вирэка Питер, к которому я и отправился в городок Саут-Хедли, штат Массачусетс, где он живет в просторном викторианском доме, набитом книгами о Германии, политике нацистов и поэзии; дом этот стоит на холме, над футбольным полем колледжа Маунт-Холиоук.

Вирэк объяснил мне свою теорию: за партию Гитлера голосовало «новое поколение немцев» — молодые люди, которых обучали учителя-нацисты. Об этом была написана его книга «Метаполитика: от выспренности романтизма до Гитлера», опубликованная еще в 1941 году и вызвавшая тогда немалый отклик. «В те годы никто не писал еще о Вагнере и Гитлере, во всяком случае, здесь, в США. Вечно приводили все эти модные марксистские доказательства, что Гитлер, мол, был порождением базовых экономических сил, и прочая такая ерунда. Разумеется, экономические факторы играли свою роль, кто спорит, однако это не объясняет национализма. Его не вызывают рыночные

отношения. Сейчас-то это поняли, и потому никто уже больше не ссылается на ту мою книгу, а вот когда она впервые вышла в свет, тут на меня обрушилось немало критики».

Правда, большая часть критических замечаний относилась к личности Питера Вирэка, а не к его аргументации. Ведь он был сыном Джорджа Сильвестра Вирэка, которого в ту пору подозревали в том, что он являлся основным «агентом влияния» гитлеровской Германии в США. Я же приехал повидаться с ним потому, что его отец, которого все звали просто Сильвестром или же «Джи Эс», был когда-то близким другом Льва Нусимбаума. Впервые я понял это, когда увидел упоминание имени Вирэка-старшего в некрологе на смерть Эсад-бея, занявшем целых двадцать страниц в итальянском фашистском журнале «Ориенте модерно». Позже я обошел немало букинистических магазинов, покупая всеми забытые книги Вирэка-старшего. Я обнаружил, что он когда-то входил в число самых популярных американских поэтов-лириков, а также был одним из ведущих американских писателей, затрагивавших тему еврейской культуры, и автором таких бестселлеров, как, например, «Мои первые два тысячелетия: автобиография Вечного Жида» (он написал его в соавторстве с Полом Элриджем). Одновременно он отличался фанатичным германофильством. Когда Гитлер появился на политической сцене, Вирэк не смог противиться притягательной силе нацизма. Даже когда его друзья-евреи (в том числе и Элридж) осудили его поведение, Вирэку удалось сохранить поддержку со стороны таких всемирно известных либералов, как Джордж Бернард Шоу, и найти могущественных союзников в конгрессе США. Это продолжалось до 1942 года, когда его официально обвинили в том, что он является нацистским агентом, осудили и заключили в федеральную тюрьму. Лев встретился с ним, по-видимому, во время одной из многочисленных поездок Вирэка в Берлин.

В конце книги Вирэка под названием «Суд над кайзером», вышедшей в 1937 году, я прочел: «Благодарю Эсад-бея».

«Конечно же, мой отец знал Эсад-бея, — сказал Питер Вирэк своим глубоким басом с бесподобным, утраченным сегодня произношением начала XX века. — Он восхищался им как писателем. Я знаю, что они были хорошими друзьями. Но только ведь я вам мало что смогу рассказать, — добавил он. — Дело в том, что у меня с отцом к тому времени отношения уже были испорчены. Я в тот период старался встречаться с ним как можно реже».

Однако он позвонил мне вскоре после моего первого визита к нему и с энтузиазмом объявил: «Наверное, это вам не покажется таким уж важным, но память у меня из-за возраста стала странная

и вечно выкидывает какие-то штуки. Я вот только что понял, что прочел книгу Эсад-бея еще до того, как отец впервые упомянул его имя. Это ведь он написал “Тайны Кавказа”? Так вот, она — одна из первых, на которые я написал рецензию. Это было для школьной газеты, которая издавалась в школе Горация Мэнна, в 1931 году, — и книга эта мне понравилась, насколько я помню». Пауза. Потом он сказал: «Ну вот, на сегодня все». Голос у него был скрипучий. Я навел справки, что и когда писал Питер Вирэк, и оказалось, что рецензирование книг было важной частью его литературной работы. Питер Вирэк всю жизнь стремился порвать с антисемитизмом, царившим в доме его отца. После войны тот вышел из тюрьмы, и Питеру пришлось взять его к себе. «Собственно говоря, мы с ним не примирились. Мать ушла от него, когда разразился весь этот скандал, а мой брат погиб в Анцио, сражаясь с нацистами. Отец был совершенно одинок, относились к нему тогда плохо, вот я его и пожалел. Он однажды сказал мне, что у меня на самом деле правильные взгляды, но только я не верю тому, что он действительно изменил свои воззрения, — не верю, будто он действительно сожалел о том, что был нацистом. Он ведь говорил об этом как о своем “недомыслии”. Но, понимая, что это такое, невозможно называть нацизм недомыслием. Значит, отец так и не понял, что есть нацизм. Правда, он на деле не был антисемитом, среди его друзей было немало евреев… Да что там, у него большинство друзей были евреи — Эйнштейн, например, Фрейд и, разумеется, Эсад-бей!»

Через несколько недель после того, как я навестил его, Вирэк сообщил мне по телефону, что вспомнил еще кое-что. В конце 1950-х он какое-то время дружил с Дмитрием фон Мореншильдтом, профессором из белоэмигрантов, который издавал литературное обозрение. Тот был из прибалтийских немцев. У Мореншильдта была очень красивая жена по имени Эрика, кажется, третья по счету. Вирэк время от времени обедал у них, и Эрика иногда рассказывала про своего первого мужа. «Я только после вашего визита вдруг сообразил кое-что, — сказал Вирэк. — Видите, я уже до того дошел, что забываю самое главное. А ведь первым мужем миссис фон Мореншильдт был Эсад-бей! Она, похоже, очень гордилась этим — всегда называла его “мой арабский шейх”, рассказывала, что у него были целые гаремы и все такое прочее. Она была из тех дам — вы же знаете этот типаж, да? — которые ловят кайф, как говорится, рассказывая всем, что у их мужа был гарем. В общем, вот и все, что я о ней помню. По-моему, она еще стихи писала. Ну, ведь была женой Эсад-бея… Память все-таки такая странная штука,

правда?»

Осенью 1931 года, когда Льву было двадцать шесть лет, стройная, привлекательная девушка с короткой стрижкой пришла поработать стажером в редакцию «Ди литерарише вельт». В своих воспоминаниях Лев называет ее Моника Бранд; он помнил, что при первом знакомстве заметил лишь ее «темные, улыбчивые глаза» и красивые руки с удивительно грязными ногтями. Она оказалась хорошей секретаршей, однако было в ней и нечто такое, что вскоре привлекло особое внимание Льва.

Иногда она появлялась в мужских костюмах и была в них обольстительна. Но чаще всего она носила узкие, обтягивающие юбки, жилеты без застежек и небольшие, лихо заломленные шляпки. Лев понял, что не в силах не замечать ее присутствия. Она сидела за своей пишущей машинкой, что-то печатала, лизала марки, наклеивала их на конверты. «Ее стан был тонким, ноги под столом она клала одну на другую. Они были прямые, стройные, в тончайших шелковых чулках». Она сказала, что ее зовут Эрика Лёвендаль и что она пишет стихи. Ее отец был каким-то промышленником, миллионером, поэтому ее каждый день привозил на работу шофер в ливрее.

Она отличалась от всех других девушек, с которыми Лев был знаком по литературным кафе. Они были, несомненно, привлекательны, однако им, по-видимому, хотелось лишь весело проводить время. «Я с трудом различал их. Они все как-то сливались в одно-единственное, счастливо улыбающееся узкое, тонкое лицо с огромными серыми глазами», — писал он о тех девушках, которых приглашал в кино, кафе или на дегустацию вин в винодельческие хозяйства. Первые сексуальные опыты вызывали у него отвращение: «Я чувствовал себя запачканным, заплеванным, хотя в то же самое время счастливым, как будто освободившимся от какого-то груза. Но торопился потом домой и часами мылся…» А девушки, приглашавшие его к себе домой попить кофе после полуночи, лишь иллюстрировали пропасть между Западом и Востоком. «Так вот что такое любовь, чувство, которое так сильно влияло на жизнь европейцев», — писал он с сарказмом после очередной случайной связи.

Спектакли, которые Лев, вероятно, разыгрывал перед сероглазыми девушками, представляются нелепыми, если принять во внимание его маску «восточного человека», того, кто фотографировался с газырями и мечами, в чалме и с кинжалом. Его неумелость, робость — а может, несостоятельность? — несомненно, входили в противоречие с образом шейха, ведь с выходом одноименного романа Эдит Халл, который уже в 1921 году был экранизирован с Рудольфом Валентино в заглавной

роли, образ восточного мужчины, увозящего на своем скакуне уроженку Европы, стал символом чувственности. В Америке в 1920-х годах слово «шейх» приобрело значение «соблазнитель», что полностью противоречило его истинному смыслу: ведь шейх — это представитель высшего мусульманского духовенства, богослов и правовед или же вождь племени, глава рода, старейшина общины. А после выхода фильма «Шейх» так назвали даже марку презервативов.

Однако у секретарши со стройными ногами были темные глаза, она была сдержанной, не стремилась к сближению, и этим напоминала Льву девушек его родного города. Она была серьезна и получила почти такое же странное и эклектичное образование, как и сам Лев. Она рассказала ему, что бросила школу в четырнадцать лет и училась на дому, ее учителями были специалисты в разных областях знания, и она читала понемногу обо всем — так решил ее отец. В общем, она вполне могла быть изнеженной дочерью бакинского нефтяного магната. Но зачем она клеила марки в редакции «Ди литерарише вельт»?

Она пошла работать, чтобы получить жизненный опыт, объяснила Эрика. Она хотела встречаться с писателями, знаменитыми писателями. Она, как ей казалось, могла стать хорошей женой писателя. Гораздо позже Лев узнал, что она задумала выйти замуж за писателя еще в тринадцать лет.

Они начали ходить повсюду вместе, и теперь она покидала редакцию со Львом, а не с шофером.

На каждой из шести сохранившихся записных книжек Льва наспех нацарапано: «Тот, кто ничего не понимал про любовь». И хотя он пишет там обо всей своей жизни — от детства в Баку до необычных обстоятельств его переезда в Италию в 1942 году, — красной нитью всего повествования проходит его любовь к Эрике. Эта любовь довела его до сумасшествия в буквальном смысле слова (хотя его пребывание в психиатрической лечебнице было коротким) и не принесла ничего хорошего ни ему, ни ей.

Довольно скоро Эрике удалось сделать так, что Лев отбросил свою нерешительность. Его воспоминания об их флирте, о взаимной нежности исполнены эротики, которой нет нигде больше в его текстах. Он явно преувеличивает, изображая собственную неловкость и комичность, однако в остальном весьма точно описывает потерю самообладания и ощущение головокружения, которое охватывало его при виде истинно соблазнительной женщины. И как животное, оказавшееся в лапах у более сильного хищника, он сдался, перестал сопротивляться. На Фазаненштрассе, в доме, где он теперь снимал скромную, однако весьма удобную квартиру вместе с отцом, в распоряжении

Льва был только небольшой кабинет с широким, удобным диваном. «Когда я уставал сидеть и писать, я ложился на свой диван и читал словари, учебники грамматики, разные научные журналы». И вот однажды, придя домой, Лев лег на диван и рассказал отцу про эту секретаршу-стажерку из журнала: как они договорились, она будет приходить к нему домой — печатать на машинке и выполнять разные поручения Льва. «Она будет являться каждый день и печатать под мою диктовку. Отец взглянул на меня, потом на диван и, покачав головой, заметил, с присущей его возрасту мудростью: “Что же, диван у тебя широкий, как раз на двоих. Но будь осторожен. Хорошая женщина — самая большая драгоценность для мужчины. А плохая — это ад”». Его отец опять оказался прав.

Хотя Лев позже утверждал, что был женат на американской протестантке, Эрика на самом деле происходила из еврейской семьи, и родилась она в Лейпциге, в 1911 году. Ее отец, Вальтер Лёвендаль, был оптовым торговцем обувью, который сумел превратить берлинскую коммерческую концессию чешского обувного магната Бати в многомиллионный бизнес. Лёвендаль перевез семью в Берлин еще в 1912 году. Эрика получила прекрасное образование, однако учиться ей было скучно. И тут она открыла для себя литературу. А точнее — людей, ее создающих. Писателей. Еще до появления в журнале она пыталась поступить в секретарши к Штефану Лоранту, популярному берлинскому писателю, а когда это не получилось, то завела «хорошие отношения» с Петером Фламмом, еще одним известным автором. Эрика любила писателей, но больше всего ей нравились знаменитые писатели. По-видимому, вовсе не случайно, что она увлеклась одним из авторов «Ди литерарише вельт». Эрику очаровал ореол загадочности, окружавший Льва. Как она жаловалась в интервью одной из желтых газет во время их развода: «Он ведь сказал мне, что происходит из знатного арабского рода. И только после нашей свадьбы я узнала, что он — всего-навсего Лев Нусимбаум!»

«Что мог я сам знать о том действии, которое оказывало на других мое имя? — писал Лев позже про эти годы. — Что было мне известно про странную жажду славы, которую многие женщины путают с любовью?.. Она любила мое лицо, потому что это лицо часто фотографировали».

Лео Нусимбаум и Эрика Лёвендаль — Эсад-бей и Эрика Ренон (так впоследствии стала называть себя эта «поэтесса», по названию горного хребта в Италии, где она влюбилась в другого писателя, из-за которого бросила Льва) — поженились 7 марта 1932 года. После этого она некоторое время называлась Эрика

Лео Эсад-бей Нусимбаум, а в Берлине в 1932 году это было престижно. Молодожены переехали в квартиру, которую друг Льва, Вернер Шендель, помог получить в некоммерческой домовладельческой ассоциации «Городок работников искусств». Так Лев впервые оказался не в пансионе, не в съемной квартире, а в собственном доме. Этот многоквартирный дом был вообще-то известен как «Красный квартал», поскольку существовал на средства профсоюзов и его поддерживали различные социалистические партии, — в этом, разумеется, была известная ирония судьбы, учитывая политические взгляды Льва и состояние Эрики. Папаша Лёвендаль, как называли его друзья, лишь поморщился при известии о том, куда занесло его дочку, и предложил устроить их куда лучше, однако Эрика была в восторге от жизни в творческой атмосфере, где рядом с ними жили многие левые художники и писатели. Кроме того, Лев был человеком гордым. Поэтому вместо того, чтобы жить за счет своего недавно разбогатевшего тестя, Лев настоял на том, чтобы его недавно обедневший отец жил вместе с ними. И они начали обживать свой новый дом, где на заднем плане всегда присутствовал Абрам Нусимбаум, который лишь молча наблюдал за всей этой кутерьмой.

Папаша Лёвендаль, которого также называли «консулом», поскольку он занимал какой-то дипломатический пост, предоставленный ему чешским правительством, не слишком доверял этому самому Эсад-бею. Поскольку он был богат, то, само собой разумеется, подозревал всякого, у кого не было ничего за душой, в попытках завладеть его средствами. А странный наряд этого писателя, его поведение и вообще вся его репутация едва ли могли развеять возникшие подозрения. Ему импонировал тот факт, что его дочь вышла замуж за знаменитость. Но конкретно этой знаменитости он не слишком-то доверял. И даже нанял частного детектива, чтобы следить за собственным зятем.

Впрочем, неприязнь была взаимной. «У консула были всего три темы для разговоров: обувь, деньги и развлечения, — писал Лев с презрением. — Помимо этого, у него была единственная страсть: потратить как можно больше денег, чтобы потом похвастать этим во всеуслышание. У его жены тоже были всего три темы для разговоров: обувь, деньги и наряды. Помимо этого, у нее также была одна-единственная страсть: сэкономить как можно больше денег и тоже похвастать этим во всеуслышание. Несмотря на такое противоречие, эта пара жила, казалось, очень счастливо… У них был двенадцатилетний сын, однако даже он говорил лишь о деньгах и развлечениях. Третью тему для разговоров ему, очевидно, предстояло найти со временем».

Год, когда семья Нусимбаума-Эсад-бея обустраивалась в своем новом гнездышке в Берлине, был годом самых важных выборов в истории Германской республики. В 1932 году в Германии выборы на общенациональном уровне происходили четыре раза: два раунда президентских и еще два — по выборам депутатов в рейхстаг, причем первые два приходились на конец апреля, и все они были решающими. Фельдмаршал Гинденбург, суровый восьмидесятитрехлетний «герой войны», был президентом Германии с 1925 года (напомним, это был член диктаторского дуэта, на пару с Людендорфом приведший в 1918 году германскую армию к катастрофе). В Германии президента избирали на семь лет, и срок президентства Гинденбурга заканчивался. Он собирался вновь выиграть выборы, однако поговаривали, что какой-то выскочка, да к тому же еще и австриец, и капрал, изо всех сил старается заполучить место, занятое этим самым фельдмаршалом.

Этот младший офицеришка, этот иностранец, который уклонился от призыва у себя в стране, возглавлял третью по величине партию в рейхстаге. Еще месяц назад он даже не имел права баллотироваться на пост депутата рейхстага и уж тем более на пост президента Германского рейха. Но 26 февраля 1932 года тот, кто менее чем через год станет диктатором, сумел-таки получить незначительный пост в администрации германской провинции Брауншвейг[137]. Теперь этот австрийский капрал получил законное право баллотироваться на выборах в президенты Германии. Однако у Гинденбурга, а точнее, у тех, кто разрабатывал стратегию его кампании, родился план, как противодействовать Гитлеру.

Этот самый Гитлер, как говорили, влияет на массы с помощью голоса, который гипнотически действует на людей, он его разрабатывал, холил и лелеял, как итальянский тенор[138]. И Гинденбург (а точнее, Брюнинг, его тогдашний канцлер) принял решение — запретить ему выступать по радио. Логика правительства была проста: Гитлер ведь боролся на этих выборах за президентское место против кандидатов правительства — Гинденбурга и его канцлера. Это означало, что он борется с правительством, выступает против него, против государства! А радиоэфир был государственной собственностью. Итак, Гитлер был отлучен от эфира. Хотя задним числом можно утверждать, что хороши были бы любые меры, направленные против его прихода к власти, однако в то время подобное решение воспринималось как лишнее доказательство того, в какой дурацкий фарс превратилась германская демократия.

Пресс-секретарь Гитлера и его окружение решили тогда

организовать самое стремительное политическое турне в истории: передвигаться по всей стране на поездах, аэропланах, автомобилях, чтобы Гитлер смог выступить перед максимальным числом слушателей, как если бы он выступал по радио. Главным средством передвижения были трехмоторный самолет Люфтганза-D-2001 и три длинных черных «мерседеса». Это был политический блицкриг Гитлера.

Настоящее шоу начиналось, как только кандидат в президенты спускался с небес на немецкие города в своем сверкающем самолете. Симпатизировавшие Гитлеру газеты стали называть его перелеты «рейсами свободы» (Freiheitsflüge), и они сильно способствовали распространению мифа о том, что Гитлер — это энергичный, стремительный спаситель Германии, ангел небесный, нисходящий на все грады и веси фатерланда. Впоследствии Лени Рифеншталь создала прогремевший на весь мир фильм «Триумф воли» — в нем, правда, не показаны предвыборные политические склоки. Единственным зарубежным репортером, освещавшим предвыборную поездку Гитлера, был англичанин Сефтон Делмер (который во время Второй мировой войны возглавит британскую службу «черной пропаганды», однако на тот момент считалось, что он симпатизирует Гитлеру). Вспоминая об этой политической кампании, он называл ее «Авиашоу Гитлера». Иностранный корреспондент участвовал в избирательном турне Гитлера с подачи Ханфштенгля. Именно он убедил Гитлера, что во время избирательной кампании надо, по примеру Рузвельта, всегда возить с собой какого-нибудь зарубежного корреспондента, чтобы представать в глазах всего мира открытым и искушенным в политике. Гитлер использовал Ханфштенгля с его обходительными манерами и прекрасной родословной, для того, чтобы завести множество важных контактов среди богачей и в Германии, и в Америке. Мать его была из Седжвиков, одной из первых семей поселенцев в Новой Англии. Прозвище «Путци», что на баварском диалекте означает «малыш», дала Ханфштенглю его кормилица. Его отец был весьма известным человеком в Мюнхене, так что на их роскошной вилле бывали такие знаменитости, как писатель Марк Твен, композитор Рихард Штраус и исследователь Арктики Фритьоф Нансен. Каким же образом этот мальчик из приличного общества связался с оравой политиков из пивных, антисемитов и представителей низших слоев общества?

В 1908 году Путци принимал участие в одном шоу с восточными мотивами, организованном гарвардским клубом «Заварной пудинг». В этом шоу, которое называлось «Роковой факир», гарвардские студенты переодевались одни в женскую

одежду, другие — в наряды факиров, индусов и мусульман. Неуклюжий, высоченный Эрнст Седжвик Ханфштенгль (его рост был шесть футов и пять дюймов, то есть почти сто девяносто пять сантиметров) играл роль голландской девушки по имени Гретхен Спутсфайфер. Среди других актеров был и еще один студент по имени Уоррен Роббинс. Пути Уоррена и Путци после окончания Гарварда основательно разошлись: один вернулся домой, в Баварию, чтобы служить в составе королевского баварского конногвардейского полка, а другой поступил в Государственный департамент США. В 1922 году, когда Роббинс уже занимал пост старшего чиновника в американском посольстве в Берлине, он позвонил своему старому приятелю, тому самому, что играл роль «Гретхен». Вся эта революционная заваруха в Баварии очень беспокоит наше посольство, сказал Уоррен, поэтому они посылают к вам молодого военного атташе, капитана Трумен-Смита, чтобы разобраться в ситуации. Нельзя ли попросить старую добрую Гретхен позаботиться об этом молодом человеке, а также познакомить его с кем-то в Мюнхене? «Он оказался весьма приятным молодым офицером, лет около тридцати, правда, выпускником Йеля, однако, несмотря на это, я его хорошо принял», — писал Путци в 1957 году, в книге воспоминаний «Невыслушанный свидетель». В той же книге он рассказал и о судьбоносном для него ленче, на который выпускник Йеля пригласил его в день своего отъезда из Баварии. Вот как он передает свой разговор с американцем, успевшим проинтервьюировать всех мало-мальски заметных людей в Мюнхене:

— Сегодня утром я познакомился с весьма примечательным человеком.

— Вот как? — сказал я. — Кто же это?

— Адольф Гитлер.

— Вы, наверное, перепутали его фамилию, — сказал я. — Это не Хильперт? Есть такой немецкий националист.

— Нет-нет, — покачал головой Трумен-Смит. — Именно Гитлер… Мне дали карточку для прессы на их митинг сегодня вечером, но только я не смогу туда попасть, я же уезжаю. Нельзя ли попросить вас пойти и посмотреть на него? А потом дайте мне знать, каковы ваши впечатления, хорошо?

Путци взял карточку для прессы и в тот же вечер отправился послушать выступление Гитлера в погребке «Киндкеллер». Он вспоминал, что Гитлер много говорил о Кемале Ататюрке в Турции и о том примере, который подает всем Муссолини. Путци, как и обещал, описал свои впечатления выпускнику Йеля, а вскоре присоединился к нацистскому движению.

В Гарварде Путци возглавлял группу поддержки университетской футбольной команды, и известные ему приемы он перенес в политическую деятельность. Одной из его находок, воплощенных уже на раннем этапе существования нацистского движения, было преобразование гарвардской футбольной песни «Бей, Гарвард! Бей! Бей! Бей!» в нацистский клич «Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль!»

Исход выборов в апреле и мае 1932 года оказался неубедительным: Гинденбург выиграл с минимальным преимуществом, а Гитлеру отлучение от радиоэфира весьма сыграло на руку. Летом того года на улицах Берлина ежедневно происходили вооруженные столкновения между нацистами и коммунистами. Кристофер Ишервуд, который в то время жил в Берлине, писал, что в этих уличных боях было что-то фальшивое, как будто обе стороны затевали их исключительно для рекламы: «Через пятнадцать секунд после начала перестрелки все заканчивалось, они разбегались в разные стороны». Обе стороны — и крайне правые, и крайне левые — теперь всеми силами старались отпугнуть избирателей от центристских партий.

Второй раунд общенациональных выборов 31 июля 1932 года показал, что стратегия экстремистов по нагнетанию насилия оказалась успешной: и нацисты, и коммунисты отняли голоса у партий умеренного толка. А нацисты стали самой крупной партией, представленной в рейхстаге.

У посетителей кафе «Мегаломания» не находилось слов, чтобы выразить разочарование результатами выборов. При этом практически никому не приходило в голову, что этот ничтожный капрал не то из Австрии, не то из Баварии имел хоть какой-то шанс оказаться во главе государства, не говоря уж о том, чтобы ликвидировать республику и стать диктатором типа Муссолини, как он пригрозил Гинденбургу, когда тот отказался сделать его членом кабинета министров в августе 1932 года. Одним из немногих, кто уже тогда покинул страну, был художник-сатирик Георг Гросс, он получил грант в Нью-Йорке и вернулся на родину лишь через двадцать лет. Позже он говорил, что у него было предчувствие грядущей общенациональной катастрофы: ему приснился сон, в котором был и преследуемый всеми, бездомный, неприкаянный интеллигент, и почему-то норвежский моряк, и целая груда гниющей рыбы. Получившая в 1932 году престижнейшую Клейстовскую премию Эльза Ласкер-Шюлер в следующем году подверглась нападению штурмовиков.

Лев, несмотря на политическую ситуацию, наслаждался своей славой и семенной жизнью с любимой молодой женой Эрикой. Огромным успехом пользовались все его книги: и «Двенадцать

тайн Кавказа», и «Магомет», и «ОГПУ: заговор против всего мира», и другие. Он завершил «Россию на перепутье», а также новую биографию Ленина. Лев и Эрика могли с гордостью демонстрировать издания его книг на семнадцати языках.

6 ноября 1932 года завсегдатаи «Мегаломании» отметили самую лучшую новость с выборов этого года, хотя на самом деле едва ли были основания для радости. В масштабах всей Германии нацисты потеряли голоса избирателей, поскольку Гитлеру не удалось сохранить альянс с националистической партией промышленника Гугенберга (а значит, и возможность выхода на средства массовой информации). Но в самом Берлине нацисты получили больше голосов, чем прежде. Правда, и коммунисты обошли социал-демократов, впервые став партией левого большинства в столице Германии. Более семидесяти процентов берлинцев проголосовали за экстремистские партии — правого и левого толка.

Борьба между нацистами и коммунистами прекратилась. Настало время нанести смертельный удар по буржуазному центру — демократии в Германии. Когда транспортные рабочие Берлина в конце ноября устроили забастовку, случилось то, что сегодня трудно себе представить: Иозеф Геббельс и Вальтер Ульбрихт (будущий коммунистический лидер Восточной Германии) вышли на совместную демонстрацию против буржуазного муниципального правительства; коммунисты и нацисты стояли в одном строю, только одни кричали «Рот Фронт!», а другие «Хайль Гитлер!»[139] Когда Эрика и Лев разъезжали по улицам Берлина в ее большом американском автомобиле (а это в сочетании с их еврейскими именами и внешностью теперь воспринималось как политическая демонстрация), они видели множество развевающихся флагов — на одних была свастика, а на других серп и молот.

Революция — старый кошмар Льва — наступала со всех сторон. И не было никакой надежды на милостивого монарха.

Когда коммунисты и нацисты начали устраивать совместные шествия по улицам Берлина, выступая против республики, генерал фон Шлейхер, занимавший пост начальника политического управления армии, пришел в сильное беспокойство. Он понимал, что такое сборище экстремистов означает одно: либо Сталин, либо Гитлер придут к власти в этой стране. Этот мастер интриг и закулисных махинаций, лысый пруссак с аристократической внешностью однажды сказал своему приятелю: «Либо я отрежу яйца Гитлеру, либо он мне». И вот к концу 1932 года фон Шлейхер вдруг ощутил, что не исключено как раз последнее.

На Рождество 1932 года фон Шлейхер выступил по радио с обращением к германскому народу, в котором он изложил свои смелые планы по созданию социалистически-националистической коалиции всех немцев. Лев, подобно большинству слушателей, был ошарашен услышанным. Стало ясно, что время Веймарской республики близится к концу, что она перерождается во что-то другое. Может, власть перейдет в руки военных? Шлейхер своим высоким отрывистым тенором, который не шел ни в какое сравнение с виртуозно поставленным голосом Гитлера, объявил о планах по национализации промышленности, увеличению страховых покрытий для рабочих, а также по переселению тысяч безработных на семьсот пятьдесят тысяч акров земель «на наших малозаселенных восточных территориях».

Это и решило дело. Слова о переселении погубили правительство фон Шлейхера. Вскоре нацисты также выступят со своими планами по переселению десятков миллионов людей «на Восток», и никто даже глазом не моргнет. Однако нацисты обещали переселить людей на чужие земли, на зарубежные территории. А в своем рождественском послании фон Шлейхер говорил о германской земле — о равнинах Пруссии, о территориях, которые принадлежали помещикам-юнкерам. Национальная аграрная лига, организация землевладельцев-юнкеров, тут же выступила с резким протестом против подобного «аграрного большевизма». Отныне никакие прошлые обещания или союзы уже не действовали. Дальше события развивались быстро и, в отличие от Москвы 1917 года, поначалу без кровопролития.

«Пронизывающий холод сковал город, погрузив его в мертвую тишину, сродни тишине в полдень, в летнюю жару, — писал Ишервуд. — Снаружи, в ночи, за последними, недавно построенными кварталами бетонных многоквартирных домов, там, где улицы заканчиваются застывшими от холода дачными участками, начинаются прусские равнины. Сегодня их ощущаешь повсюду вокруг, они наползают на этот город, будто чудовищное пустынное пространство враждебного океана». А капитаны этого океана нашептывали Гинденбургу, что генерал фон Шлейхер на самом деле большевик, выродок, что он — агент Москвы. Внутри Германии организован государственный переворот, и для борьбы с ним придется привлечь Гитлера. Нужно срочно договориться с Гитлером, прежде чем русские разрушат Бранденбургские ворота.

31 декабря 1932 года со стороны прусских равнин в Берлин ворвались ледяные ветры, с воем пронеслись по его улицам, мимо «Мегаломании» и зала, где проходил ежегодный рождественский бал для прессы, который устраивало издательство «Ульштайн» —

и там и там праздновали приход Нового года те, кто составлял окружение Льва в Берлине. К следующему Новому году оба этих места попросту перестанут существовать. Революция в Германии наконец завершилась, как это произошло в России, только там она началась в 1905-м, а закончилась в 1917 году, а здесь начало было в 1919 году, а конец настал в 1932-м. В обоих случаях революции понадобилось двенадцать лет, чтобы дойти до своей кульминации — теперь власть могла, наконец, перейти в руки революционного правительства. Уже в январе 1933 года стали возникать все новые и новые соглашения и договоры, которые буквально на следующий день теряли силу, а коммунисты вскоре узнали, что нацисты на самом деле вовсе не «то же самое», что и социал-демократы.

Дальше произошло то, что всем хорошо известно и многократно описано. Веймарская республика закончила свои дни под звуки парадных маршей, под факельные шествия и при свете полыхающих до небес костров. Лицо фельдмаршала осталось только на марках. А все остальное изменилось до неузнаваемости.

В конце ноября 1932 года Лев отправился в лекционное турне по Турции и Чехословакии. В Стамбуле он выступал в Центре австрийской культуры, и турецкая пресса широко освещала это событие, воздавая выступавшему самые высокие похвалы и особо отмечая его великолепный турецкий. После Стамбула он поехал в Прагу, где прочитал по-немецки лекцию в клубе «Урания» — она называлась «Дух и душа современной России». В газетном объявлении об этой лекции сообщалось, что у выступающего в Вене украли «два чемодана и портфель» и что в том портфеле были «документы и текст лекции».

Возможно, Лев отправился назад, в Вену, пытаясь разыскать их. Во всяком случае, в скором времени он выступил с лекцией на эту же тему в Австрийской культурной ассоциации в Вене. А дальше, после того как в декабре 1932 года события в Германии начали развиваться непредсказуемо, он «попросту остался там», как написал на полях его полицейского досье негодующий сотрудник Общего совета общественной безопасности. Эрика, ее родители и брат также смогли уехать из Германии в начале 1933 года. Лев пересек границу, предъявив свой нансеновский паспорт, а его тесть с тещей еще смогли воспользоваться обычными германскими документами. Абраму Нусимбауму австрийские власти отказали в визе, и лишь через год он смог присоединиться к своему сыну и родителям его жены: он приехал в Вену через Прагу. В начале 1934 года там появилась и Алиса Шульте, старая бонна-немка Льва, жившая у них в доме в Баку. В Берлине она

проживала с 1922 года, однако нам неизвестно, жила ли она у Нусимбаумов. Во всяком случае, когда им пришлось уехать из Германии, Алиса также отправилась за ними следом.

«Существовала даже вероятность, что вандалы из Третьего рейха попытаются как-то эксплуатировать имена таких широко известных “арийских” писателей, как Томас Манн и Герхарт Гауптман (который сегодня подвергается преследованиям), лишь бы обманом заставить человечество поверить в то, что национал-социализм имеет определенное уважение к человеческому духу, — писал Йозеф Рот весной 1933 года в своем эссе “Аутодафе разума”. — А вот мы, писатели еврейского происхождения, в принципе, слава Богу, свободны от искушения оказаться на стороне варваров, в любом смысле слова… Даже если бы в наших рядах и нашелся предатель, который, по причине личных амбиций, глупости или слепоты, хотел пойти на позорное примирение с разрушителями Европы, он не смог бы этого сделать! Эта “азиатская” и “восточная” кровь, которую нам ставят в вину нынешние правители Германского рейха, совершенно точно не позволит нам дезертировать из благородных рядов европейской армии».

Казалось, и для Льва Нусимбаума все должно было быть столь же определенно и ясно: его особый бренд «восточного человека» должен был бы защитить его от любых контактов с новыми варварами в Берлине. Однако у Льва Нусимбаума ничто не бывало определенным и ясным.

Несмотря на всеобщий восторг, связанный с объявленным наступлением нового, «тысячелетнего рейха», кое-кто нашел время вспомнить свои старые обиды. И Курт Цимке, сотрудник германского Министерства иностранных дел, некогда получивший жалобу на Льва, направленную в министерство группой антисемитов, националистов-мусульман и армейских офицеров, отнюдь не забыл про этого Эсад-бея. Он открыл дело, когда были получены первые жалобы на него, и следил за судьбой этого подозрительного типа целых три года, причем совершенно бесплатно, из любви к искусству.

Теперь же, когда к власти пришло правительство, желавшее знать все о евреях, скрывавших свое происхождение, Цимке передал дело в новое Министерство пропаганды под руководством доктора Геббельса, призвав его что-то предпринять, чтобы прекратить «лживые фабрикации этого исключительно плодовитого еврея». Цимке был особенно возмущен тем, что Министерство пропаганды Третьего рейха включило книги Лео Нусимбаума в список книг, озаглавленный «Прекрасные книги для немецких умов».

Министерство Геббельса ответило сдержанным письмом, в целом поддержав труды Эсад-бея, особенно его последние книги, в которых он разоблачал дьявольскую сущность коммунистической империи. У них не было данных о том, что Эсад-бей — еврей, поэтому не было и причины начинать преследование этого автора. Во всяком случае, было «сомнительно», что автор имел какое-то отношение к «еврейскому племени».

Цимке был взбешен. Как так? Ведь достаточно взять любой «антисемитский словарь» в любой публичной библиотеке! В Германии и Австрии с 1890 года ежегодно публиковались подобные издания. Например, в «Сигилла вери»[140] выпуска 1931 года можно было найти имя Эсад-бея, с отсылкой на статью «Нуссенбаум (Нуссимбаум, Ноусимбаум)», где значилось лишь одно слово — Geschichtsschwindler, то есть «мошенник, пишущий лживые истории».

Однако новое нацистское Министерство пропаганды, по-видимому, не сочло необходимым обратиться к стандартному антисемитскому словарю. Эсад-бей вскоре получил новые членские билеты Союза германских писателей Третьего рейха и Литературной палаты Третьего рейха — это было обязательным условием для публикации книг или статей в годы Третьего рейха. Понадобилось еще два года, прежде чем нацистская бюрократия приняла к сведению тот факт, что Эсад-бей был евреем.

Часть третья

Глава 13. Крепкий орешек

Эсад-бей ненавидит революции. Один за другим политические перевороты лишили этого человека его родины, заставили бежать из всех тех стран, где он пытался устроить свою жизнь, завести домашний очаг. Пережив террор русской революции, он ненавидит большевиков, поскольку они обобществили нефтяные прииски его отца и отобрали у него фамильную виллу в Баку, чтобы устроить там штаб-квартиру Сталина. Став жертвой террора в Германии, он ненавидит нацистов, поскольку они разорили его берлинского издателя и — нанеся ему еще большую травму — сожгли его книги о России, не сообразив, что он писал их против большевиков, а не выступая в их поддержку.

Однако Мохаммед Эсад-бей, как ни странно, преуспевает именно благодаря преследованиям, которым подвергается.

Так начиналась статья о Льве Нусимбауме, напечатанная в газете «Нью-Йорк геральд трибьюн» в воскресном номере 16 декабря 1934 года. В центре страницы была помещена крупная фотография Льва в облачении кавказского горца. На ней он несколько полнее, чем на берлинских фотографиях, видимо, сыграла свою роль жизнь в высшем обществе, в лоне состоятельной семьи Лёвендаль. Корреспондента газеты явно поразил «восточный облик» Эсад-бея. Дальше в статье безо всякого перехода повествовалось о некоторых приключениях Льва, о его различных паспортах, о часто возникавших проблемах с полицией и неожиданно и счастливо разрешавшихся инцидентах — все это явно было рассказано самим писателем за коктейлями или за кофе. «Когда он выходит из своего буддистско-мечтательного состояния, которое его супруга называет просто ленью, — продолжал репортер, — он, облизнув губы, откидывается в кресле и начинает рассказывать очередную историю, короче говоря, проявляет себя настоящим последователем того племени, откуда была родом и Шехерезада». Здесь, пожалуй, можно усмотреть первый намек на сложности в их семейной жизни.

Репортер изобразил Льва мусульманином, хотя и не соблюдающим каноны ислама: «У него нет молитвенного коврика; он не обращает свое лицо к Мекке, когда молится, ест свинину и пьет вино; однако когда он женился в Берлине, то не стал переходить в другую веру». Кстати, германский чиновник, совершавший церемонию бракосочетания, сказал Эрике: «Я обязан предупредить вас, что этот человек может в любой момент

отправиться в мусульманскую страну и там жениться еще на трех женщинах». На что Эрика отвечала, что готова рискнуть. Однако в целом в газете была дана картина счастливого супружества и, кроме того, статья заверяла читателей, что «Эсад-бей — самый моногамный мусульманин за пределами Новой Турции Кемаля-паши. И он, как всякий человек Запада, гордится своей женой, у которой великолепная, стройная фигура».

Весной 1933 года Лев и Эрика поехали в Италию, в Рапалло, где писатель выступал с чтением своих произведений, причем среди присутствующих был не только Стефан Цвейг, но и, как оказалось значительно позже, Пима Андреэ. По прошествии многих лет Пима писала ему, что у нее остались в памяти и этот вечер, и они с женой. Ей запомнилось, что в их отношении друг к другу чувствовалась Zweieinsamkeit, — это удивительное немецкое слово можно перевести так: «благодатное одиночество вдвоем».

«Вечный медовый месяц — вот как Эсад определяет свой идеал жизни писателя», — бодро настрочил репортер из «Нью-Йорк геральд трибьюн», а дальше описал, как за последние два года (по-видимому, это 1933 и 1934 годы) Лев и Эрика во время своего длительного свадебного путешествия побывали в Италии, Швейцарии, Испании, Австрии и в Нью-Йорке.

Супруги Эсад, покинув Испанию, вернулись в Вену. Здесь они живут в доме, где их соседями является американская супружеская пара — Бинкс и Джей Дрэтлер. Любое утро, проведенное у них в квартире, куда интереснее, чем поход в зоопарк. Никто из них не одевается, пока не выполнены различные домашние дела. Эрика печатает на пишущей машинке, Эсад диктует ей, Бинкс пишет маслом, а Джей редактирует роман. Он и Эсад работают наперегонки друг с другом, причем каждый хвастает тем, сколько он успел написать после завтрака.

Присутствие Эрики очень важно для ее мужа — работает ли он или отправляется с нею на прогулку. Когда она с ним рядом, он способен работать, не отвлекаясь ни на что, даже если полдюжины гостей одновременно разговаривают с нею в той же самой комнате.

В конце своей большой статьи репортер упомянул одно обстоятельство, которое для меня оказалось самым интересным во всей этой корреспонденции: что Эсад-бей, «которому уже за тридцать, собирается остепениться, посвятив себя рутинной литературной работе, причем он планирует подать заявление на получение американского гражданства. Он, правда, окажется крепким орешком для нашего “плавильного котла”, поскольку в своих предрассудках и предпочтениях он настолько же стар, как и

Азия вообще. Однажды он даже крикнул мне, и голос у него был звенящий, резкий, а его густые, выразительные черные брови взлетели пушистыми волнами: “Я — мусульманин, монархист и человек Востока!”»

В самом ли деле Лев планировал получать американское гражданство?

Это не соответствовало тому, что мне было о нем известно, хотя он вполне мог заставить репортера поверить, будто он собирался это сделать.

В начале октября 1933 года Лев, Эрика, ее родители и тринадцатилетний брат Вальтер взошли на борт трансатлантического лайнера «Вулкания», направлявшегося рейсом в Нью-Йорк. Сам Лёвендаль не раз ездил в США в конце 1920-х годов, да и Эрика с Вальтером однажды побывали там с ним и со своей гувернанткой, это было весной 1929 года, в беззаботное, золотое время, за полгода до обвала котировок ценных бумаг на Нью-Йоркской бирже. А вот Лев направлялся в США впервые.

В коробке, которую внук Пимы Андреэ нашел на старой вилле их семьи в Рапалло, среди сотен писем и рукописей, написанных микроскопическим почерком Льва, было и меню торжественного обеда, который команда лайнера устроила 17 октября 1933 года во время путешествия по морю — «в честь господина Мохаммеда Эсад-бея», Эрики и ее родителей. Помимо этого меню там нашлась и примечательная фотография, на которой запечатлены многие из присутствовавших, одетые в «восточные наряды», — это австрийцы, немцы, венгры, итальянцы: на всех чалмы, вуали и фески, а в руках бутафорские кинжалы. Среди этих «ориентализировавшихся» европейцев стоит Лев в несколько неуклюжей позе, на нем белый галстук и фрак. На заднем плане, обрамляя собравшихся, висят два больших, во всю стену, американских флага, производящие отчего-то странное и ненужное впечатление.

Все иностранцы, прибывавшие в США морем, в те годы были обязаны заполнить стандартный формуляр, и каждый такой документ (его называли «манифест») хранится теперь в небольшой, залитой светом неоновых ламп библиотеке в южной части Манхэттена — здесь находится штаб-квартира Национального управления архивов и учетной документации США. Эта организация располагает, пожалуй, самой непоследовательной, многоступенчатой и трудной для понимания системой каталогизации, с какой мне только приходилось сталкиваться. Когда я наконец обнаружил нужную карточку, то увидел на ней лишь фамилию и последовательность

номеров: они направили меня в специальный отдел, где находились сами микрофильмы с изображениями каждого из формуляров с каждого из судов, которые когда-либо бросали якорь в порту Нью-Йорка. Неудивительно, что посетители архивов, исключая меня, занимались поисками собственных родственников для составления генеалогических таблиц[141].

Но есть и преимущество в том, что вся эта информация не представлена в форме компьютерного файла, ведь приходится разглядывать оригинальные документы, и это позволяет обращать внимание на различные детали: невозможно найти данные по какому-то пассажиру какого-то судна, не проглядев все страницы с именами, комментариями и пометками работников иммиграционной службы. Меня заинтересовала, например, инструкция для капитанов и корабельных офицеров о том, как следует заполнять такую важную колонку формуляра, как «Племя или Народ», помещавшуюся между колонкой 9 «Гражданство (гражданином или подданным какой страны является пассажир)» и колонкой и «Место рождения». Закон об иммиграции 1924 года (частично принятый еще в 1921 году) впервые в американской истории ввел строгую систему учета «национального происхождения»: тогда возникла система квот, согласно которой в отношении прибывающих в США требовалось отдавать предпочтение людям нордического или англо-саксонского происхождения и ограничивать въезд славян, жителей Средиземноморья, африканцев и азиатов. Закон был следствием страха перед импортом революции, а также перед «расовым вырождением», которые и привели к такому ужесточению правил иммиграции в США. Любого, кто казался подозрительным — от греков до китайцев, — в страну не пускали, и при этом закон был особенно строг к жителям Восточной Европы и Южной Италии.

Однако больше всего этот закон навредил евреям, закрыв возможность спасти еврейское население Европы от нацистов. И все время, пока въезд в США оставался для евреев Европы вопросом жизни или смерти, закон этот сохранял свою силу (после войны, во время правления Трумэна, его исполнение было сведено к минимуму). В конце XIX — начале XX века во время погромов в России были убиты несколько тысяч евреев, однако из-за этого в США из России эмигрировали несколько миллионов евреев. А вот в 1930-1940-х годах ситуация была обратная: миллионы евреев в Европе были уничтожены, тогда как всего лишь нескольким тысячам европейских евреев было разрешено въехать в США.

По-видимому, капитаны и офицеры на трансатлантических линиях постепенно понаторели в расовых вопросах: если, как я

обнаружил, на корабельных формулярах 1920-х годов семью Лёвендаль записали «немцами», то в 1933 году всех их, включая и «Лео Эсад-бея Нуссинбаума» и «Эрику Нуссинбаум Эсад-бей», уже именовали «иудеями».

В колонке 24, на вопрос, желают ли пассажиры обратиться с просьбой о предоставлении постоянного места жительства в США, все члены семьи Лёвендаль-Нусинбаум ответили «да». Папаша Лёвендаль ни секунды не сомневался, что уезжает из Европы навсегда. Он был исключительно прозорливым в своей оценке ситуации в Европе, хотя, впрочем, не доверял и способности ненацистской Европы оставаться стабильной, но, помимо прочего, ему попросту нравилось жить в Соединенных Штатах, стране современного капитализма. Кроме того, он не вез с собой бедных родственников-беженцев. В колонке 23 («Собираетесь ли проживать у родственников или у друзей; укажите имя и полный адрес») все они указали один и тот же внушающий почтение адрес: «Отель “Уолдорф-Астория”, Парк-авеню, Манхэттен».

А всего через несколько недель Лёвендаль, по-видимому, приобрел большую квартиру в южном конце Пятой авеню. Проглядывая в архиве переписку Льва с его итальянским издателем во Флоренции, я обратил внимание, что его письма написаны на бланках с адресом этой квартиры.

В одном из посланий к Пиме Лев описал роскошную жизнь, которую он вел в принадлежавшем его тестю трехэтажном пентхаусе, особо упомянув, до чего она его тяготила:

> Я был до омерзения богат, у меня и на счете в банке пятьдесят тысяч долларов, и зарабатывал я по тысяче долларов в месяц, однако я вечно ощущал себя посторонним посетителем в собственной квартире. В семь часов вечера появлялся слуга-негр во фраке, и я узнавал, что я, оказывается, пригласил на обед дюжину человек… Я не знал о них ничего, кроме разве что их имен. Что ж, все они считали меня ужасно бедным. Все настолько в это верили, даже Эри, что и я сам начал так считать, но если я только осмеливался подзабыть о моей исключительной бедности, Эри тут же напоминала мне о том, какую честь оказала мне, став моей женой. На самом деле именно я платил за все эти званые обеды, вечеринки и тому подобное.

Это довольно точно соответствует сценам из незавершенного романа Льва, который я обнаружил среди бумаг Пимы. Лев начал его, по-видимому, в 1940 году, и действие в нем происходит в среде состоятельных жителей Манхэттена. История написана от

лица мужа, который все больше чувствует, как его жена — богатая наследница — ограничивает его возможности; муж этот, князь Али Алашидзе, грузин из древнего рода, служащий в армии, не может распоряжаться стомиллионным наследством своей избалованной жены. В этом романе, в предсмертных записках-воспоминаниях и в письмах к Пиме прослеживается одна и та же линия: беззаботная светская жизнь и возрастающий снобизм жены-модницы приводят к тому, что муж начинает пить. Лев сам поведал Пиме: «Я был пьян целых два года. Я не просыхал, я потерял всякое чувство меры, даже по американским стандартам».

Из всех его текстов явствует, что Льву не слишком нравилось жить в США: он чувствовал себя неприкаянным в стране, в которой и культура, и межчеловеческие отношения оказались в плену у денег. Его американские издатели относились к нему хорошо, как, впрочем, и пресса, но вот поездки с лекциями по стране оказались для него невыносимыми. «Хуже всего то, что начиналось после выступления, — писал он, — у них это называется “прием”, и вот там-то меня и окатывали с ног до головы всевозможной человеческой глупостью».

Правда, кое-что в Америке Льву все же нравилось: особенно огромные кинотеатры с кондиционерами, а также вежливость служащих в правительственных учреждениях. «У вас чиновники такие же вежливые, как европейские продавщицы, — сказал он одному журналисту, бравшему у него интервью, — они ведут себя так, словно их предупредили: “Если не будете вежливыми и приветливыми, клиент может перейти улицу — в магазин наших конкурентов”».

Также он довольно благожелательно описывал Манхэттен 1930-х годов: «Грандиозное, прямое, как стрела, ущелье между небоскребами, одинокие завершенья которых ведут свою собственную, частную жизнь… В них проживает пятьдесят тысяч жильцов, но их ежедневно навещают еще двести тысяч человек. Каково было бы мэру среднего городка в Европе, если бы у него в городе изо дня в день бродили туда-сюда четверть миллиона человек? Думаю, он сошел бы с ума». В его описаниях Нью-Йорк, пожалуй, весьма похож на то, что снято в «Метрополисе» Фрица Ланга — это пустынный, устремленный вверх город, вырезанный из «холодного американского гранита».

Если судить поверхностно, то в Нью-Йорке у них с Эрикой была, что называется, «блистательная светская жизнь», но именно это и делало Льва несчастным. Непреходящей темой его текстов стали бесконечные светские визиты его супруги, в то время как он был способен лишь сделать очередной неверный шаг —

например, надеть ботинки, совершенно не подходящие к костюму. «Однажды я надел ботинки для обеда, — писал Лев, — хотя на мне уже был вечерний костюм. Боже ты мой, до чего же разволновался вдруг мой тесть!»

В Нью-Йорке, как и в Вене, Лев и Эрика, очевидно, продолжали жить в одном доме с ее родителями, а также с младшим братом Эрики — Вальтером. Узнав, что Вальтер и сегодня живет в северо-восточной части Манхэттена, в фешенебельном Верхнем Ист-Сайде, я решил посетить его, чтобы хорошенько порасспросить о бывшем зяте.

Вальтер Лёвендаль, которому было за восемьдесят, впустил меня в элегантную переднюю своей городской квартиры, на стенах которой было немало фотографий оперных певцов, а также, если я не ошибаюсь, его собственная фотография рядом с Паваротти. Он объяснил мне, что изначально страстной любительницей оперы была его жена, однако в результате и он увлекся ею, хотя раньше терпеть ее не мог. Я не разглядывал его гостиную, потому что все мое внимание было сфокусировано на нем — не только из-за интервью, но еще и потому, что у него именно в этот день резко упал сахар в крови, и я беспокоился, как бы он не потерял сознания во время моего визита. Но он настоял, чтобы я приехал, причем, начав вспоминать о событиях семидесятилетней давности, постепенно почувствовал себя лучше — когда рассказывал, например, как отправился в это путешествие из Вены в Нью-Йорк вместе с сестрой и ее странным новым мужем.

— Эсад-бей был моим заклятым врагом, — сказал Уолтер, посмеиваясь. — Что ж, я порядком отравлял ему жизнь. Такой был противный мальчишка!

Он рассказал, что они со Львом, которого он знал лишь как Эсад-бея, не поладили с первой минуты.

— Когда я был подростком, до чего же я его ненавидел! Я однажды стащил его рукопись и заперся в уборной — это было еще в Вене, когда все мы там жили. И он голову потерял от этого — теперь-то я понимаю, в чем дело, теперь я знаю, каково писателю лишиться рукописи.

Уолтер сказал, что притворился тогда, будто рвет рукопись Льва на кусочки:

— Ну, тут такое поднялось! Все начали стучать в дверь, кричать, визжать…

Разумеется, у него не было ни малейшего намерения на самом деле уничтожать эти страницы.

— Нет, просто мы не любили друг друга. Эсад плевать на меня хотел. А я — на него…

Вальтер, по-видимому, не вспоминал о своем прежнем недруге уже лет пятьдесят. Сам он работал в документальном кино, но карьеру сделал в телевизионной рекламе. Он рассказал, что его родители были против замужества сестры. Рассказал про своих родственников в Германии, с важным видом поведал, что их с Эрикой бабушка была ни много ни мало из семьи Ротшильдов, а вот по другой линии они были родственниками «какого-то датского короля, Фридриха Первого, Второго, Третьего или что-то в таком роде. У него был незаконнорожденный сын по фамилии Лёвендаль — он потом еще стал одним из крупных военных стратегов, участвовал во всех Наполеоновских войнах. Он командовал датской армией, состоявшей из одних наемников».

Вальтер так и не понял, был ли Лев мусульманином, евреем или кем-то еще:

— Все это, знаете ли, так запутано… Ну да, он носил феску, значит, видимо, был мусульманином.

Я спросил у него, произвело ли впечатление на его богатых родственников то обстоятельство, что отец Льва был миллионером, нефтяным магнатом из Баку.

— Миллионером? Да ну! Не может быть, — отвечал Лёвендаль, удивленно поднимая брови. — А я-то всегда думал, что он просто какой-то старый бедный еврей.

Помимо того что ему приходилось вращаться в высшем обществе и постоянно иметь дело со своими тестем и тещей, Лев большую часть своего пребывания в Нью-Йорке занимался тем, к чему у него больше всего лежала душа: писал и следил за политическими событиями. В связи с этим он часто встречался с Джорджем Сильвестром Вирэком, которого стал считать своим лучшим другом в Америке.

Вирэк высоко ценил антикоммунистические книги Льва, так что впоследствии они даже работали над одной книгой как соавторы. Однако еще до этого Вирэк заказал Льву статью для газеты «Джёрмэн аутлук» («Германская точка зрения»), которую он издавал в те годы. Статья эта, пожалуй, самый странный текст из написанного Львом, называлась «Красная опасность в США». Она призывает не судить о нацизме скоропалительно. Во врезке от издателя об Эсад-бее сказано так: «Это известный русский публицист, книги которого приковали к себе внимание всего цивилизованного мира. Как и многие его соотечественники, Эсад-бей считает большевизм врагом всего человечества, и его радует тот факт, что в Германии национал-социалисты вынесли обвинительный приговор Красной опасности».

Пусть Лев в этой статье и не восторгался национал-

социализмом, однако он представил его вовсе не так, как можно было бы ожидать. Сообщив читателю, что на протяжении четырнадцати лет Германия была на пороге красной революции, он продолжает: «Если принять во внимание существующее сегодня политическое и экономическое положение, успешная коммунистическая революция в Германии неизбежно привела бы к распространению большевизма по всей Европе, к уничтожению традиционной европейской культуры, а также к распространению волны большевизма в США. <…> Правительство Гитлера приобретает исторически важную роль. <…> Лишь Германия оказалась в состоянии соорудить непреодолимую стену современного национализма, чтобы заблокировать заговор против всего мира, который устроили красные правители России, где только за пятнадцать лет из-за последствий революционных столкновений, голода, гражданской войны и террора погибли десять миллионов человек».

Лев, таким образом, подверг суровой критике преступления большевиков, а о Гитлере не сказал ничего критического, настойчиво утверждая, что «Невозможно сегодня вынести окончательное мнение о положении в Германии, не учитывая того, что национал-социалистическая революция спасла Европу от катастрофы».

Подобные высказывания Льва трудно было бы объяснить иначе как проявлением его двуличия и маниакального страха перед большевиками, однако на самом деле подобные идеи в то время были распространены куда больше, чем принято думать в наши дни. Как и в случае с Муссолини и Сталиным, тогдашние наблюдатели нередко видели лишь то, что хотели видеть. Лев написал эту заметку в конце 1933 года, то есть первого года правления Гитлера. А даже годом позже газета «Нью-Йорк таймс» получила Пулитцеровскую премию за статьи Фредерика Т. Бэрчола, который заслужил всеобщее уважение за «объективное изложение событий в Германии». Бэрчол был главой корреспондентского пункта «Нью-Йорк таймс» в Берлине и посылал репортажи для этой уважаемой газеты на протяжении всей нацистской революции. Весной 1933 года он, например, описал как «мальчишескую выходку» водруженную над синагогой свастику, а к сожжению книг, которое устроили нацисты по всей стране, отнесся совершенно несерьезно. Даже в 1936 году, когда Бэрчол вел репортажи во время берлинской Олимпиады, он не обнаружил «ни малейших проявлений религиозных, политических или расовых предрассудков». Он написал даже, что, став свидетелями показательных выступлений и всей праздничной атмосферы на Олимпиаде, «иностранцы наверняка

приедут домой с прекрасным мнением касательно диктатуры и лишь пожелают, чтобы демократия была способна устраивать не менее зрелищные мероприятия»[142].

Факт остается фактом: многие газеты в США занимали точно такую же позицию, что и Лев в своей статье 1934 года, и фактически так было до самого момента, когда США вступили в войну в 1941 году — куда позже, чем им следовало бы сделать. Газеты изоляционистов, например «Чикаго трибьюн», активно поддерживали Гитлера вплоть до самого начала Второй мировой войны, считая его единственным защитником Европы от «коммунистической угрозы». И ни в какие рамки уже не лезет то, что газета «Крисчен-сайэнс монитор» помещала на протяжении всех 1930-х годов откровенно пронацистские статьи. В 1933 году статья из двух частей под названием «Путешественник приехал в Германию» описывала страну, исполненную довольства, где «движение по дорогам прекрасно регулируется, царит спокойствие, порядок и вежливость, и нет ни единого признака, что якобы происходит что-либо необычное». Репортер «Крисчен-сайэнс монитор» сравнивал коричневорубашечников с членами некоторых студенческих объединений, и писал далее, что истории о евреях, «которым будто бы не дают работать, применимы лишь к незначительному проценту членов этого… сообщества». При нацистах, заверяла газета своих читателей, евреев вообще «никто и никак не трогает». Даже Уолтер Липпман, которого можно было назвать наиболее влиятельным еврейским писателем в Америке того времени, предупреждал своих читателей в колонке, которую перепечатывали газеты по всей стране: судить о Германии по ее концентрационным лагерям — то же самое, что судить «о протестантизме по Ку-клукс-клану или о евреях по нескольким выскочкам».

Джордж Сильвестр Вирэк, который, видимо, и вдохновил Льва на написание этой пронацистской статьи, был, пожалуй, наиболее противоречивым из общественных деятелей США в своем отношении к расовым и национальным вопросам, к проблемам личностным и идеологическим. Его взгляды тем не менее отражают то состояние крайнего замешательства, которое испытывала Америка в своих отношениях с фашистской Европой в 1930-х годах.

15 июня 1940 года в рубрике журнала «Нью-Йоркер» «О чем говорят в городе» статья о нем начиналась так:

> Джордж Сильвестр Вирэк — стойкий и непоколебимый защитник Германии во время этой войны, как, впрочем, и во время предыдущей, однако он

> вовсе не зарегистрирован как агент Германии[143]. Нашему журналу известно это из первых рук, поскольку наш редактор раздела «Пятая колонна» побывал у него в квартире, которая одновременно является и его офисом, и спросил его об этом напрямую. «Я поэт, я журналист, я даже немного участвовал в политике, однако я — не пропагандист», — сказал мистер Вирэк нашему корреспонденту.

Этот корреспондент «Нью-Йоркера» описал Вирэка как стройного блондина, выглядевшего лет на десять моложе своего возраста (а ему тогда было уже пятьдесят шесть); он был «одет с крайней, даже излишней тщательностью и аккуратностью; его костюм, рубашка, галстук, ботинки и носовой платок представляли собой идеальный ансамбль — все в коричневых тонах».

Репортер обратил особое внимание на удивительное сочетание фотографий на стенах кабинета Вирэка (дело происходило летом 1940 года, уже после нацистского вторжения во Францию): кайзер Вильгельм, прочие члены семейства Гогенцоллернов, Гитлер, доктор Геббельс, Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн.

«Это все люди, которых я знал лично, те, перед кем я преклоняюсь», — сообщил Вирэк корреспонденту.

Отец Джорджа Сильвестра Вирэка, Луп, был, по слухам, незаконнорожденным сыном его императорского величества Вильгельма I, деда кайзера Вильгельма II, иными словами, кайзер и Джордж Сильвестр были кузенами. Луи Фирэк (так произносилась его фамилия в Германии) стал социалистом и вел переписку с Марксом и Энгельсом, вследствие чего ему пришлось бежать из Берлина в Мюнхен. Там в 1881 году он женился на своей американской кузине Лоре Вирэк (причем свидетелем на их свадьбе был не кто иной, как сам Энгельс!), а 31 декабря того же года она родила ему сына — Джорджа Сильвестра Вирэка. В 1880-х годах Луи был депутатом германского парламента, однако какое-то время ему пришлось провести в тюрьме за политические «правонарушения», и в 1890-х годах Лора убедила его переехать в США. Сильвестр с раннего детства рос в Америке, однако в нем так и не угасла ностальгия по годам раннего детства, проведенного в Германии.

Вирэк начал писать стихи, когда ему было одиннадцать лет. Он преклонялся перед Христом, Наполеоном и Оскаром Уайльдом, носил бархатные воротнички с вечерним пиджаком и писал тогда: «Я сливаюсь со всем болезненным и злокозненным, я

обожаю роскошь разложения, отвратительную красоту тлена». В августе 1914 года — надо же было случиться такому совпадению! — молодой писатель, которого критики называли «американским Оскаром Уайльдом», стал одним из основателей еженедельника «Фазерлэнд» («Отечество»), издания, «которое ратовало за честную позицию по отношению к Германии и Австро-Венгрии». Помимо еженедельной газеты Вирэк основал «Фонд Отечества», целью которого была названа «необходимость для германо-американцев ощутить гордость за свои корни». Вскоре пошли слухи, будто Вирэк принимает у себя в офисе германских агентов, а конкретно некую темную личность по имени доктор Альберт. Слухи эти некоторым образом прояснились, когда в июле 1915 года доктор Альберт случайно оставил свой портфель в вагоне надземной железной дороги на Шестой авеню — он как раз ехал вместе с Вирэком. Следивший за ними агент секретной службы забрал этот портфель, и в нем обнаружились документы, подтверждавшие «целый ряд невероятных и сумасбродных планов», из-за которых, однако, газетные заголовки по всей стране кричали: «Немцы заплатили 200 тысяч долларов Вирэку за пропагандистские услуги!» Лига авторов исключила его из своих рядов, его стихи были удалены из антологии поэзии, а его имя — из справочника «Кто есть кто в Америке». Однако в 1923 году Вирэк опубликовал научно-популярную книгу «Омоложение: как Штейнах делает людей молодыми» — об одном враче из Вены, который использовал гормоны для замедления процесса старения, и каким-то образом она попала в поле зрения Зигмунда Фрейда. Фрейд тут же отправил Вирэку письмо с предложением написать аналогичную книгу о психоанализе.

Вскоре Вирэк стал одним из ведущих популяризаторов фрейдизма в США. Фрейд же помог Вирэку стать главным интервьюером Америки. Вскоре после встречи с Фрейдом в Вене, где он взял у него интервью, Вирэк прилетел в Мюнхен и оказался первым американским журналистом, который проинтервьюировал Гитлера. Когда будущий фюрер отозвался о евреях как о «возмутителях спокойствия» и «чужеродном племени, живущем среди нас», Вирэк возразил ему, что Германия многим обязана евреям. Но они виноваты в том, что «сделали слабость достоинством», отвечал ему Гитлер. В Германии немало честных и трудолюбивых граждан еврейского происхождения, настаивал Вирэк, на что Гитлер прямо заявил ему: «Если кто-то и честен, это еще не означает, что мы не сможем его уничтожить». Если другие интервьюеры того времени без конца перемалывали одно и то же — отношение Гитлера к Версальскому договору или

положение в Австрии, то Вирэку удалось сразу же проникнуть в самую сердцевину мировоззрения Гитлера. Однако напечатать свое интервью Вирэку не удалось ни в одном органе печати в США, ведь тогда никто в Америке понятия не имел, кто, собственно, такой этот самый Гитлер, так что в результате он опубликовал его на собственные средства.

В середине 1920-х годов Вирэк совершил целую серию турне по Европе, проинтервьюировав множество известных людей: Фоша и Клемансо, Бернарда Шоу и Освальда Шпенглера, Муссолини и бельгийскую королеву Елизавету, Генри Форда и Альберта Эйнштейна.

В конце 1920-х годов Вирэк начал писать огромный интеллектуальный роман, который, как он заявил, будет первым произведением, использующим теории Фрейда в приложении к истории человечества, начиная с Древнего Вавилона. Рассказ в книге под названием «Мои первые два тысячелетия: автобиография Вечного Жида» ведется от первого лица — того самого Вечного Жида, что упомянут в заголовке: находясь под гипнозом в процессе лечения у психоаналитика, он проживает последние два тысячелетия собственных мучений. Книга мгновенно стала бестселлером (она вышла тиражом в полмиллиона экземпляров в твердой обложке), ее двенадцать раз переиздавали в США и вскоре перевели на десяток языков. Она имела громкий успех и у критиков, и у собратьев по перу (например, у Т. Манна и Йейтса). Репутация Вирэка была восстановлена. В газете «Уорлд» 13 апреля 1930 года появилась статья, озаглавленная «Возвращение Джорджа С. Вирэка», в которой провозглашалось, что «своим желанием бороться за эстетическую свободу американская поэзия обязана Джорджу С. Вирэку куда больше, чем кому бы то ни было еще, за исключением, возможно, Эзры Паунда».

Сравнение оказалось вещим: хотя Вирэк и Паунд в то время еще не были знакомы, позднее их жизни не раз и не два пересекутся в самых разных обстоятельствах. Оба они будут на стороне «стран оси», хотя по иронии судьбы Паунд начнет поддерживать Муссолини с позиций ярого антисемитизма, тогда как Вирэк будет защищать Гитлера, как это ни удивительно, с позиций «проеврейских». И того и другого американское правительство назовет предателем родины и приговорит к тюремному заключению за симпатии к фашистам. Они оба на последнем этапе жизни Эсад-бея будут пытаться помочь ему выжить в фашистской Европе. Однако, в отличие от Паунда, который был антисемитом до мозга костей, «от рождения», так сказать, Вирэк гордился тем, что его ошибочно приняли за еврея!

«Ловкость еврея, быстрота его ума, — писал Вирэк в 1931 году, — его мгновенная реакция на нервные и мозговые стимулы, завуалированные восточной томностью, приводят меня в восторг. Вот почему я стал летописцем Вечного Жида».

Весной 1934 года Вирэк выступал в «Мэдисон-сквер гарден» перед более чем двадцатью тысячами «друзей Новой Германии», зал был увешан транспарантами с американскими флагами, свастиками, портретами Джорджа Вашингтона и Гитлера. Вирэк, стоя перед этими поклонниками нацистов, со всей страстностью вещал в микрофон: «Я не антисемит и никогда им не буду! Я преклоняюсь перед Франклином Рузвельтом!» А дальше он сравнивал Гитлера и Рузвельта, подчеркивая, что они оба «пытаются сделать все, что только в их силах, дабы построить новый мир на обломках старого». И завершил он свою речь невероятным по тем временам советом: присутствующие, сказал он, должны постараться найти возможность выступать «на стороне национал-социализма, не скатываясь к антисемитизму».

Еврейские друзья Вирэка (в том числе его литературный агент Айзек Голдберг) опубликовали тогда в разных газетах серию открытых писем, осуждающих его поведение, его называли там «Джордж Свастика Вирэк». В июне Вирэк встретился в Филадельфии с Путци Ханфштенглем, который прибыл на встречу выпускников Гарварда по случаю тридцатилетия их выпуска. Им обоим потребовалась защита полиции от нападавших на них разъяренных евреев, активно выражавших свой протест. Вирэк же по-прежнему утверждал, что он не нацист. Он отчаянно надеялся, что «канцлер Гитлер», осознав всю мудрость системы фашистской монархии, которую создал Муссолини, вернет кайзера из ссылки и будет править при нем как своего рода регент. Вирэк защищал кайзера на протяжении всей Первой мировой войны, и после отъезда его величества в ссылку в Голландию Вирэк был единственным журналистом, который не раз посещал его там.

Примерно летом 1934 года Вирэк предложил Льву написать совместно с ним биографию бывшего кайзера. В письме к Пиме, которая была также и другом Вирэка, Лев вспоминал:

> Если бы мы опубликовали эту книгу под моим именем, эта была бы книга как книга, но вот с именем Вирэка на обложке она должна была стать сенсацией: ведь по совершенно непонятным причинам Вирэка в Америке считают незаконнорожденным двоюродным братом кайзера. Поскольку я никак не мог претендовать на положение кузена кайзера, на обложке книги мы

поставили только его фамилию. Это было гораздо лучше, чем добавить туда мою. Мы оба были удовлетворены достигнутыми условиями, и в этом смысле получился нормальный литературный бизнес.

Лев создал первую редакцию книги во время плавания на корабле. «Вовсе не трудно писать книгу, когда путешествуешь на судне, — писал он Пиме. — Ведь мы пересекли Атлантику за тридцать дней. А весь материал уже был у меня в голове. Ежедневно после обеда я диктовал Эри по десять страниц. Закончил я книгу в Венеции». На самом деле он писал эту книгу дольше обычного: он работал над ней около полугода из-за огромного количества материалов, которые понадобилось предварительно прочесть. Лев, по крайней мере, однажды посетил кайзера в его голландской ссылке и впоследствии посылал ему экземпляр каждой из своих книг, едва они выходили из печати.

«Суд над кайзером» — это странная историческая стилизация, написанная в форме свидетельских показаний, даваемых в ходе судебного процесса. Это, по-видимому, судебный процесс над самим кайзером: его судят за военные преступления, а судебный трибунал состоит из различных исторических фигур, как здравствовавших тогда, так и уже умерших. Это также размышления о первых годах XX века и о событиях, которые привели к гибели древних империй Европы, на фоне грандиозной панорамы массовых убийств и феноменальных разрушений. Однако присутствовал в ней и болезненный, с националистическим налетом, мистицизм, и мысли о возрождении древнего водораздела между Востоком и Западом.

В конце 1930-х годов Вирэк стал фактически парией американского общества и все больше и больше зависел от нацистского правительства, которое оплачивало его деятельность. В конце концов в марте 1942 года его поместили в тюрьму за то, что он не раскрыл «отдельные аспекты своей деятельности», финансируемые германским Министерством иностранных дел; его выпустили годом позже, однако по такому же обвинению он опять оказался в тюрьме в марте 1943 года. Его старший сын, Джордж Сильвестр Вирэк-младший, погиб, сражаясь с фашистами в январе 1944 года, его жена ушла от него и, насколько нам известно, пожертвовала все имевшиеся у них средства еврейским организациям, которые помогали тем, кто бежал от нацистов, а также католическим благотворительным обществам. Эптон Синклер писал в личном письме на имя Вирэка: «Если и существует сегодня новоявленный Бенедикт Арнольд, так это вы

и есть»[144].

Лев, наверное, был его последним другом-евреем. А может быть, и вообще последним другом — после того, как Фрейд, Эйнштейн и все прочие, включая членов его собственной семьи, отвернулись от него. Незадолго до своей смерти Лев с сарказмом писал Пиме: «Ясное дело, всякий демократический журналист скажет, что он шпион, вешатель, бандит, что не кто иной, как Вирэк, потопил “Лузитанию” во время Первой мировой войны. На самом же деле это был весьма приятный человек, и в Америке он оказался единственным, кто скрашивал мне существование».

Глава 14. Муссолини и миссис Курбан Саид

«Гарем? Так и быть! А пугать? Ни-ни!» — под таким заголовком 2 января 1938 года появилась снабженная фотографиями Эрики и Льва статья в журнале «Санди миррор»:

> Эта поэтесса — человек весьма широких взглядов — не стала бы возражать, если бы муж-мусульманин привел в дом еще несколько жен, но как только он попытался прочитать ей свои рассказы с описанием всевозможных ужасов, она бежала от него в Америку и мигом подала на развод.
>
> Вот магометанин в феске — он пережил множество революций и контрреволюций, избежав самых разных, связанных с ними опасностей; он был на дружеской ноге с царем Николаем II, он писатель и при этом авантюрист, исповедующий в высшей степени оригинальные идеи относительно всего, что касается женщин и вопросов любви.
>
> Вот чешская поэтесса — темноволосая, стройная, миловидная, она уже выпустила полдюжины стихотворных сборников, у ее папаши денег куры не клюют.
>
> А вот обаятельный, чуть загадочный литератор из Вены, написавший сенсационную биографию одного зловещего русского монаха, да такую, что на него за это подал в суд другой монах.
>
> Эти ингредиенты надо как следует перемешать, некоторое время тушить на медленном огне, а затем, с пылу с жару, скорее подать на стол — и получится эмоциональный финал, по сравнению с которым обычные человеческие чувства попросту бледнеют.

Эрика на тот момент уже жила в Калифорнии с блистательным любовником — писателем из Вены по имени Рене Фюлёп-Миллер, который только что написал сценарий для знаменитого Кларка Гейбла. По сообщениям газет, «она начала бракоразводный процесс со своим русским мужем — мусульманином по имени Эсад-бей».

Газета «Нью-Йорк дейли ньюз» писала о «фиаско романтических отношений, которые, как некогда выразилась мадам Эсад-бей, не пострадали бы даже из-за решения ее мужа иметь гарем». Однако, как говорилось в статье из «Санди

миррор»: «Всевозможные сумасбродства восхищали ее, пока она лишь читала о них, а когда все стало реальностью, это оказалось отнюдь не таким замечательным…» Дальше газета приводила ее слова: «Он врывался ко мне в спальню, где я была в полном неглиже… он запирал дверь на ключ и принимался кричать: “Ты отсюда живой не выйдешь!”»

«Он ведь сказал мне, — цитировала Эрику газета, — что происходит из знатного арабского рода. И только после нашей свадьбы 7 марта 1932 года я узнала, что он — всего-навсего Лев Нусимбаум!»

Статьи в американских газетах организовал, по-видимому, папаша Лёвендаль, к этому времени тоже переселившийся в калифорнийский Бель-Эр и вкладывавший свои капиталы в различные голливудские проекты.

Французские и австрийские бульварные издания описывали ситуацию так: «Эсад-бей, живущий в Вене, постоянно заявляет в интервью, что его жену увел у него известный литератор Рене Фюлёп-Миллер». Правда, в венских газетах эту историю освещали достаточно объективно. В октябре 1937 года «Нойес винер журналь», рассказывая о случившемся, осветил события с обеих сторон:

> Фрау Эрика, которая, что небезынтересно, подала на развод в Лос-Анджелесе через своего венского адвоката, доктора Эдуарда Фиршауэра, сообщила, что, помимо прочего, она постоянно страдала от неконтролируемых вспышек гнева своего мужа. Кроме того, у писателя, как говорит его жена, была еще одна нетривиальная черта: он обожал рассказывать ей совершенно чудовищные, ужасающие истории про пытки.
>
> А впоследствии, как заявила Эрика, она стала по-настоящему опасаться за свою жизнь, поскольку, по ее словам, муж хватал револьвер и принимался размахивать им, как только у него начинался очередной приступ гнева. Отнять у него оружие было очень трудно, да и при попытке это сделать он, по словам Эрики, начинал всерьез угрожать ее жизни.

В ответ на утверждения своей супруги писатель, интересы которого представляет доктор Эрнст Константин Вендер, заявил, что совершенно неправомерно говорить о том, будто бы для него характерны припадки буйного помешательства. Точно так же с его стороны никогда не было и никаких угроз. А что касается страшных историй, то поскольку на протяжении целого года до свадьбы фрау Эрика была его секретаршей, писатель, как он

утверждает, просто надиктовывал ей в то время свое культурно-историческое исследование под названием «ГПУ: история красного террора». После заключения брака Эрика по-прежнему работала у него секретаршей и, соответственно, принимала участие в редактировании текста этой рукописи. Никаких иных действий, кроме диктовки текста вышеназванной книги, писатель не предпринимал.

Что же случилось с беззаботным миром, в котором «Эрика печатает на пишущей машинке, Эсад диктует ей, Бинкс пишет маслом, а Джей редактирует роман»? На протяжении 1934-го и в начале 1935 года Лев жил в Вене, а также путешествовал по Европе с прелестной молодой женой, наслаждаясь общением с «золотой молодежью» разных стран. В начале 1935 года об их поездках в США в уважительном тоне писала «Нью-Йорк таймс»: «Нас посетил биограф Николая Второго: по словам Эсад-Бея, царя никто не понимал». В те годы «супруги Эсад-бей» снимали жилье в разных местах престижного Первого района Вены, неподалеку от оперного театра, императорского дворца и собора Святого Стефана[145]. При этом, хотя Лев и наслаждался светской жизнью в полной мере, он любил раздавать заработанные деньги тем из своих друзей, кто в них особенно нуждался. Так, он неоднократно посылал деньги своему другу писателю Джо Ледереру, жившему в Италии и вечно нуждавшемуся, а также бывшему сотруднику журнала «Ди литерарише вельт» Артуру Розену.

И вот после возвращения из поездки в Америку весной 1935 года — а это был, наверное, пик его карьеры как писателя и как общественной фигуры — Льва постигли два удара судьбы, от которых он, как кажется, так и не оправился. Во-первых, он получил письмо из Союза германских писателей с извещением, что его исключили из членов этого союза, а значит, он более не имел права печатать свои произведения в Третьем рейхе. А во-вторых, в один прекрасный день Эрика исчезла из дома. Довольно скоро Лев получил от нее письмо с просьбой о расторжении брака. Она завела любовную интригу с Фюлёп-Миллером, приятелем и конкурентом Льва, также писавшем книги о Востоке (например, «Распутин: святой дьявол» и «Ленин и Ганди»). Эрика и Рене в то лето объездили всю Европу, так что Лев чувствовал себя совершенно одураченным, ведь прежде все они немало времени проводили с Рене и его женой Хедди, оперной певицей. А теперь брошенные и кипевшие от возмущения Хедди и Лев остались в Вене, а их супруги отправились в своего рода медовый месяц. Меня заинтересовало, откуда вообще взялся этот самый венгр-брюнет, глаза которого были вечно полуприкрыты веками, как он попал в этот ясный мир Бинкс и Джея, Эсада и Эрики.

Единственный, на мой взгляд, кто мог бы разгадать эту загадку, — это Бен Хюбш, нью-йоркский издатель книг Льва, заместитель главного редактора издательства «Викинг». Он в те годы часто бывал в Европе и неизменно приглашал Эсад-бея отобедать с ним. Из его деловых записных книжек, хранящихся сегодня в Библиотеке конгресса США, явствует, что со Львом он встречался едва ли не чаще, чем со всеми прочими своими авторами, хотя среди них есть такие, как Цвейг и Йозеф Рот. Как ни странно, хотя в этом архиве хранится вся переписка Хюбша с сотнями его авторов, там не оказалось папки для Эсад-бея. Единственным клочком бумаги, на котором стояла подпись Эсад-бея, оказалась открытка, присланная из Вены в 1933 году. Ее подписали несколько человек, желавших поприветствовать своего любимого американского издателя, и среди них как раз были Эсад-бей, Эрика Эсад-бей и Рене Фюлёп-Миллер.

Вот какое описание этого грустного периода жизни Льва оставила Алиса Шульте в своих рукописных воспоминаниях, похожих на жития святых:

> Середина 1930-х годов. Эсада неожиданно бросила жена, она ушла к женатому человеку старше его годами, хотя муж ее всячески баловал. Его «приемная мама» [то есть сама Алиса. — Т.Р.] трижды спасала его от самоубийства. Его отправили в санаторий под Берлином; через несколько месяцев он вернулся домой, однако полностью так и не выздоровел. Сейчас он проходит курс психоанализа, а психотерапия успеха не дала.

Когда Эрика пропала из его жизни и Лев лишился возможности публиковать книги в пределах Третьего рейха, который все больше расширял свои границы, писатель, можно сказать, поселился за облюбованным столиком в венском кафе «Херренхоф», прокуренные помещения которого сделались неофициальной столицей европейских литераторов-беженцев. В середине 1930-х годов Эсад-бей сидел здесь бок о бок с такими завсегдатаями этого кафе, как Макс Брод, Франц Верфель и Эгон Эрвин Киш, которые совсем недавно перебрались в Вену из Праги, а также со своим берлинским приятелем Вальтером Рингом. «Херренхоф» был, возможно, наиболее оживленным из тех мест, которые писатель Стефан Цвейг называл «демократическими клубами» Вены.

Пытаясь забыть неприятности с помощью старого, проверенного метода — работы, Лев целыми днями просиживал в кафе и писал, и писал своим удивительным, совершенно микроскопическим почерком, умещая на одной странице вчетверо

больше слов, чем любой другой человек. Он работал тогда одновременно над двумя биографиями: Николая II (под собственным именем) и кайзера Вильгельма — под именем своего американского приятеля Вирэка. Он писал обширные статьи для журнала эмигрантов с Кавказа, который издавался в Париже, и короткие — для венской бульварной прессы, особенно для «Нойес винер журналь», издания, которое печатало всевозможные сплетни и слухи для высоколобых интеллектуалов, причем в нем же освещался и его собственный, «скандальный» развод с Эрикой. Он также начал писать новеллы, которые, как ни странно, были опубликованы только в Польше (назывались они «Мануэла» и «Любовь и нефть»). Он принялся укреплять отношения с нужными людьми ради успеха своих новых литературных планов. Съездил в Прагу, чтобы повидаться там с Вернером Шенделем, своим старым литературным агентом. Поддерживал дружбу с Джеем и Бинкс Дрэтлер, Джей помогал Льву пристраивать его тексты в Англии. Примерно в это же время Лев обратился к услугам нового литературного агента, Херты Паули, с которой подружился в кафе «Херренхоф». Паули, сама писательница, окончившая актерскую школу, была весьма привлекательной молодой женщиной. Происходила она из венской научной среды (когда я пытался разыскать сведения о ней, оказалось, что ее брат Вольфганг Паули в 1945 году даже получил Нобелевскую премию по физике), однако в «золотые двадцатые» по приглашению великого театрального режиссера Макса Рейнхардта перебралась в Берлин. В 1933 году Паули, как и многие другие, вернулась в родную Вену. По прошествии многих лет, уже в 1970-х, когда роман «Али и Нино» был заново открыт и издан, она написала в «Нью-Йорк таймс» письмо с соображениями о том, кто такой «Курбан Саид». Она помнила свои встречи со Львом (тот «довольно сильно походил на короля Хусейна, ну разве что без усов»), помнила, как была очарована его удивительным, весьма откровенным остроумием. Она вспоминала, как Лев стал членом кооператива писателей, который она организовала для тех, чьи книги были запрещены в Третьем рейхе. Влияние Льва на саму Паули несомненно сказалось в ее книге 1941 года «Альфред Нобель: король динамита, архитектор мира» — там имеются подробнейшие описания Баку, которых нет в других биографиях этого великого изобретателя и которые она, скорее всего, получила именно от Льва Нусимбаума. «Эсад-бей, — вспоминала Паули, — в скором времени написал большое количество статей об истории и обычаях своей закавказской родины». Хотя она впоследствии живописала героическую антинацистскую позицию, которую занимал этот кооператив как общественная организация,

однако на деле он лишь помогал писателям публиковать свои произведения.

Паули писала, что Эсад-бей никогда не делал секрета из своего происхождения, и в этом был немаловажный элемент его очарования: «Он говорил об этом открыто, причем в своей обычной шутливой манере. Вот отчего, возможно, его никто так и не обвинил в сокрытии своего происхождения в те годы, когда антисемитизм в Вене становился все более откровенным». Она вспоминала, как завсегдатаев «Херренхофа» завораживали рассказы Льва о бандитской деятельности молодого Сталина. Когда через много лет она начала читать «Али и Нино» в английском переводе, ей показалось, что она «слышит, как Лев сам рассказывает эту историю, по-особенному, остроумно».

В конце своего annus terribilis[146] Лев стал соавтором книги, которая открыла новую сторону его постоянно развивавшейся личности. Это книга, «Аллах велик! Закат и восход исламского мира», представляет собой обзор политического возрождения мусульманского мира. Необычной была не столько тема книги, сколько выбор соавтора. Им стал доктор Вольфганг фон Вайзль, который был близок к Владимиру Жаботинскому, главе жесткого, бескомпромиссного правого крыла сионистского движения.

Когда я нашел внучку фон Вайзля в Иерусалиме, она рассказала мне, что в их семье фон Вайзлю — этому «еврейскому Лоуренсу Аравийскому» — приписывали арабский раздел книги, тогда как Лев был автором «немецкого и турецкого» разделов. Хотя в точности неизвестно, как именно они поделили работу, но Лев наверняка был ведущим автором. Ведь идеи, заложенные в эту книгу, представляют собой отнюдь не сионистскую позицию, но взгляды еврейского ориенталиста конца 1930-х годов. Авторы выделили все то, что, по их разумению, есть хорошего в исламе, и хотя многое они идеализировали, оставались тем не менее в области реалистичных политических оценок. Для них обоих ислам предстает как животворная сила, пока он «не выходит за рамки благоразумия» и одновременно «остается уделом всадников из пустынь». Оба считали, что истинные лидеры ислама — это отнюдь не дипломаты или ученые, люди образованные, но простые бедуины. Ислам смог завоевать христианские территории в VII веке потому, что это молодая, энергичная религия обладала первозданностью и дикостью — в отличие от «роскошеств» христианского мира. Обоим авторам — и сионисту, и исламисту — представлялось важным, что победы последователей Магомета не были следствием религиозного рвения: ведь в исламских отрядах было немало наемных воинов из кочевых племен, которые даже не были верующими

мусульманами.

Книга «Аллах велик!», несмотря на свое название, пользовалась среди евреев гораздо большим спросом, чем прочие книги Льва. И дело было не только в том, что один из соавторов был ведущим деятелем сионистского движения, но и в желании евреев из немецкоязычных стран, всеми силами жаждавших выбраться из нацистской Европы, узнать как можно больше о Ближнем Востоке. Кроме того, книга широко рецензировалась в сионистской прессе и получила благожелательные отзывы. Ойген Хёфлих, он же Моше-Яаков Бен-Гавриэль, писал, например, в 1937 году в еврейском периодическом издании «Дер Морген», что книгу «Аллах велик!» следует «рекомендовать читателям-евреям, хотя собственно Палестине в ней посвящено лишь несколько строк», поскольку в ней содержался обзор возрождающегося исламского мира. Хёфлих, исполненный определенной горечи после двадцати лет своих тщетных усилий по созданию «паназиатского сионизма» и «пансемитских» решений на Ближнем Востоке, воспользовался представившимся поводом, чтобы подвергнуть критике собратьев-сионистов, недооценивавших проблемы воинствующего ислама. Поэтому он выражал надежду, что «Аллах велик!» даст представление евреям, уже жившим к тому времени в Святой земле, о силе спящего дракона, рядом с которым они существуют. Обозрение «Ди юдише рундшау» также сочло, что книга освещала проблему действительно грандиозную и все более и более актуальную, тогда как страны Запада, вовлеченные в большое количество различных силовых и политических конфликтов, полностью игнорировали ее, оставляя дальнейшее развитие событий на произвол судьбы. Практически всюду, куда бы ни обратили авторы свой взгляд, будь то Турция, Иран, Афганистан, Марокко, Тунис, Алжир, Сирия, Ирак, Египет, а также Аравийский полуостров, влияние Европы «либо сокращалось, либо же вообще исчезало». Как отмечало это издание: «Страны Востока в будущем готовят для нас немало сюрпризов. Авторы предрекают, что европейские страны утратят свои колониальные империи в Азии, а также что существует опасность союза ислама с желтой и черной расой».

«Аллах велик!» завершается советом и предупреждением: поскольку Европа явно не хочет поддерживать свою гегемонию с помощью откровенно насильственных действий, нет иного выхода, кроме создания «с исламским миром сообщества по интересам, ведь избыточная энергия и юношеский напор ислама, желание активных действий с помощью Европы будут направлены в сторону Востока. Если же это не получится — беда Европе!»

Лев и фон Вайзль были во многом похожи. Оба любили

восточную одежду — арабскую или турецкую, оба утверждали, будто подвергались аресту, поскольку их ошибочно принимали за «пресловутого полковника Лоуренса»[147]. Хотя доктор фон Вайзль и был настроен весьма пессимистично в вопросе об отношениях между мусульманами и евреями, это не мешало ему бегло говорить по-арабски и прекрасно знать мусульманские страны. Когда он впервые побывал на Ближнем Востоке, его мечтой было сделать арабов приверженцами сионизма, а в начале 1920-х годов он даже начал издавать в Каире газету, где половина материалов были на немецком языке, а половина — на арабском. Ему удалось убедить германскую дипломатическую миссию в Египте выделить средства на это предприятие, которое, однако, прекратило свое существование уже после выпуска нескольких номеров — в связи с отсутствием читательского интереса.

Подобно Хёфлиху, фон Вайзль во время Первой мировой войны служил в австрийской армии. Однако фон Вайзль не был таким мечтателем, как Хёфлих, он был человеком отважным, дерзким — служил в артиллерии, а впоследствии стал врачом. (После 1948 года он станет командиром израильского артиллерийского отряда в пустыне Негев.) В первые годы своей журналистской карьеры фон Вайзль много раз высказывал весьма прозорливые суждения по поводу борьбы за власть на Ближнем Востоке. Его статья под названием «Борцы с предрассудками ислама уже у ворот Мекки», появившаяся осенью 1924 года, предупреждает о росте влияния ваххабитов на Аравийском полуострове, а также утверждает: «Хусейну придется не раз пожалеть, что он отказался подписать Англо-хиджазский договор и признать права евреев на территории Палестины. Потому что евреи, живущие в Эрец Исраэль — Израиле, — для него куда менее опасные враги, нежели ваххабиты у ворот Мекки». Он также дает панораму того хаоса, который воцарился в 1924 году в мусульманских странах, когда Ататюрк неожиданно ликвидировал халифат: пусть мусульмане, как могло показаться поверхностному наблюдателю, не слишком обращали внимание на этот религиозный институт, он на самом деле являлся стержнем мусульманского самосознания.

Если вы сегодня попробуете найти имя фон Вайзля в «Словаре австрийской литературы в эмиграции», вы обнаружите невероятную ошибку, тем более удивительную, что издаваемые в немецкоязычных странах словари и лексиконы отличаются самым высоким качеством. Тем не менее авторы этого издания сделали из Эсад-бея и Вольфганга фон Вайзля одного и того же человека. В статье сказано, что Вольфганг фон Вайзль использовал псевдонимы Лео Нусимбаум, Эсад-бей и Курбан Саид — иными

словами, австрийский журналист оказался плодовитым писателем, а Лев Нусимбаум, он же Эсад-бей и Курбан Саид, неожиданно превратился в одного из основателей сионистского движения.

В Австрийской национальной библиотеке имеется французское издание 1935 года — биография Николая II, принадлежащая перу Льва Нуснмбаума с автографом автора. Надпись неизвестному адресату на форзаце — по-немецки и на иврите! — гласит: «Товарищу по несчастью от Эсад-бея, изгнанного, всеми забытого, всеми преданного, теряющего разум. — Э. Б.».

Именно в это время, пытаясь выбраться из пучины охватившего его отчаяния, Лев впервые задумал превратиться в Курбана Саида, что в переводе означает «радостная жертва». Этот новый псевдоним позволил бы Эсад-бею, который теперь оказался запрещенным автором, по-прежнему публиковать свои новые вещи в Третьем рейхе. Заодно это помогло бы ему освободиться от амплуа автора научно-популярных книг. В 1936 году он начал по десять-двенадцать часов в день работать над романом, действие которого происходило на Кавказе. Впоследствии он вспоминал в своих письмах к Пиме: «Лишь дважды в писательской жизни я не думал ни о том, кто будет издавать мою книгу, ни каков будет гонорар, а просто писал и писал, совершенно счастливый. Это было, когда я писал такие разные книги, как “Сталин” и “Али и Нино”».

Если бы Курбан Саид прожил дольше, он, вероятно, мог бы написать множество чудесных книг, ведь амплуа романиста чрезвычайно понравилось ему: «Герои романа попросту являются передо мной, требуя от меня: “Сотвори нас!” или “У нас еще есть кое-какие особенности, которые ты не упомянул, и мы еще хотим отправиться в путешествие”».

И тут на сцене появляется баронесса Эльфрида — назовем ее баронессой Курбан Саид. Или миссис Курбан Саид. Первые представления о ней я получил, встретившись с издателем Питером Майером из «Оверлук-пресс», пожелавшим переиздать «Али и Нино», и отправившись с ним в Вену на встречу с доктором Хайнцем Баразоном, юристом, который представлял интересы наследников баронессы Эльфриды. Тогда в уставленном книгами адвокатском кабинете мы вместе разглядывали издательские договора нацистского времени, а на диване перед нами возлежала худощавая красавица — Лила фон Эренфельс. Лила, казалось, сошедшая со страниц романов Пруста, временами дополняла и уточняла разъяснения своего юриста, приукрашивая их различными выдумками. Доктор Баразон раскладывал перед

нами скоросшиватели, набитые бумагами, которые подтверждали правоту их позиции: это были юридические документы, перечни авторов конца 1930-х годов, с печатями, внутри которых красовались нацистские орлы и свастики. На странице 1556 «Германского полного каталога изданий за 1935–1939 годы» имелись две статьи:

Эренфельс фон Бодмерсхоф, Эльфрида, баронесса — «Али и Нино», роман. Автор: Курбан Саид. — Вена, Лейпциг: «Таль», 1937.

Эренфельс фон Бодмерсхоф, Эльфрида, баронесса — Курбан Саид. «Девушка с Золотого Рога», роман. — Вена, Лейпциг: «Циннен-ферлаг», 1938.

В написании второго романа Курбана Саида «Девушка с Золотого Рога», Эльфрида, по мнению доктора Баразона, принимала еще большее участие, чем в «Али и Нино». Он считал, что, хотя имя «Курбан Саид» указано в перечне как псевдоним одной Эльфриды, однако в действительности оно свидетельствовало о сотрудничестве между баронессой и ее другом Эсад-беем, который проживал в ее доме.

Еще нам был предъявлен издательский договор от 20 апреля 1937 года между венским издательством «Э. П. Таль и К°» и баронессой Эльфрндой Эренфельс фон Бодмерсхоф, проживавшей в замке Лихтенау, и он касался написания книги «Умирающий Восток». Доктор Баразон объяснил, что это было рабочее название будущего романа «Али и Нино». Еще один договор, от 7 июня 1938 года, был связан с уступкой прав на чешское издание романа, и в нем он уже фигурировал как «Али и Нино». Но если под первым договором стояло традиционное немецкое Hochachtungsvoll[148] и размашистая подпись владельца издательства Таля, то второй был подписан неким Альфредом Ибахом, и над его подписью красовались слова «Mit deutschem Gruss»[149] — более мягкий вариант приветствия «Хайль Гитлер!» Доктор Баразон объяснил, что Альфред Ибах был «арианизатором» компании «Таль» (точно так же, как госпожа Тереза Мёгле «арианизировала» другого венского издателя Льва — издательство «Пассер»).

Я вслух поинтересовался, а не могла ли Эльфрида, в известном смысле, быть «арианизатором» Курбана Саида. Она ведь вполне могла сделать это из расположения к своему другу, точно так же, как в США, в годы маккартизма, некоторые люди, не имевшие отношения к литературе, стали «прикрытием», «ширмой» для тех писателей, которые прежде состояли в Коммунистической партии. Услышав подобное предположение, Лила явно огорчилась, а доктор Баразон поспешил указать на то,

что, поскольку эти договора подписаны весной 1937 года, почти за год до того, как нацисты «присоединили» Австрию к Германии, в то время еще не было необходимости в «арианизации» Курбана Саида. Я спросил Лилу про ее отца (в середине 1920-х годов, как объяснил доктор Баразон, барон Рольф изменил свое имя на Умар и перешел в мусульманство) и о его дружеских отношениях с Эсад-беем. «По-моему, вам стоит поговорить с моей матерью, — сказала Лила, — она гораздо больше, чем я, знает об Эсад-бее, моем отце и тете Эльфриде. Только я должна вас предупредить: человек она довольно необычный».

Мать Лилы, то есть третья жена барона Умара-Рольфа фон Бодмерсхоф, живет в Вальдфиртеле, суровом «лесном крае» Австрии на границе с Чехией. Лила сказала, что мама ведет отшельнический образ жизни и распорядок дня у нее настолько странный, что если я в самом деле хочу расспросить ее как следует о том, что меня интересует, то придется переночевать у нее в замке — он назывался Лихтенау. Кроме того, там имеется множество каких-то документов, которые могут представлять для меня интерес. Из Вены я выехал довольно поздно, так что замок, когда я наконец до него добрался, уже был освещен стоявшей низко над горизонтом луной, из-за этого на фоне ледяной голубизны неба его высокие стены казались сказочными. Я открыл ворота и вошел во внутренний двор. «Добрый вечер!» — крикнул я несколько раз в темноту, однако мне так никто и не ответил, и потому я вернулся в деревню, чтобы найти телефон. Когда я очутился в деревенском трактире, его посетители, мирно попивающие свое вечернее пиво, уставились на меня так, словно я свалился с луны, однако кто-то все же набрал нужный номер, и после нескольких гудков бодрый женский голос с французским акцентом пропел: «Ну где-е-е же вы? Я уже столько часов вас жду-у-у!»

Через пятнадцать минут сама баронесса, крупная крепкая женщина с карими глазами и всклокоченной массой седых волос, вела меня по пахнущим сыростью, промозглым каменным коридорам замка Лихтенау. Открыв тяжелую деревянную дверь, мы как будто перенеслись в другую эпоху. Помещение было устлано восточными коврами, там стояло фортепиано, имелась изразцовая печь до потолка и телефакс. Баронесса предложила мне немного сыру, без конца извиняясь, что женщина, которая готовит для нее еду, «вот уже несколько дней что-то не появлялась», а затем проводила меня в анфиладу небольших комнат — подобие келий в монастыре эпохи Возрождения. Спросив меня, смогу ли я «выжить в таких условиях», она тут же исчезла: ведь уже семь часов вечера, и ей давным-давно пора

отправиться в объятия Морфея.

А через пять часов, уже за полночь, меня разбудили металлические звуки рок-оперы, которые отдавались эхом по всему замку. Источник звука был по другую сторону от большой гостиной. Из-за двери я услышал французские ругательства и неразборчивое бормотание. Я постучал в дверь. Музыка тут же прервалась, а мне крикнули: «Entrez!»[150] Баронесса восседала на кровати, обложенная кипами нотных изданий. Взглянув на меня, она спросила: «Вы что-нибудь понимаете в мюзиклах?» Я поинтересовался, что именно она имеет в виду. «Ну, вы видели хотя бы один?» Я ответил, что конечно видел, правда, довольно давно. «А вот я ни разу, ни разу не видела ни одного мюзикла!» — сказала она, и голос ее был исполнен искренней горечи. «Но все равно — я в полном восторге! В совершенном восторге!» Она объяснила мне, что взялась написать французский текст для рок-мюзикла, который ставила некая германо-израильская группа из Франкфурта; она влюбилась в их произведение и настояла на том, чтобы принять участие в постановке. «Да и где бы я могла увидеть мюзиклы? У меня же никогда не было времени — я то в Индии жила, то тут занималась ремонтом замка». (Баронесса, как оказалось, некогда училась во Французском каучуковом институте в Париже, а еще бегло говорила на малаяламе — одном из языков Южной Индии.)

Баронесса объяснила мне, что ее рабочий день начинается в полночь, и обычно она требует, чтобы до шести утра ее никто не тревожил, но раз уж я приехал в такую даль, чтобы узнать о ее муже, об Эльфриде и об Эсад-бее, то она, так и быть, поговорит со мной о них, но никак не раньше четырех утра. А до тех пор ей требовалось максимально сосредоточиться. В общем, я оставил ее наедине с ее нотными листами, а сам отправился обратно, в свою келью.

Баронесса появилась у меня, когда еще даже не рассвело. На завтрак у нас был чай и сыр все в той же гостиной, где мы устроились на небольшом диванчике, а тем временем она принялась рассказывать мне, как получилось, что и ее мужа, и его предыдущую супругу, Эльфрнду, увлек Восток.

— Их называли «Бандой четырех», — начала она, имея в виду покойного мужа, барона Умара-Рольфа, его сестру Имму, его вторую жену Эльфриду (известную также под псевдонимом Курбан Саид) и брата Эльфриды по имени Вилли. Родственные связи между ними таковы: брат и сестра Рольф и Имма фон Эренфельс вступили в брак с братом и сестрой фон Бодмерсхоф (Виллн и Эльфридой), так что Имма и Эльфрида по сути обменялись фамилиями. Они росли в соседних замках, которые

принадлежали их предкам, а также в Праге, которая тогда была одним из городов Габсбургской империи. В годы Первой мировой войны Рольф фанатически полюбил все, что имело отношение к Турции. Вилли, уже достигший соответствующего возраста, был отправлен на Восточный фронт, где он вскоре получил тяжелое ранение. Вскоре он безмерно увлекся учением немецкого гуру по имени Бо Инь Ра[151], представлявшего, судя по всему, собой некую смесь Германа Гессе с Джимом Джонсом[152]. Под влиянием Вилли остальные члены «банды» тоже стали последователями Бо Инь Ра. Мать Рольфа и Иммы, Эмма фон Эренфельс, написала тогда открытое письмо Герману Гессе, которое было опубликовано в газете «Прагер Тагблатт», — в этом письме она просила у него совета, как ей быть в данной ситуации.

Отец Рольфа и Иммы Кристиан фон Эренфельс создал теорию «гештальт-качеств» в психологии. Он также вел регулярную переписку с Фрейдом и вообще был видным философом, «известным своими исследованиями в области биологии расы» (как это было сформулировано в «Прагер Тагблатт» в 1911 году, когда газета напечатала текст одной из его лекций под названием «Проблема расы и еврейский вопрос»). Вечного бунтаря, шедшего наперекор расхожим мнениям, Эренфельса больше всего занимала такая проблема: из всех индивидуумов в племени лучшие — это солдаты, однако во время сражений народ, племя неизбежно теряли именно их, носителей самых лучших генов. Поэтому он предлагал решить проблему простым и изящным способом: бравые солдаты, уцелевшие в битвах, по возвращении домой с фронта должны были получить доступ к максимально возможному количеству женщин. Возможно, именно по этой причине Кристиан фон Эренфельс не стал так широко известен, как того заслуживал, однако у студентов Пражского университета он был одним из любимейших профессоров. «Кафка в одном из своих дневников писал, — вспоминала баронесса, — что занятия у Эренфельса были весьма занимательными. И еще Кафка однажды записал, что в тот день утром занятие у Эренфельса было особенно любопытным, потому что профессор заявил: лучше всего, если в ваших жилах есть хотя бы несколько капель еврейской крови». Все это помогло их семье сохранить хорошую репутацию, пояснила баронесса, потому что, когда они обнаружили эти строки в дневнике знаменитого писателя, стало ясно: хотя расовые теории старины Кристиана фон Эренфельса и были «бредовыми, совершенно бредовыми», однако он на самом деле не был антисемитом.

Эльфрида и Рольф поженились, как считала баронесса, скорее для того, чтобы их «банда четырех» сохранилась в прежнем

составе, однако к концу 1930-х годов их брак все же распался. Во время войны Умар-Рольф уехал в Индию, а Эльфрида — в Грецию, где ей удавалось зарабатывать на жизнь составлением гороскопов; там она начала изучать древнегреческий язык и математику, а затем вовсю увлеклась Платоном. После войны, пока барон Умар жил в Индии со своей новой женой (моей собеседницей), Эльфрида пребывала в замке Лихтенау одна, целыми днями читая тексты Платона. В 1970-х годах, когда Умар-Рольф и баронесса, его третья жена, вернулись, наконец, домой с Востока, они обнаружили в замке полнейший хаос: Эльфрида, предполагаемый автор «Али и Нино», превратила ту часть замка, которую она занимала, в форменную помойку, повсюду были груды скомканных бумаг с написанными на них математическими уравнениями, составленными для кого-то гороскопами, примечаниями к трудам Платона, и различные бытовые отходы. Баронесса вспомнила, как она попыталась было навести порядок позади диванчика, на котором мы сидели, однако стоило ей сказать, что его нужно подвинуть, Эльфрида ужасно расстроилась. «Она заявила, что вот уже тридцать пять лет никто не сдвигал с места этот диван, а значит, его и впредь нельзя было трогать! Но мы все-таки не послушали ее, отодвинули диван, и оттуда вдруг выскочили не то тридцать, не то сорок мышей! Они все жили внутри него». Рядом с главной гостиной Эльфрида устроила нечто вроде кухни, где у нее была небольшая плита, а еще старая энциклопедия, которую она использовала как разделочную доску. «В конечном счете ее интересовал лишь Платон! — сказала баронесса о той, кто, как утверждалось, была автором “Али и Нино”. — А все остальное ей было безразлично!»

Где-то в начале 1970-х годов баронесса, по ее воспоминаниям, впервые заподозрила, что Эльфрида в прошлом пользовалась псевдонимом Курбан Саид. Однажды Имма, сестра барона Умара-Рольфа, которая к тому времени стала довольно известной поэтессой, сказала баронессе, что ей пришло письмо от какого-то врача, который хотел узнать, действительно ли это она написала книгу под названием «Али и Нино». Имма понятия не имела, что врач имел в виду, а когда баронесса на всякий случай спросила Эльфриду, не о ней ли речь, та, на минуту оторвавшись от своего любимого Платона, сказала: «Разумеется. Имме ни к чему знать все на свете. Да-да, это я ее опубликовала».

— А потом Эльфриде откуда-то позвонили и попросили отре…агхировать эту книгу.

— Что-что? Как вы сказали? — спросил я.

— Пгосили отре…агхировать…

— Издать?

— Да нет, я же говорю: отре…агхировать…

— Извините, может быть, ее попросили отредактировать книгу?

— Ну да! — просияла баронесса. И затем еще вспомнила, что Эльфрида не захотела иметь с ними дела, потому что страшно боялась заработать хоть какие-то деньги: тогда у нее могли бы отобрать назначенную ей государственную пенсию.

Тем временем настало позднее утро, и баронесса уже была готова отправиться немного вздремнуть. Сказав, что даст мне возможность кое-чем заняться, пока сама будет отдыхать, она провела меня по всевозможным заброшенным и холодным коридорам и переходам, пока перед нами не оказалась старинная, ветхая деревянная дверь. Баронесса со всей силы толкнула ее плечом. Помещение походило на багажное отделение на железнодорожной станции в старые времена: ящики, сундуки, чемоданы, мешки, причем кое-что из этого было навалено на стеллажи, достававшие до самого потолка; но, как ни удивительно, весь этот беспорядок рассекали два прохода, которые кто-то предусмотрительно здесь устроил.

— Вот тут — всё! — сказала баронесса, с некоторой грустью взирая на это беспредельное количество коробок и ящиков. — Всё, что осталось от семьи Эренфельс… Вы можете разглядывать здесь все, что захотите, но только до захода солнца, потому что электричество сюда так и не провели.

И с этими словами она ушла, предоставив мне копаться во всей этой рухляди. Лишь примерно через час, пока я рылся то тут, то там в окружавших меня вещах, до меня дошло, что, по-видимому, каждый из объемистых квадратных пароходных кофров набит какими-то бумагами. Ведь в этом средневековом замке, который выдержал не одну осаду и в стенах которого до сих пор имелись особые отверстия для выливания кипящего масла на головы противника, на протяжении по крайней мере двух последних веков жила семья интеллектуалов, поэтов и книгочеев.

Я попытался отыскать хоть что-нибудь, связанное с Курбаном Саидом, уповая при этом, пожалуй, лишь на утверждение Ницше, что книги, которые особенно нужны, сами валятся с полок. Однако, куда бы я ни обращал свой взор, везде были груды документов, имевших отношение лишь к Рольфу — тому, кто после перехода в магометанство сменил свое имя на Умар, — или к его удивительным, растянувшимся на сорок лет странствиям по мусульманскому миру. Наскоро проглядывая журналы, для которых барон Умар-Рольф регулярно писал статьи по вопросам возрождения ислама во всем мире, о положении женщин-

мусульманок, а также о взаимном изживании старых обид между мусульманами и иудеями, я успел открыть для себя целый мир ориенталистов и новообращенных мусульман. Имена у них были, например, такие: Лорд Хидли аль-Фарук, майор Абдулла Бэттерсбн и ее высочество Даянг Муда из Саравака, она же «дочь покойного сэра Уолтера Пальмера из Рединга». Встретился мне там и Мухамуд Гуннар Эриксон из Швеции, и Умар Мита из Японии, и Исмаил Веслав Язерски из Польши.

И столько было там всего захватывающе интересного, что прошло немало времени, прежде чем до меня дошло: этот замок не поделится со мной никакими сведениями о Курбане Саиде, будь это Лев, Эльфрида или же они оба. По словам баронессы, Курбан Саид и ее муж часто переписывались, как, впрочем, переписывались и Эсад-бей с Эльфрндой. Но когда я спросил ее, где вся эта переписка находится, она лишь махнула рукой, обведя ею стены замка, и сказала: «Поди знай. Наверное, где-то здесь, да только где ее найдешь?»

Единственное конкретное доказательство связи между семьей фон Эренфельс и Эсад-беем, которое я там обнаружил, — это швейцарское издание второго романа Курбана Саида «Девушка с Золотого Рога», для которого барон Умар Эренфельс написал краткое предисловие. Эту книгу я взял с собой. Вот что он писал: «В молодости я основал в Вене “Союз Востока” для студентов из стран Африки и Азии, и благодаря этому я познакомился там со спокойным, наблюдательным человеком, азербайджанцем по имени Курбан Саид. Пути мои довольно скоро привели меня в Индию, откуда я вернулся в Европу в первый раз лишь в 1954 году; и тогда же я незамедлительно отправился навестить традиционную мусульманскую могилу моего уже всеми позабытого друга, могилу, которая находится за стенами городского кладбища в Позитано».

Я спросил баронессу, почему Умар, даже по прошествии стольких лет, назвал Курбаном Саидом не бывшую жену Эльфриду, а выходца из Азербайджана, умершего в Италии? Баронесса заверила меня, что ее покойный муж попросту не обсуждал этот вопрос с Эльфридой, а потому и ничего не знал о ее вкладе в работу над обоими романами. Она повторила теорию доктора Баразона, что, по-видимому, у Эльфриды и Льва были весьма близкие, интимные отношения, однако добавила: «Ну, это все только теории, а на самом деле нам ничего не известно наверняка».

Правдоподобное объяснение взаимоотношений Эльфриды и Курбана Саида предоставилось мне через несколько недель после того, как я побывал в замке Лихтенау. Я получил от доктора

Баразона конверт с копиями четырех писем, которые, как он писал, баронесса попросила его переслать мне. Все эти письма были адресованы барону Умару и подписаны — «Эсад».

На них был указан обратный адрес «Каса Паттисон, Позитано» — именно в этом доме Эсад-бей и умер в 1942 году. Первое письмо было датировано 21 июля 1938 года, и в нем Лев пытался уговорить барона Умара-Рольфа, чтобы тот приехал к нему в гости: он ссылался при этом на свое полное одиночество, на ощущение потерянности. И сообщал: «Я получил через афинское отделение Американ Экспресс 200 долларов из Югославии от имени госпожи Курбан Саид».

Госпожа Курбан Саид. Конечно же, это была Эльфрида.

В письме от 8 сентября Лев снова упоминает о Курбане Саиде в третьем лице, поэтому создается все более отчетливое впечатление, что это имя служило псевдонимом для пересылки денег через международные границы: «У издателя Гезы Кона в Белграде для Курбана Саида имеется еще 150 долларов. Может ли Курбан Саид забрать эту сумму, находясь проездом в Белграде? И как можно связаться с ним? Напиши мне об этом как можно скорее и попроси Курбана Саида связаться с издателем». Иными словами, Эльфрида должна была забрать деньги у издателя, о которых сама она ничего не знает.

А 21 сентября 1940 года Лев написал Пиме, что горячо рекомендует ей купить экземпляр романа «Али и Нино», и тут же, похваставшись, что это — самая любимая из написанных им книг, объяснил, что ее по-прежнему можно издавать где угодно: «Согласно закону о псевдонимах, К. С. - это женщина! Притом молодая баронесса из Вены, которая даже является членом “Палаты культуры”!» То есть того самого Союза германских писателей, который исключил Льва из своих рядов.

Деталей, касающихся отношений с «миссис Курбан Саид», в переписке Льва и Пимы много, но все они какие-то противоречивые: то Лев сообщает, что Эльфрида сошла с ума на почве астрологии, то дает понять, что зависит от нее материально. Еще задолго до того, как я обнаружил эту переписку, на основании нескольких писем на имя Эльфриды можно было сделать вполне определенный вывод: Курбан Саид — это его прикрытие, придуманное ради того, чтобы он мог по-прежнему получать гонорары за публикации своих произведений. Доктор Баразон утверждал, будто от Эльфриды не требовалось служить прикрытием для истинного автора «Али и Нино», поскольку договор об издании романа был подписан в апреле 1937 года, то есть почти за год до аншлюса. Однако в действительности писатели-евреи уже тогда понимали, что

имеется немало причин для того, чтобы скрывать свое истинное происхождение.

Доктор Маррей Холл, изучавший проблемы книгоиздания в нацистский период, встретился со мной за чашкой кофе в отеле «Король Венгрии», на одной из улочек рядом с Штефансплац, где некогда состоялась самая грандиозная стихийная демонстрация в истории Австрии — по случаю аншлюса и неожиданного визита Гитлера в этот город весной 1938 года. Доктор Холл разъяснил мне основные моменты, затруднявшие издательский процесс в нацистской Европе: австрийские издатели, большинство из которых были евреями, оказались в труднейшем положении, они фактически были загнаны в угол еще в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти в Германии. Ведь для книг на немецком языке существовало три читательских рынка — в Австрии, Германии и Швейцарии, причем германский книжный рынок был гораздо больше, чем остальные два, вместе взятых (то же самое мы наблюдаем и сегодня). Издавать книгу, если ее невозможно продавать в Германии, — дело неприбыльное, поэтому австрийским книгоиздателям нужно было любыми способами пробиться на германский рынок. Для этого им приходилось открывать фиктивные издательства в третьих странах — например, в Швеции или в Голландии, и в результате книги печатали в одной стране, переплетали в другой, а затем пересылали через несколько границ, прежде чем доставить их в Третий рейх. По такой схеме действовал, например, Таль, издатель «Али и Нино». Другой прием состоял в том, чтобы авторы печатались под псевдонимами.

В своей книге «Утраченная библиотека» друг Льва Вальтер Меринг пишет о лавине, угрожающей «Вене и всей Австрии в целом». В романе фигурирует воображаемая библиотека, принадлежавшая отцу автора, она — хранилище всего культурного наследия, которое уничтожили нацисты в результате их тоталитарного переворота:

> Прямо перед собором Святого Стефана, с которого похоронный перезвон и токката и фуга Баха на органе созывали «умирающую Вену» на последнюю всенощную, какие-то головорезы выкрикивали антикапиталистические, антиклерикальные и антисемитские непристойности — всевозможные пакости из тех гадких книжонок и памфлетов, которые ты, отец, хранил в особом, «отравленном шкафу» как курьезы культуры; но я ведь их читал тайком.
>
> «Завтра мы их всех вздернем, — услышал я слова

одного молодчика, — и черных, и красных, и жидов… А первыми — тех, у кого много книг».

Задохнувшись от ужаса, я не мог перевести дух, пока не запер за собой дверь своего дома и не увидел снова библиотеку отца.

Литературный агент Льва Херта Паули, вспоминала об аншлюсе через профессиональный фильтр своего рода деятельности: ведь на той же неделе, когда в Австрию с блиц-визитом прибыл Гитлер, в страну приехала и Бланш Нопф, которая повсюду старалась выискивать новых авторов и новые, интересные книги[153]. Ей показали новый роман Курбана Саида «Али и Нино», однако тогда она его не купила, по-видимому, ее отвлекли начавшиеся бурные события. Паули так вспоминала пятницу и марта 1938 года: «Из гостиницы “Бристоль” на Ринге, грандиозном бульварном кольце Вены, до кафе “Херренхоф” обычно можно добраться за десять минут. Но только не в тот день, не одиннадцатого марта. “Если Ринг перекрыт, значит, у нас революция”, - говорили венцы с 1918 года. На этот раз полицейские заграждения были установлены потому, что вокруг Государственной оперы шла демонстрация молодых нацистов, которые ревели “Хайль Гитлер!” Мне удалось забежать в подъезд одного из домов, потом я нашла другой выход из него и в результате очутилась на нужной улице, прямо напротив “Херренхофа”».

Меринг встретился с Паули в Париже, где они прожили некоторое время, пока в 1940 году снова не оказались в ловушке — из-за вторжения нацистов во Францию. Когда они, спасаясь бегством, добрались до юга Франции, Паули познакомила Меринга, который к тому времени стал ее любовником, с Варианом Фраем. Фрай приехал в Марсель летом 1940 года с целью любыми доступными средствами вызволять беженцев, принадлежавших к интеллектуальной элите Европы. У него не было на это никаких официальных санкций, он привез с собой три тысячи долларов и список двухсот самых известных деятелей культуры Европы — причем и то и другое было приклеено лейкопластырем к его ногам. Деньги и список передала ему группа американцев из штата Нью-Джерси, которые после поражения Франции на скорую руку создали Чрезвычайный комитет по спасению. Паули впоследствии вспоминала, как она впервые пришла в отель «Сплендид», чтобы увидеть человека, которого в Марселе все называли просто «Американец»: «Ну что ж, мисс Паули, вы у меня в списке, — только и сказал ей Фрай. — Приходите завтра вместе с Рингом. Всего хорошего».

Когда позднее его спрашивали, как ему удалось ускользнуть от нацистов, Меринг отвечал так: «Я пошел налево, когда все пошли направо, а потом, не останавливаясь, так все и шел налево». Но на самом деле именно он причинил максимум волнений непоколебимому Фраю: хотя Американец достал для Меринга фальшивые документы, его все же арестовали, когда он делал пересадку на нужный поезд неподалеку от испанской границы. Фраю тем не менее удалось вызволить этого старого приятеля Льва из концентрационного лагеря и из рук вишистских властей, поскольку он заявил им, будто Элеонора Рузвельт лично выразила обеспокоенность его судьбой. Когда в конце концов Рингу удалось добраться до Голливуда, он повстречал там старых друзей Льва и Эрики по Вене — Джея и Бинкс. Джей выгодно использовал свои венские контакты, создавая для себя в Голливуде новую карьеру, и он, разумеется, был рад оказать помощь всем тем, кто принадлежал к их старому кругу[154].

Позже в том же месяце Лев писал барону Умару, который доехал до Греции: «Мими Пекарски сейчас в Лондоне, и, к полному изумлению всех, кто знал ее прежде, она оказалась способной зарабатывать себе на жизнь». Так ему еще удавалось шутить над самим собой, однако дальше он сообщал Умару о некоей программе, по которой, как сказала ему одна дама, «один комитет помогает австрийцам получить [британские визы] и разрешение на проживание в течение одного года в английских замках. Но она, к сожалению, никак не могла мне помочь со всем этим, поскольку я ведь не австриец». Тем не менее он просил барона Умара прояснить этот вопрос. Сам он мрачно размышлял о судьбах своих друзей — всех этих литературных агентов, редакторов и писателей, которых развлекал в кафе «Херренхоф» рассказами о своих приключениях и которые теперь оказались рассеянными по всему миру: «Я не знаю даже, когда я смогу снова с ними встретиться, да и смогу ли вообще». Его венские издатели уже бежали из страны. Люси Таль смогла ускользнуть от агентов гестапо на следующий день после аншлюса, едва успев на поезд, шедший на запад (свою фирму она оставила в руках доктора Ибаха). Рольф Пассер, тот, кто опубликовал «Аллах велик!», а также биографию иранского шаха, бежал в Прагу, а оттуда смог перебраться в Лондон (свое издательство он оставил фрау Мёгле). «Цвейг и Верфель в Лондоне, — писал Лев Умару, — Меринг, Паули, Пассер <…> в Париже». Он спрашивал, не слышал ли Умар что-нибудь о человеке по имени Алекс Захер-Мазох (сыне ученого, от имени которого возникло понятие «мазохизм») и его жене?

Каждый день евреи сводили счеты с жизнью, бросаясь из окон

«хоххаусов», подобных тому, в котором раньше жили Лев и Эрика. Сатирический роман Беттауэра «Город без евреев» становился действительностью.

Правда, один старый еврей все еще оставался там: это был Абрам Нусимбаум, который не смог никуда бежать. Когда стало известно, что гестапо проводит облавы на евреев, Эльфрида обещала ему, что будет жить у него, — она была готова предоставить ему ту защиту, какую, вероятно, могли дать ее статус арийки и титул баронессы. Лев, по-видимому, к этому времени уже уехал из Вены, хотя совершенно непонятно, как он мог оставить там отца. Дальше Лев в какой-то момент появится в Италии при очень странных обстоятельствах, и произойдет это весной 1938 года.

В некоем бедном районе Лос-Анджелеса, в глубине дома, в котором было полным-полно котов, змей, карликовых мышей-песчанок и множества других живых существ, я обнаружил, наконец, старую женщину по имени Франци Баумфельд, которая некогда, в конце 1930-х годов, была одной из подающих надежды «звездочек». Франци была лучшей подругой Эрики и главной свидетельницей с ее стороны во время процесса против Эсад-бея. Я прилетел в Лос-Анджелес весной 2001 года, чтобы повидаться с нею, однако, увы, я опоздал. Нет-нет, сама Франци еще была жива, но на самом деле была где-то далеко. «Эсад-бей?! Вы хотите что-нибудь узнать про этого?!. Да я ни слова не сказала бы про этого… даже если бы он оказался вообще последним из… на Земле! Ну а зачем же вот вы, такой славный молодой человек, вообще взялись писать про этого…, а? Ох как мы тогда ему влепили, по первое число, я точно говорю, ему это было очень полезно, этому… Он ведь обожал Муссолини, неужели вы не знаете?!» — выкрикнула она, когда мы сидели с нею почти в полной темноте у нее на кухне, где она возвышалась на своем сиденье в окружении кошек.

«О чем вообще можно разговаривать с этим… которому нравится Муссолини, а? Эй, осторожно, как там, мои черепахи не удерут? Что, все ли двери на запоре? Ведь если черепахи удерут, я их назад не соберу, это понятно?»

Франци говорила сбивчиво, бессвязно, однако у нее явно был «пунктик» насчет Муссолини.

Статья, которая дала мне представление о ее роли в разводе Эсад-бея и Эрики, появилась 3 ноября 1937 года во французской газете «Л'энтрансижан. Лё журналь де Пари» под заголовком «Светский скандал в Австрии: все венское общество напряженно следит за сенсационным судебным процессом, по которому проходит биограф Муссолини». В статье задавался обычный

вопрос: «Кто же прав: жена или муж?» — однако мое внимание сразу привлекли слова «биограф Муссолини».

В 1937 году, после завершения своих книг в соавторстве с Вирэком и фон Вайзлем, после «Али и Нино», а также написав еще парочку книг «для друзей», Льву удалось получить предложение стать официальным биографом самого Муссолини. Его страстное стремление получить такой заказ граничило, пожалуй, с одержимостью, он вел борьбу за это на нескольких фронтах, однако дело все же не выгорело. Десятки писем, сохранившихся в архивах Флоренции и Рима, способны поведать всю историю его кампании по достижению поставленной цели.

В начале 1936 года, еще из своего богемного мирка в Вене, Лев не раз наведывался в фашистскую Италию и там общался с теми, кого можно было бы назвать «либеральными фашистами», вращаясь в высших сферах, в обществе Муссолини[155]. Хотя Лев некогда с презрением отозвался о диктатуре, к середине 1930-х годов он все больше и больше стал увлекаться фашистским движением. Он хорошо помнил свое давнее впечатление, когда при виде марша молодых фашистов решил, что движение Муссолини способно противостоять сталинской угрозе. Теперь, в конце 1930-х годов, Муссолини и итальянские фашисты взяли на себя странную, невероятную роль защитников — они защищали от Гитлера и от нацистов не только Льва, но и многих других евреев. Лев, конечно же, слышал об этой позиции от своего приятеля фон Вайзля, который, начиная с 1920-х годов, превозносил присутствие итальянских фашистов на Ближнем Востоке. Ведь в 1920-1930-х годах, в тот период, когда еще не был заключен фатальный для Италии «Стальной пакт» между Муссолини и Гитлером, итальянский диктатор обещал найти «третий путь» между тоталитарными кошмарами нацизма и коммунизма, с одной стороны, и явной слабостью западных демократических государств — с другой. Многие верили в то, что Муссолини удастся модернизировать нацизм, использовать его союз с фашистами для того, чтобы не позволить нацистам воплотить в жизнь свои расовые политические решения.

Главным союзником Льва, помогавшим ему получить одобрение для проекта биографии дуче, был Джованни Джентиле, глава издательства «Сансони» и член фашистского Высшего совета. Самый известный итальянский интеллектуал, который встал на сторону Муссолини, Джентиле был одним из его ближайших советников, а также автором многих наиболее важных фашистских законов. В июне 1937 года Джентиле написал прошение с просьбой о личной аудиенции дуче Эсад-бею, предлагая поручиться за него; Лев, по-видимому, даже побывал в

секретариате Муссолини, поскольку в архивах Министерства народной культуры в Риме я обнаружил небольшую карточку от 3 июля 1937 года, в которой мелким почерком Льва было написано:

> Его Превосходительству Бенито Муссолини, главе итальянского правительства, с глубочайшим почтением Эсад-бей

Однако всего за день до этого, 2 июля, секретарь Муссолини получил длинное письмо от человека, который утверждал, будто он услышал о предполагаемом проекте «от одного друга», которого недавно познакомили с Эсад-беем в издательстве «Тревес». В связи с этим он пожелал сообщить следующее: «Важно, чтобы дуче стало известно, что этот самый господин, который уверяет всех, будто он азербайджанского происхождения и будто его отец мусульманин, а мать русская нигилистка, на самом деле он не кто иной, как Лев Нусимбаум, и отца его зовут Абрам». В архивах фашистской политической полиции в Риме я обнаружил похожие письма от какого-то другого доносчика, из Вены, который также передавал в Рим последние разоблачения гестапо, касавшиеся человека, «выступавшего под личиной Эсад-бея».

Это были все те же былые обвинения, но только в 1937 году они звучали куда более весомо и представляли собой большую опасность, чем в 1929-м.

К тому же автор этого письма пошел дальше предыдущих «разоблачителей»: он утверждал, что маска уроженца Востока, которую носил Лев, была на самом деле лишь частью грандиозного еврейского заговора, таившего «угрозу для исламского мира, опасность для западной цивилизации, для прогресса и для всей Европы в целом, явной целью которого является, как бы это ни было замаскировано, желание помочь сородичам в Палестине». Автор письма завершил свое письмо неубедительными извинениями за то, что он сообщает дурные новости, однако все-таки пишет дальше: «Поскольку речь идет о самом дуче, личность которого для любого итальянца священна, я питаю надежду, что вы мне простите подобное обращение к вам».

На протяжении большей части своего существования режим Муссолини не отличался антисемитизмом, причем поначалу дуче открыто критиковал расизм Гитлера — правда, возможно, по той причине, что нацисты не включили современных итальянцев в свой пантеон арийских суперчеловеков. Муссолини называл научный расизм и антисемитизм «немецкой болезнью», что было пренебрежительным откликом на термин «прусская наука», который использовался во всем мире для обозначения евгеники

— науки о расовом отборе. Гитлер ответил на слова Муссолини, охарактеризовав его движение как «кошерный фашизм». В 1920 году, когда Гитлер уже вынашивал планы лишить всех евреев германского гражданства и изгнать их из всех слоев германского общества, Муссолини написал статью *для* своей газеты «Иль пополо д'Италиа», в которой утверждал: «У нас в Италии мы не делаем различий между евреями и неевреями, притом в любой сфере, будь то в религии, в политике, в армии или в экономике. Итальянские евреи нашли Новый Сион здесь, в нашей прекрасной стране, которую многие из них героически защищали с оружием в руках, пролив за нее свою кровь». Сотни евреев стали тогда членами недавно созданной фашистской партии, и во время первого десятилетия существования фашизма в Италии были генералы-евреи, профессора-евреи, а также евреи — члены Большого фашистского совета. И любовница Муссолини, ведущая интеллектуалка и теоретик фашизма, вовсе не скрывала, что она еврейка[156] Возможно, не многим известно, что у истоков Военно-морских сил Израиля была осуществленная фашистами в 1930-х годах программа боевой и тактической подготовки и что самому дуче предоставили возможность основать кафедру фашизма в Еврейском университете в Иерусалиме.

Все это, однако, закончилось с недолгим, но катастрофическим альянсом с Гитлером. В сентябре 1937 года Муссолини отправился в Германию, где ему показали, как Люфтваффе проводят свои учения, бомбя макеты польских деревень, как нацистские войска участвуют в генеральной репетиции предстоящего блицкрига. Фюрер польстил ему, назвав Муссолини крестным отцом мирового фашизма, а толпа в Берлине устроила ему восторженный прием. На следующий год Муссолини ввел в итальянской армии шагистику на прусский манер, а также заставил итальянцев говорить «Salute il Duce!»[157] в подражание германскому «Хайль Гитлер!» Антисемитизм стал в Италии новой догмой, хотя она и противоречила практически всему, что существовало прежде в стране.

Летом 1938 года итальянцы от Милана до Неаполя, раскрыв свои газеты, с удивлением узнали, что они все на самом деле оказались «чистыми арийцами нордической расы», а вот их коллеги-евреи — опасные чужаки.

Всех евреев, в том числе и закоренелых фашистов, убрали со всех официальных постов — из армии, из университетов и из правительственных учреждений. К осени итальянским евреям уже не разрешалось помещать свои имена в телефонных книгах: видимо, кто-то решил, что они портили этим огромное большинство истинно нордических имен в телефонных

справочниках по всей Италии. По книжным магазинам, школам и полицейским участкам был распространен список запрещенных авторов, и в него было включено имя Эсад-бея.

Теперь человеку, у которого настоящая фамилия была Нусимбаум, требовалась запредельное, практически самоубийственное нахальство, чтобы продолжать кампанию за право стать официальным биографом Муссолини. Лев, правда, не знал тогда, что Министерство народной культуры уже сообщило Муссолини: «Наше министерство никак и ни в чем не поддерживает Эсад-бея».

В марте 1938 года — как раз когда произошла аннексия Австрии — Лев написал Джентиле, умоляя его помочь ему получить визу в Италию, чтобы он мог начать проводить сбор материалов для написания биографии Муссолини, хотя уже на протяжении нескольких месяцев было вполне ясно, что этот его проект не будет воплощен в жизнь. «Удивительно, что я не могу въехать в страну, в которой опубликовано двадцать моих книг», — писал он, возможно прикрывая такими словами свое отчаянное желание как можно скорее уехать из Вены.

В донесении от 5 сентября 1938 года, сохранившемся в архивах итальянской тайной полиции, говорилось, что «Лев Нусинбаум [sic!]» смог добраться до Рима и теперь представители властей следят за ним, пытаясь определить его расовое происхождение. Правда, итальянцы были новичками в деле определения расовых типов, а фамилия сама по себе не считалась у них достаточным доказательством. Кроме того, произошло то, что вызвало бы негодование гестапо: итальянская полиция, которая вела слежку за Львом, потеряла его след в Риме, и лишь потом у нее появились недостоверные сведения, что его будто бы видели в прибрежной деревне Позитано, близ Салерно, на Амальфитанском побережье. Из переписки между Министерством внутренних дел в Риме и префектом Салерно я узнал, что Лев, оказывается, разъезжал по Италии под видом американца.

Да-да, Лев воспользовался своими пароходными билетами и уже просроченной визой на въезд в США, чтобы убедить представителей итальянских властей, что он на самом деле гражданин США. Правда, конкретное воплощение в жизнь новых итальянских расовых законов и «разоблачение», пусть недостаточно аргументированное, Льва как еврея, сделали свое черное дело: издательские договоры с ним были аннулированы. Ни один из его прежних итальянских издателей не решался печатать его новую книгу без одобрения со стороны Министерства народной культуры, которое, со своей стороны, в качественно новой атмосфере не взяло бы на себя решение этого

вопроса, не получив предварительно одобрения от своих коллег из соответствующих инстанций в Берлине и Вене. (Именно тогда Лев и написал барону Умару-Рольфу, попросив, чтобы «миссис Курбан Саид» получила для него гонорары в различных столичных городах Европы.) Лев также продолжал писать все более отчаянные письма своим итальянским издателям. В сентябре 1938 года, уже практически голодая, поскольку в Позитано у него не было никаких доходов, Лев обратился к своему доброжелателю во Флоренции Джованни Джентиле — это был необычный, но и отчаянный призыв о помощи:

> Мне крайне трудно получить достоверные документальные свидетельства об арийском происхождении на протяжении трех поколений моей семьи, поскольку все соответствующие бумаги оказались в руках у большевиков. Однако арийское происхождение возможно доказать не только по документам, но и с помощью чисто научного обследования. Не могли бы Вы порекомендовать мне или в Риме, или во Флоренции какого-либо компетентного антрополога, который после подобного обследования был бы в состоянии дать четкое заключение относительно моей расовой принадлежности. Это, разумеется, должен быть такой специалист, которому полностью доверяют официальные инстанции. По-моему, можно было бы таким образом разрешить имеющуюся проблему, и все мы наконец-то вздохнули бы с облегчением… Как только я получу от Вас какие-либо деньги, я тут же отправлюсь во Флоренцию, поскольку, смею надеяться, Вы к тому времени уже сможете найти такого антрополога, который готов будет доказать, используя научные методы, к какой из рас я на самом деле принадлежу.

Ответа на эту его просьбу не сохранилось. Следующее письмо в архиве Министерства внутренних дел — от хирурга по имени Вито Фиорентино, он сообщал Джентиле: «Эсад-бей серьезно болен: он страдает болезнью Рейно, которую медицинская наука пока что не в состоянии лечить». Синдром Рейно — весьма редкое заболевание крови, вызывающее ускоренное развитие проказы и гангренозное состояние. В начале 1939 года Льва поместили в больницу в Неаполе, где попытались лечить, проведя ампутацию нескольких пальцев на левой ноге, — вот в связи с чем, по-видимому, возникла версия, будто Лев поранил ногу. Итальянская полиция не только не арестовала его, но сделала все возможное, чтобы собрать средства для оплаты его лечения.

Когда иссякли соответствующие фонды в Позитано, запрос о помощи был направлен в Салерно, оттуда — в Министерство внутренних дел, которое переправило это дело в Министерство иностранных дел, а то, в свою очередь, запросило американское посольство. А оно сообщило итальянским властям, что Лев Нусимбаум вообще никогда не был гражданином Соединенных Штатов Америки.

Глава 15. Позитано

Позитано — это приморский курорт, в 1950-х годах бывший, как я узнал, любимым местом отдыха таких итальянских деятелей кино, как, например, Витторио де Сика. Сюда и в наши дни приезжают «расслабиться» пусть менее известные, зато гораздо более состоятельные представители индустрии моды и кинопромышленности.

Один местный граф, человек с низким, хриплым голосом, пообещал мне поделиться какими-то «по-видимому, исключительными, наиважнейшими» сведениями, имевшими отношение к Эсад-бею, или Мусульманину, как его до сих пор называют в городке, однако наша встреча довольно скоро превратилась в обычную холостяцкую пирушку с обильной выпивкой. Граф же все пытался рассказать мне одну историю про русскую белогвардейскую княгиню, попавшую как-то раз, в 1960-х годах, на разгульную пляжную вечеринку. Как часто бывает в подобных городках, внешняя расслабленность их обитателей скрывает нечто противоположное, жесткое: прошлое затаилось в памяти стариков, живущих на склонах горы над четырехзвездочными отелями, в извилистых сотах улочек с неброско покрашенными домиками, что карабкаются вверх, за вершину горы.

Война не тронула этот городок — во всяком случае, там не было никаких разрушений. Если сравнивать фотографии Амальфитанского побережья 1942 года с теперешними, пожалуй, вообще не заметишь особенной разницы. Впрочем, это не совсем так: в море, прямо напротив средневековой башни, всегда, еще с момента основания городка, торчали две большие скалы — их называли «Мамаша с Сынком», и они создавали естественный барьер между заливом и открытым морем. Но в феврале 1943 года «Мамашу» разнесли британские торпеды, которые предназначались для транспортных судов, да и от «Сынка» сохранилась лишь небольшая часть, так что местные жители отныне могли рассказывать душещипательную историю о том, «как Мамаша пожертвовала собой ради Сынка». Но в остальном здесь за время войны ничто не пострадало.

Более того, в те годы знатные семьи из Неаполя отослали своих детей в Позитано: считалось, его не должны были бомбить, поскольку склон горы до того крутой, что эту цель очень трудно поразить. Еще до войны в Позитано появились различные эмигранты, хотя они, казалось бы, не могли считать этот городок надежным прибежищем. В ту пору, задолго до наплыва

американских туристов и кинозвезд, еще до появления здесь больших денег, приезжавшие сюда иностранцы были все, как один, очень бедны, а добирались они до Позитано, спасаясь от фашистских настроений севера Италии либо от нацистского безумия к северу от Альп. Они селились в этом маленьком итальянском рыбацком поселке по различным причинам: тут были писатели левых убеждений, поэты-пацифисты, члены «Баухауса» и художники-модернисты, занимавшиеся смелыми экспериментами с цветом, композиторы, танцоры — и среди них, разумеется, были евреи.

Правда, жизнь евреев и неевреев радикально отличалась. Нонконформисты — деятели искусства уже довольно скоро осознавали, что на Амальфитанском побережье и в фашистской Италии ничего не изменилось. И они заполняли свои дни всевозможными занятиями: изучали итальянский, совершали восхождения на гору Пертузо, устраивали на скалах пикники под теплым солнцем, а ночью собирались в «Буко ди Баккo», то есть «Пещере Вакха», винном подвале, где теперь звучала почти исключительно русская и немецкая речь, и там допоздна пили вино, пока хозяин не выставлял всех на улицу. Спокойная, раскованная атмосфера сохранялась, пусть отчасти, благодаря тому, что этим беженцам и эмигрантам, деятелям культуры, опасность здесь не грозила. В отличие от прочих тоталитарных режимов, итальянский фашизм вообще не занимался всерьез уничтожением инакомыслия в культуре — во всяком случае, если оно не угрожало самому государству. Цензоры с типично итальянской толерантностью не обращали внимания на то, что любого немца привело бы в концлагерь.

А вот с евреями дело обстояло совершенно иначе. Как и все остальные, они приехали в Позитано, ожидая найти здесь убежище, однако начиная с 1938 года, когда был принят итальянский «Расовый манифест», положение евреев стало в принципе иным, отличным от положения всех прочих.

Отныне их существование в идиллической на вид, толерантной обстановке на Амальфитанском побережье в любой момент могло прерваться.

Я встретился в Позитано с Николеттой Рисполи, кроткой, спокойной женщиной с грустным взором: ее мать, еврейка по имени Доротеа Флатов, по прозвищу Доджо, была владелицей пансиона, в котором и в 1930-х годах, и в начале 1940-х, чаще всего проживали беженцы-евреи. Мне рассказывали, как Доджо ходила через весь город к дому, где жил на квартире Лев, — она приносила ему тарелку макарон, не давая умереть с голоду. Ее семья приехала сюда из Германии еще в середине 1930-х годов и

открыла здесь этот пансион: в Берлине они были владельцами частной психиатрической лечебницы, и, как оказалось, это дало им почти все необходимые навыки, чтобы создать гостиницу и управлять ею. Их пансион — «Пенсионе Сан-Матео» — стал в Позитано наиболее популярным прибежищем для немецких художников и интеллигентов. Он давным-давно закрылся, однако у Николетты сохранилась книга отзывов, в которой можно видеть пеструю смесь рисунков, карикатур, фотографий и иллюстрированных историй, которые оставили на память о себе благодарные гости. В одном стихотворении мы даже нашли упоминание о Мусульманине, который вечно у всех одалживает деньги.

Жители городка, кто постарше, еще полны воспоминаниями о том, какая жизнь была в Позитано в годы войны: один элегантный старый синьор, которого родители отослали сюда ребенком, когда начались бомбежки Неаполя, с восторгом вспоминал, как он по крутым улицам лихо катил на своем самокате вниз, на пляж. Николетта же, говорившая со мной то по-немецки с итальянским акцентом, то по-итальянски с немецким, сказала, что нельзя забывать: память горожан о том, как они пережили войну, на самом деле скрывает истинное прошлое.

— Не все было так, как они предпочитают об этом вспоминать сегодня, — промолвила она.

Она показала мне газетные вырезки, которые хранила целых шестьдесят лет, и там, например, было письмо в местную газету от «честного гражданина», в котором содержалось требование прямо ответить ему на простой вопрос: когда же, наконец, «этих мерзких евреев со всей Европы» выгонят вон из пансиона родителей Николетты? В таком случае заодно с ними отправили бы «куда подальше» и ее мать, поэтому Николетта и сегодня прекрасно помнила, какой ужас она испытала, впервые прочитав это письмо. Редактор газеты в том же номере отвечал, что беспокоиться не нужно: властям-де все прекрасно известно, и вскоре будут приняты необходимые меры. Пансион их и в самом деле был через некоторое время закрыт, однако Николетту с матерью не депортировали, поскольку ее мать была замужем за местным жителем, итальянцем, и им было разрешено остаться в Неаполе — так они там и жили, пока не закончилась война.

Лев, называвший себя тогда Эсад-беем, приехал в Позитано в апреле или в мае 1938 года. Той весной, в связи с аннексией Австрии, все городские гостиницы оказались переполнены, и еврейское население городка, а также количество людей, говоривших по-немецки, многократно увеличилось. У Льва было немало знакомых среди эмигрантов, однако он предпочитал

держаться от всех в стороне. Через некоторое время местные власти опломбировали его пишущую машинку и конфисковали его радиоприемник, так что кое-кто даже решил, будто Лев — шпион, но только на кого он в таком случае работал?

«Он был человек скрытный, — писала в своих мемуарах эмигрантка из Германии Элизабет Кастонье, прожившая некоторое время в Позитано в 1939 году. — Единственным документом у него был билет на рейс в Америку, выданный северогерманским отделением фирмы “Ллойд”, и местные полицейские благоговейно относились к нему, словно к дипломатическому паспорту». Она также с удивлением вспоминала, что Мусульманин специально попросил выслать ему из Вены фрак, черный галстук-бабочку и панталоны.

Лев, по-видимому, относился к этому курортному городку и пляжу, где, по его словам, «на лицах купальщиков застыло истерическое выражение», как к тюрьме. В первые годы к нему туда еще приезжали такие люди, как его американский приятель Джордж Сильвестр Вирэк, обладавший широчайшими связями, однако вскоре тот очутился в американской тюрьме; еще побывал здесь поэт и драматург Герхарт Гауптман, который и обратил внимание своей знакомой, Пимы Андреэ, жившей в Рапалло, на трудное положение Льва. И все же, кроме Алисы Шульте, этой «неопрятной женщины из России», которая вновь приехала за ним следом, чтобы обихаживать его, основные контакты Льва с окружающим миром были через письма.

В 1938 и 1939 годах он написал десятки писем — главным образом барону Умару е Индию; еще на имя «фрау Саид», то есть Эльфриде, которая жила в Греции; а начиная с марта 1939 года — Пиме. Дружба с Пимой началась после того, как она сама написала ему, а также прислала немного денег; их переписка продолжалась до самой его смерти, несмотря на войну и бесцеремонное вмешательство цензоров. Переписка эта была одной из немногих приятных вещей в последние годы жизни Льва. Пима поддерживала близкие отношения с целым рядом литераторов — Паундом, Йейтсом, Герхартом Гауптманом, однако ни с кем из них не переписывалась так интенсивно, как с этим человеком вдвое моложе ее, умиравшим в Позитано, с которым она так и не встретилась. Пима оказалась последним человеком, кто по-настоящему знал Льва Нусимбаума, хотя, быть может, правильнее сказать: она была первой, узнавшей по-настоящему, кто такой «Курбан Саид».

Целый ряд тем в письмах Льва неизбежно повторялся. У него вечно не было денег, и он без конца пытался изобрести тот или иной способ что-то заработать либо добраться до своих гонораров

и до имевшихся у него банковских счетов. И без конца вспоминал Эрику[158]. В 1940 году он начал заполнять свои записные книжки текстом, который сам назвал «Ничего не понимавший про любовь» — то ли воспоминания, то ли роман, то ли дневник. Именно их забрала из Позитано бывшая издательница Льва фрау Мёгле, а потом заперла у себя в шкафу, в Вене, где они и пролежали еще шестьдесят лет.

Целых два года Лев одержимо, со страстью исписывал один блокнот за другим. Прислуга, которая жила в доме в то время, помнила, как он писал: «Порой до ночи, а то и до утра — к ночи уйдешь, потом придешь на следующий день, а он так и сидит на том же месте, и голова его так же склонена, и сам все пишет, пишет…» История его жизни, написанная микроскопической вязью синими чернилами, прерывается лишь картинами испытываемых им физических страданий. В быстро сменяющихся сценах рассказывается, как Лев встречался с арабскими парашютистами-десантниками, с эмиссарами короля, экстравагантными блондинками, миллионерами в смокингах, оборванцами-гуру, пока однажды, раздевшись догола у себя в гостиничном номере и смывая с себя пыль пустыни, он не обнаружил у себя на ноге темное пятно, которое стало разрастаться. Лев принимал морфий, пока писал одни эпизоды, курил гашиш, когда записывал другие, он пытался приспособиться к мучающей его боли, к жестокой действительности, которую невозможно изменить ни с помощью языка или культуры, ни за счет образования…

Его болезнь возникла внезапно, в 1939 году, — началось все на левой ноге, но потом быстро распространилось на обе ноги. Его положили в больницу в Неаполе, где он пробыл не то четыре, не то пять месяцев, однако вылечить его оказалось невозможно, поэтому его отправили обратно в Позитано, и дальше ему лишь оставалось покупать (или же вымаливать) морфий у местного аптекаря.

«Наше будущее целиком и полностью в руках Бога, однако теперь я ощущаю прикосновение Его руки все более и более осязаемо, — писал Лев баронессе Эльфриде в сентябре 1939 года. — Жизнь порой представляется мне весьма странной. Я завершил книгу, и мне, на самом деле, больше нечего здесь делать». Это, наряду с вечной нехваткой пищи, денег и лекарств, было для него по-настоящему невыносимо. Оттого он и взялся писать свое последнее произведение — «Ничего не понимавший про любовь».

«Мусульманин был человек достойный, он даже никогда не появлялся на людях, не одевшись самым тщательным образом,

без своей трости, — рассказал мне Дженарио Пассеротти, который некогда занимал в Позитано пост, который соответствует титулу мэра города. — Он был molto elegante[159]. Его лучшим другом был наш священник, дон Сервильо Чннкве, с которым они проводили вместе много времени — гуляли, разговаривали».

Впрочем, сам синьор Пассеротти — в Позитано его теперь называют «дед Пассеротти» — не так уж много рассказал мне, поскольку его сопровождали четыре поколения женщин, от внучки до собственной матери, которые бдительно следили за каждым словом из его уст и без конца перебивали.

Со мной вместе на эту встречу пришла графиня Раймонда Гаэтани-Паттисон, которая зарабатывала на жизнь разработкой моделей костюмов для кино и оперных постановок. Она все еще жила в доме, где когда-то умер Лев, и потому с большим энтузиазмом вызвалась помочь мне выяснить тайну самого загадочного из постояльцев ее родственников. Мы с нею долго поднимались по высеченным в скале ступенькам, и нас провожала наверх дочь старика, у которой голова была замотана ярко-розовым шарфом. Она привела нас в небольшую, темную комнату в самой верхней части дома, где и началась наша встреча. Мне стало понятно, почему дон Сервильо Чинкве находился в прекрасных отношениях с Мусульманином: оба были образованными, культурными, оба знали несколько языков, оба немало повидали на своем веку. Кроме того, они оба провели некоторое время в Америке, так что могли разговаривать друг с другом и по-итальянски, и по-английски.

— Правда ли, что священник был ревностным фашистом, — спросил я. — Может ли быть, что источником их приязни друг к другу стала схожесть политических взглядов?

— О да… — начал дед Пассеротти. — Дон Сервильо был крупным фашистом, и он…

— Дед Пассеротти ничего не знает про политические взгляды Дона: ведь тот был христианским священником! — громким голосом оборвала Пассеротти его дочь, поправляя свою ярко-розовую чалму. Но ведь я ничего плохого не хотел сказать, принялся объяснять я ей. В то время многие состояли в фашистской партии, особенно все, кто занимал какие-либо посты в органах гражданского управления.

— Да что говорить, в то время… — начал было старик.

— Он вообще не занимался тогда политикой! — загремело из-под чалмы: глаза стариковой дочки буравили меня насквозь. — И никто из тех, кого он еще помнит, с политикой не имел дела, вообще никакого!

— Да-да, что верно, то верно, — сказал дед Пассеротти. — Ни

Дон, ни я сам — мы вообще ни в какой политике не участвовали.

Когда мы с графиней отправились восвояси, она сказала:

— Правда же, это невероятно?! Что они за люди?! Полная фантастика! Шестьдесят лет прошло, а они вдруг до смерти перепугались, когда нужно было что-то сказать про годы фашизма. Словно решили, что их сегодняшнее положение окажется под угрозой, потому что кто-то узнает: здесь в сорок втором году многие были фашистами!

Ну да, ответил я, наверное, в этой семье отнюдь не все были социал-демократами.

— Да, но неужели они всерьез думают, что сегодня кому-то вообще есть дело до этого? Что там у них за особые тайны такие? Да всем здесь и без того известно, что священник был крупным фашистом, а еще — что он умер тридцать лет назад. А кем был наш Мусульманин? Тоже фашистом? Может, исламистом? Нацистом? И почему он приехал именно в Позитано — это вы хотите узнать? Эти люди ведь ничего не знают, даже если они были знакомы с ним, пока Мусульманин жил тут, — вот как этот старик Пассеротти. Я, например, вообще не думаю, что Мусульманин хоть раз побывал у них в доме. Пока он жил в Позитано, он просто ждал удачного поворота событий, вот и все, а потому, мне кажется, он ни с кем из местных не сошелся близко.

Лев жил в небольшой квартире, стена в стену с домом родителей графини, которые занимали палаццо XVII века с ярко-желтым фасадом и увитыми плющом колоннами на нескольких террасах, обращенных в сторону моря. Палаццо купил отец графини, Альфред Паттисон, и случилось это около 1908 года. Капитан Паттисон, на верфях которого в Неаполе была построена большая часть кораблей итальянских военно-морских сил, был одним из тех многих предприимчивых англичан, которые перебрались в Неаполь в середине XIX века, чтобы сделать там себе состояние, и там осели. В первые десять лет после прихода фашистов к власти эти «неаполитанские англичане» по-прежнему процветали, пока Скотланд-Ярд еще помогал Муссолини устраивать облавы на антифашистов, а жены британских министров прикалывали фашистские значки к своим вечерним платьям.

Капитан Альфредо Паттисон женился на немке по имени Луиза Штрауб, и, как подозревала графиня, именно она, ее бабушка, самая начитанная и культурная во всей семье, даже имевшая свой салон, пригласила Мусульманина жить у них. Ее чопорному, надменному деду в голову бы не пришло ввести к себе в дом какого-то беженца с темным прошлым, каким бы

великим писателем он ни был. Британский кораблестроитель и немка, любительница искусств, произвели на свет дочку, Нору Паттисон, избалованную, взбалмошную девчонку, которая в 1930-х годах влюблялась в местных красавцев-рыбаков и носилась на гоночных автомобилях по горной дороге в Неаполь. Эта беззаботная неаполитанка с англо-германской кровью в жилах улучшила положение семьи, выйдя замуж за графа Гаэтани, человека с неизменно кислой миной на лице, отпрыска одной из старейших семей в Италии, а также одного из первых членов фашистской партии. Отпрыском этого супружеского союза и стала нынешняя графиня Гаэтани-Паттисон.

Бойкая, говорливая графиня показала мне весь дом и пригласила пожить у них столько, сколько мне понадобится. Она устроила бы меня в той самой квартире, где жил Лев, да вот незадача: ее как раз только что снял один специалист по постройке яхт из Южной Африки. В результате я оказался на задах палаццо, в самом конце коридора, который больше походил на пещеру, где стояли старинные сундуки, а войти в комнаты можно было по расположенным уступами ступенькам. Я провел здесь, наверное, куда больше времени во мраке, чем кто бы то ни было из приезжавших в Позитано гостей, за исключением разве самого Мусульманина. Тут были сундуки, набитые любовными письмами на немецком, английском и итальянском языках, открытками с каникул, проведенных в Третьем рейхе, перепиской с американскими друзьями уже после объявления войны. Однако не было ничего, связанного со Львом.

Перелистывая толстенную книгу отзывов в кожаном переплете, я обратил внимание на то, что имена и фамилии гостей сами по себе иллюстрируют историю. Начиная с 1920-х годов и до конца 1930-х гости приезжали из самых разных стран Европы, причем большинство были из числа английских аристократов и американских богачей, а вот после 1938 года, после принятия расового манифеста Муссолини, имена стали встречаться исключительно итальянские. С 1944 года, когда Италию освободили союзные войска, сюда хлынул бесчисленный поток американских офицеров и британских военных всех чинов и всякого происхождения. В ту пору «Каса Пэттисон» должна была казаться кусочком родины для всех этих военных, очутившихся вдали от родных мест.

И все же: почему с 1938 по 1942 год, когда в книге отзывов нет ни одного иностранного, неитальянского имени, нужно было сдавать квартиру какому-то чужестранцу с сомнительными политическими связями, у кого и денег-то не было, кого разыскивала политическая полиция?

— Моя мать, тогда еще подросток, была ужасно невежливой и дерзкой, — рассказала графиня, показывая фотографии своей спортивной матери, наполовину англичанки, которая любила сниматься в длиннющем, развевающемся белом шарфе. — Мама прокрадывалась в комнату, когда доктор Фиорентино приходил к бабушкиному гостю, Эсад-бею, обрабатывать гангрену на его ноге — у нас одни говорили, что это пулевое ранение, которое было запущено и которое не лечили; другие же утверждали, что он якобы поранил себе ногу, пытаясь покончить с собой в Швейцарии.

Гангрена была следствием синдрома Рейно, когда ткани, не получающие нужного количества кислорода, начинают отмирать. Без соответствующих лекарств и без лечения состояние может стать ужасающим и боль напоминает средневековую пытку. Перед смертью ноги Льва были совершенно черными, словно кто-то подержал их над костром или же долго обжигал паяльной лампой…

— Моя мать и ее подруги подсматривали за ним, они видели, как он корчился от боли, кричал, — сказала графиня с несколько виноватым видом, — а потом они еще носились по улице с воплями: «А у Мусульманина что-то отрезали! А у Мусульманина что-то отрезали!»

— Он выл, как животное, когда появлялась эта боль, а когда она отпускала, стихал и все думал о чем-то. Забыть его взгляд невозможно: у него были огромные черные глаза, восточные, понимаете ли, и огонь в них был тем ярче, чем больше разрушалось его тело.

Бодрый на вид, худощавый мужчина восьмидесятишести лет поправил свою надетую задом наперед кепку с эмблемой нью-йоркской команды «Янки», пососал кока-колы через соломинку и картинно откинулся на спинку своего стула. Мы сидели в летнем кафе, столики которого были расставлены между дорогой и шестисотметровой скалой, так что официантам даже приходилось уворачиваться от проезжающих автомобилей. Фиораванте Рисполи по моей просьбе вспоминал, как он некогда работал слугой у Мусульманина. Впрочем, работал он в большом доме, обслуживая дедушку нынешней графини, капитана Паттисона, который вечно требовал, чтобы все делали мгновенно и «Preciso! Preciso!»[160]

В ту же пору Фиораванте было приказано исполнять поручения жильца. Я спросил, накрывал ли он когда-либо ленч для Мусульманина в большом доме, за одним столом с капитаном и его семьей, но синьор Рисполи лишь рассмеялся:

— Он же совсем не их круга был человек! Плюс сомнительное

прошлое. Да еще он был беден! Он не мог мне ничего платить, но всегда относился ко мне очень вежливо, говорил: «Джованни, ты не сбегаешь к фармацевту? Попробуй, вдруг он даст немного морфия». И хотя было понятно, что он испытывал чудовищную боль, он находил в себе силы спросить: «Ты не возражаешь?» А вы знаете, что мне сказал фармацевт? Я до сих пор помню, хотя уже шестьдесят лет прошло, потому что это было так жестоко, он был холоден, как лед: «А не лучше ли этому парню просто сдохнуть? Мне надоело давать ему лекарства, которые ему не по карману!»

Приехав в Позитано тридцати с небольшим лет, Лев был красивым молодым человеком. Но уже через четыре года он стал похож на семидесятилетнего старика, поскольку пристрастился к наркотикам опиумного ряда.

Я спросил Рисполи, знал ли он, что Мусульманин был прежде знаменитым писателем. Он отвечал, что нет, не знал, но что его бы это не удивило. Когда проходил приступ боли, Мусульманин либо смотрел в морскую даль, либо писал.

— Он иногда писал по десять-пятнадцать часов в день.

После того как у него конфисковали пишущую машинку (власти из Рима специально потребовали, чтобы у Мусульманина не было ни пишущей машинки, ни радиоприемника, так как он мог бы воспользоваться ими для целей шпионажа), он продолжал писать от руки, а когда у него уже не стало денег на бумагу или записные книжки, он писал на полях старых книг и на обрывках сигаретной бумаги. Один из немецких гостей, навестивших Льва летом 1941 года, в своих воспоминаниях отметил, что, хотя войти в его квартиру было все равно что «очутиться в персидской опиумной курильне, его политические суждения были, как всегда, проницательными».

Старый слуга помнил многих из этих иностранных гостей, которые приезжали повидать Мусульманина, но особое внимание он обратил на молодого рослого мужчину с Ближнего Востока, который был в офицерской форме. Рисполи, правда, не смог вспомнить, как его звали. Он запомнил его из-за этой военной формы, а еще потому, что это был единственный раз, когда Мусульманин говорил по-арабски, а не по-итальянски или по-немецки.

— Его тут все звали Мусульманином, — сказал он. — Но мое личное мнение, что он был еврей.

А почему он так решил, поинтересовался я.

— Не знаю. У него был Коран у изголовья, все называли его Мусульманином. Его приятель был, похоже, мусульманским фашистом. Но я просто чувствовал, что он куда больше похож на еврея.

Бывший слуга тут хихикнул и заказал еще одну кока-колу. А потом сказал:

— Я все равно бы прислуживал Мусульманину, если б он не умер. Он не был богатым и спесивым, вел себя всегда как истый джентльмен.

Ромоло Эрколино, сын караульного, показал вверх, на гору, туда, где была самая высокая точка в городе. Я силился разглядеть, что́ там, но видел лишь небольшой участок зелени и что-то вроде крошечной церкви, нависшей над обрывом, будто она опиралась на воздух: она четко вырисовывалась на фоне ярко-синего неба.

— Отец знал, что за Мусульманином рано или поздно приедут. В Салерно, неподалеку отсюда, был лагерь СС, ну, не совсем как у немцев, а наш, итальянский, вариант. Так и случилось в конце августа сорок второго года. К нашему дому подъехали в тот день два больших черных седана, с удлиненным кузовом, такие были только у тайной полиции, и оттуда вышли несколько человек в шляпах — они всегда были в шляпах, больших таких. Они зашли к нам и спросили у отца: «Где он? Где Мусульманин?» «Опоздали, — отвечал им отец, — он умер. И теперь там». Отец показал в сторону кладбища.

Ромоло Эрколино, несмотря на палящее солнце, был в темном пиджаке и галстуке ему в тон. Его отец, Луиджи, занимавший пост, который соответствовал посту шерифа, был последним, кто видел Льва живым.

Наверху, над городом, куда пришлось добираться по практически вертикальной лестнице, по ступеням, высеченным в скале, Ромоло повел меня через кладбище, мимо могил, налезавших друг на друга, словно это были миниатюрные многоквартирные дома для усопших. Сверху открывался великолепный вид на все побережье Тирренского моря. Над обрывом стояла средневековая башня, которую построили, чтобы издалека видеть приближающиеся отряды сарацинов.

— Eccola[161], — тихо, нараспев промолвил Эрколино. Перед нами был узкий белый намогильный памятник с каменной чалмой наверху. — Это в турецком стиле, — продолжал он. — Один человек приезжал после войны, его звали доктор Джамиль Мазара, он из Алжира, вот он и проект сделал, и дал деньги на памятник.

На камне было вырезано: МОХАММЕД ЭСАД-БЕЙ.

А сам Эрколино когда-нибудь вообще встречался с «алжирцем»?

— Пока был жив мой отец, доктор Джамиль ни разу не приезжал в Позитано. Но позже, в семидесятых годах, мне

довелось с ним познакомиться, когда он приехал сюда посмотреть на могилу. Он был очень доволен тем, что увидел.

А Эрколино известно что-нибудь о нем?

— Он очень богатый, очень влиятельный человек, у него много владений в Алжире и в Турции. Он мне сказал, что тот, кто похоронен у нас, — самый великий человек из всех, кого он когда-либо встречал. Я ему ответил тогда, что мы к нему точно так же относились, что он нам был как родной. Это, наверное, случилось в девятьсот семьдесят пятом году. Доктор Джамиль сказал, что обязательно приедет опять, однако больше не вернулся.

Барон Умар совершил паломничество сюда, к могиле друга, по возвращении из Индии в 1954 году. Он с большим неудовольствием отметил, что могила Эсад-бея находится за пределами освященной территории — по-видимому, оттого, что он не был католиком. Я расспросил кладбищенского сторожа, но он сказал, что, по его разумению, территория здесь была освященной до самого края обрыва. К сожалению, сторож этот был еще довольно молод, а вот его отец, который следил за кладбищем прежде, давно умер. В общем, ничего интересного сторож мне рассказать не смог. Но все же он спросил, известно ли мне, что останки Мусульманина были в одночасье выкопаны и перезахоронены? Я спросил, откуда он знает об этом? От великого писателя Джона Стейнбека, отвечал он, и мое сердце екнуло, когда я выслушал эту историю в его изложении.

В 1953 году Джон Стейнбек написал для путешествующих по Италии статью о Позитано и опубликовал ее в журнале «Харпере базар», а местное туристическое агентство отпечатало ее в виде брошюрки на кремовой бумаге на шести языках. «Воспоминания» большинства позитанцев об Эсад-бее основывались на версии событий, предложенной Стейнбеком:

> Около десяти лет назад в Позитано приехал один мусульманин. Ему тут понравилось, и он поселился в этом месте. Какое-то время он мог содержать себя, но постепенно деньги у него кончились, да только он все равно никуда не уехал. Городские власти поддерживали его и заботились о нем. Как мэр городка был единственным коммунистом в городе, так и пришелец этот оказался здесь единственным мусульманином. Жители городка решили, что он стал совсем своим. В конце концов он умер в этом городке, и его единственной просьбой было, чтобы его похоронили ногами в сторону Мекки. Так и сделали. Во всяком

случае, так думали позитанцы. Но вот прошло четыре года, и какой-то дотошный зануда сделал важное открытие: Мусульманина похоронили по навигационному счислению, однако либо компас был неисправным, либо карта неточная. В общем, похоронили его со смещением на 28 градусов относительно истинного направления на Мекку. А для городка, в котором все — мореплаватели, это было событием чудовищным! В результате все собрались на кладбище, выкопали Мусульманина из могилы, поставили на верный курс и вновь закопали!

Нет, правда, никаких свидетельств того, что все было именно так, но меня больше всего задело то, что Стейнбек явно понятия не имел, что человек, ставший героем рассказанной им «занимательной» истории, был известным писателем. Еще в 1930-х годах оба были успешными современниками, однако если Стейнбек остался знаменитым литератором, то Лев-Эсад сгинул в пучине забвения. В его последние годы, кроме горстки верных почитателей (да еще служащих тайной полиции нацистской Германии и фашистской Италии), его знали лишь жители городка Позитано, звавшие его просто «Мусульманин».

Когда я передал Ромоло Эрколино слова Рисполи (а именно что Мусульманин, на самом деле был евреем), тот даже вознегодовал. Как же так? На могильном камне у него чалма и надпись по-арабски. Все у них в городке звали его «Мусульманином». Он читал Коран, он просил похоронить его пятками в сторону Мекки. «И еще вот — вот тут», — сказал он, тыча в нужное место в том документе, который я ему показал. Это была сноска в длинном некрологе, который доктор Джамиль в 1942 году напечатал в фашистском журнале «Ориенте модерно»:

> Мы можем сделать вывод, что Эсад-бей не был евреем, хотя бы на основании того факта, что до прихода большевиков к власти евреям на Кавказе было абсолютно запрещено владеть любой собственностью, имевшей отношение к нефти, притом как частным лицам, так и в составе компаний; и на Кавказе, и в Белоруссии не было евреев среди родовой знати; дети евреев в принципе не допускались в императорскую гимназию в Баку, да к тому же евреям вообще воспрещалось поселяться в черте города. В Антропологическом институте в Нью-Йорке он зафиксирован как «Лео Мохаммед Эсад-бей, сын Ибрагима Арслан-оглу, родился в Баку 20 октября 1905 года, религия: магометанская». А в примечаниях

относительно его расовой принадлежности сказано: «У него 50 % русской крови, 24 % тюркской, еще 24 % иранской».

Это эссе стало своего рода памятником — отчасти надгробным панегириком, отчасти признанием литературных достижений, отчасти же апологией расизма. В 1941 году, когда Лев еще был жив, в итальянских рецензиях на его книги о Сталине и об ОГПУ автора называли не иначе как «писатель-еврей», и это могло означать для него скорую смерть. После 1942 года, уже после кончины писателя, когда Джамиль взялся за перевод романов Курбана Саида и даже попытался создать Фонд Эсад-бея «в пользу детей беженцев», для его целей было крайне важно восстановить истинно арийский статус своего друга. Он же придумал невероятно подробную историю, согласно которой одна из сестер Слуцких, которых Джамиль описал как богатых русских княжон, вышла замуж за некоего «господина Нессим-баума», ставшего в результате «дядей Нессимом» для Эсад-бея.

Разыскать сведения об этом алжирце, наделенном столь многочисленными талантами, стало у меня прямо-таки навязчивой идеей. Некий жизнерадостный специалист по Востоку, профессор Кастро, работавший в одном из исследовательских институтов в Риме, сообщил мне, что припоминает кое-какие слухи, касавшиеся доктора Джамиля, — в частности, что ему не следует доверять или же отдавать в его распоряжение сколько-нибудь ценные материалы. Профессор Кастро точно помнил, что у доктора Джамиля была дурная репутация, однако все те, кто наверняка знал, на чем она была основана, уже ушли на тот свет. Кастро посоветовал мне обратиться к Анне Бальдинетти. Она была крупнейшим специалистом по итальянским колониальным архивам в Ливии, часто ездила в архивные учреждения Северной Африки и потому, весьма вероятно, могла бы как-то помочь мне. Синьора Бальдинетти действительно вспомнила кое-что важное: одна из тысяч и тысяч страниц, прошедших через ее руки, имела отношение к агитации среди студентов в Северной Африке в годы фашизма, а это — одна из тем, которые представляли для нее специальный интерес. Она смутно помнила, что в этом документе упоминалось имя, похожее на нужное мне, — Джамиль Мадзара. Она пообещала, что попытается найти эту бумагу, и через несколько дней из чрева моего телефаксного аппарата вылезла памятная записка генерального директора политического управления в представительском отделе итальянских владений в Африке. В этом документе, который датирован мартом 1938 года, значилось, что «некий Джамиль-ибн Юсуф Мадзара, гражданин

Италии, принявший ислам, в действительности был уроженцем Триполи по имени Белло Вакка. Он, в прошлом офицер-резервист итальянской армии, проживал в Каире со второй половины прошлого года до февраля текущего года, и египетское правительство сочло его нежелательным элементом по причине участия в контрабанде наркотиков, а также в связи с тем, что у него были найдены взрывчатые вещества и пропагандистские материалы; в результате он был выслан из страны».

Этот отчет завершался выводом, что Белло Вакка выдавал себя за защитника прав ливийских мусульман, однако в действительности оказался замешанным в различные интриги и махинации, преследовавшие его собственные цели.

Все это, пожалуй, способно объяснить, почему Джамиль в дневниковых записях Льва предстает не ревностным приверженцем ислама, а странной фигурой, появление которой в тексте обязательно сопровождается жутковатыми наплывами, будто вызванными опиумными видениями:

> Джамиль остался со мной. Он довольно улыбнулся. Я протягиваю ему свою руку. «Гашиш, Джамиль, дай мне гашиш»… Вздохнув, он подает мне упаковку…
>
> Я лежал навзничь в тени на террасе. Боль в ноге медленно стихала. Я тупо уставился в пространство, следя, как боль движется промеж звезд. На ней красный бархатный китель, в руках у нее прямая шпага. Она невелика ростом, на ней широкополая шляпа с пером. Лишь я один вижу ее, и лишь я ее чувствую. Крошечные зерна гашиша оказывают сильное действие. Они прогоняют этого карлика в красном кителе. Терраса пуста. Где-то позади я слышу, как Джамиль что-то шепчет мне, но я уже не в силах понимать его.
>
> У меня перед глазами небо и гладкая, недвижная поверхность воды. Медленно, очень медленно вода поднимается из моря. Она закрывает собой все небо. Передо мной теперь все залито сероватой голубизной. Цвет этот заполняет все: террасу, море, небо, даже меня самого. В мире ничто больше не существует — лишь один этот цвет. Нет ни пустынь, ни университетов, ни книг, ни боли, ни царствующих особ. Сероватая голубизна движется, как будто ее гонит чья-то невидимая рука. Скоро, очень скоро она захватит и меня. Я совершенно спокоен, ведь эти крошечные зернышки гашиша никогда не подводили меня.

Весна 1942 года — последний всплеск надежды. Пима

написала письмо на имя самого дуче, Лев начал получать кое-какие из своих гонораров, и кордон, возникший было вокруг него, вроде бы несколько ослабел. Лев получил назад свой радиоприемник, он сумел пристроить в печати несколько статей фашистской направленности. Пима связала Льва со своим другом, «герром Эзрой» — Эзрой Паундом, у которого имелось множество связей на итальянском радио[162]. В письме Пиме от декабря 1941 года, где он рассказывает о том, как Эзра Паунд пытался получить для него место работы на радио, Лев, по-видимому, пребывает в замешательстве: «Кто, бога ради, этот самый “герр Эзра”? Мне страшно нужна сейчас работа, но Эзра — это же библейский пророк. В Библии есть “Книга Эзры”. Я ведь знаю Библию на трех языках». Лев понимал, что плохо воспринимает окружающую действительность, поэтому написал Пиме: «Не пугайтесь, однако, как ни жаль мне об этом говорить, я хотел бы совершенно официально заявить, что я совершенно потерял разум».

Осень и зима 1941 года были для него особенно трудными. Его коллега-ориенталист, по имени Армии Вегнер, эмигрант из Германии, живший в Позитано и бывший, вообще говоря, конкурентом Льва, человек, настроенный к нему не слишком дружелюбно, так описывал его в своем дневнике того времени: «Костлявый призрак, который еле ковыляет по своей комнате». И добавляет: «У его няньки лицо подобно карикатуре Домье: глупое, злое, по-крестьянски хитрое, жадное; она вечно что-то жадно жует». Тон этой дневниковой записи недоброжелательный, однако характеристика покойного коллеги вполне проницательна: «Ужасающая, неправдоподобная сказка о молодом, несчастном еврее, отступившем от веры отцов!» Узнав о том, что Джамиль поставил «для Мусульманина» необычный намогильный камень, Вегнер язвительно отметил в дневнике, что Лев «до самого конца продолжал ломать комедию».

Если бы Эзре Паунду была известна истинная причина этой «комедии» (то, что Мусульманин в действительности был евреем), он бы, наверное, не пытался ему помочь. Однако его попытки увенчались успехом. В июне 1942 года Эсад-бея пригласили записать пропагандистские программы на фарси для передач фашистской Колониальной радиослужбы. Его должны были привезти в Рим 1 сентября. Вот почему через неделю после его смерти в Позитано появился длинный черный седан и люди в шляпах. Они приехали забрать его не в концлагерь, а в студию звукозаписи.

«Оглядываясь назад, на мою жизнь, важно осознавать, что Судьба относилась ко мне благосклонно. Дважды она протягивала

мне свою руку, чтобы спасти меня, и дважды я эту руку отталкивал, поскольку моей судьбой была Моника». В своей странной, сумбурной рукописи Лев называл свою жену «Моника», а себя «Али», и чем больше я читал и перечитывал его навязчивое, одержимое, надолго западающее в память повествование, тем яснее мне становилось, почему Лев так и не смог освободиться от влияния бывшей жены. В одном из отступлений от темы своего повествования Лев представляет дело так, будто именно Эрика отказалась от поездки в Америку, когда они еще могли уехать из Европы. В действительности все было наоборот: у Льва было немало сомнений о целесообразности переезда в США, и, по-видимому, именно это ускорило их разрыв. В то же время тот, ради кого Эрика оставила Льва, Рене Фюлёп-Миллер, написал книгу о Голливуде и в Америку стремился попасть всеми правдами и неправдами. В письмах Льва к Пиме есть кое-какие намеки на то, что происходило на самом деле.

Лев писал Пиме о своих приключениях в Азин и в Веймарской республике, в Чикаго и в Калькутте, писал про Эрику и про Ататюрка — про любовь и политику, про войну, издательские проблемы, про кинофильмы и деньги. Он щедро услаждал ее своими историями, словно был Шехерезадой, от которой зависела самая его жизнь — да так оно на самом деле и было. Однако он не осмелился рассказать Пиме всю правду о себе: ведь даже если бы она, приближенная к высшим фашистским кругам, вошла в его положение, этого не следовало ожидать от цензора, читавшего их переписку; из-за этого они зачастую шутливо шифровали истинный смысл написанного.

Центральной темой переписки была судьба Льва: сможет ли он вообще выжить, чтобы продолжать эту переписку, однако даже это они шифровали. Лев, например, выражал интерес к судьбе «нашего общего друга Курбана Саида» (в письме от 21 ноября 1940 года):

> Я потому и написал разным его друзьям… Письма и телеграммы в сумме (а посылать телеграммы разрешается) стоили, вероятно, кучу денег, однако теперь я могу хотя бы сообщить вам более конкретные сведения о Саиде. Произошло вот что: на нашего друга донесла собственная жена! Что ж, бывает и такое. В этом доносе не было ничего такого, о чем власти и без того не знали бы: Саид, как бы он ни старался, оказался не способен представить свидетельства о рождении своих бабок и дедов. Они ведь родились восемьдесят-сто лет назад, а у него на родине, в этой далекой, дикой стране,

свидетельства о рождении стали выдавать лишь пятьдесят лет назад. Очевидно, у него в принципе не могло быть документов, которые вообще не существовали. Официальным лицам все также было известно, и потому они не стали обращать на это особого внимания, не настаивали на представлении документов. Но теперь появилось открытое обвинение в заявлении его жены, подписанное ею, с указанием даты и места.

Подозрение в том, что Эрика разоблачила его, доказав, что он на самом деле еврей, было скорее психологически верным, нежели реальным. В своих письмах Лев поведал историю некоего мистера Перси, прожженного сыщика и адвоката, нанятого его бывшей женой, который якобы рыскал по всей фашистской Европе, чтобы найти и разоблачить его, угрожая самому его существованию. Всякий раз, когда у Льва начиналась полоса отчаяния, он вспоминал про этого сыщика, шедшего по его следам. «Перси? Ну да, вечно я о нем забываю, — вдруг написал он 15 января 1942 года. — Конечно, он способен навредить мне — он для того и появился! Но доказать, что я еврей, — это уж слишком! Я могу легко доказать обратное».

Катастрофу своего супружества Лев соединил со своей «расовой несостоятельностью»: весной 1935 года его настигли два сокрушительных известия, исковеркавших его жизнь. Германский союз писателей запретил публикацию его произведений в Германии, а Эрика ему изменила. Сила обличений Эрики в органах печати была в том, что Лев никакой не мусульманин и не аристократ, что он отнюдь не великий любовник-соблазнитель, каким любил представляться.

В конце концов и Лев, и его отец оказались в западне. В дневниках Льва частично отражены его попытки понять, как получилось, что судьба привела его в Позитано. Он раздумывал о том, какой «шанс» был у него остаться в Америке: ему предлагал это и тесть-миллионер, и Вирэк, и чикагский Институт восточных культур:

> Одна мысль мучает меня: почему же я не принял тогда этого приглашения, с какой стати?.. Не знаю. Просто не понимаю, и все тут. Словно невидимая сила околдовала меня тогда. Словно я не верил, что возможны лучшие условия жизни или лучшая работа. Совершенно непостижимый ужас посещал меня, стоило мне лишь представить себе, что я навсегда уеду в Америку. Этому не было рационального объяснения, это иррациональное чувство привело меня на край обрыва, заставило

пережить несколько мгновений, те самые, когда человек принимает для себя решение, которое определяет всю его жизнь в дальнейшем. Это была судьба.

В 1934 или 1935 году Лев еще мог выбрать любой путь. Ведь он тогда был известным во всем мире писателем, у него были высокопоставленные друзья. Все было возможно — даже признать себя побежденным и уехать в Америку, чтобы «остепениться, посвятив себя рутинной литературной работе и подать заявление на получение американского гражданства». Однако Лев не был очередным беженцем, писателем-евреем. Он был Эсад-беем. Лев в конечном счете не обвинял бывшую жену в своих бедах — равно как не мог и перестать вспоминать о ней. Он знал, что истоки его несчастий лежали куда глубже.

В одном куске текста, никак не связанном с остальным, Лев написал следующее: «Автор этой книги мертв. Он стал жертвой авиакатастрофы, произошедшей, когда он пожелал пересечь узкую расселину, что отделяет Южную Европу от Азии». Написав это, он, однако, тут же этот текст зачеркнул.

Когда я встретился в Вене с фрау Мёгле, она сообщила мне, что после отъезда Льва из Австрии несколько раз навещала Абрама Нусимбаума и даже пыталась помогать ему.

— Этот старик Нусимбаум, отец Эсада, когда он меня увидел, то сказал, что я нацистка: у меня, знаете ли, тогда были белокурые волосы, совсем светлые, с платиновым оттенком, но тут Камилла, моя секретарша, сказала ему: «Что вы! Она же пришла вам помочь!» Только старик Нусимбаум все равно меня боялся.

Она рассказала, что Абрам поведал ей, как он давал деньги Сталину в начале его революционной карьеры — он откупался от него, делясь частью своих миллионов. Еще она рассказала, что Абрам всегда был хорошо одет — до самого конца, когда за ним, наконец, пришли…

— Камилла пошла наверх, в его квартиру, чтобы повидать его (я осталась внизу, в машине), но тут же вернулась и сказала, что Нусимбаума увезли в какое-то Модлибожице[163], да только где это такое? Откуда мне было знать, что там за место?

Согласно документам еврейской общины Вены, Абрама отправили в Польшу 5 марта 1941 года, и, по-видимому, он довольно скоро погиб в лагере уничтожения Треблинка.

— Мы даже ни одного письма от него не получили. Вообще ничего…

Фрау Мёгле сказала также, что Абрам умолял ее, пока был в Вене, съездить в Позитано и повидаться со Львом. Она показала

мне четыре различных паспорта — все явно настоящие, во всех указано, что она арийского происхождения: они требовались тогда, чтобы ездить по Европе.

— Тогда было очень трудно попасть в Позитано, ведь шла война, но я дала ему слово, и делать нечего — я отправилась туда.

Она провела у Льва две недели.

— Он даже не кричал, — сказала фрау Мёгле. — Он выл, как животное, именно выл — этот звук невозможно себе представить…

После того как она передала мне дневники Льва, я многие недели занимался их расшифровкой, пробиваясь сквозь исполненные боли строки. Чем дальше, тем более неразборчивым делался почерк Льва, тем плотнее были «упакованы» его истории. Я начал чувствовать себя в положении бестолкового рецензента «Двенадцати тайн Кавказа», который безуспешно пытался найти Хевсуретию на карте. Закат, угасание этого писателя, распад его личности были почти настолько же фантастическими, как и его восхождение к славе, и по ходу своей работы я вдруг понял, что было столь неотразимым в характере Льва: даже оказавшись заточенным в крошечной комнате, где он мог лишь наблюдать, как разлагается его собственное тело, Лев не сдался, он продолжал бороться, он начал создавать одну личность внутри другой, будто живые матрешки. В своей последней тетрадке Лев создал образ таинственного ученого-эрудита, чье имя предпочитает не сообщать читателю. Он описывает свои встречи и последующие дружеские отношения с этим молодым космополитом, доктором Икс, чьи следы по прошествии нескольких лет вдруг полностью исчезают:

> Его открытки перестали приходить на мой адрес, а ученые журналы больше не публиковали его новые работы. Он, казалось, потерялся; более того, он как будто исчез. Велико же было мое изумление, когда несколько месяцев назад я получил по почте толстый блокнот с текстом повествования, которое и следует дальше. У меня тут же возникло впечатление, что истинная причина всех этих крушений и напастей осталась тайной не только *для* меня, но также и *для* самого автора и что причину эту следовало бы искать где-то за пределами описываемых здесь событий.

И действительно, в том, что касается самого Льва, причина находилась за пределами повествования. Порой, если верить дневниковым записям, Лев вдруг начинал страшно переживать,

что от отца перестали приходить письма, однако ни разу не попытался понять, в чем дело. Его рукопись завершается письмом от доктора Икс, посланным из Мекки, где тот описывает новую жизнь в некоем арабском королевстве: там его принимают за того, кто он есть на самом деле, — ориенталиста; там его поселяют во дворце, специально созданном для интеллектуальных занятий; там он живет в полной гармонии и братской любви. Правда, в самой последней фразе Лев Нусимбаум облекается в свою самую сокровенную личину, которую носил в этом мире, где не нашлось читателей для самой потрясающей из его историй:

> По-моему, я ничего больше не смогу добавить к этим строкам.
>
> *Курбан Саид*

Избранная библиография Произведения Льва Нусимбаума

Публицистика

Большинство небеллетристических сочинений Льва Нусимбаума было впервые издано на немецком языке под псевдонимом Эсад-бей, который, согласно принятым в старой Османской империи правилам, указывался без личного имени. В поздние годы своей писательской карьеры он добавил к нему имя «Мохаммед». Его книги переведены на многие языки и изданы в различных странах мира. В США их в основном выпускало издательство «Викинг». В избранном списке произведений, приведенном ниже, книги приведены в хронологическом порядке на языке оригинала (с переводом названия на русский язык).

Öl und Blut im Orient («Нефть и кровь на Востоке»). Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1929.

Zwölf Geheimnisse im Kaukasus («Двенадцать тайн Кавказа»). Berlin: Deutsch-Schweizerische Verlags-Anstalt, 1930.

Der Kaukasus: Seine Berge, Völker und Geschichte («Кавказ: его горы, народы и история»). Berlin: Verlag Dt. Buch-Gemeinschaft, 1931.

Stalin («Сталин»). Berlin: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1931.

Das weisse Russland: Menschen ohne Heimat («Белая Россия: люди без родины»). Leipzig: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1932.

OGPU: Die Verschwörung gegen die Welt (ОГПУ: заговор против всего мира). Berlin: E.C. Etthofen Verlag, 1932.

Mohammed («Магомет»). Berlin: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1932.

Flüssiges Gold: ein Kampf um die Macht («Жидкое золото: борьба за власть»). Berlin: E.C. Etthofen-Verlag, 1933.

Russland am Scheideweg («Россия на перепутье»). Berlin: E.C. Etthofen-Verlag, 1933.

Nikolaus II: Glanz und Untergang des letzten Zaren («Николай II: блеск и крушение последнего царя»). Berlin: Holle & Co. Verlag, 1935.

Allah ist gross: Niedergang und Aufstieg der islamischen Welt («Аллах велик! Упадок и возрождение ислама»). Essad Bey, Wolfgang von Weisl, Wien: Verlag Dr. Rolf Passer. 1936.

Resa Shah: Feldherr, Kaiser, Reformator («Реза Шах: полководец, правитель, реформатор»). Wien: Verlag Dr. Rolf Passer. 1936.

Lenin («Ленин»). Italia: Garzanti, 1937.

Giustizia Rossa: I Processi Politici nell' U.R.S.S. («Красная юстиция: политические процессы в СССР»). Firenze: Sansoni, 1938.

Художественная проза

Проза Льва публиковалась под псевдонимом Курбан Саид и написана по-немецки. В настоящее время его книги переведены на семнадцать языков.

Kurban Said. Ali und Nino («Али и Нино»). Wien: E.P. Tal, 1937 (первое издание романа).

Kurban Said. Ali and Nino. New York: Random House, 1970. — Первый перевод романа на английский язык, выполненный через двадцать с лишним лет после того, как переводчица, Женя Грэймен (урожденная Альмут Гитгерман), обнаружила его экземпляр на книжном развале в Берлине.

Kurban Said. Ali i Nino. Баку: Литературный Азербайджан, 1994. — До 1991 года эта книга в СССР была запрещена. Во введении к турецкому изданию начала 1970-х годов утверждается, что Курбан Саид написал «Али и Нино» по-азербайджански, однако на самом деле роман был переведен на азербайджанский только в конце 1970-х годов для того, чтобы передавать его на Азербайджан по радиостанции «Голос Америки».

Kurban Said. Die Prinzesssin vom goldenen Horn («Принцесса из Золотого Рога»). Wien: Zinnen, 1938. — В дальнейшем книга издавалась под названием «Das Mädchen vom goldenen Horn» («Девушка из Золотого Рога»).

Kurban Said. The Girl from the Golden Horn. New York: 2001.Перевод Жени Грэймен.

Mohammed Essad Bey. Ali Khan («Али Хан»). Roma: Editoriale I.T.L.O., 1944. — Это итальянское издание «Али и Нино» вышло через два года после смерти Льва с весьма значительными изменениями в сравнении с оригинальным текстом и без указания псевдонима Курбан Саид.

Неопубликованное

Очень неполный список. Я собирал материалы в Азербайджане, Англии, Франции, Голландии, Италии, Швеции, Турции, США и других странах. Наиболее значительное — это предсмертные беллетризованные воспоминания Льва в шести

объемистых кожаных блокнотах, озаглавленные «Человек, который ничего не знал о любви», и переписка «Эсад-бея» с Пимой Андреэ, состоящая примерно из трехсот писем, написанных в Италии в 1939–1944 годах. Ниже перечисляются некоторые другие материалы.

Незаконченная, написанная по-немецки повесть о Нью-Йорке, обнаруженная вместе с перепиской с П. Андреэ в Рапалло (Италия).

Рукопись книги «Март в Риме», по-видимому запрещенная к публикации фашистскими властями.

Рукопись по истории Кавказа.

Сборник сказок, «восточных» притч, стихотворений, прочитанных Львом во время литературных вечеров с участием семей Пастернаков, Набоковых и других русских эмигрантов в Берлине в 1920-х годах. Его одноклассник Александр Браилов записал их по-русски, а пятьюдесятью годами позже совместно с Женей Грэймен перевел на английский и немецкий.

Переписка с сенатором Джованни Джентиле, самым влиятельным покровителем Льва в фашистских кругах и владельцем крупного издательства «Сансони» (находится в архиве «Сансони» во Флоренции).

«Последняя воля и литературное завещание Эсад-бея» (Цюрихская публичная библиотека).

Официальные документы

Подшивка издательства «Рэндом хаус» с рецензиями на роман «Али и Нино» (1970–1977).

Документы, касающиеся надзора за Львом со стороны итальянских властей, переписка официальных лиц по поводу его погребения в Позитано, ходатайства о нем, адресованные Муссолини (Архив Министерства внутренних дел Италии, Рим).

Переписка по поводу незаконной деятельности Льва и Джамиля Вакка-Мадзары (Архив истории дипломатии Министерства иностранных дел Италии, Рим; Архив истории дипломатии Министерства африканских территорий Италии, Рим).

Досье полиции и мэрии Позитано.

Пассажирские декларации Эсад-бея, Эрики Нусимбаум и Лёвендалей, заполненные по прибытии в США (Национальный исторический архив, Манхэттен).

Выражения признательности

Изучая историю жизни человека, умершего в 1942 году, я познакомился со многими замечательными людьми, жившими в первой половине прошлого столетия. К моему великому сожалению, многих уже нет в живых, ведь к моменту нашего знакомства им было глубоко за восемьдесят. Особенно я сожалею, что Мириам Ашурбекова из Баку и Зулейка Асадуллаева-Вебер, жившая в Баку, а затем в Виргинии, так и не узнали подробностей жизни и приключений Льва Нусимбаума, которого знали еще мальчишкой. Также безумно жаль, что не дожила до выхода книги о Льве Нусимбауме Женя Грэймен, урожденная Альмут Гиттерман, которая в юности танцевала в мюзиклах в нацистской Германии, а в 1950-х годах эмигрировала в Великобританию. Она прихватила с собой экземпляр романа «Али и Нино», найденный ею на книжном развале в Берлине и захвативший ее настолько, что она перевела его на английский язык, а затем посвятила несколько лет своей жизни его изданию. Когда я познакомился с Женей, она лежала в больнице и с трудом говорила после двух тяжелых инсультов, тем не менее на своем родном языке, немецком, она сумела рассказать мне очень много интересного.

Два человека скончались совершенно неожиданно за время моей работы над книгой. Первый — это Роберт Джонс, мой редактор в издательстве «Харпер Коллинз», заинтересованно и подолгу обсуждавший со мной будущую книгу. Моя благодарность ему безгранична. Второй — профессор Герхард Хёпп из Центра современного Востока в Берлине, пожалуй, единственный человек, который мог со знанием дела рассказать о деятельности Льва в Германии, ведь он интересовался положением мусульман в Третьем рейхе. За годы общения мы подружились и обменивались всяческими байками, а также полезной информацией за обильными прусскими обедами в забегаловках его родного города. Он всегда с огромным интересом спрашивал, когда же будет закончена моя книга, и мне ужасно жаль, что я писал слишком медленно, и он так и не дождался окончания работы.

Мне помогало огромное количество людей от Баку до Вены, и я хочу выразить всем огромную благодарность за гостеприимство, великодушие и приятную компанию. Особенно я хочу поблагодарить Алессандро Андреэ, Фуада Ахундова, Норму Браилов, баронессу Мирей фон Эренфельс-Абей, графиню Раймонду Гаэтани-Паттисон, Ноама Эрмона, Питера Мейера и Питера Вирэка. История написания книги началась с того, что

мой старый друг Амир Фарман-Фарма пригласил меня в гости в Баку и настоял на том, чтобы я привез с собой экземпляр старого романа «Али и Нино» некоего Курбана Саида.

В издательских вопросах мне очень помогал Даниэль Менакер. Также благодарю Тину Бенетт за ее внимание и энтузиазм, Ноаха Строте за помощь в изучении сотен документов, а Джона Гласси за его неоценимую поддержку.

Искренне благодарю Фабрицио Андреэ, Лени и Марио Аттанасио, Франци Баумфельд, Анну Бальдинетти, Дэна Бора, Джин Бовер, Мартина Эрнста Буийса, Рича Конати, Ромоло Эрколино, Джорджо Фабре, Дэвида Фэйрмэна, Николетту Флатов-Рисполи, Леона Фридмана, Ингрид Фюлёп-Мнллер, Дебору Гэррисон, Клару Гловжевску, Басю Грохольску, Мюррея Холла, Стефани Хиггс, Терезу Киршнер-Мёгле, Рейнхарда Клинглера, Феликса Коха, Вальтера Лёвендаля-младшего, Дэвида Мэбботта, Ричарда Мёрфи, Эртогрула Османа, Питера Рииса, Дэвида Ремника, Стивена Сандерса, графа Франко Серсале, Дэвида Шина, капитана Брайана Шеппарда, Джона Спалека, Мелани Тернстром, Дэниэла Тисена, Адама Уотсона, Дороти Викенден и Дженет Вигал.

Благодарю также своих родных, а особенно мою жену Джулию за ее безграничное терпение и ценные советы во время работы над книгой, а также Люси и Диану за то, с каким нетерпением они ждали окончания моей работы.

Фотоматериалы

Ниже перечислены лица и организации, любезно предоставившие фотографии для данной книги.

Мириам Ашурбекова (Рождество в Баку).

Норма Браилов (Лев и его берлинские товарищи).

Издательство «Саймон & Шустер» (обложка книги «Нефть и кровь на Востоке»).

Архив эмиграции Немецкой библиотеки во Франкфурте (Эрика Лёвендаль).

Франци Баумфельд («Венская компания»).

«Нью-Йорк таймс компани» (Лев в кавказском костюме из «Нью-Йорк геральд трибьюн»).

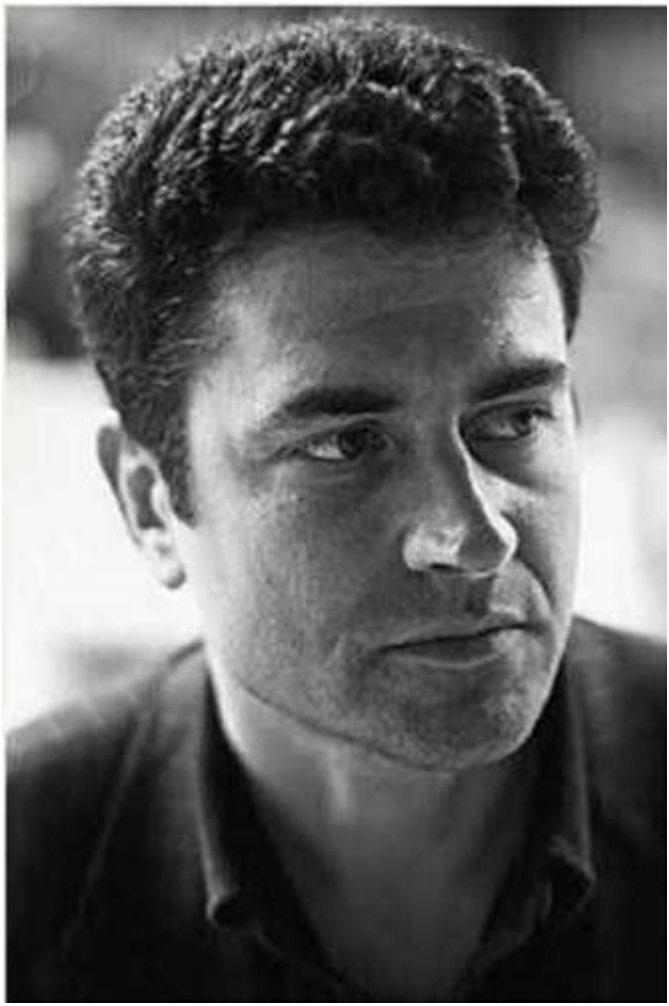
«Херст корпорейшн» (страница газеты «Санди миррор мэгэзин»). «Ассошиэйтед пресс» (Лев и Эрика в ночном клубе из «Нью-Йорк дейли ньюс»).

Баронесса Мирей фон Эренфельс-Абей (остальные фотографии в тексте книги).

Фотография надгробия Льва Нусимбаума сделана автором, Томом Риисом.

Об авторе

Том Риис (Tom Reiss) — американский писатель и журналист. Печатается в изданиях The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker. Автор биографии генерала наполеоновской армии Томаса-Александра Дюма, отца известного писателя: «The Black Count: Glory, Revolution, Betrayal, and the Real Count of Monte Cristo» NY: Crown, 2012. Живет в Нью-Йорке.



Приложение

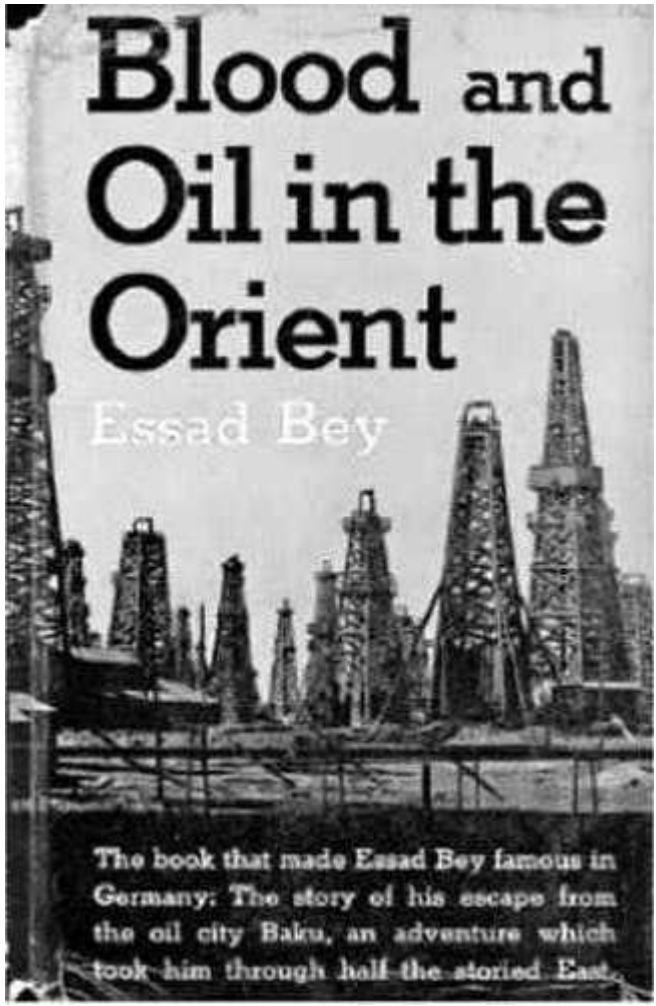
Лев Нусимбаум в возрасте шести лет в папахе

Рождество в Баку (1913 год). Лев — третий слева во втором ряду, в белом платке

Подросток Лев в купальном костюме. Фотография, скорее всего, сделана в санатории на островах

Лев с сестрами Вороновыми, Тосей Пешковским и младенцем, предположительно будущим режиссером Майком Николсом

Фотография, сделанная в берлинском универмаге Kadewe приблизительно в 1923 году. На карточке написано рукой Алекса Браилова, одноклассника Льва, «Асад Бей» и «Курбан Саид»



Обложка первого американского издания

Лев в окружении приятелей по русской гимназии в Шарлоттенбурге, около 1922 года

Класс Льва в русской гимназии в Шарлоттенбурге (1922)

Лев Нусимбаум — молодой писатель

Джорджи — заклятый враг Льва в школьные годы

Эрика, дочь миллионера и поэтесса времен «века джаза»

Лев в восточном наряде

Венская богема (слева направо):

Бинкс и Джей Дрэтлер, Эрика, девушка по имен Франци и неизвестная пара

Фотография из «Нью-Йорк геральд трибьюн». При публикации была сопровождена подписью «Эсад-бей не любит неприятности, но готов к любому повороту событий»

Mohammed Essad Bey and his wife Erika, dining in New York night club before the present unpleasantness.

APRÈS LA SCÈNE DE LA SÉDUCTION,
CELLE DE L'ENLÈVEMENT

Scandale mondain en Autriche

Toute la société viennoise se passionne pour un procès sensationnel dont un biographe de Mussolini tient la vedette

Qui a raison, de la femme ou du mari ?

Hans Kelbe, Friedl Roy (à droite) et son [illegible] principal, Erich Rossolini

Harem? Yes--But Scare 'Em? No!

The Broad-Minded Paxinos Didn't Object to Her Mohammedan Husband's Having Multiple Wives—But When He Insisted on Reading Her His Horror-Stories, She Fled to America—and a Divorce

Статьи из таблоидов конца 1930-х годов, посвященные бракоразводному процессу Эсада и Эрики

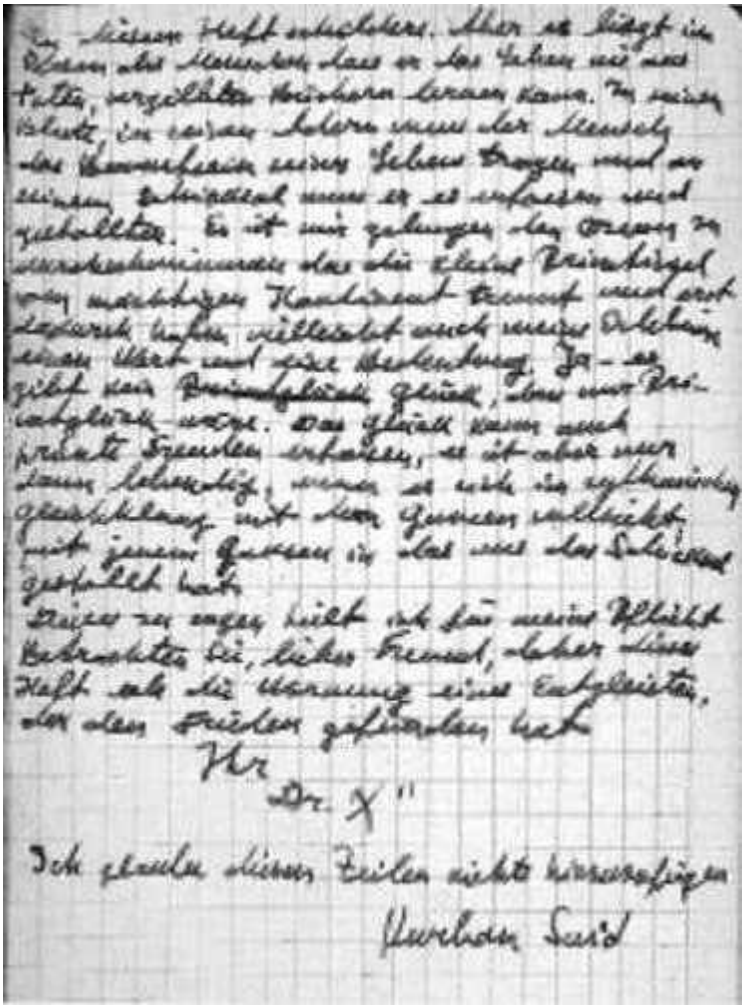
Барон Умар-Рольф фон Эренфельс

Баронесса Эльфрида фон Эренфельс, на чье имя зарегистрирован псевдоним Курбан Саид в «Германском полном каталоге изданий за 1935–1939 годы»

Барон Умар-Рольф Эренфельс в пижаме. Кадр из любительского фильма 1920-х, посвященного отъезду барона на Восток в поисках себя

Лев в последний год своей жизни — почти старик в свои тридцать пять лет. Вместе с авантюристом Джамилем Вакка-Мадзара, «защитником прав ливийских мусульман», промышлявшим контрабандой оружия и наркотиков

Надгробие на могиле Льва Нусимбаума в Позитано



Последняя страница рукописи, над которой Лев работал перед самой смертью, подписанная «Курбан Саид»

notes

Примечания

1

Имеется в виду Юсиф Везир Чеменземинли (1887–1943) — писатель, публицист, драматург, историк, фольклорист и политический деятель. Был послом Азербайджанской демократической республики в Турции, затем жил в эмиграции в Париже. В 1926 году вернулся на родину, в 1940 году был арестован, погиб в лагере. — *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. пер.*

2

Хайнц Баразон (1914–2002) — урожденный Хайнрих Кон, известный австрийский юрист.

3

Речь идет о фильме режиссера Кэрола Рида, получившем в 1949 году Гран-при Каннского кинофестиваля за режиссуру, а в 1950 году — «Оскара» за работу кинооператора. Действие фильма происходит в послевоенной Вене.

4

Умар-Рольф фон Эренфельс (1901–1980) — основатель Восточного общества, объединявшего в Австрии студентов из стран Азин и Африки. В 1927 году принял ислам, после аншлюса в 1938 году уехал в Индию и 26 лет преподавал в Мадрасском университете.

5

Эрик Сигал (1937–2010) — известный американский писатель и сценарист. Автор повести «История любви» и сценария одноименного фильма, сценария анимационного фильма «Желтая подводная лодка».

6

Здесь и далее роман цитируется по изданию: Курбан Саид. Али и Нино. Перевод Мирзы Гусейнзаде. М.: Ad Marginem, 2008.

Различные источники дают разные варианты фамилии этого человека — Нусенбаум, Нуссимбаум, Нусбаум.

8

Сара Балабек кызы Ашурбейли (1906–2001) — видный советский историк, художница.

9

«Маленький лорд Фаунтлерой» — популярный роман английской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнет (1849–1924), вышедший в 1886 году, определил моду на одежду мальчиков на несколько десятилетий.

10

Ваххабизм как течение ислама оформился в XVIII веке, его сторонники именовали себя салафитами, тогда как «ваххабитами» — по имени Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703–1792), идейного руководителя этого течения, — их называли оппоненты. Аль-Ваххаб считал чистым только ислам в первых трех поколениях последователей Магомета, а все привнесенное в него позже называл ересью. В наши дни термин «ваххабизм» обычно неверно используется как синоним современного исламского терроризма.

11

В своей авторитетной книге «Ориентализм» покойный американский историк и культуролог Эдвард Саид всячески старался свести к минимуму вклад, внесенный учеными-евреями в изучение ислама на протяжении XIX-XX веков. Скорее всего, потому, что это усложнило бы его аргументацию против сионизма и империализма: ведь, как правило, первые евреи-ориенталисты говорили об исламе либо в нейтральном, академическом тоне, либо же высказывались о нем восторженно, считая ислам великой религией, а мусульманский мир — образцом благородного состояния духа, но никак не ересью и не верованием «низшего порядка», а именно так относились тогда к исламу очень многие ученые-христиане. — *Прим. авт.*

12

Гарри Гудини — сценическое имя Эриха Вайса (1884–1926), знаменитого американского иллюзиониста, мага и гипнотизера.

13

Паулине Мария (Пима) Андреэ (1873–1953) была замужем за франкфуртским банкиром и немецким консулом в Генуе. Их вилла на берегу Лигурийского моря многие годы была центром тогдашней светской и интеллектуальной жизни.

14

Уже после издания этой книги азербайджанский исследователь Рафик Сафаров обнаружил Льва Нусимбаума в списках учебных заведений Баку.

15

Значение событий, произошедших в день его рождения, преследовало Льва на протяжении всей его жизни, однако он на самом деле не знал точно, в какой день родился. Порой он утверждал, что родился 20 октября, но иногда указывал также и конец октября и даже начало ноября; его отец говорил ему, что он родился в октябре, однако в какой день, он и сам точно не знал. Ко всей этой неразберихе добавляется еще замена принятого в России в то время юлианского календаря григорианским. Таким образом, Лев мог родиться и в октябре, и в ноябре… Неудивительно, что однажды, будучи в Нью-Йорке, он, по его словам, отмечал свой день рождения целую неделю. — *Прим. авт.*

16

Согласно сообщению главы азербайджанской общины Берлина Хилала Мюнши, отец Льва был киевским евреем, который переехал в Азербайджан после еврейских погромов в Киеве. По другим сведениям, в 1904 году Абрам Нусимбаум жил в Тифлисе и там женился. Кровавые события в Закавказье 1905–1906 годов в связи с армяно-азербайджанской резней могли подтолкнуть семью к переезду в Киев. Из статьи Х. Мюнши следует, что Лев Нусимбаум родился 20 октября 1905 года в Киеве. Из Киева в Баку семья Нусимбаумов могла переехать не ранее 1906 года, после прекращения резни.

То есть евреев, происходивших из Центральной Европы.

18

Россия, Австрия и Пруссия в 1790-х годах, после того как поляки, вдохновившись революционными идеями, пришедшими из Франции, свергли своего монарха и приняли конституцию, расчленили страну. Это расчленение заставляет вспомнить пакт Молотова-Риббентропа. — *Прим. авт.*

19

Согласно переписи 1897 года, в Российской империи насчитывалось 2 204 596 старообрядцев.

20

Общество израильских христиан было призвано оказывать поддержку крестившимся евреям, которых, как говорилось в указе, их бывшие единоверцы после крещения не только лишали всякой помощи, но и подвергали «гонениям и угнетению всякого рода».

21

Люди Писания в исламе — немусульмане, строящие свою жизнь согласно божественному откровению, изложенному в священных книгах. Их не считают язычниками, и их нельзя преследовать за их веру.

22

На нефти разбогател не Осип, а его сын Григорий Бененсон. Осип (Иосиф) Бененсон был крупным лесопромышленником в Северо-Западном крае России.

23

Этот журнал издавался в 1920-1930-х годах, удовлетворяя интерес общества к новостям из стран Востока, который в то время был весьма значительным. С журналом сотрудничали лучшие авторы тех лет, например Джон Дос Пассос, писавший о палестинской проблеме как раз накануне декларации лорда Бальфура. Однако в основном журнал давал возможность услышать голоса таких людей, как эта армянская девушка, хотя в нем печатали свои статьи и британские послы, и индийские революционеры, и сибирские промышленники. И хотя журнал внушал читателям романтические представления о Востоке, он одновременно давал ученым-ориенталистам возможность читать тщательно аргументированные статьи о прегрешениях западного империализма и находить практические решения. — *Прим. авт.*

По словам другого очевидца, поводом к резне послужило убийство армянином состоятельного татарина и желание единоверцев убитого отомстить за него. По иной версии, армяно-татарская резня была развязана нефтепромышленниками Дадаевым и Тагиевым. Мартовские события в Баку стали одним из наиболее кровавых эпизодов российской революции.

25

Сталин приказал уничтожить многие документы, касавшиеся ранних лет его жизни. Согласно ряду источников, это произошло потому, что свою революционную деятельность он начинал в качестве осведомителя охранки, тайной полиции царского режима. Предположительно, прозвище «Коба» он взял себе в честь героя любимой повести Александра Казбеги «Отцеубийство» — истории любви и мести на Кавказе в 1840-х годах. Герой романа был своего рода Робин Гудом, однако не знавшим пощады, жестоким; он также сражался с русскими оккупантами. Затронутые в повести темы — романтические традиции грузинского рыцарства, законы Кавказских гор — были, в общем и целом, близки и Льву. И пусть между Эсад-беем и Сталиным лежит огромная пропасть, однако оба они подпали под обаяние романтических представлений, согласно которым этот регион являлся горным бастионом, где бунтари и рыцари защищались от осаждавшего их враждебного окружающего мира. — *Прим. авт.*

26

Согласно переписи 1857–1859 годов, в крепостной зависимости находилось около трети населения Российской империи (23,1 из 62,5 млн человек).

27

Полина Венгерова. Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев России в XIX веке / Перевод с немецкого Э. Венгеровой. М.: Мосты культуры / Иерусалим: Gesharim, 2003. С. 242.

28

Происхождение Ленина скрывалось в советское время, и советские историки приложили немало усилий, чтобы создать впечатление, будто он был потомком крепостных крестьян. На самом же деле Владимир Ильич Ульянов еще во время своего ареста в 1900 году записал себя помещиком, а как отмечал Лев Нусимбаум в своей биографии Ленина, вышедшей в свет в 1938 году: «Его манера произносить слова отличалась легким грассированием, то есть классической манерой речи русских аристократов». Дед Ленина со стороны матери был врачом, из евреев-выкрестов, причем у него имелись крепостные. После смерти Ленина его сестра написала письмо на имя Сталина, изложив в нем свою родословную и упомянув о еврейских предках: она настаивала на том, чтобы это стало широко известно, желая таким образом выступить против возникших антисемитских тенденций. Однако эти сведения были сокрыты до самого падения коммунизма. Кстати, прадед Ленина со стороны отца действительно был крепостным. — *Прим. авт.*

29

Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф в 1968 году основали леворадикальную террористическую организацию «Фракция Красной Армии», действовавшую в ФРГ и Западном Берлине. Ее участники совершили десятки убийств, налеты на банки, взрывы в военных и гражданских учреждениях, покушения на высокопоставленных лиц. «Красные бригады» — подпольная леворадикальная организация, действовавшая в Италии в 1970-1980-х годах.

30

Автор, по-видимому, имеет в виду Охранное отделение («охранку»). Этот местный орган Департамента полиции в России ведал политическим сыском.

31

Когда погиб Александр II, Николаю было 13 лет.

32

В биографии Сталина, написанной Львом, рассказывается, как будущий лидер Советского Союза в молодости, едва встав у себя на Кавказе на революционный путь, вскоре стал «специалистом» по части не только вымогательства, но и шантажа потенциальных жертв по этническому принципу. Он посылал какого-нибудь своего «представителя», например, к армянам, притом в таком районе, где уже бушевали антиармянские выступления, и обещал членам этой семьи свою защиту — за соответствующую мзду, разумеется. Его представители предлагали такой семье отныне делать регулярные «добровольные взносы» на благо мировой революции, а если какой-нибудь лавочник не откликался на этот призыв и не вносил требуемую сумму, тогда… но, впрочем, никто из них не желал связываться с Кобой Джугашвили. В своих воспоминаниях Алиса Шульте отмечала, что и отец Льва также платил регулярный взнос, чтобы обеспечить безопасность своей семьи, — это, впрочем, делали и все остальные. — *Прим. авт.*

33

Гипотезу о том, что какая-то часть крестоносцев вполне могла попасть на Кавказ и поселиться там, еще в середине XIX века высказал русский этнограф А. Зиссерман. Однако хевсуров упоминали греческие, римские и грузинские источники задолго до эпохи Крестовых походов.

34

В последующие полтораста лет наследие субботников проявлялось в самых удивительных формах. Так, в юридических документах вишистской Франции можно найти судебные документы, свидетельствующие о том, что белоэмигранты-субботники отчаянно пытались доказать в судебном порядке, что они — наследники уникальной религиозной традиции, тогда как французские органы, надзиравшие за расовыми вопросами, классифицировали их как евреев, подвергали конфискации их собственность и подготавливали их депортацию в Освенцим. — *Прим. авт.*

35

Кавказские фантазии Льва в отношении горских евреев тем не менее подкрепляются куда более трезвыми и уравновешенными сообщениями других свидетелей, касающимися не только хазар. В своей книге «Изгнанные и искупленные» Ицхак Бен-Цви, некогда президент Израиля, писал: «Обращение хазар в иудаизм отнюдь не было каким-то отдельным или даже необычным случаем, поскольку иудаизм исповедовали тогда многие из кавказских племен, в частности и грузины, и армяне». — *Прим. авт.*

36

Столыпин, можно сказать, стал жертвой собственных успехов: в 1911 году его вероломно убили террористы-нигилисты, желавшие доказать, что в России невозможно проводить буржуазные реформы. — *Прим. авт.*

37

Выборы в Учредительное собрание были назначены на 12 ноября 1917 года. Несмотря на все усилия большевиков, они набрали всего 22,9 % (175 человек из 706 избранных членов Учредительного собрания).

38

На самом деле этот архитектор, Юзеф Плошко (1867–1931), жил в Баку с 1897 года.

39

Зелиг — герой одноименного фильма Вуди Аллена (1983), человек-хамелеон, умеющий перевоплощаться в тех, с кем имеет дело.

40

Ныне город называется Туркменбаши, он находится в Туркмении, независимом государстве, возникшем после распада СССР. — *Прим. авт.*

41

В книге «Нефть и кровь на Востоке» Лев немало места уделяет якобы имевшимся у его отца родственным связям в Туркестане и в Персии, причем утверждает, будто корни его семьи были в Самарканде, но это очевидная неправда, поскольку Абрам Нусимбаум на самом деле родом из Тифлиса. По-видимому, это входило в жизненную стратегию Льва — перемещать истоки своего рода все дальше и дальше на Восток, в сердцевину исламского мира, в пустыню. Правда, нельзя исключить, что у Абрама и в самом деле были какие-то родственники в Самарканде — евреи из России, которые, так же, как он сам, смогли выбраться из пределов черты оседлости и обосноваться в Средней Азии. — *Прим. авт.*

42

Последний раунд Большой игры между Великобританией и Россией — этой долговременной борьбы за контроль над Средней Азией и торговыми путями на Дальний Восток — развернулся как раз в Туркестане. Завершая «умиротворение» Кавказа в 1850-1860-х годах, Россия обратила свое внимание на восточный берег Каспия, на мусульманские ханства Коканда, Бухары и Хивы. Эти феодальные государства, расположенные между Индией, которую контролировали британцы, Афганистаном и Персией, представляли собой в стратегическом отношении идеальную площадку. — *Прим. авт.*

43

В некоторых источниках говорится, что комиссарам отрубили головы или что их закололи штыками. Нет разногласий в одном: казнили их хладнокровно, без малейших колебаний. — *Прим. авт.*

44

«Испанка», или испанский грипп, — самая массовая пандемия гриппа за историю человечества. Началась в 1918 году в Испании и прокатилась по всему миру, унеся, по разным подсчетам, от 50 до 100 млн человеческих жизней.

45

Эта страна получила современное название — Иран — только в 1935 году, причем изменение названия произошло под влиянием нацистской пропаганды. Даже в наши дни многие иранцы с гордостью расскажут вам, что они по крови гораздо ближе немцам, нежели своим соседям — народам семитского происхождения. Слово «Иран» означает «арийская страна», и это представление поддерживал сам Реза-шах Пехлеви, в то время диктатор страны и основатель династии, которая прервалась после того, как аятолла Хомейни в 1978 году сверг его сына с престола. — *Прим. авт.*

1,8 и 6 м соответственно.

47

Каджары (или, как их называли в России, принцы Персидские) — тюркская династия, правившая Ираном с 1795 по 1925 год.

То есть Омара Хайяма. «Хайям» означает «палаточный мастер»: отец Омара шил палатки.

49

Более того, если до 1980-х годов в Иране практически не было антисемитизма, антибахаизм там процветал. А многие муллы современного Ирана, по-видимому, считают, что иудаизм и бахаизм выступают заодно: ведь ученики аятоллы Хомейни неустанно твердили о существовании «сионистско-бахаистско-американских заговоров». — *Прим. авт.*

50

Хотя «Иран» («страна арийцев») как название страны появилось в международном контексте только в 1935 году, однако на местном уровне оно использовалось еще с III века.

51

«Железный комитет» — организация в Персии, подготовившая свержение Ахмад-шаха в 1921 году. Создан в Исфахане при непосредственном участии Сеид Зия уд-Дина, который стал после переворота главой крайне реакционного правительства, просуществовавшего всего три месяца.

52

Возможно, речь о Фатали-хан-Хойском, известном юристе, депутате Государственной думы Российской империи, первом председателе Совета министров Азербайджанской Демократической Республики в 1918–1919 годах. Правда, судя по упоминаемым выше событиям в Иране, наши герои возвращаются домой в первой половине 1920 года, а Хойский с декабря 1919 года по 1 апреля 1920 года был министром иностранных дел АДР.

53

Невероятная коалиция, созданная британцами, казаками и социалистами-революционерами (эсерами) настолько напугала Ленина, что он заключил секретное соглашение с командованием кайзеровских войск, предложив им соединиться с его большевистскими войсками, чтобы вновь взять Баку. — *Прим. авт.*

54

В сентябре 1918 года войска Антанты нанесли сокрушающее поражение болгарским войскам, которые с 1915 года воевали на стороне Германии. 29 сентября Болгария подписала мирный договор со странами Антанты.

55

Мамед Эмин Расулзаде (1884–1955) — основатель партии «Мусават» («Равенство»), сочетавшей идеи пантюркизма, панисламизма и социалистические идеи. Был первым председателем Национального совета Азербайджана, который просуществовал шесть месяцев, до конца 1918 года.

Дневник В. Г. Короленко. 1917–1921 гг. Часть II.

Согласно переписи 1908 года, в Хеленендорфе проживало 3525 человек, но лишь две трети из них (2384 человека) были немцами.

Езидам запрещалось есть рыбу, мясо петуха, газели, тыкву, капусту, салат.

59

Грузинский язык наряду с мегрельским, лазским и сванским входит в картвельскую (иберийскую) группу кавказских языков. — *Прим. авт.*

60

Неточность: Захарий Мдивани (1865 — после 1921) стал начальником Батумской области и военным комендантом города Батума в 1917–1918 годах, уже после революции.

61

Хотя это было лишь начало эпохи романтических похождений, когда умение блефовать не менее важно, чем реальное обладание женщиной (не забудем, что такой «суперлюбовник» того периода, как Рудольфо Валентино, говорил, что для него бесспорно одно: хорошая тарелка макарон гораздо лучше женщины), тем не менее любовные приключения товарища Льва, Алексея Мдивани, стали известны всему миру. Он прославился как сердцеед и ловелас мирового масштаба, когда женился на Барбаре Хаттон, наследнице гигантской торговой империи «Вулворт», и менее чем за год довел ее до развода. Она утешилась в браках с разными европейскими аристократами и кинозвездой Кэри Грантом; Алексей же удовлетворился получением миллиона долларов в качестве отступного, однако всего через год врезался в дерево в Будапеште на своем «мерседесе». Американское высшее общество осуждало кавказского князя за то, что он испортил жизнь Хаттон, однако Лев всегда защищал своего друга, которого обвиняли в жестоком обращении с супругой. Лев сравнивал несчастный брак Алексея со своим собственным катастрофическим союзом с богатой наследницей — хотя, с другой стороны, Лев повел себя несколько мелочно, сделав всеобщим достоянием тот факт, что Алексей на самом деле вовсе не был князем. — *Прим. авт.*

62

Начиная с XVIII века российские министры иностранных дел называли столицу Османской империи не Константинополем, а Царьградом, надеясь, что он станет новой столицей доминирующей в мире Российской сверхимперии. В противовес этому идеология пантуранизма провозглашала, что если русские хотят вновь завоевать Константинополь, турки ответят, вернув под свою власть половину России. — *Прим. авт.*

63

Видимо, автор имеет в виду массовые убийства армян в 1894–1896 годах.

64

Один из мифов, который распространился после завоевания Константинополя турками в 1453 году, состоял в том, что это они якобы разрушили Святую Софию, самый большой в мире православный храм, чтобы превратить его в самую большую в мире мечеть Айя-София. Турки действительно превратили церковь в мечеть, однако неверно, будто они разграбили или разрушили ее. Эта сомнительная «честь» принадлежит вовсе не им, а «латинянам-крестоносцам», как называли их христиане Византин — то есть крестоносцам-католикам, которые задержались в православном городе Константинополе по пути в Иерусалим, куда направлялись, чтобы биться с мусульманами, и разграбили здесь все православные храмы. Получается, что на самом деле турки завладели самым большим в мире христианским храмом уже после того, как он был разграблен… христианами. — *Прим. авт.*

65

«Брукс Бразерс» — старейшая (с 1818 года) американская сеть магазинов готовой мужской одежды.

66

Сулейман I Великолепный (1494–1566) считается величайшим султаном из династии Османов, при нем Османская империя достигла наивысшего расцвета.

67

Инвестирование огромных средств в царскую Россию (а также в Османскую империю) стали причиной того, что Франция, хотя и была в числе победителей в Первой мировой войне, в период между 1919 и 1939 годами все время находилась на пороге экономической катастрофы. Революции в России и в Турции привели к банкротству многих французских инвесторов, что вызвало настоятельную необходимость потребовать от Германии после окончания войны в 1918 году огромных репараций. — *Прим. авт.*

68

Палестина была провинцией Османской империи, однако евреи, жившие в пределах империи, не имели практически никакого отношения к ней, поскольку проживали в основном в Константинополе, Смирне и Багдаде. Сионистский проект был мечтой, выпестованной евреями Европы и России. — *Прим. авт.*

69

Джон Пирпонт Морган-младший (1867–1943) — крупнейший американский банкир, сын Джона Пирпонта Моргана (1837–1913).

70

В 1776 году Томас Джефферсон составил «Декларацию независимости США».

71

В 1926 году Лига Наций, а также различные французские благотворительные организации предприняли ряд попыток организовать переселение этих не желавших ассимилироваться людей в Южную Америку. В русских газетах и в барах появились объявления, предлагавшие купить участок земли во внутренних районах Парагвая, Боливии или Перу. Около пятисот казаков, проживавших тогда в разных районах Франции, откликнулись на эти предложения, однако уже через несколько месяцев они вернулись, рассказывая невероятные истории о том, как им пришлось иметь дело со змеями, летучими мышами, москитами. Один казацкий полковник написал тогда серию статей «Почему я вернулся из Парагвая», выразив под конец надежду на то, что ему удастся по-прежнему водить такси в Париже. Он рекомендовал своим товарищам ехать в Парагвай только в том случае, если единственной альтернативой был прыжок в Сену с моста Александра III — излюбленного места для самоубийств в промежутке между войнами. — *Прим. авт.*

72

«Тэтлер» — английский журнал, посвященный жизни высшего общества. Печатал новости из великосветской жизни, фотографии балов, благотворительных мероприятий, отчеты о скачках, выездах на охоту, великосветские сплетни.

73

Это название возникло в январе 1916 года, после того как, в связи с днем рождения кайзера, распространились открытые письма и листовки, призывавшие к его свержению путем насильственной революции, причем подписаны они были: «С партийным приветом, Спартак». Эти бюллетени газетного формата, которые ассоциировались с мятежом римских рабов I в. до н. э., едва не сокрушивших мощь государства, вызвали настоящий скандал среди обычных, верных своей партии, «патриотично настроенных» социал-демократов. Позже стало известно, что этим «Спартаком» был радикально настроенный, часто попадавший в тюремное заключение Карл Либкнехт. — *Прим. авт.*

74

Второй рейх (так называли Германию кайзера Вильгельма II) в силу этого даже мог составить конкуренцию будущему Третьему рейху нацистов: войска Людендорфа в их остроконечных касках на некоторое время получили контроль над таким «жизненным пространством на Востоке», какое не снилось Гитлеру. Как ни странно, успеху германского «Drang nach Osten» — «натиска на Восток» в 1917–1918 годах дополнительно способствовал принцип, не приемлемый для нацистов: филосемитизм. В 1918 году, когда сотни тысяч германских солдат оккупировали еврейские местечки в черте оседлости, они оказались в роли освободителей — как от царского гнета, так и от местного антисемитизма. По замыслу Людендорфа эта стратегия должна была позволить Германии получить помощь со стороны еврейских кругов, как из России, так и со всего мира. Это реально усугубило в 1941 году смятение евреев, часть которых поначалу восторженно приветствовала наступавшие фашистские войска, считая, что по отношению к евреям они будут вести себя столь же благожелательно, как германские оккупанты в 1918 году. — *Прим. авт.*

75

Речь идет о принце Максимилиане Баденском (1867–1929), который осенью 1918 года был назначен канцлером Германии, чтобы, договорившись о перемирии с Антантой, сохранить монархию.

76

Многие солдаты, вернувшись с фронтов Первой мировой войны, выказывали признаки социопатии, то есть были склонны к немотивированному агрессивному поведению. В послевоенном Берлине убийства и акты насилия сделались явлением повседневным, причем жестокости совершали люди, не имевшие прежде уголовного прошлого. Большинство известных немецких художников того времени, сами ветераны войны, обнаруживали тревожное, навязчивое стремление делать темами своих картин кошмарные сцены убийств на сексуальной почве и расчленения человеческих тел, причем писали они их, используя фотографии из полицейских архивов. Отто Дикс признался однажды своему приятелю, что, если бы ему не удалось художественным образом воплотить эти убийства на сексуальной почве, он вынужден был бы совершить такое преступление сам. — *Прим. авт.*

77

Пьеса Бена Хехта и Чарльза Макартура «На первой полосе» («The Front Page») была поставлена в Москве в 1930 году в Театре имени Вахтангова под названием «Сенсация». Роман Ивлина Во «Сенсация» (1938) по-английски называется «The Scoop» — «сенсационная новость».

78

Курт Айснер (1867–1919) — политик, журналист, театральный критик. В ночь на 8 ноября 1918 года на заседании Мюнхенского совета рабочих и солдатских депутатов он объявил баварского короля Людвига III низложенным, а Баварию — независимой республикой. Совет сформировал временное правительство, в котором Айснер получил посты премьер-министра и министра иностранных дел.

79

Это был австрийский граф Антон Арко-Валлей (1897–1945), убежденный монархист, ветеран Первой мировой войны.

80

Баварская Советская республика, которую возглавил Толлер, просуществовала чуть более двух недель — с 13 апреля до начала мая 1919 года.

81

За недолгое время существования Баварской советской республики было расстреляно восемь человек (по подозрению в контрреволюционной деятельности), но и то лишь как ответ на расстрел фрайкоровцами двадцати девяти пленных солдат Баварской Красной армии.

82

Имеются свидетельства, что Гитлер, который в то время еще служил в армии, едва прослышав о капповском путче, тут же отправился из Мюнхена в Берлин, причем даже прилетел туда на самолете-биплане, но в результате ему удалось встретиться лишь с личным секретарем Каппа, венгерским евреем, которого звали Требич Линкольн. По словам Линкольна, он сообщил будущему фюреру, что мятеж прекращен, его зачинщики уже на пути в Швецию и что ему, Гитлеру, лучше всего поскорее вернуться в Мюнхен. «Не дайте им поймать вас здесь, — посоветовал Гитлеру этот еврей-путчист, — если вы, конечно, не хотите быть арестованным. Извините, но и я больше не могу разговаривать с вами. Счастливого пути!» — *Прим. авт.*

83

Педагогий — в Древнем Риме школа для детей рабов. С конца Средних веков в странах Западной и Центральной Европы — школа для подготовки к поступлению в университет, а затем название средней школы с интернатом.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга III.

85

Там же.

86

В 1763 году Фридрих II даровал Мозесу Мендельсону (1729–1786), «немецкому Сократу», крупному философу, переводчику библейских текстов, право постоянно проживать в Берлине.

87

Один сотрудник американского Красного Креста отмечал во время революционных событий 1919 года: «Интересное явление, возникшее в связи с произошедшей революцией и, по-видимому, типичное для всех революций, ведь, насколько мне известно, то же самое имело место в России, а также во Франции, — это повальное увлечение танцами. Практически все кабаре и многие кафе вводят в свою программу танцы, которые начинаются вскоре после полудня и продолжаются далеко за полночь». — *Прим. авт.*

88

Это произошло в 1952 году. Они жили вместе до смерти Шагала в 1985 году.

89

Неточность. Свастика с древнейших времен — священный символ у разных народов, в том числе и в России. В символике рода Романовых она присутствовала и до Николая II и не имела того одиозного значения, которое позднее ей придали нацисты, к тому же повернувшие этот древний знак на 45º.

90

В 1921 году «Таймс», правда, полностью изменила свою позицию, опубликовав серию статей Филипа Грейвса, в которых «Протоколы сионских мудрецов» были разоблачены как фальшивка. Молодой репортер сообщил, что к нему обратился некий «мистер Икс», назвавший себя «конституционным монархистом», который сообщил, что он в 1920 году бежал из России вместе с другими белоэмигрантами и что у него есть доказательства, переданные ему теми, кто работал в царской тайной полиции. Среди документов, которые «мистер Икс» передал Грейвсу, был памфлет — французская сатира на Наполеона III, выпущенная в XIX веке под названием «Диалоги в аду между Макиавелли и Монтескье», в которой содержатся, слово в слово, многие из сцен, описанных в «Протоколах сионских мудрецов», за исключением лишь того, что в памфлете не сказано ни слова о евреях. — *Прим. авт.*

91

Подобно многим воззрениям прибалтийских немцев, самый «факт», что банкирские фирмы, принадлежавшие евреям, якобы финансировали революцию в России, был введен в нацистский обиход. Однако невероятное возрождение этой небылицы в рамках коммунистической пропаганды лучше всего демонстрирует, сколь сильно подобная ерунда способна властвовать над умами людей: повернув обвинения на 180 градусов, советские пропагандисты утверждали, что банкирские компании с Уоллстрит — при этом назывались те же самые имена — были главными спонсорами нацизма. — *Прим. авт.*

92

Эмиль Юлиус Гумбель (1891–1966) — ученый, математик-статистик, политический публицист, пацифист.

93

В 1915 году Герман Коген, знаменитый философ-неокантианец, которого и сегодня часто называют самым значительным еврейским философом XIX века, опубликовал эссе, в котором доказывал, что особой обязанностью евреев, его современников, является распространение главенства германской культуры. Коген стал для правящих кругов фигурой идеального еврея. Но и в 1930 году германский раввин Макс Динеман в своей проповеди, посвященной уходу французских оккупационных войск из Рейнской демилитаризованной зоны, сравнивал, например, это событие с избавлением древних иудеев от скитаний по пустыне. — *Прим. авт.*

94

Речь идет о Генуэзской конференции (10 апреля — 19 мая 1922 года), в которой участвовали тридцать четыре государства. Советская Россия впервые имела там широкие дипломатические контакты со странами Запада.

95

После Второй мировой войны фон Заломон опубликовал ставшую бестселлером книгу под названием «Анкета», обширное повествование, высмеивавшее американские попытки осуществить денацификацию Германии. Написана эта книга в виде ответов на вопросы анкеты, якобы данных автором в ходе процедуры денацификации, однако ответы его сумасбродны, а рассуждения невразумительны. Книга явно намекает на то, что автор и его друзья выше «упрощенных» политических определений типа «нацист». На протяжении всей последующей жизни заговорщики спорили о том, зачем они убили Ратенау, и кое-кто считал, будто они «по случайности» выбрали фигуру министра иностранных дел, который был евреем, хотя сам фон Заломон утверждал, что это убийство было предопределено и что в глубинном смысле, по философским причинам, оно себя оправдало. — *Прим. авт.*

Этого человека, водителя машины, Эрнста Вернера Техова, на самом деле приговорили к 15 годам заключения, но выпустили из тюрьмы «за хорошее поведение» в 1927 году. Во время Второй мировой войны он воевал в Тунисе на стороне союзников, а оказавшись во Франции, спасал евреев и помог более чем 700 беженцам. Причиной его преображения было письмо, которое мать Ратенау, на следующий день после гибели сына, написала матери Техова. Вот оно: «С несказанной болью протягиваю Вам, несчастнейшей из женщин, свою руку. Скажите сыну, что я во имя и в память убитого прощаю его, как один Бог его простить может, если он перед земным судом полностью и открыто признает свою вину и перед Богом покается. Если бы он знал моего сына, этого благороднейшего человека, то он скорее бы свое оружие направил против себя, чем против него. Может, эти слова принесут покой его душе». Техов, который умер в 1980-х годах, говорил: «Это письмо открыло мне новый мир».

97

После Второй мировой войны фон Заломон стал весьма успешным сценаристом, самым известным его фильмом стал вышедший в 1956 году «Лиана, богиня джунглей». — *Прим. авт.*

Князь Мачабели, правда, в скором времени сам отказался от борьбы за грузинский трон, поскольку переехал в Нью-Йорк, где смог сделать состояние на том, что разрешил использовать свое имя, а также герб своего рода для продажи духов. — *Прим. авт.*

99

Паспорт Нансена — международный документ, который удостоверял личность собственника и впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства.

100

Существует целый пласт русской эмигрантской литературы, содержащей бесконечные жалобы на берлинских квартирохозяев, но лучше всех запечатлел их Набоков в своих берлинских произведениях, особенно в «Даре». — *Прим. авт.*

101

Ланг, Любич, Эрих Поммер и многие другие корифеи тогдашнего берлинского кино имели еврейское происхождение, так что «берлинский Голливуд» был в этом смысле полным отражением Голливуда американского. То же можно было сказать и о многих киноактерах. Самый известный образ нациста — майора Штрассера в известном американском фильме «Касабланка» — создал Конрад Файдт, берлинский еврей. Файдт сыграл и заглавную роль в кинофильме «Еврей Зюсс», причем на съемочной площадке рыдал по-настоящему: ведь его герой — типичный, всеми преследуемый еврей. В 1943 году, после съемок «Касабланки», Файдт передал значительную часть своего гонорара в «Британский фонд помощи жертвам войны», поскольку, несомненно, понимал: окажись он в Европе, наверняка бы погиб в концлагере (а он в том же году умер в Голливуде, во время игры в гольф). Другой известный актер, Эрих фон Штрохайм, создавший образ типичного прусского офицера в фильме «Великая иллюзия» 1937 года, был сыном венского еврея-галантерейщика. — *Прим. авт.*

102

В 1920-1930-х годах кинотеатры и в США, и в Европе нередко строили в стиле ар-деко, который в большой мере эксплуатировал стиль общественных зданий на Востоке с присущей им орнаментальностью декора.

103

Если этот младенец действительно Майк Николс, то фотография должна была быть сделана в конце 1932 года. К тому времени Лев давно окончил гимназию и успел жениться.

104

После появления моей статьи о Льве в «Нью-Йоркере», где была воспроизведена эта фотография, Майк Николс написал в редакцию журнала, что младенец этот на самом деле вовсе не он и что женщины, знавшие его в том возрасте, все, как одна, клянутся, что он был «гораздо очаровательнее» Однако Алекс Браилов, который часто упоминает Пешковских в своих воспоминаниях, написал собственной рукой имена тех, кто изображен на этой фотографии, на листочке бумаги, прикрепленном к ней. — *Прим. авт.*

105

Лев рассказывал Браилову о своей предшествующей попытке стать мусульманином, когда ему было пятнадцать лет и он жил в Константинополе. Он обратился к мулле в соседней мечети, неподалеку от их квартиры, с просьбой провести церемонию посвящения в мусульмане.

Выяснилось, что мулла не имел даже малейшего представления о том, что кардинальное сходство между исламом и иудаизмом заключается, в частности, в обряде обрезания (притом, по словам Браилова, Лев рассказывал об этом в обычной своей манере, сочетая серьезное с комичным). Лев якобы уже тогда стал мусульманином, однако впоследствии он все же решил, что это не было сделано «как полагается». — *Прим. авт.*

106

Любопытно, что с тогдашним собственным корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в Москве Уолтером Дюранти была связана одна скандальная история — правда, по прошествии нескольких десятков лет после его смерти. Это случилось, когда комитет по Пулитцеровской премии в 2003 году формально рассматривал вопрос об аннулировании премии, которую тот получил в 1932 году. Протесты, кстати, прозвучали еще в момент ее присуждения: Дюранти критиковали за чрезмерно бодрый стиль репортажей о голоде на Украине и о других бедах, постигших сталинскую Россию, который не мог не быть сознательной ошибкой, ведь тогда многие другие журналисты (и Лев в их числе) не обошли своим вниманием сведения о все возраставшем количестве репрессий и смертных приговоров. В конце концов, однако, премию не аннулировали. — *Прим. авт.*

107

Набоков, только что окончивший университет в Англии и приехавший к своим родным, которые были совершенно раздавлены горем, взял себе таинственный псевдоним Сирин, имевший восточный отзвук. Он еще не был тогда литературной звездой эмиграции — этот титул пока что принадлежал Ивану Бунину, который в скором времени получил Нобелевскую премию. — *Прим. авт.*

108

«Бунд» («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России»), созданный в 1890 году, вел активную политическую и революционную деятельность в черте оседлости. После 1917 года «Бунд» некоторое время противопоставлял себя большевикам, однако к 1921 году на территории России он «самоликвидировался»: часть бундовцев вошла в РКП(б), часть создала в 1920 году Социал-демократический «Бунд», затем многие члены «Бунда» оказались в эмиграции.

109

Вилли Хаас (1891–1973) — немецкий публицист, кинокритик, киносценарист. Литературное обозрение «Ди литерарише вельт» издавал с 1925 года совместно с известным издателем Эрнстом Ровольтом.

110

Когда Ласкер-Шюлер впоследствии оказалась в Палестине, она вскоре поняла, что жить в Святой земле ей вовсе не нравится. «Трудно мне здесь, среди местных, — писала она. — Отсюда и царь Давид куда-нибудь съехал бы». Одним из ее последних проектов была попытка убедить и евреев, и арабов построить там совместными усилиями парк с аттракционами, чтобы все они научились вместе развлекаться и веселиться. На Двадцать первом сионистском конгрессе она, встав со своего места, сделала такое заявление перед его делегатами, людьми весьма мрачными и настроенными трагически: «Знаете, как можно разрешить еврейско-арабские конфликты? Есть один-единственный способ: вместе радоваться жизни. Нужно заложить увеселительный парк для евреев и для арабов, куда они могли бы прийти, чтобы вместе поесть картофельные оладьи, вместе покататься на одних и тех же каруселях, вместе поиграть в колесо фортуны… А над входом там должно быть написано: “Во славу Божью!”» — *Прим. авт.*

111

Джоэл Грей (р. 1932) — американский актер, получивший высшие театральные и кинематографические награды США за роль конферансье в бродвейской постановке мюзикла и в фильме «Кабаре».

112

Во времена кайзерской Германии многие шутки в кабаре были «из еврейской жизни», и их нередко произносили с эстрады актеры-неевреи, дабы высмеять тех, кто стремился во что бы то ни стало ассимилироваться — как говорилось в одной из острот, германские евреи «совершили обряд крещения несколько раз». За годы Веймарской республики, по мере усиления антисемитских настроений, еврейские шутки перестали считаться такими уж смешными — ведь они, наряду с остротами на политические темы, как считалось, «чрезмерно нарушали общественное спокойствие». После прихода Гитлера к власти в 1933 году из Германии начался исход звезд кабаре, евреев по национальности, однако те из них, кто уехал в Австрию, Чехословакию, Францию и Голландию, уже в недалеком будущем были вынуждены вернуться на германскую эстраду против своей воли: в таких концентрационных лагерях, как Вестерброк или Терезиенштадт, им пришлось сыграть свои последние роли в тщательно продуманных представлениях, причем их допустила цензура СС. — *Прим. авт.*

113

Вернер Шендель (1891–1961) — немецкий писатель, в 1920-х годах работал в Союзе охраны интересов германских писателей, который предоставлял своим членам юридическую защиту в случае попыток государства ограничить свободу творчества.

114

Вот что он сам написал незадолго до смерти в своей последней рукописи: «Очевидно, что для “человека литературы” трудно, особенно трудно не “ваять”, творить, а “фотографировать”. Искушение литературой огромно. В памяти — сдвиги перспективы. И писатель непроизвольно начинает предпочитать правду атмосферы несложной правде фактов…. Однако сегодня, перед лицом смерти, я хочу попытаться снова запечатлеть только правду, по крайней мере в этих строках [далее зачеркнуто: “предназначенных для меня одного”], даже если это не вся правда. Дело в том, что моя несчастная жизнь, которая сейчас достигла апогея в момент мучительнейшего страдания, представляется мне типичной для нашего времени, для эпохи, исполненной потрясениями и катаклизмами». — *Прим. авт.*

115

Судя по документам, Сталин хорошо знал русский язык к пятнадцати годам.

116

Курт Арам — псевдоним Ханса Фишера (1869–1934), автора произведений развлекательного жанра.

117

Чеченец Ибрагим Сулейман Чулик в начале 1920-х годов стал в эмиграции одним из руководителей националистической Народной партии горцев Северного Кавказа, боровшейся за отторжение Северного Кавказа от СССР и за создание Северо-Кавказской республики.

118

Когда я приехал в Баку вторично, в 2000 году, специально для того, чтобы взять интервью у различных азербайджанцев — участников «дебатов», связанных с псевдонимом Курбан Саид (они отстаивали точку зрения, что «Али и Нино» написал не Нусимбаум, а Юсеф Везир), мне представили эти сочинения Мунши как современные газетные публикации. Меня поразила резкость использованных выражений, однако несколько позже я сообразил, что читаю характерные антисемитские выпады начала 1930-х годов, которые по прошествии семидесяти лет были возрождены в качестве «доказательств». «Вот видите! Вот видите! — крикнул один известный азербайджанский профессор, тыча пальцем в небо. — Какие нам еще нужны доказательства! В этой статье Мунши разоблачил этого мошенника, всем показал, что он за птица! Ну как мог написать столь прекрасное произведение, как “Али и Нино”, этот самый Нусимбаум!» Моя статья в «Нью-Йоркере» вновь вызвала к жизни прения в Азербайджане, ведь известным деятелям культуры пришлось реагировать на предположение, что их «национальный роман» написал еврей. В небольших странах, таких, как Азербайджан, литературу воспринимают очень серьезно — во всяком случае, страсти накалились куда больше, чем это было бы в любой другой стране. Роман «Али и Нино» был самым известным литературным достижением Азербайджана, и теперь кое-кому показалось, будто я пытаюсь отнять его у этой страны. Эти люди и пытались урезонить меня, поправить мою точку зрения, а статьи Мунши, только что переведенные на азербайджанский язык, рассматривались ими как главное доказательство собственной правоты. — *Прим. авт.*

119

Партия НННП, выражавшая интересы германских монополий и юнкерства, существовала в 1918–1933 годах. Она требовала восстановить монархию, выступала против парламентаризма, пропагандировала крайний шовинизм, антисемитизм, призывала подавлять революционное движение. В январе 1933 года вступила в коалицию с НСДАП, партией Гитлера, поспособствовав установлению фашистской диктатуры. Но уже в июне 1933 года нацисты принудили НННП к самороспуску.

120

«Кавказская исламская армия», или «Армия ислама», сформирована в Азербайджане в июне 1918 года по договору между Азербайджанской демократической республикой (АДР) и Османской империей как военное подразделение, призванное защищать азербайджанское население от атак армянских нерегулярных частей. В армию входили семь тысяч нерегулярных азербайджанских и кавказских (больше всего дагестанских) военных и восемь тысяч солдат османских регулярных войск. Она была распущена уже в октябре 1918 года. Азербайджанские части вошли в состав армии АДР.

121

Роль фон Паракина примечательна тем, что она раскрывает то двусмысленное положение, в котором оказались германские военные, бывшие частью турецкой армии, как раз в те годы, когда случился массовый геноцид армян. Существуют документальные свидетельства, говорящие об одобрительном отношении высокопоставленных немецких расистов к уничтожению армян, однако в то же самое время было и движение, направленное против геноцида, во главе которого стояли немецкие военные, служившие в Турции, в том числе и среди командного офицерского состава. Сам фон Паракин в вестибюле бакинской гостиницы открыто выразил свой протест в споре с Нури Пашой, резко возражая против случившегося кровопролития, — это и стало причиной его отставки! После войны он подал рапорт, где описывал свою неудачную попытку «личным вмешательством заставить [турок] прекратить убийства». В то же время германская армия в те годы настолько серьезно была «вмонтирована» в командную структуру османской армии, что невозможно полностью оправдать всех ее офицеров, снять с них вину за случившееся. Уже один официальный титул фон Паракина о многом говорит: начальник Генерального штаба группы «Восток». — *Прим. авт.*

122

На выборах в рейхстаг в сентябре 1930 года гитлеровская НСДАП получила 18,3 % голосов избирателей, став, после социал-демократов (СДПГ), второй по представительности партией.

123

Ойген Хёфлих, он же (после переезда в Палестину в 1927 году) Моше-Яаков Бен-Гавриэль (1891–1965) — австрийский еврей, активный участник движения за репатриацию евреев из Европы в Палестину, писатель, публицист.

124

Вольфганг фон Вайзль (1896–1974) — австрийский аристократ, писатель, журналист, врач, военный, всемирно известный специалист по исламу, сионист, основатель ревизионистского движения в сионизме, представители которого стремились любыми средствами ускорить переселение евреев в Палестину, чтобы создать там еврейское государство.

125

Самуил ибн Нагрела, или Шмуэль га-Нагид (993-1055) — визирь Гранады, полководец, еврейский поэт, галахист и грамматик.

126

Маймонид, или Рамбам (рабби Моше бен Маймон; 1138–1204), — выдающийся еврейский философ, раввин, врач, ученый. Стал духовным руководителем религиозного еврейства последующих веков.

127

Вамбери жил на Востоке с 1857 по 1863 год, он был (как официально подтверждено в 2005 году) агентом британской разведки и Министерства иностранных дел, чем, видимо, и объясняется его популярность в Англии и дружба с королевским домом.

128

Как ни странно, учитывая преклонение Дизраэли перед любыми семитами и турками, он настолько увлекся сведением воедино судеб Англии и еврейства в целом, что вынужден был защищать Крестовые походы. В его позиции, видимо, присутствовала солидная доза романтизма в духе Вальтера Скотта. — *Прим. авт.*

129

На самом деле языковых семей гораздо больше (в настоящее время лингвисты насчитывают порядка двадцати).

130

Вильгельм Марр (1819–1904) впервые использовал это слово в памфлете «Путь к победе германства над еврейством». По его мнению, извечный расовый конфликт немцев и евреев мог быть разрешен не ассимиляцией, а только полной победой одной стороны и уничтожением другой. В конце жизни Марр полностью отказался от антисемитских взглядов.

131

По убеждениям хасидов, танец — это способ выражения радости, который имеет благотворное терапевтическое действие: он очищает душу, способствует достижению состоянию экзальтации, душевного подъема и объединяет всех членов религиозной общины.

132

Конфликт между членом палаты общин Бёрком (1729–1797) и Гастингсом (1732–1818) состоял в следующем: Берк требовал выполнять в Индии британские законы, Гастингс же защищал свои действия (в том числе насилие, подкуп, вымогательство) тем, что западные понятия права и законности на Востоке неприменимы. На деле речь шла о назревшей необходимости подчинить британскому правительству Ост-Индскую компанию, которая была основана еще в 1600 году как акционерное общество. После восьмилетнего судебного процесса Гастингс был оправдан.

133

Дискреционные полномочия (от франц. discretionnaire — зависящий от личного усмотрения) — особые полномочия, предоставляемые главе государства, правительства или иному высшему должностному лицу, дающие ему право действовать по собственному усмотрению, в частности в чрезвычайных обстоятельствах.

134

На самом деле Мёллер изначально помог Шпенглеру, еще в 1919 году, справиться с «закатом западного мира». Выход книги Шпенглера совпал с поражением Германии в Первой мировой воине, и его настигла невероятная депрессия. Хотя провозвестник упадка и отчаяния мог, казалось бы, считать, что это свидетельствует о его правоте, однако упадок, о котором писал он, должен был случиться в результате победы Германии, а не реального военного поражения! Подобно большинству немцев, Шпенглер вариант поражения даже не рассматривал. Мёллер убедил Шпенглера, что, проиграв войну, Германия на самом деле только выиграла, поскольку способна была пережить поражение и сформировать «альтернативный западный мир», вкупе с «молодыми странами» Востока, чтобы нанести последний удар странам Запада, так чтобы победила истинная, а не «буржуазная марксистская революция». Такой ход мысли, как бы ни относиться к нему, явно приободрил Шпенглера. Вскоре они стали друзьями. — *Прим. авт.*

135

Эрнст Ханфштенгль (1887–1975) — сын немца и американки, считается одной из ключевых фигур в ранней истории нацизма. Именно он не дал Гитлеру покончить с собой после провала «Пивного путча», выделил деньги на покупку печатных машин для газеты нацистов, финансировал издание «Майн кампф», ввел Гитлера в круги знати и промышленников, написал марши для гитлерюгенда и штурмовиков, много лет был руководителем международного пресс-бюро Гитлера. Существуют даже предположения, что Ханфштенгль — агент влияния США в нацистской верхушке.

136

24 октября 1929 года на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло катастрофическое падение курсов ценных бумаг: с 350 до 41 пункта.

137

Гитлер отказался от австрийского гражданства еще в 1925 году, однако гражданином Германии так и не стал: около семи лет у него был статус человека без гражданства, так что его могли в любой момент депортировать. Когда в феврале 1932 года Гитлер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах рейхспрезидента Германии, министр внутренних дел Брауншвейга (состоявший в НСДАП) назначил его на должность атташе при представительстве Брауншвейга в Берлине. Это не накладывало на Гитлера никаких особых должностных обязанностей, но автоматически давало немецкое гражданство и позволяло участвовать в выборах.

138

Гитлер брал уроки актерского мастерства и ораторского искусства у известного в 1920-1930-х годах оперного тенора Пауля Девриента (1890–1973). Работал Девриент в условиях строжайшей тайны, его воспоминания были опубликованы лишь в 1975 году.

139

Геббельс был руководителем регионального отделения НСДАП — гауляйтером Берлина, а Ульбрихт депутатом рейхстага от КПГ. В 1932 году Коминтерн дал указание германским коммунистам усилить борьбу с социал-демократами, выступая против них вместе с нацистами. Потому Ульбрихт выступил на митинге, организованном нацистами. И те и другие пытались использовать его в пропагандистских целях.

140

Под названием «Сигилла вери» (лат. «Знаки истины») в 1920-х годах выходила антисемитская энциклопедия, составленная Филиппом Штауфом, автором словаря «Семитский Кюршнер» (по аналогии с ежегодным «Германским литературным календарем», который составлял Йозеф Кюршнер). Энциклопедия эта не продавалась в книжных магазинах, ее можно было лишь получить по почте от издателя, прежде подписав такое заявление: «Я не еврейского происхождения, во мне нет еврейской крови, и среди моих родственников нет евреев. Обещаю никому не передавать и не продавать эту книгу. Даю слово чести, что не выступаю от чьего бы то ни было лица».

141

Я, разумеется, тоже не смог устоять перед искушением разыскать формуляр, заполненный для моей собственной матери, которая приехала в США в 1947 году, оставшись круглой сиротой после войны. Было интересно увидеть, что в колонке, где полагалось указывать имя «ближайшего родственника или друга в стране, откуда прибыл иностранец», было написано «раввин Капель»; и после недолгих розысков мне удалось установить, что это, по-видимому, был раввин Самюэль Рене Капель, занимавший пост «директора религиозных культов» в концентрационных лагерях французского вишистского правительства. Я отдал копию этого формуляра своей маме, и хотя многие из американцев в первом поколении хотят получить документ, который подтверждает факт их прибытия в США, мама, по вполне понятным причинам, не слишком обрадовалась тому, что я напомнил ей об этом путешествии через океан. — *Прим. авт.*

142

Справедливости ради стоит признать: Бэрчол информировал своих читателей, что нацисты предприняли особые усилия по демонтажу всех антисемитских надписей на улицах, а также сбавили тон газетных публикаций на то время, пока в городе происходили Олимпийские игры. Однако Бэрчол не разоблачил их двуличия: наоборот, он похвалил нацистов за то, что они «не позволили политике испортить ту сферу нашей жизни, к которой она не имеет никакого отношения. А именно — спорт». — *Прим. авт.*

143

В 1938 году в США был принят закон о порядке официальной регистрации лиц и организаций, представлявших интересы других стран. Это было сделано в ответ на усилившуюся работу германских (а также советских) пропагандистов и агентов влияния накануне Второй мировой войны.

144

Бенедикт Арнольд (1741–1801) — участник Войны за независимость США, генерал-майор, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании. В США его считают одновременно и героем (спас США от уничтожения), и предателем (сдал англичанам за деньги крепость Вест-Пойнт на Гудзоне). Последние двадцать лет жизни прожил в Англии, однако там его презирали за предательство не меньше, чем в Америке.

145

Я нашел один из домов, где они жили, на Херренгассе: это «хоххаус», или маленький небоскреб в стиле модерн, 1930 года постройки, и находится он совсем близко, всего в нескольких кварталах, от знаменитых кафе «Централь» и «Херренхоф», которые были центрами интеллектуальной жизни до и после Первой мировой войны. Сейчас в этом доме многие квартиры переоборудованы под офисы, так что около двери квартиры, где когда-то жил Лев, висит начищенная до блеска медная дощечка, извещающая, что ныне здесь помещается — очень уместно! — агентство частного сыска. — *Прим. авт.*

Ужасного года (*лат.*).

147

В октябре 1930 года телеграфные агентства передали сообщение из корреспондентского пункта «Фоссише цайтунг» в Тегеране о том, что их ближневосточный корреспондент был арестован персидскими властями и находился в заключении в течение десяти дней, поскольку они «ошибочно приняли господина фон Вайзля за пресловутого полковника Лоуренса». В сообщении далее говорилось: «Фон Вайзль многие годы шел по тому же пути, что и полковник Лоуренс. В арабской одежде, вооруженный одним лишь кинжалом, он побывал в гостях у Ибн-Сауда, короля Фейсала и у всех арабских лидеров. К сожалению, персидские пограничники, как было сообщено, недавно получили приказ максимально повысить свою бдительность, чтобы задержать полковника Лоуренса. Описание внешности Лоуренса в ордере на его арест, по-видимому, весьма подошло к внешности господина фон Вайзля». — *Прим. авт.*

148

С глубоким уважением (*нем.*).

149

С германским приветом (*нем.*).

Войдите! (*франц.*)

151

Бо Инь Ра (1876–1943), он же Йозеф Антон Шнайдерфранкен, — художник, духовный писатель и ясновидец. Создатель эзотерического учения, согласно которому достичь духовного просветления может каждый, кто следует лишь лучшим своим побуждениям.

152

По-видимому, речь об американском проповеднике Джиме Джонсе (1931–1978), основателе религиозной организации «Народный храм», создавшем в конце 1970-х годов в Гайане (Южная Америка) целый город — Джонстаун, в котором после проповеди Джонса 909 его последователей совершили массовое самоубийство.

153

Бланш Нопф (1894–1966) — вице-президент крупного и влиятельного американского издательства «Альфред Нопф, Инкорпорейтид».

Вспомним, что в свое время Джей и Лев соревновались, кто из них напишет больше текста за одно утро. В США Джей смог выпустить множество романов, стал автором сценариев ряда классических «черных детективов», таких, как «Лора» (1944), «Темный угол» (1946) и «Звонить: Север 777» (1948); занимался доработкой киносценариев для Фрица Ланга, Отто Премингера и ряда других кинорежиссеров. Его первый роман, написанный в США в 1940 году, представлял собой жанр «романа с ключом»: там речь шла о «молодом американце, который в Вене отважно спасает возлюбленную своего лучшего друга от нацистских ищеек». Фактической основой романа служат испытания, выпавшие на долю Льва, Херты, Бинкс и всех их знакомых. К сожалению, название для своей книги Джей Дрэтлер придумал не лучшее — «Утки в грозу». — *Прим. авт.*

155

В этот период Лев также совершил путешествие в Ливию, бывшую тогда итальянской колонией, где его герой — Итало Бальбо, основатель итальянских ВВС, совершавший показ фигур высшего пилотажа перед зрителями, занялся удивительным футуристическим экспериментом в пустыне, где по одной дороге могли передвигаться и гоночные автомобили, и процессии старинных наездников, где ради создания фашистского братства силой насаждалось сотрудничество между арабами и евреями. Бальбо, этот колоритный соперник Муссолини, к концу 1930-х годов оказался у дуче в немилости, причем особенно это проявилось, когда он резко выступил против пакта дуче с Гитлером, отказавшись вообще вводить антиеврейские меры в Ливни. Бальбо погиб в авиационной катастрофе в 1940 году, и обстоятельства ее столь загадочны, что многие считают это преднамеренным убийством. — *Прим. авт.*

156

Речь идет о Маргарите Сарфатти (1880–1961), которая на протяжении более чем 25 лет была любовницей Муссолини.

157

Да здравствует дуче! (*ит.*)

158

Буквально накануне своей смерти Лев даже дал указания, чтобы в окончательной редакции романа «Али и Нино», изданной через несколько месяцев после его кончины, имя «Нино» по всему тексту заменили на «Эрика». Поэтому если вам удастся найти итальянское издание 1943 года в бумажной обложке (а это вполне возможно, поскольку, несмотря на очень небольшой тираж, кое-какие экземпляры этой книги еще встречаются в итальянских букинистических магазинах), вы обнаружите, что волшебная истории любви, случившаяся в Баку накануне революции, на самом деле, - история любви между Али и Эрикой! Кстати, на обложке этого издания указан другой автор: не Курбан Саид, а Эсад-бей — вот так впервые, уже посмертно, было восстановлено истинное авторство Льва. — *Прим. авт.*

159

Весьма элегантен (*ит.*).

В точности! В точности! (*ит.*)

161

Вот она (*ит.*).

Эзра Паунд тогда регулярно выступал по итальянскому фашистскому радио в специальных радиопередачах, вещавших на США.

163

Модлибожице — деревня к югу от Люблина, где с середины XVII века в гетто жили местные евреи. В марте 1941 года сюда привезли более тысячи евреев из Вены, в октябре 1942 года всех евреев из Модлибожице (2200 человек) отправили в гетто в Крашнике и оттуда в ноябре 1942 года — в лагерь уничтожения Бельжец.